РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

РЕФОРМЫ или РЕВОЛЮЦИЯ?

Россия 1861-1917



С.-Петербург „Наука"

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

РЕФОРМЫ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

Россия 1861-1917

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОЛЛОКВИУМА ИСТОРИКОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
1992

Книга представляет собой издание материалов международного коллоквиума, состоявшегося в Ленинграде 4—7 июня 1990 г. В докладах исследователей из СССР, США, Великобритании, Германии и Франции рассматривались общие проблемы внутренней политики царизма и экономического развития страны, процессы, протекавшие в различных социальных группах российского общества в период 1861—1917 гг. Центральным в дискуссии оказался вопрос о соотношении реформы и революции в русской истории. Материалы книги дают возможность увидеть широкий спектр мнений как советских историков, пересматривающих устаревшие догматические схемы, так и зарубежных ученых.

Книга рассчитана на историков-специалистов и всех интересующихся российской историей.

Рецензенты:

А. П. Купайгородская и *В. Г. Чернуха*

Редактор издательства *А. Ф. Варустина*

Р $\frac{0503020300-509}{042(02)-92}$ 85—92, II полугодие

ISBN 5—02—027363—5

ОТ РЕДАКЦИИ

Эта книга представляет собой сборник материалов международного научного коллоквиума, состоявшегося в Ленинграде с 4 по 7 июня, 1990 г., по теме: «Рабочий класс и революционные ситуации в России в начале XX в.». Коллоквиум стал заключительным в рамках международного исследовательского проекта, посвященного сравнительной истории рабочего движения в индустриальных странах Европы и США в конце XIX — начале XX в. (до 1920 г. включительно). Участниками проекта были историки США, СССР, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Австрии и других стран. В числе важнейших задач совместной работы — исследование основных закономерностей и особенностей рабочего движения, разработка сопоставимой статистики стачечного движения в индустриальных странах Европы и США, создание на ее базе в Доме наук о человеке в Париже международного банка сведений о стачках рабочих в указанных странах.

В рамках этого проекта в СССР усилиями архивов системы Главного архивного управления при Совете Министров СССР и под научным руководством Института истории СССР АН СССР с начала 1986 г. велась подготовка «Хроники рабочего движения в России (1895 г.— февраль 1917 г.)».

Кроме Дома наук о человеке, реализации проекта активно содействовали Институт А. Гарримана при Колумбийском университете (США), Институт истории СССР АН СССР и его Ленинградское отделение, фонды Ф. Эберта (Германия), Дж. Фельтринелли (Италия) и другие ведущие научные центры мира. Международную координационную рабочую группу программы с начала ее осуществления возглавляет профессор Колумбийского университета Л. Хаймсон (США).

Основные научные результаты исследовательской работы по истории рабочего движения обсуждались на специальных коллоквиумах в 1982 и 1984 гг. в Париже, в 1986 г.— в Кортона (Италия), в 1989 г.— в Граце (Австрия), материалы которых частично уже опубликованы.[1]

Заключительный коллоквиум было решено провести в Ленинграде в 1990 г., и его подготовку Отделение истории АН

СССР возложило на Ленинградское отделение Института истории СССР. Было также решено значительно расширить проблематику коллоквиума, целиком посвятив его обсуждению предпосылок и развития революционного процесса в России с конца XIX в., широкого спектра социально-экономических и политических аспектов истории российского общества.

На подготовительных совещаниях рабочей группы в Париже (июнь 1988 г.), Ленинграде (июль 1988 г. и июль 1989 г.) и Нью-Йорке (декабрь 1989 г.) была обсуждена и окончательно определена программа коллоквиума, уточнен круг докладчиков и участников коллоквиума из числа крупнейших специалистов в области истории России периода капитализма. При содействии Отделения истории АН СССР удалось обеспечить необходимое финансирование и другое обеспечение основных мероприятий коллоквиума, включая последующее издание его материалов. На приглашение советского оргкомитета откликнулся ряд ведущих зарубежных и советских историков.

В коллоквиуме приняли участие ученые из Великобритании, Германии, СССР, США и Франции. Участников коллоквиума приветствовали заместитель председателя Ленинградского научного центра АН СССР академик А. А. Фурсенко и заместитель директора Института истории СССР АН СССР по Ленинградскому отделению член-корреспондент АН СССР В. А. Шишкин.

С известной долей условности представленные на коллоквиум доклады были по своей тематике разделены на четыре группы: 1) «Российское общество в начале XX в. Кризис самодержавной власти;» 2) «Общественные движения и революционный процесс в России в начале XX в.»; 3) «Политические партии в России в начале XX в.;» 4) «Социально-экономическое развитие в России в начале XX в. и революционный процесс.»

И из содержания докладов, и из их обсуждения видно, что всех участников коллоквиума больше всего интересовала проблема взаимосвязи реформ и революции в российском историческом развитии второй половины XIX — начала XX в. Все докладчики и выступавшие в прениях были единодушны в признании того, что революция в России явилась закономерным следствием неспособности власти осуществить реформы, обеспечивавшие эволюционное преобразование социально-экономического и политического строя страны. Причины этой неспособности освещались с разных позиций и под разными углами зрения.

Коллоквиум состоялся в момент, когда в советской исторической науке еще только развернулся пересмотр незыблемых, как казалось ранее, концепций. Это нашло свое отражение и в различии подходов советских докладчиков к проблеме предпосылок Октябрьской революции, и в возвращении к дискуссиям, проходившим на рубеже 60—70-х гг., и в том факте, что советские участники коллоквиума спорили в основном между собой. Редколлегия, однако, считает необходимым опубли-

ковать доклады именно в том виде, в каком они были в свое время представлены. В то же время коллоквиум показал, что различия политических взглядов, а нередко и исследовательской методики советских и зарубежных ученых, нисколько не препятствуют дружественному и плодотворному сотрудничеству в изучении закономерностей исторического процесса. Напротив, как раз наличие разных подходов обеспечило большую многомерность освещения рассматриваемых проблем и в результате более глубокое их понимание.

Участники коллоквиума были единодушны в желании и дальше продолжать совместную работу по изучению истории предреволюционной России. При этом говорилось о необходимости уделить большее внимание проблемам социального сознания и социальной самоидентификации различных слоев российского общества, в частности в связи с экономическим развитием страны, проблемам воздействия на исторический процесс более долговременных и более краткосрочных факторов («структур и коньюнктур» — по выражению проф. Л. Хаймсона), проблемам сравнительного анализа истории России и других стран, учитывающего не только закономерности развития государств, достигших более высокого экономического уровня, но и государств «третьего мира». Эти и другие проблемы станут, будем надеяться, объектом рассмотрения на последующих международных коллоквиумах.

Свидетельством углубления международного сотрудничества историков является и предлагаемый вниманию читателей том материалов ленинградского коллоквиума. В нем публикуются все представленные на коллоквиум доклады, а также подробное изложение их обсуждения. Кроме того, в данный том включены статьи акад. И. Д. Ковальченко и проф. М. Хильдермайера (Германия), которые были приглашены на коллоквиум, но не смогли принять в нем участие.

К сожалению, ограниченность объема настоящего издания вынудила редколлегию просить докладчиков представить для публикации сокращенные варианты их докладов. По той же причине печатается не стенограмма заседаний, а ее сокращенное изложение. В рамках этого изложения даются и доклады проф. А. Каппелера (Германия), проф. Т. Шанина (Великобритания), и д. и. н. Н. В. Юхневой (СССР), выступивших на коллоквиуме без представления заранее письменных текстов. В процессе подготовки издания проф. П. Гетрелл (Великобритания) как сопредседатель заседания по четвертой теме коллоквиума прислал текст своего вступительного слова, отличающийся по объему и содержанию от стенограммы. Редколлегия сочла целесообразным сохранить в изложении прений прежний вариант вступительного слова П. Гетрелла, а присланный им текст опубликовать в качестве доклада. Редакционные изменения текстов докладов и выступлений в прениях, произведенные в ходе подготовки тома к печати (вызванные необходимостью уложить-

ся в объем издания и не менявшие их содержания), согласованы с авторами.

В более пространном варианте доклады Б. В. Ананьича и Р. Ш. Ганелина (СССР), В. С. Дякина (СССР), Р. Уортмана (США) и Г. Фриза (США) опубликованы в журнале «История СССР» (1991, № 2-3). Редколлегия, однако, сочла нужным включить в настоящий том сокращенные тексты этих докладов, чтобы читатель мог получить общее впечатление о коллоквиуме, не обращаясь к журналу.

В технической подготовке материалов дискуссии участвовали: Т. А. Абросимова, Б. И. Колоницкий и Н. В. Михайлов. Расшифровка фонограммы прений принадлежит И. И. Крупской.

[1] См., напр.: Статистика стачек в России и в других индустриальных странах Европы и в США. М., 1986. 152 с.; Strikes, Wars and Revolutions in International Perspective: Strike Waves in the late 19th early, 20th centuries / Ed. by L. Haimson and Ch. Tilly. Cambridge etc., 1989. XIV. 535 p.

ДОКЛАДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОЛЛОКВИУМ

Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин

КРИЗИС ВЛАСТИ В РОССИИ. РЕФОРМЫ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС. 1905 и 1917

Реформы и революция — альтернативные способы разрешения назревших общественных и государственных проблем. Одной из причин падения самодержавия в феврале 1917 г. были неспособность и нежелание правительства идти по пути последовательного реформаторства.

Кризис власти в России проявился еще в конце первой четверти XIX в. Даже реформы 60-х гг., можно сказать, были отражением этого кризиса, ибо правительство вынуждено было приступить к ним, чтобы привести систему государственного управления и экономику в соответствие с требованиями времени. Революционный процесс несомненно оказывал влияние на реформаторскую политику правительства. Однако реформы 60-х гг. не были доведены до конца, что не только не укрепило положение правительства, но и вызвало недовольство как сторонников либеральных преобразований, так и противников реформ.

Своевременные радикальные реформы обычно сковывали и даже сводили на нет развитие революционных процессов. Конечно, связь этих двух явлений значительно сложнее. Уяснение ее требует ответа на ряд вопросов: например, как сказывалось на развитии революционных настроений в обществе запоздалое реформаторство, прерванное и незавершенное реформаторство, непоследовательное реформаторство, отказ от уже проведенных реформ и возвращение к старым порядкам (контрреформаторство)? В какой степени ход революционного процесса подталкивал правительство к проведению реформ, способствовал их радикализации или побуждал правительство отказаться от реформ из опасения, что они лишь подстегнут и ускорят революционное брожение? Разумеется, надо учитывать особенности периода, в условиях которого рассматриваются взаимодействие реформаторского и революционного процессов и место каждого из них в общественной жизни. Если период 60-х гг. характеризуется как «эпоха» «великих реформ», то начало XX столетия стало для России эпохой «великих революций». Верховная власть в лице императора по-разному вынуждена была считаться и считалась при проведении реформ с общественным настроением и уровнем революционного движения. Александр I намерен был отменить крепостное право, и закон 1803 г. о вольных хлебо-

пащцах был первым шагом на пути к реформе. Однако, согласно историографической традиции, Александр I не решился сделать следующий шаг, опасаясь серьезного недовольства со стороны крупных помещиков, и «вынужден был под напором мощной косной силы повернуть вспять».[1]

Отказ от последовательного реформаторства в царствовании Александра I положил начало развитию кризиса власти, который на протяжении XIX в. все более углублялся. Как время тридцатилетнего застоя расценивал царствование Николая I Н. Х. Бунге, известный русский государственный деятель 80—90-х гг. XIX в., придерживавшийся либеральных взглядов. Однако, отмечал он, Николая I не оставляла мысль о проведении крестьянской реформы, и «вопрос об освобождении крестьян не сходил с очереди до 1848 г., когда революционное движение в Европе его затормозило».[2] Наконец, в советской историографии начало реформ 1860-х гг., и в частности отмена крепостного права, прямо связывается с возникновением первой революционной ситуации на рубеже 50—60-х гг., а политика реформаторства рассматривается как попытка правительства снять социальное напряжение.[3]

Правительство несомненно боялось народных выступлений. Этим продиктованы меры предосторожности, принятые в дни отмены крепостного права, этим же отчасти объясняются и колебания Александра III и Николая II при выборе политического курса в первые месяцы после вступления на престол. Однако, как нам представляется, о непосредственном влиянии революционного процесса на реформаторскую политику правительства можно говорить только начиная с XX столетия, накануне и в период революции 1905—1907 гг., когда страна жила в обстановке обострившегося кризиса власти. Именно тогда, в условиях чрезвычайных, правительство прибегло к поспешному и относительно радикальному реформаторству. Столь же поспешно предпринимались в периоды спада революционного движения и попытки отказаться от сделанных уступок.

В начале XX в. связь реформ с революционным процессом стала фактом общепризнанным. Не случайно это — тема большинства печатавшихся в либеральном «Освобождении» статей. Газета призывала правительство к радикальным реформам, пугая его призраком революции. Следует учитывать многое объясняющую в государственно-политической истории революционных лет тактику лидеров либерального лагеря — использование ими революционного движения масс для давления на царизм в своих интересах. Со своей стороны, самодержавие пыталось отыскать такую меру в своих уступках либеральной оппозиции, которая удовлетворила бы требования «благомыслящих», изолировала «крайних» и воспрепятствовала нарастанию массового движения против самодержавного строя.

Крестьянские восстания в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г. оказали влияние на окончательное решение давно

нараставшего вопроса об отмене круговой поруки и ускорили появление Манифеста 26 февраля 1903 г. Нараставшие революционные события вынудили правительство к изданию указа от 12 декабря 1904 г.

Очевидно, недооценив революционную угрозу, о которой неоднократно предупреждал в своих докладах министр внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирский, царь выхолостил указ от 12 декабря 1904 г., этот последний перед революцией 1905 г. реформаторский акт, собственноручно изъяв из него пункт о созыве представительства.

Ход событий революции 1905—1907 гг. позволяет судить о прямой зависимости правительственного реформаторства от революционного процесса. Известно, что после «Кровавого воскресенья» необходимость государственных преобразований настойчиво доказывалась Николаю II с разных сторон. Дважды совершенно недвусмысленные и лишенные обычного политеса беседы вел с ним во второй половине января министр земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолов, который по свойствам своего характера, отсутствию личных политических амбиций и т. п. никак не мог быть заподозрен в стремлении покуситься на часть царских прерогатив, в чем неизменно обвиняли С. Ю. Витте. Наконец, 3 февраля царь созвал Совет министров, чего он никогда прежде не делал. Открывая заседание, он сказал, что разрывается («мечусь направо и налево») между желанием не делать никаких отступлений от самодержавного образа правления («отложить до более спокойного времени», что, скорее всего, означало воздерживаться от перемен до последней возможности) и боязнью «потерять все». Упомянув о вычеркнутом из указа от 12 декабря 1904 г. пункте о представительстве, царь объяснил это «вескими соображениями», сведя их к затейливой формуле — «парламентриляндия адвокатов». Каждый элемент этой формулы — парламент, Финляндия с ее особым положением и правами и, наконец, адвокаты — вызывал у него раздражение. Обоснованию ненужности перемен была подчинена и историческая концепция царя («у нас не было феодализма, всегда были единение и доверие»), соответствовавшая почти общепринятому в дореволюционной историографии представлению о русском обществе, которому на всех этапах развития были якобы традиционно чужды противоречия политических интересов.

С самого начала не скрывая своего отношения к представительству («Представительства не понимал. Земский собор никто не понимает»), введение которого должно было составить предмет рескрипта министру внутренних дел, царь готовился издать манифест об усилении карательных мер («властного голоса о смуте не слышно»).[4]

Как известно, январские события 1905 г. все же вынудили Николая II издать рескрипт от 18 февраля о представительстве, по которому министру внутренних дел поручалась подготовка

законодательства о создании представительного учреждения — законосовещательной («Булыгинской») Думы (она так и не была созвана). Но реформы, продиктованные революционным натиском, часто опаздывали. Как и с указом от 12 декабря 1904 г., который уже в январе 1905 г. потерял всякий смысл, то же произошло и с «Булыгинской думой» (закон от 6 августа 1905 г.). Ее смела Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г., парализовавшая деловую жизнь страны и деятельность правительства. Только в этих условиях царь пошел на такие уступки, как создание объединенного правительства и представительного учреждения с законодательными правами. Манифест 17 октября и изданные на его основе законы — образец вынужденного реформаторства.

Весьма выразительным примером исторической возможности (или невозможности) сочетания реформаторского курса политики царизма с его приверженностью традиционно-самодержавному образу правления является известный эпизод с приемом 6 июня 1905 г. Николаем II земской депутации с адресом. Пафос этого адреса был направлен против усиления полицейской власти, против «преступных небрежений и злоупотреблений советчиков государя». Но, как отмечал в своих воспоминаниях В. А. Маклаков, «по существу адрес не провоцировал революции, не задавался целью колебать историческую власть; он обещал ей поддержку русского земства».[5] На поддержку со стороны «благонамеренной» оппозиции в тот момент рассчитывали и Д. Ф. Трепов, и другие окружавшие трон сановники. Недаром составитель адреса С. Н. Трубецкой был приглашен к царю телеграммой. В ответ на его «ласковый отеческий тон» царь заявил о непреклонном своем решении созвать народных представителей, а депутатов объявил своими помощниками.[6] Придворные, до приема предупреждавшие земцев: «Вы опасную игру играете!», теперь рассыпались в приветствиях. Трепов прощупывал, не примет ли Трубецкой пост министра народного просвещения (именно этот пост еще в 1902 г. В. К. Плеве предлагал П. Н. Милюкову). «Довольны и депутация, и государь»,— сообщал Трубецкой жене. «Это была правильная и умная постановка вопроса, которую государь оценил»,— писал Маклаков.[7]

Однако, получив текст царской речи, депутаты с удивлением обнаружили, что произнесенные царем слова, которые они считали наивысшим своим достижением, были в нем изменены. «Народные представители» были заменены «выборными людьми», а депутаты не назывались более царскими помощниками. Особого смысла в этом не было, и когда царь вскоре пожаловался А. Оболенскому, что «его хотели изловить на слове», то услышал вовсе неожиданную для себя трактовку дела. «В сущности выборные люди гораздо более значат, чем представители. Представители — что? Мало ли представителей разных ведомств сидят во всевозможных комиссиях — а выборные люди — это другая музыка!!» — внушал Оболенский.[8] Царь был как будто

смущен. Но 9 июня губернаторам был разослан циркуляр Главного управления по делам печати, констатировавший, что царская речь изложена некоторыми газетами неточно, появившиеся в них слова о «созыве народных представителей на началах, существующих в конституционных государствах Западной Европы,» — результат произвольного толкования, а в речи царя было лишь выражено, что созыв выборных людей «ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам».

Через несколько дней царю была представлена записка двадцати шести губернских предводителей дворянства в поддержку обращения от 6 июня с упоминаниями не только о том, что «тускнеет блеск его образа», но и о «личной опасности» для него, о возможности «несчастья с государем». Но при дворе видели личную опасность именно в установлении правового строя. Когда ген. X. X. Рооп попробовал доложить царю, что введение представительства обезопасит его особу, присутствовавший при этом великий князь Владимир Александрович воскликнул: «Что Вы говорите, Христофор Христофорович, а Карно, а Мак-Кинлей?».

Петербургский и московский предводители В. В. Гудович и П. Н. Трубецкой, вручившие царю записку, сомневались в ее действенности и прямо сказали ему: «Вот Вы нас сегодня милостиво принимаете и соглашаетесь с нами, а завтра Вам будет представляться Доррер (курский предводитель, известный крайними реакционно-монархическими взглядами,— *Авт.*), и Вы с ним согласитесь!». Ошиблись они всего на один день: их разговор с царем происходил 18 июня, а 20 июня, принимая представителей курских дворян с Доррером во главе, царь заверил, что все будет «по старине»,[9] и еще раз подтвердил это 21 июня при встрече с депутацией московского «Союза русских людей» и петербургского «Отечественного союза».

Объясняя свое согласие на подписание Манифеста 17 октября, Николай II всегда говорил о безвыходности своего положения. «Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу,— вспоминал царь виттевский ультиматум,— затем была бы передышка, и снова пришлось бы через несколько месяцев действовать силой; но это стоило бы потоков крови и в конце концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы показан, но результат оставался бы тот же самый и реформы впредь не могли осуществляться бы. Другой путь — предоставление гражданских прав населению — свободы слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обязательства проводить всякий законопроект через Государственную думу — это в сущности и есть конституция (...) Почти все, к кому я обращался с вопросом, отвечали мне так же, как Витте, и находили, что другого выхода нет». Царь называл свой шаг «страшным решением», которое он «тем не менее ... принял совершенно сознательно».[10]

Николай II с ненавистью относился к Государственной думе с момента ее возникновения. Сама церемония открытия Думы была воспринята представителями царствовавшего дома как похороны самодержавия.[11] После 17 октября мечтой императора было возвращение к законосовещательной Думе. В условиях революции было положено начало столыпинскому аграрному законодательству. Закон от 6 ноября 1906 г.— столыпинская аграрная реформа — хоть он и не был вырван революцией, нельзя рассматривать в отрыве от революционного процесса. Реформа также явилась его результатом. В сущности этот законодательный акт готовился в течение нескольких лет в обстановке революционной ситуации начала столетия. Зачатки его мы видим в аграрной программе Витте конца столетия и даже в известной мере в аграрной политике Плеве последних лет. Столыпинскому законодательству предшествовали такие важные акты, направленные на разрушение общинного землевладения, как отмена круговой поруки и паспортная реформа.

Законодательные акты, принятые в условиях революции, являлись вершиной правительственного реформаторства. Как известно, после спада революционного движения правительство сделало ряд отступлений от принятых законов, стремясь ограничить, в частности, права представительного учреждения — Государственной думы.

Можно ли говорить о том, что реформы 1860-х гг., хотя и с опозданием, были завершены в период революции 1905—1907 гг.? Самодержавие не превратилось в буржуазную монархию. Государственная дума не стала парламентом. Объединенное правительство, созданное в октябре 1905 г., не стало кабинетом министров в западноевропейском смысле. Витте-премьер обладал меньшей властью, чем Витте-министр финансов, в 1890-е гг. пользовавшийся расположением и поддержкой императора. Остались незавершенными судебная, земская реформы (парадокс состоит в том, что и контрреформаторские проекты, как и реформаторские, остались также незавершенными). Сохранилась сословная система, хотя она и была подорвана рядом законодательных актов и размывалась самой жизнью. Самодержавие не могло сотрудничать ни с первой, ни со второй Государственными думами, напряженные до предела отношения сохранялись у Николая II и его окружения с первым Советом министров и его председателем С. Ю. Витте. Совет министров собирался в резиденции Витте на Дворцовой набережной в Петербурге и функционировал как объединенное правительство, а Николай II в Царском Селе принимал всеподданнейшие доклады министров в строгом соответствии с традицией.

Сотрудничество, или, точнее, сосуществование объединенного правительства и представительного учреждения с царской властью, приняло более или менее устойчивый характер только после переворота 3 июня 1907 г. Столыпин, искусный полити-

ческий деятель, пытался совместить несовместимое — представительство и самодержавие. Некоторые его попытки заняться завершением реформ 1860-х гг., как, например, было в случае с введением земств в Западном крае, потерпели неудачу. Но и политика Столыпина вызвала раздражение Николая II, не желавшего считаться с уже возникшими политическими партиями русской буржуазии. Столыпин был последним крупным политическим деятелем среди русских премьер-министров. Витте и Столыпин, великие прагматики в политике, были мастерами приспосабливать феодальную форму правления к развивавшимся буржуазным отношениям. Их преемники на этом посту даже не помышляли о такого рода деятельности.

Итак, в канун первой мировой войны правительство царя не только не стояло во главе реформаторского процесса, но уже не имело никакой четкой политической программы,— ни буржуазно-либеральной, ни контрреформаторской, консервативной. Во главе правительства не было государственных деятелей с достаточно широкими политическими взглядами. Политический курс диктовался интересами дня и общими принципами правительственной политики, главным из которых был принцип незыблемости самодержавия. Именно этот принцип стал причиной острого конфликта, разразившегося между царем и министрами в 1915 г., когда Николай II уволил с поста верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича и занял этот пост сам. Он отказывался удовлетворить требования ответственного перед Думой министерства и не шел на создание министерства доверия из числа пользующихся поддержкой Думы министров.

Но реформаторские идеи существовали не только в либеральных сферах и не только как альтернатива революции. Вопрос о характере и границах реформ был составной частью идеологии революционной демократии в связи с проблемой буржуазной революции. Меньшевики представляли себе развитие революции как приход к власти сначала крупной буржуазии, затем — революционной мелкой буржуазии, и — лишь после длительного пребывания в оппозиции к мелкобуржуазному господству — пролетариата. Отсюда последовательная смена государственных форм: вместо самодержавия — буржуазная монархия, а затем — мелкобуржуазная демократическая республика. «Предстоящая революция,— писал А. Мартынов,— не может реализовать никаких политических форм против воли всей буржуазии, ибо она будет хозяином завтрашнего дня».[12]

Ссылаясь на опыт классических буржуазных революций в Европе, меньшевики в сущности более всего обращались к революции 1848 г. в Германии, между тем как большевики, не боясь обвинений в якобинстве, широко опирались на уроки французской революции 1789 г. В этом несомненно нашел свое отражение тот кардинальный факт, что во Франции в 1789 г. буржуазно-демократический переворот был доведен до конца, до установления республиканского строя, а в Германии в 1848 г.

он не сломил монархию и реакцию. Опираясь на высказывание К. Маркса о том, что самодержавие сменяется буржуазной монархией, а затем — мелкобуржуазной демократической республикой, меньшевики стремились применить его к российской действительности.

Схеме исторического развития, рассчитанной на систему реформ, которой придерживались меньшевики, В. И. Ленин противопоставил основанную на теории гегемонии пролетариата возможность с помощью победы народного восстания совершить прыжок, как он определил, «на две ступени сразу»,[13] т. е. перескочить через стадию буржуазной монархии. Общеисторический и революционный опыт российского пролетариата, уровень его классового развития были через 70 лет иными, нежели в Германии 1848 г. И это, с точки зрения Ленина, открывало перед революционным процессом совсем другие перспективы, хотя нельзя игнорировать того обстоятельства, что важное место во взглядах Ленина принадлежало расчету на победу социалистической революции в мировом масштабе. Что же касается аналогии между политическими позициями германской буржуазии в 1848 г. и российской — в 1917-м, она-то и оборачивалась важнейшим аргументом в спорах вокруг перспектив революции в России. Именно в свете уроков поведения всей европейской буржуазии в 1848—1849 гг. критиковались ставка меньшевиков на установление власти буржуазии в России, подталкивание к власти буржуазных политиков.

Какова была природа политической позиции российской буржуазии, которая вместе с другими классами общества оказалась в числе противников монархии? Мы не склонны недооценивать значение буржуазной оппозиционности, в частности созданного во время первой мировой войны «Прогрессивного блока», политическое значение которого как раз и определялось участием в нем праволиберальных сил. Известно, что в глазах Николая II и особенно Александры Федоровны думские лидеры или ненавистный царской чете А. И. Гучков иногда выглядели более грозными врагами трона и династии, чем революционные массы. Вера в то, что «преданность простого народа своему монарху» отнюдь не иссякла, не покидала носителей высшей власти. Натиск же оппозиционного лагеря не только мог привести царизм к политической изоляции, но и умалял его престиж во времена и без того критические. Между тем величие, непререкаемость, неприступность царской власти, связанные для обывателя с ее божественным происхождением, были одной из основ режима, и пренебрежение этим со стороны широкого круга думских политиков различного спектра, в том числе и таких, от которых ожидали лишь «благонамеренности», наносило режиму царской власти чувствительный для нее удар.

Мемуаристы дружно свидетельствуют о планах оппозиции теми или иными способами заставить Николая II принять ее требования, среди которых первым было создание ответственного

перед Думой правительства. Это, как писал впоследствии Гучков, представлялось «наилучшим выходом из положения». Попытки добиться этого делали представители различных кругов — от великих князей и председателя IV Государственной думы М. В. Родзянко до правого кадета, в прошлом легального марксиста П. Б. Струве. О безуспешности подобных демаршей и своего в том числе рассказал впоследствии генерал А. А. Брусилов.[14]

Об одном из заговорщических кружков рассказал в 1936 г. на страницах парижской эмигрантской газеты «Последние новости» Гучков. Кроме него, в этот кружок входили Родзянко, а также будущие министры Временного правительства первого состава — П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко и др. Напуганные, по признанию Гучкова, предчувствием «большого народного революционного движения», они намеревались с помощью офицерства заменить на престоле Николая II его малолетним сыном Алексеем при регентстве брата царя вел. кн. Михаила Александровича.[15]

Существовал и другой план дворцового переворота — в пользу вел. кн. Николая Николаевича, пользовавшегося расположением в некоторых думских сферах. В 1915 г. царь сместил его с поста верховного главнокомандующего, заняв этот пост сам. Душой этого плана был кн. Г. Е. Львов, председатель Союза земств и городов, претендовавший на роль премьер-министра (он стал министром-председателем в первом составе Временного правительства[16]).

Приверженность к меньшевистской схеме развития революции обусловила причастность будущих вождей революционно-демократического лагеря к планам дворцового переворота. Здесь следует сослаться на оценку, данную платформе либеральной оппозиции в выпущенной накануне Февральской революции листовке Петербургского комитета большевиков. «Думское большинство, земцы, городские тузы и дворяне недовольны царем потому, что он плохо ведет войну и что царская политика возмущает народ и открывает ему глаза на весь вред царской системы,— гласила листовка.—... Ропот этих господ и тех, кои мечтают о замене Николая II другим лицом, есть стремление спасти царские порядки, пожертвовать лицами, но сохранить систему».[17] Реформаторский курс, таким образом, совершенно отрицался применительно к условиям момента.

Обращаясь к характеристике действий буржуазных лидеров в революционные дни, отметим, что 26 февраля, когда на улицах Петрограда уже раздавалась стрельба, Бюро «Прогрессивного блока» с Милюковым в центре считало, что «неловко» даже думать о кандидатурах «достойных министров», раз царь еще не обратился к Думе за рекомендациями. И на следующий день, 27-го, когда революционные события (как пишет Родзянко — «бесчинства») приняли форму вооруженного восстания рабочих и солдат против царизма, лидеры оппозиции, чтобы не изменять своей верноподданнической лояльности, подчинившись

царскому указу о перерыве в занятиях Думы, собрали частное совещание ее членов не в том зале, в котором она обычно заседала. Н. В. Некрасов, считавшийся среди кадетов левым, настаивал, чтобы президиум Думы отправился к Голицыну и просил наделить «диктаторскими полномочиями для подавления бунта» генералов Поливанова или Маниковского. «Что же, князя Голицына из-под кровати будем мы вытаскивать?» — возражал ему М. А. Караулов. «Конечно, ехать к председателям правительства не нужно, да и бесполезно — они сами выпустили из рук власть. Но брать эту власть в свои руки Дума не может», — заявлял Милюков.[18]

И только когда здесь же, в Таврическом дворце, началось формирование Совета рабочих депутатов, буржуазные лидеры приняли решение создать Временный комитет Думы для взятия власти. Не следует считать, что они боялись власти как таковой, они боялись лишь власти, выросшей из революции, стремились превратить ее в чисто буржуазную власть, сохранить трансформированную монархию.

«Внефракционные социал-демократы», как называли себя игравшие важную роль в конструировании Исполкома Петроградского совета и Временного правительства Н. Суханов и Ю. М. Стеклов, поступились одним из важнейших положений программы-минимум РСДРП — требованием демократической республики. Они сделали это в процессе передачи власти Исполкомом Петроградского совета думскому Временному комитету 1 марта 1917 г. Они проявили, по словам Ю. М. Стеклова, «политическое благоразумие»,[19] не включив требования республики в условия передачи власти. А Милюков с развязанными благодаря этому руками 3 марта в переговорах с вел. кн. Михаилом Александровичем, к которому после отречения царя перешел престол, предпринял при поддержке Гучкова попытку сохранить монархию, уговорив великого князя принять корону.

В советской литературе в 1960-х гг. вопрос о том, можно ли было спасти царизм реформами, был поставлен А. Я. Аврехом, анализировавшим причины, по которым Николай II противился осуществлению реформаторских проектов. А. Я. Аврех высказал мнение, что царь хотел, но не мог проводить реформы, опасаясь, что они дадут толчок революции.[20]

На наш взгляд, отказ от самодержавной власти противоречил мировоззрению Николая II. Ему были по душе лишь такие преобразования, которые укрепили бы его власть и существовавший порядок вещей. Царь считал себя верховным патроном, покровителем и хозяином простого народа. Вот почему, когда перед правительством возникла альтернатива в проведении рабочей политики: введение копартнершипа (соучастия рабочих в прибылях) и буржуазного рабочего законодательства, с одной стороны, или проведение зубатовского эксперимента — с другой, то отдано было предпочтение последнему.

Феодальное мышление определило отношение верховной власти к предпринимательству и предпринимателям, банковской системе и финансовым отношениям. Царь считал невозможным какие бы то ни было проявления биржевой стихии. Министерство финансов стремилось командовать банками. Государственный банк играл роль банка банков и использовался как средство государственного воздействия на экономику. Правительство сдерживало образование предпринимательских организаций, контролировало акционерное учредительство.

Иногда в системе государственного вмешательства в русскую экономическую жизнь начала XX в. видят признаки или зачатки правительственного регулирования в условиях западной буржуазной экономики 1930-х гг., но в России рубежа XIX—XX вв. государственное регулирование — феодального происхождения.

Феодальное мышление находило свое проявление в националистической окрашенности политического курса, в поисках в прошлом источников будущих преобразований, в отношении власти ко всякого рода общественной деятельности — земству, местному самоуправлению; феодальное мышление ярко отразилось и во влиянии на государственную политику людей, не занимавших официальных постов и не отвечавших за проведение политического курса (Безобразовский кружок, Распутин и его окружение). Все это определяло мягко говоря «нестрогое» отношение к существовавшим законам. Важным источником для оценки этого явления могут служить стенографические отчеты Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства.

А. А. Блок — один из редакторов отчетов — был потрясен кризисом власти, который открылся ему при допросах ее представителей. Из всех царских министров кануна революции он называл лишь нескольких, строго соблюдавших существовавшие законы. В частности, это пытавшиеся провести либеральные программы министры просвещения гр. И. И. Толстой и гр. П. Н. Игнатьев (оба они очень скоро были отставлены).

Кризис власти в России, достигший в начале XX в. своего апогея, привел к падению царского режима, его неспособность возглавить и последовательно проводить реформы, необходимые для успешного экономического и социального развития страны,— главная причина этого кризиса. Намеченные в правительственных кругах в первой четверти и в середине XIX в. программы преобразований так и не были полностью осуществлены не только к кануну первой Российской революции, но и в ходе ее. Правительство медлило и запаздывало с реформами. Подхлестываемое революционной волной в октябре 1905 г., оно вынуждено было лихорадочно приступить к реформаторству, но как только революционное движение пошло на убыль, встало на путь реакции, тем самым дав сильный толчок новому революционному подъему, оказавшемуся для самодержавного режима уже роковым.

2 Заказ № 3277

[1] Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 232.

[2] Библиотека ЛОИИ СССР АН СССР. 1881—1894 гг. Записка, найденная в бумагах Н. Х. Бунге. С. 5

[3] Революционная ситуация в России в середине XIX века/Под ред. акад. М. В. Нечкиной. М., 1978. С. 416.

[4] ЦГИА СССР. Ф. 727. Оп. 2. Д. 40. Л. 1 и сл.

[5] Маклаков В. А. Власть и общественность на закате старой России. Т. 1. (Б. М. и г.). С. 878—879.

[6] Трубецкая О. Из пережитого // Современные записки. Париж, 1987. Т. 65. С. 218.

[7] Маклаков В. А. Указ. соч. С. 379.

[8] Трубецкая О. Указ. соч. С. 219.

[9] Освобождение. 1905. № 75. 19(6) августа. С. 132; Трубецкая О. Указ. соч. С. 222.

[10] Красный архив. 1927. Т. 3 (22). С. 167—168.

[11] Кони А. Ф. Открытие первой Государственной думы.//Собр. соч. М., 1966. Т. 2. С. 359.

[12] Мартынов А. Две диктатуры. Женева, 1905. С. 58.

[13] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 288.

[14] Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 223—224.

[15] Последние новости. Париж. 1986. 9 и 13 сент.

[16] Мельгунов С. На путях к дворцовому перевороту. Париж. 1981. С. 90—100.

[17] Листовки петербургских большевиков. 1902—1917 гг. М.; Л., 1939. Т. 2: 1907—1917. С. 248.

[18] Мансырев С. П. Мои воспоминания о Государственной думе//Историк и современник. (Берлин) 1922. III. С. 27—28.

[19] Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов: Стеногр. отчет/Подг. к печати М. Н. Цапенко. Предисл. Я. А. Яковлева. М.; Л., 1927. С. 108—110.

[20] О взглядах А. Я. Авреха и их месте в историографии см.: Ганелин Р. Ш. Творческий путь А. Я. Авреха//История СССР. 1990. № 4.

Р. Уортман (США)

НИКОЛАЙ II И ОБРАЗ САМОДЕРЖАВИЯ

В России XIX—XX вв. политический ритуал являлся отражением тех мифов, которые несли в себе цели и ценности самодержавной власти. Политический ритуал не просто служил цветистым задником на сцене политической жизни, но являлся аспектом политической власти, необходимым для демонстрации величия и легитимности императора и правящей элиты. Во время дворцовых церемоний и праздников царь восславлялся в терминах «героической истории» (мы используем здесь выражение Маршалла Салинса), которые наделяли династию и ее слуг сверхчеловеческими свойствами, берущими начало в мифическом прошлом. Эти мифы окутывали царскую власть аурой нездешнего могущества, перед которой благоговела и которую отчасти разделяла с императором правящая элита, и одновременно в политической действительности русского государства делали каждого из монархов непререкаемым авторитетом.[1]

Русский император сохранял абсолютную власть до начала XX в., и потому политические мифы и связанные с ними представления продолжали играть заметную роль вплоть до самого падения династии. В последние десятилетия XIX в. для защиты абсолютной власти монарха от требований разделить ее с другими политическими силами начал использоваться новый миф.

В разгар революционных волнений и интенсивного экономического развития Николай II предпринимал попытки изменить образ монарха в рамках новых представлений о власти. Изменение мифа произошло после «кризиса самодержавия», пришедшегося на время правления Александра III. До 1881 г. образ царя был обусловлен имперским мифом петровских времен, в котором русский император представал как героический и богоподобный носитель западных культурных ценностей и воплощение идеи секулярного государства.[2] Александр III обосновывал свою консервативную политику славянофильским, религиозным, националистическим «нарративом о власти», пришедшим на смену мифу секулярности. Идеализированный период монархии был отодвинут новым мифом со времен правления Петра Великого назад, в эпоху Московского государства XVII в., которая теперь представала как время гармоничного «союза царя и народа», не опосредуемого какими-либо законами или правительственными органами. Эта идеализация Московского государства содержала в себе неявный отказ от многих из тех ценностей самодержавия, которые оно разделяло до 1881 г., таких, как законность, рационализм и верховенство царской бюрократии, ныне часто называющейся «средостением» между правителем и народом. В этом отношении национальный миф был отличен от доктрины «официальной народности» Николая I, с которой он имел некоторые общие принципы и риторические фигуры.

Парадоксально то, что, пользуясь мифом о нации, Александр III и Николай II следовали примеру своих предшественников и заимствовали культурные модели европейских правителей, являвшихся их соперниками. Во второй половине XIX в. европейские монархи начали представлять себя национальными лидерами. В поисках поддержки масс они взывали к национальным чувствам, что ранее рассматривалось бы как угроза монархической легитимности. Монархи теперь заявляли себя носителями национальных традиций, открытых или в какой-то степени выдуманных ими для того, чтобы продемонстрировать свою историческую роль (Эрих Хобсбаум называл это «изобретением традиции»). Однако подобные аппеляции несли в себе опасность пробуждения враждебного отношения масс к наследным привилегиям и могли повлечь за собой дальнейшую эрозию традиционного уважения к власти монарха.

В России эти противоречия между мифом о нации, с одной стороны, и культурными и институциональными традициями — с другой, оказались особенно острыми. Со времени Петра Великого русские императоры заявляли себя в качестве европей-

ских монархов и побуждали российское дворянство перенимать манеры, вкусы и культуру западных дворян. Администрация и армия имитировали своих европейских двойников, и их европейский «я-образ» находил отражение в дворцовых церемониях.3 Несмотря на историческую риторику и аллюзии, идеализация допетровской Руси была глубоко антиисторичной и антитрадиционной, она побуждала царя черпать руководящие идеалы и образцы деятельности больше в отдаленном и туманном утопическом прошлом, чем в наследии своих недавних предшественников. Понятие национальной монархии имело в высшей степени разрушительные последствия: оно лишило основы именно те ценности и социальные группы, посредством которых русские монархи осуществляли правление на протяжении периода длительностью около двух веков.

В результате, начиная с царствования Александра III, мы можем наблюдать возрастающее несоответствие между политическим мифом и политическим ритуалом. Монархическая риторика превозносила Москву и московские традиции, но, если исключить несколько поездок императора в Москву и проведенную там церемонию коронации, церемониальным центром самодержавия оставался Петербург.[4] Российский монарх был одновременно петербургским императором, носящим гвардейскую форму и возглавляющим общественную жизнь европеизированной элиты, и московским царем, пытающимся возродить византийский иератический стиль. И в то же самое время он стремился казаться народным русским царем, отвечающим простонародным вкусам и приверженным неопределенному эгалитарному антиинтеллектуальному духу, который, как это считалось, был свойствен крестьянам.

Противоречащие друг другу ценности, присущие этим ролям, за короткий период царствования Александра III не были заявлены открыто. Затворнический образ жизни Александра III, его резкие и грубые манеры способствовали созданию впечатления о нем как о «мужицком царе», что в то же время не входило в противоречие с придворной светской жизнью, которую он оставил в руках императрицы. Однако Николай II, пытаясь согласовать между собой миф и ритуал, выявил их принципиальную несовместимость. Николай II не казался убедительным в роли наследника Петра Великого или Николая I. Модель власти не была в то же время унаследована им от отца. Хотя Николай разделял политические взгляды Александра III, он испытывал по отношению к нему чувство собственной неполноценности, понимая, что никогда не сможет полностью заменить его. Скорее, он искал свой политический образ среди того набора ролей, который представлялся мифом о нации. Эти роли преодолевали противоречия между мифом и ритуалом и давали ему санкцию нации на единоличную абсолютную власть, в то время как для двора он продолжал играть, хотя и без вдохновения, роль императора петровского образца.

«Московский» царь

Николай II взошел на трон немногим больше чем десятилетие после того, как символической основой самодержавия вместо секулярного мифа абсолютизма, имеющего религиозную поддержку, стало религиозное обоснование неограниченного секулярного самодержавия. Сразу же после смерти отца Николай открыто заявил о своем намерении защищать самодержавие в терминах мифа о нации. В манифесте, опубликованном при его восшествии на престол, он выражал надежду, что народ не забудет о том, что «сила и крепость Святой Руси — в ея единении с Нами и в беспредельной Нам преданности».[5] Так впервые слова «Святая Русь» и понятие «единства» правителя и народа появились в «Манифесте о восшествии на престол».

Однако Николай вводил миф о нации совершенно не так, как его отец. При Александре III миф определял отношение к политической власти в трех аспектах. Во-первых, он освящал личный авторитет царя как помазанника Божия, дискредитируя ценности законов и институтов, связанные с конституционализмом. Во-вторых, он делал православную церковь основной выразительницей национальных ценностей, которые заменили теперь материальный прогресс и национальное благополучие в качестве главных целей самодержавия. В-третьих, он оправдывал и прославлял сословные учреждения, дворянство и крестьянскую общину в качестве социальной основы царской власти.

Николай, следуя примеру своего отца, поддерживал три этих принципа, однако первый из них — царская власть как основанная на личном и религиозном авторитете — заслонил и впоследствии подорвал два других. Он уважал церковь и, насколько это было для него возможно, государственные институты дворянства и крестьянства, однако институциональные воплощения мифа были отодвинуты на второй план его нуждой в том, чтобы переживать непосредственный личный религиозный опыт, делая это открыто для окружающих. Московия семнадцатого века дала ему первую модель личного правления, основанного на религиозном вдохновении; он верил, что воскрешает то время, когда царь располагал личной властью, полученной от Бога, без каких-либо препятствий со стороны европеизированной бюрократии. Разумеется, этот политический вариант возрождения средневековья был достаточно мало связан с фактами истории семнадцатого века.

Первая после воцарения публичная демонстрация московитских ритуалов была предпринята Николаем в 1900 г., когда он готовился к Пасхе, важнейшему празднику в православном календаре. Когда в марте 1900 г. императорская семья прибыла в Москву для пасхальных торжеств, это было первым императорским посещением города во время Пасхи после Николая I в 1849 г. Празднование было широко освещено в прессе. Кроме статей в газетах, правительство опубликовало специальный от-

чет, который был разослан бесплатно 110 тыс. подписчикам «Сельского Вестника», органа Министерства внутренних дел. Параллели с семнадцатым веком были намеренно подчеркнуты.[6]

В рескрипте на имя московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, доводившегося императору дядей, Николай сообщает об осуществлении своего «горячего желания» провести Страстную Неделю в Москве, «среди величайших народных святынь, под сенью многовекового Кремля». Он писал, что обрел единение со своим народом, «с притекающими в храмы верными чадами нашей возлюбленной церкви» и что «тихая радость» наполнила его душу. Встреча Пасхи вместе с предстоящими в храме давала ему духовный мандат: «В молитвенном единении с Моим народом Я подчерпываю новые силы на служение России для ея блага и славы».[7]

Вдохновленный этими событиями, Николай все более проникался уверенностью в иератическом характере своей политической власти. Министр внутренних дел Д. С. Сипягин поддерживал этот «я-образ» Николая — образ Московского царя, получившего божественную санкцию. Он убеждал Николая в том, что Бог, а не народ влияет на ход событий, и что царь является избранником Божиим. Это поощряло Николая и дальше не обращать внимание на советы своих министров.[8] Сипягин начал имитировать патриархальные обычаи и обряды Московии. Он носил платья XVII в. и во время визитов к царю старался соблюдать обряды московского двора. Он перестроил обеденный зал в неоклассическом здании своего министерства так, чтобы он стал похож на Грановитую Палату в Кремле, и сделал на одной из стен роспись, изображающую царя Михаила Федоровича в 1613 г.

Самым зрелищным развлечением в старом московском стиле был костюмированный бал в феврале 1903 г. Николай рассматривал его не как обычный маскарад, но как первый шаг к восстановлению обрядов и костюмов московского двора. Придворные получили указание явиться на бал в одежде XVII в. Музеи обшаривались в поисках картин, художники и портные нанимались для кройки и шитья костюмов за безумные деньги. Придворные явились на бал наряженные как бояре, окольничие и сановники других рангов Московского государства XVII в. Их жены пришли одетыми как московские дамы, их платья были расшиты фамильными драгоценностями. Дворцовая охрана была наряжена в костюмы стрельцов. Николай появился в царском платье из золотой парчи и царском венце Алексея Михайловича, а Александра, как первая из жен Алексея Михайловича, царица Мария, была одета в специально сшитое платье из серебряной парчи. В ее митре сверкал огромный изумруд, окруженный алмазами. «Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми»,— записал Николай II в своем дневнике. Но придворные рассматривали этот бал только как очаровательь-

ное развлечение, и вскоре русско-японская война, а затем и революция воспрепятствовали следующим новшествам в духе старой Москвы.[9]

Богомолец

Роль Московского царя была церемониальным выражением национальных и исторических корней русского самодержавия. Роль смиренного христианина, обращенного к святым старцам, открывала связь царя с народом, тот национальный дух, который он воплощал в себе. Как Николай, так и Александра находили формальную структуру церкви недостаточно подходящей для того особого вида религиозности, который, как они считали, был бы наиболее приличествующим русскому царю. Александра считала, что в ее духовном развитии гораздо большую, чем церковь, роль сыграли аскетические личности, рассеянные среди народа, старцы, отшельники и проповедники. В. И. Гурко отмечал, что ее дворец напоминал дом старого русского купца. Ее вера была глубоко личной, напряженной и мистичной, что отталкивало двор и высшее петербургское общество, члены которого склонны были рассматривать подобный мистицизм как признак душевного расстройства.[10]

Проявление такой личной религиозности, выходящей за рамки церковной жизни, вряд ли было характерно для русских правителей. Оно отражало влияние духовных учений Запада, выраженных с помощью национальной риторики. Александра приехала в Россию со склонностями, уже проявлявшимися у ее матери, Алисы, которая подпала под влияние спиритуалистического учения Давида Штраусса в те годы, когда его слава уже начала меркнуть.[11] Проблемы, стоявшие перед Александрой,— сначала связанные с рождением наследника, а затем с гемофилией царевича,— только усиливали ее зависимость от сверхъестественных средств их решения, которая была характерна и для Николая. Император и императрица искали вмешательства чудесных сил, когда земные средства уже были исчерпаны,— что было прямо противоположно доминировавшему до 1881 г. тезису о сверхчеловеческой мощи правителя.

В 1901 г. Александра и Николай оказались под влиянием французского «врачевателя душ» и гипнотизера Филиппа Вашо (Vachot). «Месье Филипп» проводил сеансы, во время которых он вызывал дух Александра III, дававшего Николаю указания об управлении государством, и сумел убедить императрицу, что он сможет с помощью сверхъестественных средств способствовать долгожданной беременности мальчиком, наследником Николая. Когда эта беременность оказалась ложной, Александра стала искать источник духовных сил в российской земле и начала поклоняться старцу Серафиму Саровскому.[12] Серафим был монахом первой половины XIX в., имел многих почитателей в доме Романовых, включая и Александру Феодоровну (суп-

ругу Николая I), и Марию Александровну. О нем было известно, что он предсказал долгое и славное царствование на Руси в начале XX в., которое должно было наступить после трудного периода,— это пророчество, очевидно, привлекало Николая. Серафим славился также тем, что своими молитвами помогал женщинам, страдающим от бесплодия, но главная его притягательная сила для российской императрицы состояла в его близости Деве Марии и в том, что он подчеркивал как важность девства, так и особую роль женщины в религиозном служении.[13]

Поклонение Деве, как замечает Георгий Федотов, не было характерным для русского православия. Оно следовало примеру культа Девы Марии на Западе. Этот культ выражал то, что Виктор и Эдит Тернер называли «возрождающимся женским началом», где женщина была «доминантным символом чувственно ощущаемого». Во время усиления секуляризации Дева Мария служила образом матери, «упрекающей род людской в забвении веры».[14] Александра Федоровна сделала Деву Марию одним из главных символов николаевского самодержавия.

Первым проявлением этого почитания была канонизация Серафима Саровского, которой Александра требовала вопреки возражениям прокурора Священного Синода Константина Победоносцева и сопротивлению многих иерархов. Николай настоял на канонизации, и церемония обретения мощей состоялась в Сарове, Тамбовской губернии. В июле 1903 г. Саров стал русским двойником Лурда, национальным центром поклонения чудотворцу, и около 150 тыс. верующих собралось в Саровской пустыне. Останки Серафима были эксгумированы, но ни местный епископ, ни петербургский митрополит не подтвердили их нетленности. Тем не менее соответствующие церковные службы состоялись, и событие получило широкое освещение в прессе. Гроб был обнесен вокруг монастырского соборного храма три раза. Несущие его, среди которых было несколько великих князей, сменяли друг друга, и лишь царь нес его на всем протяжении шествия процессии. Императрица, несмотря на слабое здоровье, отстояла в храме всю канонизационную службу, длившуюся четыре с половиной часа.[15]

Поклонение саровскому чудотворцу имело в отличие от Лурда и политический смысл. Оно должно было продемонстрировать связь между царем и крестьянством в момент голода и неспокойствия в деревне. По-видимому, тем человеком, который задумал сцену с царем-богомольцем, был министр внутренних дел Вячеслав Плеве. «Московские ведомости» разъяснили политический смысл произошедшего: «Вокруг святых останков Преподобного ныне собралась, можно сказать, вся Земля Русская. Это такое представительство, перед внушительностью которого блекнут все возможные всенародные голосования». Эти события произвели сильнейшее впечатление на императора и императрицу и укрепили их веру в любовь и преданность народа.[16]

Для Николая и Александры поклонение Серафиму Саровскому стало символом их неизменной преданности Богу и народу. На следующий год, когда Александра наконец родила сына, назвав его Алексеем в честь царя Алексея Михайловича, она была убеждена в том, что это произошло благодаря помощи Преподобного Серафима. Николай повесил икону Серафима в своем кабинете. Позднее Александра поклонялась образу и личным вещам чудотворца, хранившимся в Федоровском соборе в Царском Селе.[17]

«Венценосный труженик»

Политическая ситуация после революции 1905 г. и создания представительных органов сделала необходимой новую режиссуру появлений Николая II перед массовой аудиторией. На протяжении 1909—1913 гг. Николай находился в фокусе крупнейших юбилейных торжеств, которые представляли его как лидера, пользующегося широкой поддержкой масс. Инсценированные для того, чтобы продемонстрировать неувядающую привлекательность монархизма, эти события явились одним из аспектов символической конкуренции начала столетия между главами государств. Юбилеи королевы Виктории в 1897 г., Франца-Иосифа в 1908 и кайзера Вильгельма в 1912 гг. стали поводом для эффектных демонстраций царственности и благородства монархов перед публикой. Эти празднества представляли их, как писал Дэвид Кэннэдин, «в качестве символов согласия и преемственности, которые почитаемы всеми».[18]

Но во время торжеств, прославляющих императора, не прозвучало ноты примирения или стремления к национальному согласию. Скорее, они представляли собой попытку сплотить народные массы вокруг царя, противопоставив их всем тем, кто поддерживал новые представительные органы. Празднование годовщины Великих Реформ, которое могло бы дать основание для примирения, прошло чисто формально. Важнейшими юбилеями стали двухсотлетие битвы под Полтавой (1909 г.), столетие Бородинского сражения (1912 г.) и трехсотлетие избрания первого царя из дома Романовых (1913 г.). Юбилейные торжества преобразили великие исторические победы в детали специально составленного продуманного сценария, в события, подтверждавшие собственную императорскую концепцию российской политической реальности. Они подтверждали веру Николая в то, что большинство населения, а особенно крестьянство, лояльно по отношению к нему, что, как заметил британский консул в Петербурге, «позволило Правительству в значительной степени игнорировать смятение политиков».[19]

Новый императорский стиль, подчеркивавший народность монарха, был продемонстрирован во время празднования годовщины Полтавской битвы. Вместо принужденной и формальной встречи с представителями народа первых лет царствования

Николай теперь дружески беседовал с крестьянами, предпочитая рядовых крестьян старшинам. Свыше 2 тыс. крестьян, разбитых по уездам, располагались вокруг царя, рядом с которым стоял Столыпин.[20] Празднества нескольких следующих дней после Бородинских торжеств, проходившие в Москве, сохранили особую религиозную настроенность и рассеяли сомнения по поводу лояльности города, сомнения, томившие императора с 1905 г. Во время приема, устроенного в честь императора и императрицы московским дворянством, после пения «Боже, царя храни» и исполнения «Увертюры 1812 г.» группа губернских предводителей дворянства образовала вокруг царя большой полукруг. Московский предводитель А. Д. Самарин преподнес ему знамя, расшитое по древнерусскому образцу, символизирующее единство дворянства и короны. Страстная речь Самарина, в которой он призывал дворян отдать свою жизнь за царя, как это было сто лет тому назад, растрогала Николая и Александру до слез. Его упоминание о царе как об «абсолютном монархе» откровенно противоречило Октябрьскому манифесту и наделало много шума после завершения торжества.[21]

Празднование трехсотлетия дома Романовых в 1913 г.— первое и единственное празднование юбилея царского дома — дало явное церемониальное подтверждение николаевской концепции политической действительности в момент социального и политического кризиса. Настойчивые и нетерпеливые выражения недовольства ролью Распутина, волна забастовок, захлестнувшая страну после событий 1912 г. на Ленских золотых приисках, заставляли Николая все более недвусмысленно возвращаться ко временам доинституционного Эдема, когда царь безоговорочно почитался своим народом.

Первая часть праздничных церемоний, посвященных избранию царя Михаила Земским собором, проходила в Петербурге в феврале. События подтвердили падение престижа чиновничества и петербургской знати в контексте официально проповедуемого мифа. Майские празднества также дали возможность Николаю II проявить недоверие к бюрократии и свою связь с народом. Приветствия, полученные по поводу трехсотлетия дома Романовых Николаем и Александрой от волжских городов и от Москвы, укрепили их уверенность в том, что народ с ними. Основная часть торжеств, посвященных юбилею восшествия на престол Михаила Федоровича в 1613 г., состоявшаяся в Костроме, наиболее удовлетворила их. В Ипатьевском монастыре недалеко от Костромы Николай был благословлен Феодоровской иконой Божией Матери, тем самым была повторена церемония благословения на царствование царя Михаила Федоровича. Огромные толпы крестьян присутствовали при этом событии, расположившись возле стен монастыря.[22] После богослужения в костромском Успенском Соборе и освещения монумента в честь трехсотлетия дома Романовых последовавший в летний павильон Николай был встречен громовым «Ура!» и овациями

собравшейся толпы. Оркестр исполнял мелодии маршей из «Жизни за царя». Когда настало время петь «Боже, царя храни», народ опустился на колени. Николай стоял перед тысячами коленопреклоненных крестьян, и его глаза были наполнены слезами. Все присутствующие также были тронуты.

Путешествие по Волге убедило Мориса Палеолога, посла Франции, в преданности народа царю: «Вид государя и государыни во всем сиянии их священного могущества глубоко тронул народную душу, душу масс, душу простых людей».[23] Только великий князь Николай Михайлович, согласно одному из отчетов о событии, почувствовал угрозу, таящуюся в поддержке народа. Глядя вниз на толпу из павильона, он спросил Николая: «А ведь они совершенно такие же, какими были в XVII веке, выбирая на царство Михаила, это плохо, как ты думаешь?». Николай промолчал.[24]

Николай II не прислушался к предупреждению своего кузена, не усмотрел никакого риска в ставке на симпатии крестьянства. Он верил в то, что овации выражали те же самые чувства, что и в 1613 г., сохранившиеся к 1913 г. А. И. Савенко, один из лидеров националистов, писал своей жене 1 июня 1913 г.: «Восторг, с каким встречала страна государя во время его поездки, привел их (царя и Н. А. Маклакова, министра внутренних дел) к тому лояльному выводу, что страна правее Думы. О, горькое заблуждение! В действительности ведь страна много левее Думы». Осенью 1913 г. и весной 1914 г. Николай, ощущая поддержку народа, рассматривал меры по сведению полномочий Думы к совещательному праву представлять взгляды большинства и меньшинства, что означало отмену Манифеста 17 октября 1905 г.[25]

В поисках народной поддержки Николай и его советники прибегли к политиканству. Они попытались развеять ауру, созданную расстоянием между императором и его подданными, придав ему сходство с простым смертным. Таким был образ царя в официальной популярной биографии «Царствование Государя Императора Николая Александровича», опубликованной в газетах и вышедшей отдельной книгой в 1913 г. (в следующем году биография появилась во французском и английском переводах). Автор биографии, профессор и генерал Андрей Георгиевич Ельчанинов, был членом императорской свиты. Хотя он восхвалял прошлое России, биография оказалась абсолютно современной по своему назначению и содержанию. Она представляла собой беспрецедентное описание жизни правящего царя, попытку сделать правителя в эпоху политизации масс объектом их симпатии.

Открывающий книгу Ельчанинова наиболее обширный раздел рисует неустанные труды Николая: ныне прилежание, а не героизм отличают русского царя. Император был «венценосным тружеником», чьи труды не шли ни в какое сравнение с трудом обычных людей. По словам Ельчанинова, Николай работал не-

утомимо, с семи или восьми часов утра до поздней ночи. Ельчанинов говорит о молитве как о другом общем знаменателе для царя и народа. Он описывает императорскую семью верующей так же, как простые смертные. Император являл собой «образец царя благочестивейшего», посещая храм по воскресеньям и на все церковные праздники с семьей.[26] В армии Николай также исполнял свой долг наряду с соотечественниками. Царь, которому приходилось носить ранец солдата 16-го стрелкового полка, распорядился о занесении своего имени в полковую летопись как участника первой кампании и получил соответствующее удостоверение. Он был крестьянским «царем-батюшкой», их «добрым отцом и первым другом». «Ни одна забота о крестьянине-пахаре не прошла без деятельного участия царя»,— пишет Ельчанинов. Он описывает теплые чувства, которые испытывали друг к другу крестьяне и царь во время посещения им крестьянских изб и во время празднеств, таких, например, как в Полтаве. Он пишет, что Николай «заметно придерживается русских блюд», любит «квас, так называемый монастырский, способ приготовления которого вывезен из Саровской пустыни».[27] Фотографии в различных изданиях подчеркивали доступность царя и его приверженность труду. Но эти тусклые снимки вряд ли могли сделать более величественным образ царя. Это не «портреты короля», иконографически представляющие власть монарха. Это — фотографии невнушительного заурядного гвардейского офицера, которого трудно отличить от других офицеров, стоящих поблизости.

По случаю трехсотлетия правящего дома правительство выпустило первые почтовые марки, изображающие царей династии Романовых, в том числе и Николая II, и эта попытка популяризации царя вызвала большие разногласия. Многие из сторонников монархии осудили новые марки как осквернение священного образа царя. Епископ Никон в официальном органе Священного Синода крайне резко осудил подобную коммерциализацию и рекламу. В ценах, проставленных на марках — три копейки за Александра III, одна копейка за Петра Великого,— он усмотрел унижение благочестивых царей, почитаемых народом. «Мало того, сии царские портреты обязательно пачкаются штемпелем, как будто ради вящего над ними поругания»,— писал он и задавался вопросом, живет ли он, Никон, еще в России, «или же пришел жид и покорил наше царство?». Многие почтмейстеры отказывались пачкать лицо императора штемпелями и оставляли марки непогашенными. Правительство было вынуждено вскоре прекратить выпуск новых марок.[28]

Борясь за возвращение себе абсолютной власти, Николай II противопоставил себя традициям русского самодержавия и взялся за исполнение ролей, разрушительных для существующих институтов не меньше, чем программы оппозиционных партий. Будучи плотью от плоти европеизированного двора и бюрократии и позволяя себе такие утонченные развлечения,как теннис

и роскошные автомобили, он создавал свои особые образы правителя — благочестивого московского царя, воплощающего строгую приверженность ритуалу, богомольца, воплощающего духовное смирение и мистическое вдохновение, простолюдина, проходящего со своим узелком многие версты, дружески беседующего с крестьянами, любящего борщ и квас. Несмотря на претензии на национальную специфику, эти образы были ответом на европейские модели национализации монархии и демократизации политических процессов и религии. Они вовлекли царя в политическую борьбу за власть, лишая его ауры святости, необходимой для монархического правления. Многие выдающиеся государственные деятели были убеждены в том, что он, поощряемый императрицей и Распутиным, предал интересы государства ради мистических и славянофильских фантазий.[29] Он ускорил наступление того, что Хейнц Доллингер называл «потерей святости» и с чем европейские монархи сталкивались на протяжении XIX и XX вв.[30]

Символическое отречение Николая II от престола состоялось задолго до того, как он оставил трон в феврале 1917 г. Его представления о правлении противопоставляли его основным устоям самодержавной власти — государству, церкви и европеизированным элементам дворянства. В то же время он держался за традиционные прерогативы самодержца и продолжал опираться на дворянство и церковь как на устои своей власти, пытаясь использовать призывы к народу без желания маневрировать или идти на необходимые для манипулирования симпатиями компромиссы. Парадоксально поэтому, что сейчас Николай II стал служить воплощением символов и традиций того самого русского самодержавия, которому именно он помог разрушиться.

[1] Tudor H. Political Myth. New York, 1972; Sahlins M. Islands of History. Chicago, 1985. P. 35—38; Значимость основной познавательной стороны политического ритуала была объяснена Стивеном Лукесом: Lukes S. Essays in Social Theory. London, 1977. P. 67—68.

[2] О священном характере монархии в России см.: Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России//Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 47—153; Cherniavsky M. Tsar and People. New Haven. Connecticut, 1961.

[3] Лучшее недавнее исследование о правилах и приказах русского двора — Шепелев Л. Е. Отмененные историей: чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977.

[4] См.: Wortman R. Moscow and Petersburg: The Problem of Political Center in Tsarist Russia. 1881—1914; Rites of Power: Symbolism, Ritual and Politics Since the Middle Ages/Ed. by Wilentz S. Philadelphia, 1985. P. 244—274.

[5] ПСЗ III. 1894. № 11014.

[6] Царское пребывание в Москве в апреле 1900 года. СПб., 1900.

[7] Там же. С. 53—56.

[8] Захарова Л. Г. Кризис самодержавия накануне революции 1905 года//Вопросы истории. 1978. № 8. С. 128; Половцов А. А. Дневник. Красный архив. 1923. № 3. С. 136.

[9] Grand Duchess Maria Georgievna. Memoirs (Personal Collection of David Chavchavadze). P. 129—132; Воейков В. Н. С царем и без царя. Хельсинки,

1936. С. 38—40; Захарова Л. Г. Указ. соч. С. 131; Мосолов А. При дворе императора. Рига [Б. г.]. С. 18; Альбом костюмированного бала в Зимнем Дворце в феврале 1903 года. СПб., 1904; Le journal de Saint-Pétersbourg. 1903. 17 February. P. 1.

[10] Гурко В. И. Царь и царица. Париж, 1927. С. 52—54; Spiridovitch A. Les dernières années de la cour de Tsarskoe-selo. Paris, 1928—1929. V. 1. P. 351; Viroubova A. Memoirs of the Russian Court. New York, 1923. P. 54.

[11] Paléologue M. Alexandra-Féodorovna, imperatrice de Russie. Paris [Plon. n. d.]. P. 51—55. Палеолог, восхищаясь тем, что германская принцесса чувствует «убедительную и пленительную привлекательность русского мистицизма» (P. 51), находит объяснение ее религиозному увлечению в ее религиозном опыте в Германии.

[12] Pares B. The Fall of the Russian Monarchy. New York, 1961. P. 131; Захарова Л. Г. Указ. соч. С. 126 —127; Половцов А. А. Указ. соч. С. 152—153, 156—158.

[13] Zander V. St. Seraphim of Sarov. Crestwood. New York, 1975. P. 35, 81; Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: дневник 1855—1882. М., 1929. С. 92—93; Захарова Л. Г. Указ. соч. С. 127.

[14] Fedotov G. P. A Treasure of Russian Spirituality. New York, 1965. P. 244; Warner M. Alone of Her Sex: The Myth and Cult of the Virgin Mary. New York, 1976. P. 236—239; Turner V., Turner E. Image and Pilgrimage in Christian Culture. New York, 1978. P. 208—211, 231—232, 236.

[15] Тимофиевич А. Преподобный Серафим Саровский (Spring Vallev. New York, 1953). P. 110—111; Мосолов А. Указ. соч. С. 101—102; Московские ведомости. 1903. 27 июля; Захарова Л. Г. Указ. соч. С. 127—128.

[16] Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в 1902—1907 гг. Л., 1981. С. 74—76; Мосолов А. Указ. соч. С. 101—105; Московские ведомости. 1903. 19 июля.

[17] Захарова Л. Г. Указ. соч. С. 128; Тимофиевич А. Указ. соч. С. 111—118.

[18] Cannadine D. Splendor out of Court. Royal Spectacle and Pageantry in Modern Britain//Rites of Power... P. 220; Mayer A. The Persistance of the Old Regime: Europe to the Great War. New York, 1981. P. 135—146.

[19] Lieven D. Russia and the Origins of the First World War. New York, 1983. P. 55—56.

[20] Гирс А. Светлые и черные дни//Часовой. 1953. Март. С. 328.

[21] Spiridovitch A. Op. cit. V. 2. P. 266; Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868—1917. Нью-Йорк, 1954—1955. Т. 2. С. 225—226.

[22] Празднование трехсотлетия Дома Романовых в Костромской губернии 19—20 мая 1913. Кострома, 1914. С. 55—59; Московские ведомости. 1913. 21 мая.

[23] Shakovskoi V. N. Sic transit gloria mundi: 1893—1917. Paris, 1952. P. 42; Назанский В. И. Крушение великой России и Дома Романовых. Париж, 1930. С. 109; Наумов А. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 233; Paléul. M. Op. cit.P. 123—124.

[24] Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922. С. 15—16. Горькому рассказал об этом инциденте вел. кн. Сергей.

[25] Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Париж, 1933. Т. 2. С. 156; Кризис самодержавия в России. 1895—1917. Л., 1984. С. 526—527; Аврех А. Я. Царизм и IV Дума. 1912—1914 гг. М., 1981. С. 114—115.

[26] Ельчанинов А. Царствование государя императора Николая Александровича. СПб.; М., 1913. С. 7—8, 16, 31, 66—72.

[27] Там же. С. 38, 73, 76—85, 87—97.

[28] Нива. 1913. 5 янв.; Еп. Никон. Вера Христова не терпит двоедушия. Церковные ведомости. 1913. 9 февр. С. 283—284; Cówles V. 1913. An End and a Beginning. New York, 1967. P. 101.

[29] Коковцов В. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 154—156; Iswolsky A. Memoires. Paris, 1923. P. 284—298; Spiridovitch A. Op. cit. V. 2. P. 356—357, 401—402.

[30] Dollinger H. Das Leitbild des Bürgerkönigtums in der europäischen Monarchie des 19 Jahrhunderts//Werner K. Ausg. Hof, Kultur, und Politik im 19 Jahrhundert. Bonn, 1985. S. 337, 341—343.

Г. Фриз (США)

ЦЕРКОВЬ, РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ЗАКАТЕ СТАРОГО РЕЖИМА

Религиозность народа и легитимность монархии. Предлагаемый доклад посвящен взаимоотношению религии и политики в условиях революционной ситуации в России в начале XX в. Существующая историография о революционной ситуации в России в начале XX в. практически оставляет без внимания религию в широком смысле этого слова как комплекс идей и ценностей, влиявший на восприятие действительности отдельным человеком или группой лиц и ищет истоки назревшего кризиса либо в политических, либо в социально-экономических отношениях. Между тем изучение развития политической культуры накануне падения царизма очень важно, поскольку именно она должна была определить нормы поведения общества и его отношение к вопросу о легитимности старого строя. Русское православие безусловно составляло важную часть традиционной политической культуры и, хотя оно не смогло способствовать интеграции религиозно-этнических меньшинств (скорее, наоборот), оно все еще оказывало влияние на настроение и мышление широких слоев населения старого политического центра страны.

В настоящей работе ставится вопрос о том, способствовало ли православие политической стабильности в стране или подрывало ее. В существующей историографии изучается роль института (церкви) или сословия (духовенства), а не самой религиозной культуры. В данном случае делается попытка отойти от этой традиции и рассмотреть влияние религиозности на государственную и общественно-политическую жизнь.

В начале XX в. значение религиозного фактора возросло — не потому, что народ стал набожнее, а потому, что царский режим лишился других традиционных основ своей легитимности. В XVIII и XIX вв. в представлении верноподданного обывателя законность царизма покоилась, кроме религии, на трех других основах: военной и политической мощи государства, его способности обеспечить благосостояние народа и на восприятии в народном сознании образа царя как «вождя» своего народа. Эти основы к концу XIX в. во многом утратили свое значение. После поражения в Крымской войне международное положение России все чаще давало повод для недовольства в стране режимом и его некомпетентностью. Нараставший кризис в деревне и городе (безработица и голод, бунты и забастовки) служил явным доказательством того, что царизм не только не был в состоянии гарантировать благосостояние народа, но и сам был причиной обнищания страны. Если многие из российских монархов (от Петра Великого до Александра III) были в том или ином отношении яркими личностями или могли казаться таковыми, то Николай II ни физически, ни духовно не соответ-

ствовал образу императора послепетровской России. Об этом свидетельствовали презрительные замечания в его адрес уже со дня его коронации, характеризовавшие его как «жалкого провинциального актера в роли императора, ему не подходящей».[1] В результате всего этого к началу XX в. вопрос о «божественной легитимности» монархии приобрел новую значимость.

С целью сакрализации самодержавия проводился целый ряд мер, но наиболее сенсационный характер приняла кампания канонизации святых, достигшая небывалого уровня. Если с конца XVII до конца XIX в. состоялось всего четыре канонизации, то в царствование Николая II их было шесть и велись приготовления ко многим другим. Теоретически успешная кампания причисления к лику святых религиозных героев народа должна была способствовать сближению самодержавия с народно-религиозной культурой и готовности народа смириться с неудачами во внутренней и внешней политике.

Церковно-религиозная политика царского правительства, в частности его попытки способствовать дальнейшей сакрализации самодержавия в начале XXв., уже рассматривалась в историографии, но непременно — с точки зрения намерений государства. Другое дело — эффективность этой политики, ее последствия и воздействие на народ. Цель настоящей работы состоит именно в том, чтобы выяснить, насколько успешными, в том числе и с точки зрения постановочной, т. е. использования церковных служб, были канонизации и в какой мере они способствовали укреплению авторитета царской власти. Принимая во внимание малограмотность населения (особенно в деревне) и значение святых в православии, процесс канонизации — как своеобразный «духовный спектакль» — мог иметь гораздо большее воздействие на народ, чем какие бы то ни было указы или распоряжения из центра. При удачном исполнении прославление могло бы повысить духовный престиж царя и укрепить его связи с верующими разных сословий и классов. В докладе рассматриваются три канонизации — Серафима Саровского (1903 г.), Патриарха Гермогена (1913 г.) и Иоанна Максимовича (1915—1916 гг.) — как наиболее известные среди современников и как оказавшие наибольшее воздействие на общество.

Канонизация Серафима Саровского. Причисление Серафима к лику святых стало важным событием 1903 г. Это объясняется частично популярностью самого Серафима, но прежде всего личной ролью императора в приготовлении и даже исполнении обряда прославления. Николай II считал прославление Серафима одним из самых ярких и трогательных моментов в своей жизни. «Во время крестного хода,— записал Николай II в своем дневнике,— мы несли гроб на носилках. Впечатление было потрясающее».[2]

В саровских торжествах участвовали не только знать и пресса, но и широкие массы населения либо в качестве паломников, либо через одновременно исполненные обряды по всей стране.

Ритуал прославления Серафима Саровского, в котором император принял личное участие, как бы воплощал единство «православия, самодержавия и народности», что часто отмечалось в современной печати.

Но следует отнестись критически к официальной версии об «умилительном единении царя с народом». Сам подбор главного действующего лица — Серафима — оказался спорным и чреватым непредвиденными последствиями. Правда, Серафим давно пользовался вниманием и уважением верующих за его самоотверженный аскетизм и высокую духовность. Предложение прославить Серафима было поэтому не новым: уже в начале 1890-х гг. об этом возбудил ходатайство тамбовский епископ, указав на народную веру в Серафима Саровского и на многочисленные чудесные исцеления у его гроба. Но Св. Синод отнесся скептически к таким просьбам и упорно отказывался их удовлетворить, боясь неоправданного прославления и зная материальную заинтересованность местного духовенства в осуществлении таких ходатайств. Не церковь, а императорская семья оказалась инициатором прославления Серафима. В июне 1902 г. императрица, к изумлению обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, настоятельно потребовала немедленного прославления саровского старца. Ее восхищение Серафимом было вызвано якобы предсказанием последнего, что первая половина царствования ее мужа будет «несчастной», а вторая половина светлой.[3] Мало того, ходили слухи о том, что императорская чета надеялась, что Серафим совершит еще одно чудо — в семье появится наследник. Синод оказался в весьма неловком положении. Он, конечно, не посмел отвергнуть высочайшую просьбу, и ему не оставалось ничего другого, как только нарочито подчеркнуть роль самого императора в решении провести канонизацию Серафима.

Серафим оказался не вполне удачным символом ценностей правящих кругов: он был простым иеромонахом, известным своими духовными подвигами — а не своим образованием, служебным положением или происхождением. Около 15 лет он жил один в лесном скиту, но потом, после того как монастырское начальство заставило его вернуться в монастырь, он строго соблюдал обет молчания еще 5 лет. Именно эти подвиги и аскетизм заняли первое место в его житии и дали ему право на приобретение статуса «старца», обязанного давать духовные советы и светским, и духовным лицам. Его аскетизм, «истинно-христианская подвижническая жизнь», прозорливость и пророчество создали контр-модель ценностям светских или даже церковных элит. В известной степени роскошные торжества в Сарове представляли собою грубую профанацию, поскольку знать не только прославляла Серафима, но и как бы подменила отличавшие его ценности своими: «Гроб с св. мощами был вынесен из Царских дверей и принесен к мраморной раке, помещенной под великолепной золоченой сенью в виде часовни русского стиля, дар их величеств».[4]

3 Заказ № 3277

Уже это обращало на себя внимание. Но для современников, особенно простого народа, важнее всего оказался другой непредвиденный момент: тело Серафима подверглось тлению. Нетленность мощей, хотя по каноническому праву и не была обязательным условием для прославления (требовалось лишь неопровержимое доказательство чудес у могилы святого), тем не менее среди простого народа считалась необходимым признаком святости. Но вопреки ожиданиям и дворцовых кругов, и самого народа, мощи Серафима плохо сохранились. Вопрос о мощах даже вызвал острый конфликт в самой синодальной комиссии, которой было поручено вести расследование о чудесах и представить документы о прославлении Серафима. Тамбовский епископ Димитрий отказался подписать акт прославления. Пришлось его перевести на другое место и назначать нового архиерея. Скандал в Тамбове, конечно, получил широкое разглашение. Синодальная кампания (были опубликованы отдельные статьи в церковной прессе об истинном значении нетленности), разумеется, не смогла поколебать устои народной религиозной культуры. И накануне самой канонизации в Петербурге была распространена прокламация от «Союза борьбы с православием», ставившая под сомнение законность прославления Серафима. Все это заставило петербургского митрополита Антония (Вадковского) опубликовать заявление, в котором он признал, что и «помимо листков о мощах старца Серафима много легкомысленных разговоров даже между людьми образованными, благонамеренными и верующими. Есть сомнение, есть для многих мучительный вопрос: что в гробу?» Антоний дал прямой ответ: «Тело предалось тлению. Кости же и волосы головы и бороды совершенно сохранились. Таково содержание гроба».[5] «Разъяснения» Антония вместе с опубликованием подлинного акта о состоянии мощей оказались беспрецедентными и не могли не произвести удручающего впечатления на верующих, в лучшем случае вызывая недоверие или скорбь: «Это Господь послал нам за грехи наши»,— говорили паломники.[6]

Кроме того, само исполнение канонизации сопряжено было с большими трудностями из-за местонахождения Саровской пустыни, расположенной в 60 км от ближайшей железнодорожной станции. Власти были вынуждены принять экстренные меры: создать специальную комиссию и поручить ей обеспечить паломников (по предварительной оценке ожидалось 100 000 приезжих) транспортом, жильем и питанием. Эти принятые к «всенародному празднику» меры не разрушили вековые барьеры — культурные и социальные,— отделявшие знать от «простого народа». Пока караваны блестящих карет императора и элиты катились в сторону Сарова, простым паломникам пришлось «пройти сотни верст пешком» по нестерпимой жаре.[7] Эти социальные контрасты стали только еще более наглядными в узком микромире Сарова, где собрались представители самых различных слоев русского общества, начиная от самой высокой

знати и кончая юродивыми и нищими. В Саров «идут,— сообщало «Новое время»,— больные, убогие, слепцы, глухие, хромые; иных везут, иные ползут». Казалось, будто самые несчастные пришли в Саров: «И сколько грустного и ужасного в этой толпе! Как велик мир несчастий человека! Какое огромное количество больных и недугующих, калек, слепых, глухих, дурачков, юродивых, расслабленных, припадочных, душевнобольных! Тут встретите все несчастья, какие можно себе представить и какие невозможно».[8] Мало того, эта социальная пропасть углублялась из-за того, что в Сарове не хватало ни жилья, ни питания: за стенами святой обители многим приходилось не только ночевать под открытым небом, но и страдать от голода. Телеграфные агентства сообщали всей России о трудном положении в Сарове: «Хлеба негде купить, все просят хлеба, не денег; ни в монастыре, ни в окрестностях нет хлебных запасов».[9] По существу саровские торжества ярко символизировали беззащитность народных масс и лишний раз показали некомпетентность властей.

И даже в самом обряде прославления отчетливо проявились социальные барьеры. Монастырские стены физически отделили высокопоставленных и «благородных» от простого народа, лишенного прямого доступа к обряду внутри стен самой Пустыни. Вполне понятно, что власти стремились к тому, чтобы избежать катастрофы, подобной той, что произошла на Ходынском поле, но их действия (присутствие большого количества войск и строгий полицейский контроль) неминуемо придали «казенную окраску» всему торжеству. Петербургские газеты сообщали о жалобах простых паломников («вот эти разбойники-то и не пущают») и о том, что «многие из него (народа.— *Г. Ф.*), не добравшись до «угодника божия», не слыхали церковных служб и со скорбью в душе так и пошли назад, домой или по другим монастырям».[10]

В итоге канонизация не имела того громадного воздействия на верующих, как ожидалось. Хотя пресса сообщала о разных исцелениях, они не оказались ни многочисленными, ни впечатляющими. Поток паломников резко снизился по окончании обряда прославления: торжества не превратили Саровскую пустынь в национальную святыню, несмотря на большие усилия со стороны властей, обеспечивших распространение религиозной литературы и одновременное проведение литургии по всей стране в день прославления. Но все это не привело к желаемым результатам, и канонизация 1903 г. не способствовала подтверждению божественной легитимности царской власти.

Канонизация Гермогена. Прославление Серафима не положило конец стремлениям придворных кругов повысить духовный авторитет царизма. Следующие годы ознаменовались волной новых прославлений. Кроме состоявшихся канонизаций, велась подготовка новых, чаще всего под нажимом местных жителей и духовенства, но с «высочайшей» поддержкой. Важно

подчеркнуть, что высшие церковные круги не проявляли большого энтузиазма к таким затеям и упорно сопротивлялись давлению извне, возможно опасаясь профанации из-за поспешности в подготовке прославлений и несоблюдения канонов.

Известное исключение из этого правила представляла собой канонизация патриарха Гермогена в 1913 г.: в отличие от канонизации Серафима она была проведена по инициативе самого духовенства. Правда, формально церковь лишь откликнулась на прошение москвичей, но на самом деле именно церковные круги начали кампанию в честь Гермогена в связи с трехсотлетием со времени его «мученической кончины» в борьбе с польскими «захватчиками». До этого Гермоген не пользовался особой популярностью, несмотря на то что нетленность его мощей многократно была подтверждена (в последний раз — в 1883 г.). Но за год до его прославления Гермоген, символизировавший русский национализм и борьбу со «смутой», стал объектом поклонения паломников, распространивших известие о более чем двухстах исцелениях. Если процесс приготовления к канонизации других длился годы, даже десятилетия, в случае с Гермогеном Св. Синоду понадобилось всего лишь несколько месяцев. Комиссия для расследования поставила себе довольно скромную задачу: избрать и проверить «десять особенно знаменательных чудес».[11]

Облик Гермогена, обрисованный церковной печатью, заслуживает особого внимания, поскольку он говорит немало о мотивах и целях канонизации патриарха. Прежде всего церковная публицистика подчеркивала его общенациональное значение, выражавшееся в том, что могила Гермогена привлекала к себе богомольцев «со всех концов России». Делали упор на то, что Гермоген как бы воплощал в себе русскую народность, что он был не только патриархом, но и «типичнейшим русским человеком».[12] Церковная печать обрисовала Гермогена прежде всего как символ церковности, причем в тесной связи с народностью. Такое представление по сути дела шло вразрез с грандиозными торжествами 1913 г. в честь 300-летия династии Романовых: в то самое время, когда двор императора организовал крупные торжества в честь юбилея, церковь не стеснялась говорить о своей центральной роли в русской истории, часто без упоминания о доме Романовых, сократив известную формулу «самодержавие, православие и народность» за счет первого ее компонента.

Но для церковных кругов главная черта у Гермогена была не его народность и патриотизм, а именно его статус всероссийского патриарха. Следует иметь в виду, что с конца XIX в. православная церковь стала упорно добиваться восстановления патриаршества. Этот вопрос, спорадически поднимавшийся с 1850-х гг., стоял на повестке дня практически всех церковных дискуссий с начала XX в. и открыто обсуждался в печати и в официальных церковных комиссиях. Но правительство не проявляло большой симпатии к таким замыслам и нарочно откладывало созыв поместного собора; государству никак не могло

нравиться стремление церкви к определенной автономии, к ограждению себя от светского вмешательства, в первую очередь со стороны обер-прокурора. Тем не менее формально государство не отказывалось от требований общецерковного преобразования (включая восстановление патриаршества) и тем самым давало повод к надеждам и ожиданиям в церковных кругах. В 1913 г. распространились слухи о том, что канонизация Гермогена может послужить поводом для назначения нового патриарха, как бы в память той роли, которую церковь играла при вступлении на престол новой династии.

Канонизация Гермогена получила большой резонанс из-за совпадения его имени с именем епископа саратовского, который оказался в центре шумного церковного скандала. Саратовский Гермоген, раньше известный благодаря крайне консервативным взглядам, привлек к себе внимание в январе 1912 г. выступлениями против обер-прокурора и Григория Распутина. Первоначально Гермоген восстал против некоторых решений Синода, которые он считал еретическими, но вскоре его протест превратился в бунт против тлетворного влияния извне, исходившего прежде всего из кругов, тесно связанных с Распутиным. В конце концов Гермоген был уволен на покой и отправлен в маленький монастырь в Гродненской епархии. Чтобы имя нового святого не ассоциировалось или попросту не перепуталось с именем бывшего саратовского архиерея, Синод вдруг восстановил древнюю орфографию («Ермоген») для патриарха, но такая запоздалая мера только вызвала новые недоумения и запросы в адрес Синода.

Прославление Гермогена было осложнено еще одним немаловажным обстоятельством: к всеобщему удивлению оказалось, что и его останки плохо сохранились. Это вызвало тем большее разочарование, поскольку недавний осмотр его гроба подтвердил нетленность мощей, но официальная комиссия показала: «Первоначальный гроб святителя не цел и части его перемешаны с честными костьми святителя и прахом от плоти и одежды его». Комиссия Синода вынуждена была принять решение: «Мощи хранить и прославить под спудом».[13] Опять-таки страна — и режим — как бы лишились знака «божьей милости».

На фоне саровских торжеств было особенно заметно, что император даже не соблаговолил присутствовать на канонизации Гермогена. Он лишь одобрил синодальное определение, оставив на его полях для такого случая сравнительно сухую помету: «Прочел с чувством истинной радости».[14] Еще важнее было его решение вообще не присутствовать на церемониале. И это не по вине церкви: синодальная комиссия по прославлению Гермогена предполагала отнести время торжества «к приезду его императорского величества в Москву». Но через десять дней, по-видимому по получении указаний из Петербурга, комиссии пришлось назначить день прославления «до приезда государя императора в Москву».[15] В то самое время, когда церковь,

казалось, сближалась с народом в Москве, газеты печатали следующую телеграмму из Берлина: «Государь император вместе с императором Вильгельмом совершил прогулку в окрестностях Шарлоттенбурга и присутствовал на завтраке Александровского полка. Вечером состоялись фамильный обед во дворце и парадный спектакль в опере».[16]

Альтернативная политика, альтернативное благочестие. Последние годы царского режима отмечены кризисом не только в государстве и обществе, но и в православной церкви. Как видно из канонизации Гермогена, даже самые консервативные представители духовенства искали выход из сложившейся ситуации и боролись за интересы и самостоятельность церкви. Если до начала первой русской революции расхождение интересов церкви и государства становилось все более очевидным, то период думской монархии уже был насыщен нескрываемыми конфликтами между ними. Прения в Государственной думе и Государственном совете, неустойчивость и противоречия в государственной политике по отношению к православной церкви — все это заставило ее представителей выступать активно в защиту своих интересов (что и было главным, побудившим духовенство к участию в выборах в IV Думу). В первую очередь церковь отстаивала status quo, отвергая разнородные проекты со стороны и Думы, и государства провести реформы в области начального образования, бракоразводной системе, календаре и самом духовном ведомстве. Саботируя такие проекты, духовенство постепенно отделялось от разных светских группировок в Думе и тем самым способствовало разложению думской системы.

Кроме того, церковь выработала альтернативную политическую культуру, радикально отличавшуюся от традиционной. Это был комплекс ценностей, норм поведения и идеалов групповой организации. До середины XIX в. церковь воспринимала и пропагандировала политическую культуру русского абсолютизма и его принципы (самодержавие, единоначалие и централизация), методы управления (бюрократизм, формализм) и нормы подчинения и безгласности. С середины XIX в. церковь постепенно стала развивать альтернативный комплекс политических идеалов, выраженных в слове «соборность». Эта многогранная концепция допускала самые разные толкования (от епископского консерватизма до леводемократического обновленчества), но все ее виды представляли собою уход от доминирующей политической культуры и тем, что они предполагали большую или полную самостоятельность церкви, и тем, что они заменили принцип единоначалия идеалом коллективности (то ли епископов, то ли всех верующих, включая мирян).

Нетрудно было заметить, что программа церковных преобразований, пользовавшаяся широкой популярностью среди духовенства и мирян, не могла не вызывать ассоциаций со светским движением за демократизацию страны. Какую бы форму (то ли епископскую, то ли более демократичную, обновлен-

ческую) эта программа не приобрела, совершенно новое представление о «церковности» — при всех ссылках на «древнюю церковь» — неизбежно сближалось с теми демократическими процессами, которые имели место в светской политике тех лет. Правда, само духовенство избегало разговоров о таких связях либо из-за своей кастовой замкнутости, либо из-за боязни провоцировать государственное вмешательство в жизнь церкви. Тем не менее аргументация в пользу соборности и демократизации церкви едва ли отличалась от аргументации в пользу демократизации общества, появлявшейся в тогдашней светской литературе.

В то время, когда церковь стала отходить от самодержавной политической культуры, сам император приближался к альтернативной религиозной культуре, уделявшей больше внимания духовности и отвергавшей «сухую формальность» официального православия. Именно в связи с кризисом в отношениях между православием и самодержавием следует рассматривать феномен Распутина. И хотя было очень много попыток разобраться в «распутинщине», это явление можно считать мало изученным, поскольку в поле зрения исследователей, как правило, находится лишь проявление «мистицизма» дворцовых кругов, без малейшей связи с общими культурно-религиозными вопросами того времени. Необходимо определить социально-культурную значимость Распутина, т. е. выявить условия, в которых «старец» из Сибири превратился в символ народной набожности, противостоявший официальной церкви.

Этому способствовали не столько его дар помогать больному цесаревичу, сколько духовный облик Распутина, прежде всего его «старчество». Показательно, что с самого начала он претендовал на положение старца, подобного Серафиму, и тем самым приобретал доверие светской знати (и презрение духовенства). Рассказывая о своей жизни, Распутин изображал ее как жизненный путь старца и подчеркивал пережитые им испытания, отвержение мирского, паломничество и личное знакомство с настоящими старцами и их уважение к себе. В одном интервью Распутин описал свою необычную набожность в молодости и рассказал, как после нескольких лет брачной жизни он отказался от всего земного и предался духовной, аскетической жизни: «Затем пошел по монастырям, к святым угодникам». «Ух, как люблю монастыри,— рассказывал Распутин.— Из одной обители в другую ходил. Молюсь, радуюсь, бывало стою перед образом и вдруг, как живого, вижу угодника, чувствуя его... Старец Оптиной пустыни Иосиф знал меня и любил».[17] Одновременно Распутин сознательно противопоставлял себя официальной церкви и в особенности ее руководителям, обвиняя их в бюрократизме. «Нужны искренние слуги,— заявлял Распутин.— А у нас много чиновников... И в церковь они прошли».[18] Неудивительно, что такие высказывания, которые сопряжены были с грубыми попытками вмешиваться в церковную политику, только усугубили вражду церковной элиты к Распутину.

Такой духовный облик Распутина, независимо от того, соответствовал ли он действительности, производил большое впечатление на его поклонников, которые отвергали слухи о сексуальных скандалах и признавали Распутина настоящим старцем, ссылаясь на уважение к нему со стороны известных старцев. Сторонники Распутина также утверждали, что «старец» пользовался поддержкой простых людей,[19] и это только усиливало его авторитет среди придворных кругов, искавших новые пути к простому народу и альтернативу казенному православию. Каково бы ни было влияние Распутина на государственную политику, он безусловно играл заметную роль в духовной жизни императорской семьи: «Царь меня считает Христом. Царь, царица мне в ноги кланяются, на колено передо мной становились, руки целовали».[20] Если церковь и общественность видели в Распутине полную антитезу настоящему старчеству, Николай II нашел в нем живую связь и с Всевышним, и с простым народом.

Канонизация вопреки Церкви: Дело Иоанна. В лихорадочной кампании канонизаций, красноречиво отражавшей кризис самодержавия, определенное место заняла история канонизации Иоанна (Максимовича), митрополита тобольского (ум. 1715 г.). Центральными действующими лицами на этот раз были сам император, Синод, ряд обер-прокуроров и тобольский епископ Варнава. Последний приобрел известность как ставленник Распутина, и назначение Варнавы в 1914 г. в Тобольск явно носило следы постороннего вмешательства.

Варнава, быть может в расчете получить ранг митрополита, начал свою кампанию за прославление Иоанна уже в мае 1914 г., лишь полгода спустя после назначения в епархию. Под его эгидой было составлено прошение императору от местных жителей («в числе свыше 1000 человек»), которые просили «о церковном прославлении приснопамятного митрополита тобольского Иоанна Максимовича ко дню его блаженной кончины», т. е. 10 июля 1915 г.[21] В июле 1914 г. Синод рассмотрел просьбу и, хотя признал общее народное уважение к Иоанну, затруднился разрешить прославление из-за канонических соображений: не было достаточного числа доказательств о чудесных исцелениях при гробе Иоанна, поскольку записи о таких случаях начали вести сравнительно недавно. Поэтому Синод поручил Варнаве образовать «особую комиссию, с тем, чтобы эта комиссия произвела тщательное исследование случаев чудотворений, совершившихся по молитвенному пред Богом предстательству святителя Иоанна». Такое решение было равносильно отказу, поскольку оно фактически требовало многолетнего, до крайности трудного расследования «чрез отобрание письменных показаний, под присягою, как от лиц, получивших чудесные исцеления по молитвам святителя, так и от бывших только очевидцами сих чудотворений».[22] Решение Синода явно не удовлетворило Варнаву, который осенью стал хлопотать о приеме у императора.

Начало войны внесло еще дополнительные затруднения, побудившие обер-прокурора Саблера сообщить Варнаве в апреле 1915 г., что придется отложить прославление Иоанна. Когда Варнава снова просил о прославлении Иоанна уже летом 1915 г., Синод отказал ему: 23 июля 1915 г. Николай утвердил решение Синода «о необходимости продолжать запись и исследование чудесных знамений, совершившихся по молитвенному пред Богом представительству митр. Иоанна».[23]

Можно себе представить удивление членов Синода при получении телеграммы от Варнавы 28 августа 1915 г., в которой сообщалось, что 27 августа, «согласно полученной телеграмме его императорского величества», разрешалось «пропеть величания местночтимому святителю Иоанну Максимовичу, митрополиту тобольскому и сибирскому».[24] В кафедральном соборе состоялся молебен. Известие о прославлении мгновенно получило огласку во всех центральных газетах. Явно задетый этим сообщением, новый обер-прокурор Синода А. Д. Самарин (недавно назначенный с целью умиротворить общество) принялся за расследование этого дела, с твердым намерением довести его до конца, и был готов поднять вопрос о роли во всем этом самого императора. Ввиду телеграммы Варнавы в Синод обер-прокурор выразил свое явное недоумение: «Неужели прислал он заведомо неверные сведения Синоду??» Поскольку в телеграмме самому императору Варнава признал, что он «пропел величание» Иоанну, обер-прокурор четко понял, что Николай II все-таки дал разрешение Варнаве на проведение какой-то службы. Для Самарина, человека верующего и преданного интересам церкви, речь шла о грубом нарушении ее канонических прав. Самарин прислал местному губернатору зашифрованную телеграмму с просьбой выяснить подробности происходившего в Тобольске и прямо задал вопрос: «Принимал ли участие в торжествах и был ли в последующие дни вместе с епископом Варнавою Григорий Распутин?»[25] В начале сентября Св. Синод вызвал епископа Варнаву в С.-Петербург для выяснения дела. В заседании Синода 7 сентября Варнава дал противоречивые показания, явно не смог отличить совершившиеся службы от настоящего прославления и даже не стеснялся лгать членам Синода, отрицая, что разрешение императора последовало в результате ходатайства с его стороны. Когда Синод пытался продолжать расследование и пригласил Варнаву на следующие заседания, тобольский епископ бесцеремонно скрылся, жил (против церковных правил) у частных лиц и избегал вступать в какие бы то ни было сношения с Синодом.

Неудивительно, что Синод был глубоко возмущен поведением тобольского епископа: «В течение всего времени существования Святейшего Синода, призванного радеть о благе православной церкви,— с горечью отмечалось в документе,— не было случая, равнозначащего событию, происшедшему ныне в г. Тобольске». Собранные Синодом сведения не оставляли ни малейшего со-

мнения в виновности Варнавы и его попытках избежать ответственности. Ввиду всего этого Синод обратился к Николаю II с просьбой дать высочайшее «соизволение на увольнение епископа Варнавы на покой».[26] Современная печать также отмечала особую значимость дела. «Несомненно во всяком случае,— писало «Новое время»,— что торжество тобольского епископа над Синодом было бы одним из самых тяжелых нравственных ударов, какие только приходилось переживать русской церкви».[27]

Исход дела надо было предвидеть: не Варнава, а его обвинители потерпели полный провал. Вскоре стало известно, что Самарин уволен в отставку и митрополит петроградский будет перемещен на менее престижную киевскую кафедру. Одновременно были приняты меры, чтобы замять скандал. Покинув Петроград (вопреки указанию Синода) и уехав неизвестно куда, 1 октября 1915 г. Варнава прислал Синоду прошение о «снисхождении». Николай II взял на себя роль посредника и предложил Синоду простить Варнаву. На следующий день Синод подчинился. И меньше чем через год сбылись мечты Варнавы: с разрешения Синода состоялось полноправное прославление Иоанна. Исполнение обряда при малочисленной толпе (лишь 30000 паломников) тем не менее побудило императора выразить свой энтузиазм и «чувство радости», положив конец этой малоутешительной истории.

В итоге следует подчеркнуть и значимость, и динамику политических процессов, отразившихся в канонизации святых в начале XX в. В поисках средств укрепить свою легитимность царский режим делал ставку на религиозность народа. Такая политика не только отталкивала от правительства как секуляризованные элементы русского общества, так и национально-религиозные меньшинства, но и неизбежно политизировала церковь, заставив даже ее консервативно настроенных представителей ратовать за радикальные преобразования в юридическом статусе церкви. Производившаяся полицией в разгар этих конфликтов между государством и церковью перлюстрация писем показала всю глубину растущего кризиса не только в церковных кругах, но и в сознании общественности. В глазах простых верующих, на которых канонизации должны были в первую очередь оказать воздействие, они часто превращались в профанацию и лишь подрывали авторитет церкви, не столько из-за их необычайной частоты проведения, сколько из-за неудачного исполнения. Самой торжественности в исполнении обряда было мало: в народном религиозном сознании прежде всего требовалась нетленность мощей как знак божьей благосклонности к государству и обществу. Но начиная с канонизации Серафима Саровского состояние мощей не отвечало этому требованию, что неминуемо подрывало народное представление о божественной легитимности царского режима.

[1] Записки Ф. А. Головина // Красный архив. 1926. № 6(19). С.113.
[2] ЦГАОР. Ф. 601. Оп. 1. Д. 246. Л. 44—45.
[3] Захарова Л. Г. Кризис самодержавия накануне революции 1905 г. // Вопросы истории. 1972. № 8. С. 127.
[4] Прокофьев В. Саровские торжества // Новое время. 1903. 24 июля.
[5] Митр. Антоний. Необходимое разъяснение // Церковные ведомости. 1903. № 26. С. 983—984.
[6] Архим. Евдоким. У мощей преп. Серафима Саровского // Богословский вестник. 1903. № 7/8. С. 515.
[7] Прокофьев В. Саровские впечатления // Новое время. 1903. 29 июля.
[8] Прокофьев В. Из Саровской обители // Новое время. 1903. 20 июля.
[9] Новое время. 1903. 18 и 20 июля.
[10] Прокофьев В. Саровские впечатления.
[11] ЦГИА СССР. Ф. 796. Оп. 205. Д. 263. Л. 2—3.
[12] Шингарев В. Святитель Гермоген патриарх всероссийский // Вера и разум. 1913. № 10. С. 549.
[13] ЦГИА СССР. Ф. 796. Оп. 205. Д. 263. Л. 6, 11 об.
[14] Деяние Св. Синода // Церковные ведомости. 1913. № 15/16. С. 149.
[15] ЦГИА СССР. Ф. 796. Оп. 205. Д. 263. Л. 6.
[16] Новое время. 1913. 11 мая.
[17] Беседа с Григорием Ефимовичем Распутиным // Hoover Archives, Nikolaevsky Collection, file 129.2.
[18] У Григория Распутина // Ibid.
[19] Новоселов М. А. Григорий Распутин и мистическое распутство, рукопись запрещенной к печати брошюры // Ibid.
[20] Письмо Илиодора (Труфанова) неизвестному // Ibid.
[21] ЦГИА СССР.Ф. 797. Оп. 84. Отд. 2. Ст. 3. Д. 372. Л. 1—2.
[22] Там же. Л. 14, 16—17, 25—25 об.
[23] Там же. Л. 25—26.
[24] Там же. Л. 50.
[25] Там же. Л. 43.
[26] Там же. Л. 59 об.—60.
[27] Новое время. 1915. 29 сент.

Ф. Вчисло (США)

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ. СТОЛЫПИН И ТРЕТЬЕИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ[1]

П. А. Столыпин несомненно был последним великим государственным деятелем имперской эпохи. Хотя некоторые видят в нем конституционалиста, с чем трудно согласиться, большинство историков склоняется к тому, чтобы рассматривать его деятельность (1906—1911 гг.) как основанную на опыте бюрократического правления в конце XIX столетия. В той или иной форме они подчеркивают лозунг, часто приписываемый его политике — «порядок и реформа». При этом подразумевается, что Столыпин вылечил самодержавное правительство от паралича, поразившего его в 1905—1906 гг. Жестокие репрессии и произвол губернских властей ускорили спад революционного подъема. Столыпин успокоил умеренные элементы образованного общества видимостью представительства в Думе, благора-

умно дважды распустив Думу и устроив так называемый государственный переворот 3 июня 1907 г. Таким образом была сохранена монополия власти для слабеющего, но по существу бескомпромиссного самодержавия. Порядок в свою очередь давал ему передышку для попытки проведения реформ, особенно в сельском хозяйстве.

В некотором отношении такая точка зрения абсолютно верна. Представитель старого порядка Столыпин был против революции и подавлял ее не только для того, чтобы проводить реформы, но главным образом для того, чтобы уберечь режим самодержавия в эпоху, когда становился необходимым поиск массовой опоры, поиск, значение которого он понимал, но который ненавидел. И все же именно это понимание сделало саму идею простого восстановления самодержавной государственной власти несовместимой с мышлением государственного деятеля, чьи взгляды на управление формировались не в чиновничьих кабинетах конца XIX в., а провинциальной жизнью и опытом революционных событий 1904—1906 гг. на местах. Порядок и реформы действительно составляли сущность политики Столыпина, но он попытался установить новый национальный порядок: перестроить общественную основу самодержавного правительства и способствовать развитию нового понимания национальной политической жизни. В настоящей работе эта гипотеза исследуется путем рассмотрения не только деятельности Столыпина во главе центрального правительства в 1906—1907 гг., но также его плана реформы сельского управления на местах. Хотя первое отражает конкретные действия, а второе — взгляд законодателя на будущее, только обе эти стороны его деятельности показывают, на чем, по мнению Столыпина, должна была основываться структура власти и ее авторитет в отношениях между бюрократическим государством и обществом. В докладе также рассматривается, каким образом эти взгляды формировались в ходе попытки законодательствовать, а не просто управлять в новом, неопределенном периоде национальной политической жизни, начавшемся с опубликования Октябрьского манифеста. Наконец, в работе содержится несколько общих тезисов о препятствиях, мешавших попыткам проведения реформы сверху.

Столыпин не был ни конституционным монархистом, ни противником реформ 1905—1906 гг., стремившимся сделать их бессмысленными. Как и другие чиновники того времени, он считал, что высочайшие указы императора и государственный закон изменению не подлежат. Предположение о том, что он стремился к изменению установленного в 1905—1906 гг. политического порядка, является упрощением. Но ни по своим политическим взглядам, ни по своему психологическому складу Столыпин не хотел отказываться от государственного вмешательства в жизнь страны. Только те социальные группы и политические партии, которые признавали устройство общественной жизни в рамках реформированного самодержавного

поряка, считались законными. Только они, если применить часто использовавшееся в то время правительством и консервативными кругами выражение, обладали сознанием государственности, подразумевавшим, что без самодержавного государства существование нации не имело смысла. Национальное государство, а не нация или нация-государство являлось концепцией более реакционной, чем различные политические программы, исходившие из понятий свободы и суверенитета. И Столыпин пошел против них. Результаты выборов во II Думу в январе 1907 г. показали, насколько безуспешными оказались усилия Столыпина установить порядок. Но уже в конце лета 1906 г. стали очевидными признаки ограничения национальной политической жизни. Законными признавались лишь течения, не оспаривавшие того, что вершителем судеб реформированного политического порядка остался самодержец и что инструментом его власти была система бюрократического управления во главе с Советом министров. Только в таких узко ограниченных рамках, включавших (это следует подчеркнуть) Государственную думу и Государственный совет, могла протекать национальная политическая жизнь. Поэтому для укрепления авторитета правительства и его способности проводить реформы Столыпин был вынужден начать отстранять от законной политической жизни бо́льшую часть «нации», создавшей ее. Осталась действительно узкая база: умеренные и правые партии, имущие классы, особенно поместное дворянство, и само чиновничество. Но именно в такой России Столыпин намеревался вершить законодательство.

Для В. И. Гурко поведение Столыпина было чуждым, если не непонятным вообще. Он считал, что Столыпин привез в Петербург провинциальный образ действий и был больше политиком, чем администратором. Эти слова ярко характеризуют новый стиль самодержавного правительства при Столыпине. Гурко, профессиональный бюрократ, критиковал неумение Столыпина подбирать помощников или его незнание нужд народа и основных реформ, необходимых для нормального развития страны. В свете губернского опыта Столыпина и его четких взглядов на сельскую политику это обвинение представляется предвзятым, и в то же время оно является наглядным показателем разницы между петербургским чиновником и губернским политическим деятелем.

Гурко пользовался властью для воздействия на население, чтобы заставить его быть таким, каким он хочет. Эта установка была и у Столыпина, вопреки утверждениям Гурко, но он действовал совершенно не в том направлении, в каком чиновники двух предшествующих десятилетий. В гораздо большей степени, чем даже хитрый Витте, Столыпин понимал, что революция 1905 г. свидетельствовала о грядущем полном падении авторитета государственной власти в русском обществе, в его образованных и в массовых слоях. Таким образом, задача за-

ключалась не в простой консолидации государственной власти для проведения «органических реформ» и удовлетворения «нужд народа». Более важным было такое реформирование политического порядка, который был бы признан слоями общества, достаточно стабильными для его поддержки.

Столыпин хорошо понимал значение общественного мнения, так же как он понимал, что стабильность государства и внутренний порядок зависят от отношения народа к своему правительству. Сами реформы и их конкретные результаты заботили его меньше, чем степень одобрения их народом, что укрепило бы положение правительства.

С. Е. Крыжановский, опытный работник Министерства внутренних дел, как и Гурко, также придерживался мнения, что его шеф не был творцом в царстве идей. Все законодательные реформы, которые провел Столыпин, в той или иной форме проектировались в министерствах до его прихода к власти. Он, однако, «вдохнул в них жизнь». В самом деле, утверждал Крыжановский, административная экспертиза не может служить критерием оценки Столыпина. «Петр Аркадьевич Столыпин был новым явлением в нашей государственной жизни». Ища «поддержку не только в силе власти, но и во мнении страны», Столыпин стал фигурой совершенно отличной от «обычного типа министра-бюрократа, плывущего на гребне волны в погоне за достижением личных, корыстных целей». Его вклад в укрепление старого режима был «прежде всего в сфере государственной психологии — создание атмосферы, благоприятной для правительства и его инициатив».

Крыжановский несколько преувеличивал. Другие государственные деятели тоже искали поддержку в обществе в ответ на ощущаемый кризис: Валуев в 60-е, Лорис-Меликов в 80-е гг. XIX в., Витте — накануне 1906 г. Ни одному из них, однако, не пришлось противостоять кризису, в котором государство, потеряв гегемонию над русской жизнью, стало всего лишь одним из действующих лиц, борющихся за построение гражданского и политического порядка. Министерство Столыпина было сильнее политических партий и тем более слабо организованных социальных групп, и оно начало пользоваться своей силой, чтобы добиться положения, при котором признавался бы только авторитет правительства и его представления о законности, общественном порядке и собственности. Но считать, что власть могла бы покоиться на таких нетвердых, в спешке построенных основах, было, конечно, иллюзией.

Как отмечал позднее Крыжановский, Столыпин считал земельную реформу основным способом укрепления гражданственности на селе. Эта программа, какой бы переломной она ни была, представляла из себя только один, хотя и решающий, компонент попытки переделать социальный фундамент, на котором зиждилась политическая власть старого режима. Возможно, еще нагляднее раскрывал эту попытку план реформы мест-

ного сельского управления, предложенный министерством Столыпина в конце 1906 — начале 1907 г.

2 декабря 1906 г., подписывая «за министра» законопроект о местной реформе, Крыжановский выделил в нем три главные составные части. Первой целью программы была трансформация крестьянских сословных учреждений в упорядоченные территориальные структуры губернского гражданского управления. Второй — перестроить все уездные и губернские «органы управления» — понятие, в которое Крыжановский включал и органы местного самоуправления. Здесь целью программы было создание «сильной, регулируемой и ответственной руководящей власти» путем усиления губернаторской власти, объединения губернского и уездного управления и учреждения в уездах коронных вице-губернаторов. В то же время программой предусматривались ограничение административного вмешательства в самоуправление, расширение полномочий и деятельности земства и объединение государственных и земских органов в единую систему учреждений, что благодаря их взаимному усилению способствовало бы развитию местной общественной жизни. Наконец, Крыжановский, опираясь на декабрьский указ 1904 г., выделял среди задач программы третью цель — более широкое участие народа в самоуправлении и создание мелкой земской единицы. Он говорил также, что его министерство считает земскую выборную реформу мерой особого значения.

Уже в меморандуме Крыжановского заметно сильное стремление к выравниванию сословных различий в местном управлении. Для укрепления авторитета губернскому управлению требовался упорядоченный территориальный аппарат, затрагивавший все гражданские отношения в сельском обществе. Так, представляя в середине декабря программу реформ в Совет министров, Столыпин упоминает «широкие» народные массы, принимающие участие в политической жизни, и «принцип гражданского равенства», провозглашенный Октябрьским манифестом, для того чтобы показать, что больше нет никаких оснований для сохранения архаичных принципов крестьянской «сословной обособленности» или «попечительного управления». Подобным же образом премьер-министр отвергал «устаревшие» сословные выборы в земстве. Сохранение «выборной системы, разделявшей людей, связанных теснейшим единством общих экономических и профессиональных интересов», ослабляло институт, представлявший особую важность для местного управления. Наиболее выразительным в этом отношении явился отказ Столыпина санкционировать занятие предводителем дворянства поста вице-губернатора уезда в силу его должности. Столыпин считал, что предводителю дворянства, несмотря на более высокое положение в уездном управлении, традиционно принадлежавшее этому выборному чиновнику, для занятия поста вице-губернатора следует иметь соответствующее образование и профессиональный опыт. Его сословный статус значения

не имел. Логика управления выступала против этих архаичных препятствий и вела к необходимости более сильной и влиятельной местной власти. В отличие от консервативных тенденций, ярко выраженных в политике Министерства внутренних дел, например при Плеве, местные реформы Столыпина подразумевали, что усиление власти без укрепления ее политического авторитета в общественной жизни ничего не значило. Поэтому министерство стремилось к значительному расширению самоуправления на всех ступенях губернского управления.

В своей объяснительной записке Совету министров в феврале 1907 г. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что государственные реформы 1905—1906 гг. создали возможность соединить в одной системе государственные и земские органы как взаимозависимые составные части.

В прошлом, писал Н. Л. Пшерадский, государство отрицало наличие власти у земства и рассматривало его как «общественное учреждение», «изолированное от правительственных органов». Теперь, утверждал он, для обеспечения плодотворной и эффективной деятельности местных государственных учреждений важное значение приобрели три законодательные задачи: упорядочение отношений между государством и земством, укрепление авторитета самоуправления, проведение выборной реформы, которая уничтожит сословные различия и позволит «более широким слоям населения» принимать участие в местной общественной жизни.

Прежде всего упорядочение означало принятие законодательства, которое позволило бы центральному правительству получать чрезвычайную власть над отдельными земствами. В то время, когда в политических симпатиях земских собраний произошел сдвиг вправо, использование чрезвычайных мер было маловероятным, за исключением самых крайних обстоятельств. В общем предложения министерства были направлены на усиление взаимодействия между местными государственными и земскими органами, создание благоприятной атмосферы для эффективного управления губерниями. Министерство планировало принятие ряда мер, направленных на упрочение и расширение власти существовавших земских учреждений. Для определения их юрисдикции и устранения «капризного характера» правительственного контроля большое значение имели уставы.

В первую очередь эти предложения были направлены на то, чтобы добиться политической поддержки губернского дворянства. Но было также совершенно очевидно, особенно после местных беспорядков и поражений на выборах, что земские помещики составляли меньшинство по сравнению с гораздо большей частью населения, которая, будучи постоянно исключенной из местной общественной жизни, была изолирована от власти правительства, безразлична к его заботам и восприимчива к политическому радикализму. Предложения Министерства внутренних дел распространить ограниченное самоуправление на воло-

сти и деревни и провести реформу земской избирательной системы были существенными попытками переустроить земскую общественную жизнь и расширить в гораздо большей степени, чем планировалось ранее, избирательные округа, подвластные правительству.

Таким образом, деревенское и волостное общественное самоуправление получало особое значение в программе местных реформ. В деревне, которая не была бы подчинена земству, правительство намеревалось создать «всесословные союзы самоуправления на деле, а не только на бумаге». Их представители были подвластны полиции только в особо оговоренных случаях. Все жители, платившие как минимум 2 рубля ежегодного налога на собственность, а сюда входило большинство владельцев крестьянских хозяйств, могли участвовать в выборах сельского схода. Однако поместья и торгово-промышленные предприятия, находившиеся за границами деревни, не подпадали под власть сельских учреждений, которые могли бы облагать их слишком высокими налогами. Эти предложения вытекали из идеи тщательной защиты интересов собственности. Проекты отражали также общее стремление направить широкие слои сельского общества в учреждения местного благоустройства, где в свою очередь на них воздействовала бы власть правительства и оказывали бы влияние его представления.

Такими же соображениями руководствовалось Министерство внутренних дел, предлагая «волостное управление». Совершенно сознательно министерство назвало волость органом управления, поскольку оно было намерено оставить старшину представителем местных царских и земских чиновников. Но избирать его должен был бессословный волостной сход, который министерство с характерной предусмотрительностью официально определило как «самоуправляющийся союз, ведающий делами местного общественного благосостояния». Новому учреждению принадлежало бы право, хотя и ограниченное, облагать налогами, составлять бюджет и получать займы.

Волостные сходы избирались из двух курий: первую составляли крестьяне, имевшие общинные наделы, а вторую — все частные собственники, платившие ежегодно 2 рубля в виде земского налога на собственность. Здесь Министерство внутренних дел также предусматривало меры, идущие навстречу интересам собственности. В частности, введение минимальной налоговой ставки исключало из числа избирателей большинство лиц, не имевших собственности (рабочие, служащие, арендаторы).

По данным Министерства внутренних дел на 1908 г., в этих условиях избирательные права получило бы только около 548000 мелких собственников, что составило бы, по оценке уездных исполнительных комитетов, почти 26 % от двух миллионов владельцев сельской и городской частной собственности. Именно в этих узких, но подвижных рамках — общинные крестьяне и порождаемый ими небольшой, но растущий слой

сельских мелких собственников — Министерство, как оно считало, несло «в самые широкие слои населения дух самодеятельности».

Земская избирательная реформа была и логическим, и необходимым дополнением к этим планам. Когда 6 декабря 1906 г. Столыпин впервые представил Совету министров местную реформу, он заявил, что «местное самоуправление являлось жизненной основой и самой хорошей школой опыта для общественной самодеятельности в политическом деле». Такое характерное замечание губернского политического деятеля имело, возможно, оттенок нереальности, поскольку существовавшая структура земского представительства просто не годилась для политического воспитания. Уездное земство было доступно только небольшому слою владельцев частной собственности. Все 129 000 собственников, имевших право голоса в 1906—1907 гг., составляли всего 6 % от двух миллионов упомянутых выше налогоплательщиков. Более того, почти три четверти имевших избирательное право собственников участвовало в земских выборах косвенно, через предварительные съезды. Низкая степень участия и в первом, и во втором предварительном съездах показывала отношение этих выборщиков к их способности влиять на земское представительство. Она также отразила самый существенный факт земской жизни: доминирующее положение поместного дворянства. Более половины мест в земских собраниях было предоставлено менее чем 15 % всех обладающих правом голоса выборщиков и менее чем 1 % всех земских налогоплательщиков. В смутные 1906 и 1907 гг. приблизительно 66 % этих дворянских землевладельцев даже не появлялись на выборах.

Столыпинские местные реформы не были направлены на демократизацию недемократического учреждения. Вообще представленная министерством избирательная реформа обещала немедленно дать избирательные права 765 тыс. (37 %) из двух миллионов земских налогоплательщиков, зарегистрированных в 1908 г. Эта цифра представляет шестикратное увеличение по сравнению со 129 тыс. человек, имевших право голоса в 1906 г., и намного превышает 10 тыс. полноценных собственников, которые действительно приняли участие в тех выборах. Хотя здесь не может быть и речи о радикальном переустройстве, детали избирательной реформы все-таки показывали, что министерство имело в виду постепенное расширение участия населения в земской работе.

Уездная избирательная система, которую Столыпин представил Совету министров в декабре 1906 г., отменяла сословные деления по закону 1890 г., но сохраняла куриальную систему выборов, направленную, по его словам, на обеспечение представительства в земстве «землевладельческого, торгово-промышленного и земледельческого классов» и на учет культурных различий между интересами крупной и мелкой собственности. Поскольку помещики владели земельным богатством,

столыпинские проекты имели в виду сохранение их влияния на земское самоуправление. Н. Л. Пшерадский признавал, что без законодательных мероприятий, которые могли бы сохранить для землевладельческого класса, как самого культурного, значительное присутствие в земстве, изменился бы сам характер земской деятельности. И действительно, Совет министров распорядился закрепить 25 % мест каждого собрания за гласными от первой, землевладельческой курии. Одновременно Министерство внутренних дел сочло себя обязанным гарантировать гласным от волостей одну треть всех мест в собрании и гласным от второй, городской курии — два символических. Таким образом, министерство заранее распределило более половины гласных в уездном собрании.

Однако в этой структуре министерство предвидело значительные долгосрочные изменения в социальном составе земства. Во-первых, оно хорошо знало, что местные землевладельцы из потомственного дворянства все чаще и чаще не могли заполнить места, предназначенные им по закону 1890 г. Из статистических данных министерства следовало, что из-за раздробления крупных поместий становилось маловероятным, чтобы по существующему законодательству они могли получить даже четверть гласных во многих уездах. Поэтому министерство искало средства для увеличения числа землевладельцев, участвующих в земской работе. Отмена сословных различий закона 1890 г. стала первым шагом в этом направлении, поскольку она предоставила избирательное право всем землевладельцам, обладающим необходимым имущественным цензом. Предлагавшееся снижение этого ценза наполовину сразу же прибавило бы приблизительно 23 тыс. человек к первой курии, увеличив в 2 раза число лиц, обладающих правами избирателей. Наконец, после обсуждения в Совете министров, Министерство внутренних дел предприняло шаги с тем, чтобы привести налоговый ценз к «единому стандарту» земского налогообложения собственности. Менее неподвижный, чем существовавшая система имущественных цензов, налоговый ценз, при ожидавшемся увеличении земских налогов и раздроблении землевладения, обещал рост числа новых выборщиков в первой курии. Министерство внутренних дел старалось также увеличить доступ и других мелких собственников в земские собрания. Здесь, как заметил Н. Л. Пшерадский, правительство столкнулось с двумя противоречивыми проблемами. С одной стороны, оно стремилось к тому, чтобы именно полноцензовые землевладельцы первой курии сохранили способность влиять на земскую деятельность. С другой — оно хотело «обеспечить имущему классу достаточное количество мест» в уездных собраниях, имея в виду значительное увеличение числа сельских собственников, которые или отказывались от участия в предварительных съездах, или были вообще исключены из этого процесса. Предлагавшаяся система выборов от волостей была

попыткой компромиссного выхода из этого противоречия. Поскольку только волостные гласные из крестьян и мелких собственников принимали участие в выборах уездных гласных, министерство отделяло более богатых земельных и торгово-промышленных собственников от подавляющего большинства населения. Позднее Пшерадский заметил, что прямые выборы от волостей «увеличили бы численность крестьянских гласных до такого уровня, что уездное земское собрание утратило бы всякую работоспособность».

Выборы от волостей в жизнеспособный орган общественного самоуправления рассматривались также как средство включить в земскую работу деятелей из числа мелких собственников, до того момента безразличных к предварительным земским выборам, землевладельцев, ранее исключавшихся из земской системы высоким имущественным цензом, и крестьян-общинников. Хотя законом им гарантировалась только треть мест в земских собраниях, число гласных от волостей могло бы значительно превысить эту цифру, особенно в тех местах, где собственники от первой или второй курий не смогли избрать предоставленное им законом количество земских гласных. Гласные от волостей, участвовавшие в местной общественной жизни, получали место в реформированном земстве наряду с другими собственниками. В случае революционных беспорядков участие этих последних, так называемых культурных слоев, в деревне, в волости, в уезде и во всей губернской жизни — было очень важным для долгосрочной жизнеспособности реформированного старого режима.

Именно эта попытка повысить общественную роль новых сельских собственников отличала программу Столыпина от предыдущих попыток проведения местных реформ. Столыпин столкнулся с совершенно другим обществом и гораздо более серьезным политическим кризисом, чем тот, перед которым оказалась комиссия Каханова или государственные деятели во время освобождения крестьян. Поэтому его планы пошли гораздо дальше, чем это считали возможным его предшественники. Вместе с трансформацией общинного землепользования и структуры сельских земельных отношений местные реформы были попыткой модернизировать сверху самодержавное правительство и русскую национальную политическую жизнь путем создания гражданского порядка, в рамках которого широкие слои населения были бы подчинены мобилизующему влиянию и авторитету бюрократического правительства. Но существовало большое несоответствие между министерской теорией и реальными условиями русской политической и социальной жизни зимой 1906—1907 гг. России в значительной степени не хватало того, чего хотел достичь Столыпин, правительство не имело авторитета в губерниях. Земское самоуправление не привлекало местное население к полезной общественной работе. Гражданская инициатива не была характерной чертой сельского населения. Стабильная структура частных земельных отноше-

ний еще не обеспечивала реформированному старому режиму прочной основы. Способны ли были Столыпин и самодержавие, которому он служил, сделать реальностью свое вйдение национального будущего? Зимой 1906—1907 гг. ответа на этот вопрос еще не было.

Для того чтобы обеспечить возможность начать этот процесс гражданской и политической трансформации, Столыпин прибег к государственному перевороту 3 июня 1907 г., который для многих современников символизировал произвол самодержавного государства. Следуя этому выводу, многие историки часто считают, что этот переворот и созданная в результате его третьеиюньская «система» показали либо историческую неизбежность реакционного самодержавия, либо историческую невозможность пересмотра высокопоставленными государственными деятелями существа структур власти в самодержавном государстве. Эти историки утверждают, что к 1907 г. стало очевидно, что центральное правительство сопротивлялось требованиям политической свободы, отрицавшим старые структуры, подавляло социальную революцию, угрожавшую существовавшим отношениям собственности и капитала, и предлагало полуреформы, направленные на сохранение, а не демонтаж самодержавного правления в центре и на местах. Часто доказывают, что третьеиюньская «система» дала самодержавию возможность еще раз утвердить свою власть, укрепить социальный порядок и создать условия, позволявшие, хотя и с трудностями, продолжать править страной. С этой точки зрения, самодержавие, само того не сознавая, углубляло революционную ситуацию в России.

Такая телеологическая перспектива игнорирует один элемент русского революционного кризиса, который раскрывается в первую очередь столыпинскими местными реформами. Гораздо более перспективно, чем это часто допускается, предположить, что государственные деятели царского правительства сделали анализ политического и социального кризисов, охвативших Россию в начале XX в. Официальные круги и общественное мнение имели неправильные представления о развитии «нации» и «гражданского общества». Но все же государственные деятели признавали, что для сохранения самодержавной власти требовалось восстановление ее авторитета в рамках той исторической реальности, в которой она существовала. В этом смысле самодержавное правительство, а точнее реформаторские круги в министерствах, в начале XX в. играло такую роль, которую нельзя объяснить только тем, что архаичная политическая система препятствовала модернизации или что полуфеодальная надстройка противоречила неизбежной капиталистической трансформации. Располагая анализом революционного кризиса и возможностью действовать на основе этого анализа, центральное правительство, особенно при Столыпине, пыталось не столько тормозить социальное и политическое развитие России, сколько сознательно влиять на него. Таким образом, правительство было

вовлечено в ход исторического процесса и способствовало развитию конфликта, который лежал в основе предвоенной революционной ситуации.

В заключение следует подчеркнуть, что цель Столыпина — создание не только национального государства, но и «нации», в которой это государство могло бы законодательствовать,— не была единственным противоречивым видением национального будущего, которое появилось в русском обществе в последнем десятилетии перед первой мировой войной. Из исторического исследования вопроса социальной идентификации следует, что в действительности «общество» оставалось под влиянием существовавшего динамического напряжения, характерного для традиционного сословного строя, и что оно становилось, но пока еще не стало классовым. Поэтому это общество создало самые различные впечатляющие представления о будущем. Каждое из них основывалось на различном культурном и историческом опыте, представляло концепцию будущего общественного и национального развития.

Отметим, например, таких влиятельных государственных деятелей, как П. Н. Дурново, А. С. Стишинский или Н. А. Маклаков, которые особенно сопротивлялись попыткам Столыпина ограничить бюрократическую власть и упразднить крестьянские сословные учреждения, через которые эта власть контролировала бóльшую часть сельского населения. Эти действительно профессиональные деятели, посвятившие свою карьеру просвещенной министерской опеке, выводили из прошлого опыта свою роль в обществе, большинству членов которого, как они считали, в условиях индустриализации и урбанизации новые структуры собственности и власти угрожали теперь в гораздо большей степени, чем то крепостное крестьянство, из которого это общество развилось за какие-то полстолетия. Более важными для Столыпина были взгляды поместного дворянства. В работах Дякина, Хаймсона, Маннинга и других показано, что дворянство, которое в планах Столыпина фигурирует как землевладельческий класс, оказывало сопротивление многим его инициативам и в первую очередь самим местным реформам. Более того, это сопротивление, проявившееся при императорском дворе, среди правых в Государственном совете и Государственной думе и в местных органах земского самоуправления, в которых по-прежнему доминировало дворянство,— исходило из совершенно других понятий о русском обществе и национальной политической жизни, чем те, которые поддерживал Столыпин. Одно из них основывалось на концепциях правового и культурного наследия дворянского сословия. Другое исходило из исключительной важности традиции службы царю и отечеству, предписанной дворянству историей. То, что было справедливо для дворянства, в равной степени касалось партий и их соперничающих идеологий: либерализма, народничества, меньшевизма и большевизма. С прекращением консенсуса, объединявшего

«общенародное движение» 1905 г., каждая партия заявила о своей политической деятельности, основываясь на совершенно различных взглядах на общество и нацию, которых они собирались мобилизовывать и представлять. Наконец, то, что было справедливо для партий, могло быть справедливым для широких масс, самой нации, чье очень разнородное коллективное действие в 1905—1907 гг. показало, что у нее также были собственные взгляды на общество и на то, какими должны быть система социальных отношений и политической власти. Эти взгляды масс мы только начинаем изучать.

Противоречивые толкования изменяющейся исторической ситуации и отсутствие согласия являлись непременным условием кризиса старого режима. Тот факт, что реформаторы в самодержавном правительстве сами участвовали в борьбе за выработку такого согласия, должен изменить наше понимание кризиса верхов. После событий 1905 г. Столыпин стремился не столько к порядку и реформам, сколько к реформам, способным установить более стабильный гражданский и политический порядок. Столыпин потерпел неудачу не только из-за традиционных привычек бюрократического правления, но еще в большей степени из-за партикуляризма и существовавшего уровня политической культуры того общества, в котором он пытался законодательствовать.

Неудача Столыпина сильно ускорила потерю той жизнеспособности самодержавного государства, которая еще оставалась у него в последнем десятилетии мирной внутренней жизни.

---

[1] *Более подробно см.:* W c i s l o. F. Reforming Rural Russia. State, Local Society, and National Politics, 1855—1914. Princeton. 1990.

В. А. Нардова

ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ САМОДЕРЖАВНОГО АППАРАТА ВЛАСТИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

В конце XIX в. в связи с расширяющимся процессом урбанизации, все большим возрастанием роли городов в политической, экономической и культурной жизни страны вопрос об отношении к институту общественного управления в городах приобретал для самодержавной власти особое значение. Цель настоящего доклада показать законодательно закрепленный статус городских дум после реформы 1892 г. и проследить дальнейшую тенденцию развития правительственной политики по отношению к органам общественного управления в городах.

Вместе с тем рассматривается также позиция самих городских дум по вопросу изменения их правового положения. Делается попытка выяснить отношение и место органов городского общественного управления в либерально-оппозиционном движении накануне буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг.

Строй общественного управления в городах в рассматриваемый период уходит корнями в реформы местного управления 60-х — начала 70-х гг. прошлого века. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы породили принципиально новый тип общественных учреждений, основанный на началах всесословности, буржуазного имущественного ценза, разделения распорядительной и исполнительной властей, самоуправления. В то же время принятому в 1870 г. Городовому положению[1] были присущи органичные недостатки, обусловленные консервативно-охранительными мерами правительства, его стремлением приспособить общественные учреждения к самодержавному строю: недемократичный избирательный закон, отсутствие у новых органов самоуправления принудительной власти, недостаточная разграниченность распорядительной и исполнительной властей, ограничение бюджетного права и др. Все это стало серьезным препятствием на пути становления и развития органов общественного управления. Но нельзя не признать, что для своего времени городская реформа имела прогрессивное значение. Муниципальное хозяйство в городах было передано в ведение выборных общественных органов (дум и управ), которые в отведенной им сфере деятельности наделялись самостоятельностью. Правительством осуществлялся контроль исключительно за законностью деятельности дум.

Однако уже с начала 80-х гг. ряд законодательных предположений был направлен на то, чтобы частично ограничить действие принципов самоуправления, провозглашенных в пореформенном законодательстве. В конце 80-х — начале 90-х гг. XIX в. царизм проводит ряд реформ (они известны под названием контрреформ),[2] ознаменовавших переход к новому правительственному курсу в отношении местного общественного управления. Задачу усовершенствования этой сферы управления правящие круги пытались решить путем включения земства и городских дум в общую систему государственных учреждений, однако не на основе развития принципов самоуправления, а максимально усилив подчиненность общественных учреждений бюрократическому аппарату и существенно ослабив начала их выборности. Вместе с тем имелось в виду расширить представительство дворянства в местном управлении. При этом власти отдавали себе отчет в том, что передача бюрократическому аппарату функций, осуществляемых думами, была бы сопряжена с большими трудностями. Поэтому при всей неудовлетворенности деятельностью дум, опасении относительно расширения их влияния правительство не могло пойти не только на упраздне-

ние института общественного управления как такового, но и на полное лишение его всякой самостоятельности.

По новому Городовому положению, принятому в 1892 г., весь круг проблем, которыми городские думы занимались ранее, был за ними сохранен. В целом осталась нетронутой и прежняя структура организации общественного управления. Однако в результате проведения реформы в корне менялся характер отношений между думами и административной властью, усиливалась опека над ними, резко сокращались пределы самостоятельных действий органов общественного управления. В нарушение основополагающего принципа всякого самоуправления — выборности общественных учреждений — было узаконено право администрации при определенных обстоятельствах назначать как руководящих должностных лиц, так и гласных думы. Были предприняты дальнейшие шаги, направленные на бюрократизацию органов городского общественного управления. Отныне, кроме городского головы, помощника его и замещающих их лиц, все члены управы считались находящимися на государственной службе, назначались и увольнялись с должности администрацией, могли подвергаться взысканиям по административной линии и т. д. Самостоятельность городских дум была сильно подорвана. Значительно расширялся перечень вопросов, постановления по которым подлежали утверждению административной власти (министра внутренних дел, губернатора). Но губернатор мог приостановить действие вообще любого постановления думы, в том числе и не нуждавшегося в утверждении. Причем если прежде основанием для такого решения служило заключение только о «незаконности» постановления Думы, то теперь — и о его «нецелесообразности». Новая формулировка открывала широчайшие возможности для неоправданного вмешательства губернского начальства в дела городских учреждений.

Расчеты на успех реформы правительство во многом связывало с новым законом о выборах. Вводился высокий имущественный ценз, ограничивавший корпус городских избирателей наиболее состоятельной частью населения. Причем в интересах дворянского сословия более предпочтительные условия были созданы для владельцев недвижимого имущества по сравнению с торгово-промышленным элементом. Предполагалось, что эти меры обеспечат изменение состава дум и при одновременном ужесточении правительственного контроля положительно скажутся на повышении эффективности хозяйственной деятельности органов общественного управления.

Привела ли реформа 1892 г. к желаемым правительством результатам? На основании Городового положения 1870 г. право участия в выборах получила ничтожно малая часть городского населения. Новый избирательный ценз 1892 г. оказался настолько высоким, что количество избирателей сократилось в несколько раз. Средний их процент в столичных и губернских городах упал с 5.6 до 1 % от общего количества населения. Та же

картина наблюдалась в уездных и безуездных городах, где доля избирателей уменьшилась в 3—4, а в наиболее крупных — даже и в 10 раз.[3] Право принимать участие в общественном управлении было предоставлено крайне незначительному числу лиц из самой обеспеченной верхушки городского общества. Но и из достаточно имущих слоев многие, в их числе образованные и общественно активные люди, не получили избирательного права, так как не владели недвижимостью и проживали в наемных квартирах. К этой категории так называемых квартиронанимателей относились представители интеллигенции, лица свободных профессий, государственные служащие.

Новый избирательный закон был призван прежде всего обеспечить условия, при которых думы утратили бы их преимущественно купеческий характер. Анализ социального состава дум столичных и губернских городов показал, что из общего числа гласных, избранных на первых выборах, 38.3 % принадлежали к дворянско-чиновничьей группе, 53.5 — к купечеству и 8 % — к мещанам, ремесленникам и крестьянам. При сопоставлении с данными на начало 80-х гг. выясняется, что к радикальным переменам в отношении состава дум в этих городах реформа не привела. Доля гласных дворян увеличилась на 3.1 %, но купечеству удалось полностью сохранить его решающие позиции в думах.[4] Соотношение сил в уездных и безуездных городах устраивало правительство еще меньше, чем в губернских.[5]

Внося изменения в избирательный закон, правительство строило расчет также и на том, что в результате устранения от участия в выборах малообеспеченного элемента в состав гласных войдут люди с более высоким не только имущественным, но и образовательным уровнем. А это в свою очередь благоприятно отразится на характере деятельности городских дум. По данным Хозяйственного департамента МВД об образовательном уровне гласных и уполномоченных органов городского общественного управления лиц с высшим и средним образованием насчитывалось всего 17 %, с низшим — 27 %, 49 % было с так называемым домашним образованием, в большинстве случаев не превышающим уровня простой грамотности, и, наконец, 4 % было совершенно неграмотных.[6] В низком образовательном уровне гласных правительственные чиновники усматривали основную причину малорезультативной деятельности городских общественных учреждений.

Первые выборы выявили еще один неблагоприятный момент. Мизерное число лиц, на которых формально распространялось избирательное право, да к тому же еще очень низкий процент принимавших участие в выборах породили трудности в формировании органов общественного управления. Практически нигде состав дум не удавалось укомплектовывать полностью на первоначальных выборах, но и после вторичных многие органы общественного управления открывали свою деятельность с существенным недобором гласных. По новым правилам, если

и в результате повторных выборов общее число гласных оказалось бы менее 2/3 количества, установленного законом, то недостающее число назначалось администрацией из прежнего состава Думы. В первом выборном четырехлетии закон о назначении гласных был применен к С.-Петербургской думе, куда по итогам двух этапов выборов удалось избрать всего 53 гласных вместо 160. По «высочайшему распоряжению», в число гласных было добавлено еще 54 человека, которых не хватало до 2/3 положенного количества.[7] Таким образом, включенное в новый закон недемократичное положение о назначении гласных было применено уже на первых выборах, и при этом в столичную городскую Думу.

Итак, новый избирательный закон не только не обеспечил ожидаемого состава органов общественного управления, но и вызвал определенные сложности при его применении на практике. Оценить, как повлияла реорганизация общественного управления на усиление эффективности деятельности его органов, гораздо сложнее. Рост численности населения и территории городов, технический прогресс и, наконец, накопление опыта муниципальной практики привели к значительным переменам в коммунальном хозяйстве: расширению его объема, появлению совершенно новых отраслей и направлений, усложнению форм и методов хозяйственной деятельности дум. Усиление административного контроля в определенной мере могло препятствовать злоупотреблениям должностных лиц общественного управления, нерациональному расходованию городских средств и т. п., но в целом имело, скорей, негативные последствия: суживало инициативу дум, вызывало неоправданное вмешательство администрации в их дела, порождая тем самым бесконечные конфликтные ситуации. В качестве примера можно сослаться на обострение отношений между С.-Петербургской думой и градоначальником. Министр внутренних дел оценивал их как «враждебные».[8]

В конце 90-х гг. на основании анализа поступивших в Министерство финансов многочисленных ходатайств дум министерство приходит к выводу о нерациональном ведении хозяйства в городах и ставит перед Министерством внутренних дел вопрос о неотложности принятия мер. Такая программа мер была подготовлена специальной комиссией под председательством товарища министра внутренних дел кн. А. Д. Оболенского. По ряду причин деятельность комиссии не получила завершения. Но важно подчеркнуть, что менее чем через 10 лет после принятия Городового положения возникла потребность его хотя бы частичного пересмотра.

Недостатки реформы особенно сильно давали себя знать в крупных городах. В 1903 г. правительство проводит реформу общественного управления в Петербурге.[9] Ее характер позволяет судить о тенденции развития политики самодержавия в отношении городского общественного управления. Вопрос о необхо-

димости реформы был поставлен министром внутренних дел Д. С. Сипягиным в докладе царю в сентябре 1901 г. Министр находил, что Городовое положение 1892 г. «в большей или меньшей» степени удовлетворяет потребностям хозяйственного управления в городах империи, но применительно к Петербургу с его обширным и сложным муниципальным хозяйством реформа не оправдала расчетов правительства. Пределы административного надзора за деятельностью органов общественного управления, по мнению Сипягина, оказались для столицы явно недостаточными. Как указывалось во «всеподданнейшем докладе», министерство первоначально склонялось к мысли о полном упразднении в С.-Петербурге выборных учреждений и замене их правительственными. Однако, по признанию министра, он все же пришел к убеждению, что такое направление реформы не соответствовало бы интересам правительства ни по экономическим, ни по политическим мотивам.

Разработка реформы, начатая при Сипягине, была завершена его преемником В. К. Плеве. Принципиальных расхождений в определении главных направлений намечаемого преобразования между ними не было. В. К. Плеве негативно оценивал строй общественного управления, сложившийся к этому времени в городах, но, как и его предшественник, не считал возможным пойти на упразднение в них института общественного управления. Однако реорганизацию столичного управления министерство пыталось провести таким образом, чтобы при сохранении внешних форм самоуправления по существу превратить Думу в придаток административного аппарата власти. По сравнению с Городовым положением 1892 г. подготовленный министерством проект значительно сужал сферу самостоятельных действий столичного общественного управления. Из компетенции думы изымался ряд существенно важных прав, в том числе участия в издании «обязательных для городских жителей постановлений», в составлении правил для заведования подведомственными ей учреждениями, утверждения таксы цен на хлеб, мясо и т. д. Увеличивался перечень вопросов, требовавших утверждения министром внутренних дел. Административная власть получала право не только «отменять» (Гор. пол. 1870 г.) или «изменять» (Гор. пол. 1892 г.) постановления думы, но и полностью их «заменять». Ограничение самостоятельности общественного управления выразилось и в том, что проект урезывал его право распоряжаться городским бюджетом. Наконец, предлагалось установить правительственный контроль над всей финансово-хозяйственной деятельностью Думы. Подобный контроль в отношении общественных учреждений вводился впервые. Чрез- вычайно возрастала роль местного органа надзора за общественным управлением — Особого по городским делам присутствия. Оно наделялось широкими полномочиями: правом вносить изменения в смету, составленную думой, определять порядок действий управы и других исполнительных органов,

обсуждать «обязательные для жителей столицы постановления» и др. В соответствии с проектом, если гласные не собирались 2 раза подряд в предусмотренном законом составе, то доклады управы передавались городским головой на разрешение Присутствия. Фактически происходила подмена деятельности общественной организации — Думы, организацией по существу бюрократической,— Особым присутствием. Существенные изменения проект вносил в избирательный закон. Принципиально важное значение имело предложение о включении в число избирателей лиц, уплачивающих квартирный налог. И хотя цель распространения избирательного права на эту категорию городских жителей заключалась в пополнении состава дум более образованным элементом, тем не менее были предусмотрены меры, ограничивающие возможность попадания квартиронанимателей в органы общественного управления.

Принятие проекта в его первоначальном виде привело бы к значительному по сравнению с действовавшим Городовым положением ограничению прав общественного управления в столице. В ходе обсуждения в правительственных инстанциях проект претерпел существенные изменения. Прежде всего они коснулись положений, определявших порядок и рамки правительственного контроля за деятельностью общественного управления. Были устранены наибольшие крайности проекта, сохранение которых сводило бы на нет всякую самостоятельность Городской думы. Такое направление проекта в условиях нарастания общественного подъема в стране и после появления манифеста 26 февраля 1903 г., предусматривавшего развитие местного самоуправления, не могло быть полностью поддержано Государственным советом. Вместе с тем «Положение об общественном управлении С.-Петербурга» оставалось в рамках реакционного закона 1892 г. Ряд положительных изменений (предоставление избирательного права квартиронанимателям, разделение обязанностей по председательствованию в думе и управе, сокращение числа дел, подлежащих утверждению министром внутренних дел), наряду с усовершенствованием форм контроля за исполнительным органом общественного управления, не мог создать и не создал условий для эффективной муниципальной деятельности.

Итак, модификация Городового положения 1892 г. затронула только Петербург. Деятельность общественного управления во всех остальных городах вплоть до 1917 г. регламентировалась законодательным актом, который самим правительством неоднократно признавался не отвечающим потребностям современного города. В самодержавном государстве возбуждение вопроса о пересмотре Городового положения могло исходить лишь из правительственных сфер. Если бы с такого рода ходатайством обратилась Городская дума, оно рассматривалось бы как противозаконное. Невозможность разрешения проблем, связанных с собственно городскими делами, без изменения общегосударст-

обсуждать «обязательные для жителей столицы постановления» и др. В соответствии с проектом, если гласные не собирались 2 раза подряд в предусмотренном законом составе, то доклады управы передавались городским головой на разрешение Присутствия. Фактически происходила подмена деятельности общественной организации — Думы, организацией по существу бюрократической,— Особым присутствием. Существенные изменения проект вносил в избирательный закон. Принципиально важное значение имело предложение о включении в число избирателей лиц, уплачивающих квартирный налог. И хотя цель распространения избирательного права на эту категорию городских жителей заключалась в пополнении состава дум более образованным элементом, тем не менее были предусмотрены меры, ограничивающие возможность попадания квартиронанимателей в органы общественного управления.

Принятие проекта в его первоначальном виде привело бы к значительному по сравнению с действовавшим Городовым положением ограничению прав общественного управления в столице. В ходе обсуждения в правительственных инстанциях проект претерпел существенные изменения. Прежде всего они коснулись положений, определявших порядок и рамки правительственного контроля за деятельностью общественного управления. Были устранены наибольшие крайности проекта, сохранение которых сводило бы на нет всякую самостоятельность Городской думы. Такое направление проекта в условиях нарастания общественного подъема в стране и после появления манифеста 26 февраля 1903 г., предусматривавшего развитие местного самоуправления, не могло быть полностью поддержано Государственным советом. Вместе с тем «Положение об общественном управлении С.-Петербурга» оставалось в рамках реакционного закона 1892 г. Ряд положительных изменений (предоставление избирательного права квартиронанимателям, разделение обязанностей по председательствованию в думе и управе, сокращение числа дел, подлежащих утверждению министром внутренних дел), наряду с усовершенствованием форм контроля за исполнительным органом общественного управления, не мог создать и не создал условий для эффективной муниципальной деятельности.

Итак, модификация Городового положения 1892 г. затронула только Петербург. Деятельность общественного управления во всех остальных городах вплоть до 1917 г. регламентировалась законодательным актом, который самим правительством неоднократно признавался не отвечающим потребностям современного города. В самодержавном государстве возбуждение вопроса о пересмотре Городового положения могло исходить лишь из правительственных сфер. Если бы с такого рода ходатайством обратилась Городская дума, оно рассматривалось бы как противозаконное. Невозможность разрешения проблем, связанных с собственно городскими делами, без изменения общегосударст-

областных центров с письмом, предлагая в нем внести на обсуждение дум вопрос о периодических съездах городских голов и представителей дум. Такие съезды, по его мнению, необходимы не только для обмена опытом между отдельными думами, но позволят установить непосредственно, помимо губернского начальства, контакты органов общественного управления с правительственными инстанциями. А. А. Маллеев полагал также, что съезды смогут взять на себя предварительную разработку вопросов, которые станут предметом законодательной инициативы правительства. По нашим сведениям, в мае-сентябре 1901 г. с ходатайствами о разрешении съезда обратились думы 8 губернских городов. Идея городского съезда не встретила поддержки со стороны как местной, так и центральной администрации. Ходатайства дум о съезде городских голов МВД признало не подлежащими удовлетворению. 23 августа оно разослало циркуляр, в котором предупреждало, что попытки городских и земских учреждений координировать свои действия в вопросах, имеющих общегосударственное значение, «как носящие явный характер превышения власти, могут повлечь за собой для виновных законную ответственность».

Появление Манифеста 26 февраля 1903 г., в котором в числе прочих декларируемых реформ имелось в виду и расширение местного самоуправления, дало основание надеяться на изменение негативного отношения правящих кругов к вопросу о съездах. Это мнение особенно укрепилось после того, как Маллееву, по поручению Плеве, предложили подготовить докладную записку о периодических съездах представителей городов. Это поручение, по-видимому, было связано с проектируемой министерством реорганизацией управления местным хозяйством. Так называемая «конституция Плеве» предполагала создание Совета местного хозяйства, куда наряду с чиновниками вошли бы представители земств и городов.[11] Маллеев подал «записку» в августе 1903 г. В заключительной ее части, изложенной в самых верноподданических выражениях, испрашивалось разрешение на проведение съезда, причем под руководством назначенного правительством лица. В своем ответе Маллееву министерство ограничилось заявлением, что высказанные в «Записке» предложения будут приняты во внимание при обсуждении проекта преобразования центральных учреждений МВД по делам местного хозяйства.

В 1902—1903 гг. при нарастающей активизации либерального движения городские думы все еще продолжали оставаться как бы пассивными наблюдателями происходящего. В эти годы не предпринималось даже попыток возобновить ходатайства о городском съезде. Толчком к новой серии таких ходатайств после трехгодичного перерыва послужили сведения о разрешении правительством съезда представителей земств. Как известно, в последний момент съезд был запрещен. Тем не менее, хотя и полулегально, съезд состоялся (6—9 ноября 1904 г.)

и подавляющим большинством высказался за ограничение самодержавия законодательным представительством. Хотя на съезде были представлены исключительно земцы, но некоторые из них входили в состав городских дум. Съезд земцев не только явился важной вехой в развитии земского либерализма, но оказал большое влияние на деятелей городского самоуправления, способствовал включению дум в оппозиционное движение. Именно в два последних месяца 1904 г. происходит быстрый процесс политизации их деятельности, что нашло свое выражение и в поддержке решений земского съезда, и в характере возобновленных ходатайств о съезде городских представителей, и, наконец, в провозглашении ими самими политических требований. «Для земства блеснул луч света, а мы-то почему забыты?» — писал А. А. Маллеев в письме на имя помощника начальника Главного управления по делам местного хозяйства МВД С. Е. Крыжановского и просил разрешения возбудить перед министром внутренних дел вопрос о съезде. Постановления о созыве съезда принимают Самарская, Одесская, Томская, Курская и, наконец, Московская городские думы. Последняя при этом по докладу городского головы кн. В. М. Голицына взяла на себя инициативу созыва такого съезда и призвала думы других городов страны присоединиться к ее ходатайству.

Во второй половине ноября революционная ситуация в стране продолжает обостряться. Накалу либерально-оппозиционных настроений способствовала развернувшаяся по инициативе «Союза освобождения» так называемая «банкетная кампания» в связи с 40-летием введения судебных уставов. В ноябре-декабре торжественные банкеты прошли в 34 городах, и в них участвовало до 50 тыс. человек. На этих многолюдных собраниях ораторы сменяли друг друга, звучали речи с критикой правительственной политики, призывом к немедленному проведению реформ, выносились резолюции в поддержку земского съезда, с требованием конституции, созыва учредительного собрания. В записке Департамента полиции, содержащей оценку общественно-политической обстановки в стране в конце 1904 г., было обращено внимание и на тот факт, что банкеты очень часто проходили в помещениях земских и городских учреждений и под председательством их руководителей.[12] Анализ документов Департамента полиции позволяет сделать вывод, что в «банкетной кампании» наряду с представителями земства участвовали также гласные и служащие городских дум.

Общеполитическая обстановка в стране, радикализация позиции земства подталкивали либерально настроенную часть думских гласных к более активным действиям. Инициативу опять проявила Московская дума. 30 ноября в Думу было внесено «Заявление 74 гласных». Его постановляющая часть содержала перечень реформ, признаваемых неотложно необходимыми: 1) ограждение личности от внесудебного усмотрения;

2) отмена действия исключительных законов; 3) обеспечение свободы совести, собраний и союзов. В пункте четвертом указывалось, что эти начала должны быть проведены в жизнь на «обеспечивающих их неизменность незыблемых основах, выработанных при участии свободно избранных представителей населения». И, наконец, в пятом пункте предлагалось установить «постоянный на законе основанный контроль общественных сил над законностью действий администрации». «Заявление» было оглашено в Думе перед началом прений по городской смете на 1905 г. и принято единогласно. «Так Московская городская дума примкнула к земскому движению»,— оценивал впоследствии это событие один из лидеров думской оппозиции Н. И. Астров.[13]

Сам факт предъявления такого рода требований правительству от лица выборного института, который до последнего времени занимал политически пассивную позицию, приобретал общественную значимость. Учитывая это, руководители земского движения признали необходимым как можно скорее разослать постановление Думы председателям земских губернских управ и предводителям дворянства. Постановление Думы находит поддержку со стороны многих органов городского самоуправления.

По указанию министра внутренних дел, губернатор опротестовал постановление Московской думы. Был поставлен вопрос о привлечении кн. Голицына к ответственности. Губернское присутствие на заседании, состоявшемся 14 февраля 1905 г., не нашло для этого оснований. «События,— вспоминал Н. И. Астров,— стали развертываться с такой быстротой и стремительностью, что плохое поведение Думы и ее председателя было забыто, а возбужденное в городском присутствии "дело" закончено без особых последствий».[14]

Осуществленная на общем фоне ширящегося антиправительственного движения политическая акция московского городского самоуправления способствовала усилению оппозиционных настроений в провинциальных думах. Так, резко изменился характер постановлений о городском съезде. Если ранее в ходатайствах лишь в самой общей форме делались заявления о том, что съезды могут оказать помощь центральной власти при разработке некоторых законодательных мер, то с конца ноября в них вносится ряд вполне конкретных предложений и требований. В постановлениях Курской, Владикавказской, Ставропольской, Калужской и ряда других дум ставится вопрос о расширении прав городского самоуправления, пересмотре избирательного закона, изменении общих условий деятельности дум. Вятский городской голова в докладе, внесенном в думу 2 декабря, заявил, что у городского населения существуют запросы и требования общегражданского характера, не относящиеся непосредственно к городскому хозяйству. Поэтому предстоящий съезд должен взять на себя не только роль выразителя мнений городского населения по муниципальным вопросам, но и обсу-

дить, «при каких условиях может совершаться спокойное и наиболее продуктивное развитие государственной жизни».

После опубликования Указа 12 декабря, в котором самодержавие декларировало обещание расширить права земских и городских учреждений, в постановлениях дум формулируется требование немедленного законодательного пересмотра Городового положения при участии выборных представителей городов. (Удалось установить, что только в ноябре — декабре 1904 г. ходатайство о созыве съезда возбудили органы самоуправления 20 городов).

Приведенные в докладе материалы далеко не исчерпывают всех проявлений оппозиционности органов городского общественного управления в начале XX в. Однако и они убедительно свидетельствуют об усиливающемся процессе политизации деятельности дум. И хотя о наличии думского либерализма в полном смысле слова можно говорить, по-видимому, не ранее 1905 г., уже в рассматриваемый период городские думы все чаще и чаще выступают активным действующим лицом либерально-оппозиционного движения. И то, что органы самоуправления — ранее политически пассивный общественный институт — включаются в общий поток антиправительственных выступлений, служит еще одним показателем нарастающего кризиса самодержавной власти.

1 О городской реформе 1870 г. подробнее см.: Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х годов XIX в. Л., 1984.

2 О городской «контрреформе» см.: Шрейдер Г. И. Городская контрреформа 11 июня 1892 г.// История России в XIX веке. Из-во А. и И. Гранат. М., 1907. Т. 5; Гессен В. М. Городское самоуправление. Дополнение к курсу русского государственного права. СПб., 1912; Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970.

3 Сведения о числе жителей, получивших избирательное право, взяты из отчетов губернаторов о личном составе городских дум (ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Отдельное дело по каждой губернии).

4 При подсчетах использованы сведения из отчетов губернаторов о личном составе городских дум (см. сн. 3).

5 Выборочный анализ дум 53 уездных и безуездных городов Европейской России показал, что к первой сословной группе (дворянство) относилось 15.9 %, ко второй (купеческой) — 45.7 % и третьей (мещанской) — 38.4 % гласных.

6 Библиотека ЦГИА СССР. Печатные записки Комиссии под председательством кн. А. Д. Оболенского. Вопросы 10—15 программы Комиссии. С. 7. (Сплошная пагинация записок отсутствует).

7 ЦГИА СССР. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 3707. Л. 121.

8 Нардова В. А. Между двумя реформами (Общественное управление Петербурга в 1892—1903 гг.)// Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX — начале XX в. Л., 1987. С. 98—99.

9 Нардова В. А. Между двумя реформами... С. 90-105.

10 Нардова В. А. Нарастание оппозиционности органов городского самоуправления в канун первой российской революции 1905—1907 гг.// Новое о революции 1905—1907 гг. в России. Л., 1989. С. 99—112.

11 Кризис самодержавия в России. Л., 1984. С. 149—150.

12 Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905—1907 гг. М., 1985. С. 294; ЦГАОР СССР. ДП 00. 1906. Д. 832. Л. 18.

13 Астров Н. И. Воспоминания. Париж, 1941. Т. 1. С. 287—288.

14 Там же. С. 289.

Д. Филд (США)

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Вопрос о социальной идентификации в дореволюционной России затрагивается в тысячах научных работ, но им непосредственно занимаются главным образом зарубежные историки России. Парадоксально, что те же самые историки, которые большое внимание уделяют этому вопросу, относятся очень скептически ко всем социальным категориям. Например, М. Конфино оспаривает существование классов (в марксистском понимании) и сословий и в дореформенной, и в пореформенной России, признавая только «социальные группировки».[1] Г. Фриз доказывает, что сословный строй сложился в России только накануне отмены крепостного права, что образование классов шло туго и противоречиво, а сословность была жива еще накануне революций 1917 г.[2] Д. Брукс указывает не только на новый индивидуализм в народном самосознании в начале XX в., но и на появление нового социального типа, для которого привязывание к любому классу или сословию являлось лишь преградой к продвижению в жизни.[3] И все историки дореволюционной России сталкиваются с неразберихой в социальных категориях, начиная с терминологии. Заметно, например, что в России на рубеже XX в. названия сословий и классов широко использовались, особенно в форме прилагательных, с унизительным или пренебрежительным значением: «барский», «буржуазный», «мещанский», «мужицкий».

О смешении социальных категорий говорит и рассказ Александра Довженко. Пытаясь объяснить сыну его место в обществе, отец героя рассказа говорит: «Простые мы люди, сынку... Мы те, которые хлеб обрабатывают. Сказать бы, мужики мы... Да... Ой! ой! ой... мужики — и квит. Когда-то казаки, говорят, были, а теперь одно звание осталось».[4]

Другой пример. В 1895 г. при аресте Ленина чиновник охранки записал молодого социал-демократа как потомственного дворянина.[5] Забавное пересечение восходящего и уже ушедшего мировоззрений! А в том же самом году, в «Анне на шее» и других рассказах Чехова, мы находим те же чиноманию и жажду одворянивания, как в эпоху Гоголя. И сам Чехов, врач и известный писатель, но внук крепостного крестьянина, косвенно признал, что он «выдавливал из себя по каплям раба».[6]

Ленин сражался с архаичными и ненаучными социальными понятиями своих современников, тогда как сам он был вооружен четкими понятиями научного социализма. Но не всегда. В самом разгаре революционной борьбы Ленин иногда отходил от понятия «класс» и пользовался, словно Гракхи, старинными,

всем предельно понятными, самыми простыми категориями — богатые и бедные. Например, он предвидел то время, «когда последний чернорабочий, любой безработный, каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин[7] увидит — не из газет, а собственными глазами увидит,— что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте... что она берет лишние продукты у тунеядцев и дает голодным, что она вселяет принудительно бесприютных в квартиры богачей, что она заставляет богатых платить за молоко, но не дает им ни одной капли молока, пока не снабжены им в достаточных размерах дети *всех* бедных семей...»[8].

Сам Маркс, кажется, одобрил бы это отступление. Постоянно настаивая на значении классовой борьбы и на понятии класса, он пользовался не одной палитрой. В «Капитале» и в других основных его трудах мы находим знакомые четыре категории: *землевладельцы, буржуазия, рабочие и крестьяне*, а анализируя текущую политику в «Восемнадцатом брюмера», он допустил новые, межъярусные социальные группы: *люмпенпролетариат, «войско чиновников»* и т. д. Надо иметь в виду и нюансы его трактовки французского крестьянства в том же труде: «...громадная масса французской нации образуется простым сложением одноименных величин, вроде того как мешок картофелин образует мешок с картофелем. Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, интересы и образование образу жизни, интересам и образованию других классов,— они образуют класс. Поскольку между парцельными крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации,— они не образуют класса».[9]

Надо подходить осторожно даже к работам самых видных историков, например к капитальному труду Ю. Уебера о французском крестьянстве. Чтобы доказать тупоумие и замкнутость крестьян середины прошлого века, он приводит дело крестьян, арестованных в 1851 г. за участие в антиимператорских обществах и выступлениях: «Сам прокурор признал, что многие из восставших не знали в чем дело... (и) выступили под нажимом, глядя на других. Это имело большое значение, например, для крестьянина в романе Э. Золя „Карьера Ругонов", который во время процесса над участниками восстания мог только бормотать: „Я из Пужола". Для него, это было достаточно».[10]

Не хочется оспаривать таких крупных знатоков французского крестьянства, как Золя и Уебер, но историк России, знающий, как русские крестьяне выдавали себя за «темных» и даже «глупых» перед власть имущими, не может не спрашивать себя, о чем говорили французские крестьяне, возвращаясь в Пужол после суда. Смеялись ли они над тем, как они, представив себя глупцами, освободились из-под стражи?

Может быть, имеющее много значений слово «представление» укажет нам дорогу в неразберихе и поможет нам лучше понять социальные категории в дореволюционной России. В социально-политических и экономических отношениях это слово может обозначать: 1) понятие субъекта о себе, о месте своем и себе подобных в обществе; 2) понятия других о субъекте и ему подобных, в том числе понятия формальные, юридические (сословие), понятия из-вне, аналитические (класс), и понятия обычные, даже обывательские; 3) роль, которую исполняет субъект в известных условиях с известной целью — «представление» в смысле «зрелища»,— такое *как*, может быть, устроили крестьяне из Пужола.

Когда все эти виды «представления» совпадают друг с другом, статус субъекта оказывается недвусмысленным; когда совпадение оказывается частичным или вовсе отсутствует, дело социальной классификации осложняется. В дореволюционной России уровень совпадения был относительно низким, из-за этого несовпадения некоторые историки отказываются от всякой социальной категоризации.

Обращаясь к первому и самому авторитетному опыту применения социальных категорий, т. е. к первой главе книги Бытия, мы узнаем, что Бог пользовался двоичной категоризацией: «Мужчину и женщину сотворил их».[11] Двоичная категоризация является, под разными именами, самой фундаментальной за три столетия русской истории. В московском государстве основное социальное различие было между служилыми и тягловыми людьми. Не менее значительным было различие, введенное при Петре I, между податным населением и неподатным. Со времени отмены крепостного права, и особенно отмены подушной подати, вошла в оборот новая, опять двоичная категоризация: привилегированные и непривилегированные элементы. К концу XIX в. эта категоризация дублируется и потом заменяется новой — между цензовым обществом и нецензовыми массами.

Все эти категории на протяжении XIX в. довольно близко соответствуют другому важному различию (в основном культурному) — общество и народ. На одной стороне пропасти была та небольшая часть населения, которая, в плане своей бытовой и духовной культуры, жила (или старалась жить) общей жизнью с их собратьями в Центральной и Западной Европе. На другой было огромное большинство населения, которое жило (или старалось жить, или представляло себе, что оно жило) жизнью русской, не чужой, традиционной, не российской.[12] Это различие восходит к петровской эпохе и усиливалось по мере ослабления сопротивления элиты реформам Петра I в области культуры. Как отмечает Д. В. Чернышевский, «нигде более пропасть между верхами и остальным народом не была так велика, как в России».[13]

Наилучшей мерой глубины и широты пропасти между обществом и народом является не признание пропасти как та-

ковой (Герценом, например, вслед за славянофилами), а глухое отрицание — словесные попытки прикрыть или умалить ее. Вспомните слова Толстого о пляске Наташи: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были... неподражаемые, не изучаемые, русские... Анисья Федоровна... сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке».[14] Наташа, несмотря на образование, воспитание, положение, изображается как подлинная, коренная русская. Наверное, граф Толстой, как и многие его современники из общества, думал то же самое о себе — как в свое время думал князь Кропоткин.[15]

Сама Наташа хорошо поняла значение и глубину той пропасти, над которой она ловко плясала, как поняли Николай, и дядя, и Анисья, и дворовые. Этому различию, как и всем парам трехсотлетнего ряда двоичных категорий, соответствовали и субъективные, и объективные (в том числе законодательные) представления, как и представления в разных формах взаимодействия. Каждый русский знал, на какой стороне пропасти стоял он и на какой стороне стоял любой другой человек.

Беда в том, что двоичная категоризация редко пригодна в историческом анализе. Почти каждый объект исследования оказывается на все 100 % из общества или из народа. Учитывая однозначность двоичной категоризации, нам приходится обратиться к другим видам категорий.

Начнем с сословности, на фоне которой развивались классовые и другие социальные представления. Она определяла официальные категории в том смысле, что границы между сословиями фиксировались законом и что члены сословия имели общие обязанности перед государством. Но в законодательстве московского государства было мало четкости и определенности, было множество категорий и подкатегорий. Можно даже сказать, что сословность была противоречива в самой своей сути и на всех этапах своего развития — и не только в России.[16] Старые режимы по всей Европе пытались определить и уточнить границы между сословиями, но эти попытки были несовместимы с разнородностью, присущей таким режимам, с неумением пренебречь местным, частичным и особенным. Эта противоречивость станет понятной, если мы вернемся к нашему ветхозаветному примеру. Бог привел всех животных и птиц к Адаму, «чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Разумеется, что Адам назвал животных именами, а не видами или родами. Систематизация, упрощение — задачи новой эры.

Новая эра и соответственная систематизация начинались в России в царствование Петра I. Введением подушной подати он объединил разные группы несвободных в крепостное крестьянство. С большей преднамеренностью и планомерностью он слил всяких служилых и знатных людей в «шляхетство». И термин (хотя неудачный), и попытка указывают на главные составные части правительственной политики по сословному вопросу за 130 лет. Первая часть — желание вместить русскую действительность в уже готовые формы сословных строев Запада, вторая — стремление к упорядочению и упрощению. Оба эти стремления были противоречивы как внутренне, так и по отношению друг к другу. Вместе с желанием создать единую открытую элиту существовало желание замкнуть ее и даже обособить знатные роды. Образец «порядочного» сословного строя за рубежом был призраком. Притом понятие «сословия» включило в себе нежелательные, с точки зрения самодержавия, элементы правового порядка. Главным значением «сословия» к концу XYIII в. было «собрание», очень близкое к тогдашнему значению английского «corporation» и содержащее в себе зародыши вольности и гласности. Современники обыкновенно пользовались словами «чин» или «звание» вместо слова «сословие». Например, с ростом количества людей без определенного сословного положения вошел в оборот термин «разночинец», у Чернышевского был чин титулярного советника, но как попович с высшим образованием и светским занятием он слыл разночинцем. Россия имела сословный строй еще до того, как значение слова «сословие» зафиксировалось.

Во второй четверти XIX в. правительство старалось усовершенствовать сословный строй. Оно изобрело категорию «почетных граждан», что было довольно жалкой попыткой приспособить уже устарелую систему если не к капиталистическим отношениям, то к тщеславию капиталистов. Все категории некрепостных крестьян оно свело в две: удельные и государственные. Главной целью этой реформы было уменьшение недоимок, но она рельефно показывает значение сословной политики абсолютизма. Правительство бросило за борт всякие привилегии и особенности разных групп податного населения ради системности, простоты и ясности. Но упростить, ограничить, назвать — это тоже проявление власти. Бог дал Адаму право называть животных в силу его владычества над ними и для того, чтобы они убедились в этом владычестве. С тех пор сыновья Адама, имеющие власть, продолжают дело Адама с той же целью. Как отметил Н. М. Дружинин, «государственная власть, наложившая свои руки на пестрый контингент феодальных прослоек, стала превращать их в единообразную, подчиненную казне и систематическую эксплуатируемую ею массу».[17]

Законодательное оформление сословий в России завершилось с выходом Свода законов в 1832 г., в частности с выходом тома IX «О состояниях», но даже здесь проявляются те противоречи-

вость и нестройность, которые были присущи сословности, несмотря на все старания рационализаторов. Том начинается с определения: «В составе городского и сельского населения по различию прав состояния различаются законом четыре *рода* людей: 1) дворянство, 2) духовенство, 3) городские обыватели, 4) сельские обыватели. Все лица, принадлежащие к одному из этих *сословий*, пользуются правом *состояния*, оному присвоенному» (курсив мой.—*Д. Ф.*). Здесь, может быть, сказывается та, «неопытность в систематическом социальном мышлении», которую отметил Г. Фриз в трудах Сперанского и Карамзина,[18] но те же слова повторяются в соответственном томе Свода, вышедшем в 1899 г. Тем не менее можно сказать, что сословность достигла своего юридического апогея как раз перед отменой ее основы — крепостного права.

Вторая статья Общего положения 19 февраля 1861 г. провозгласила новую эру всесословности, хотя немного робко: «...крестьянам и дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются права состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу».[19] Написав многообещающее слово «права», перо законодателя прибавило термин из другого ящика — «состояния». Этому минутному словесному колебанию соответствовало содержание всех реформ 1860-х гг., в той мере, в которой они касались вопросов сословия и класса. Например, новобранцу из крестьянства приходилось служить шесть лет в армии не из-за «состояния», а из-за низкого уровня его образования; если только ему как-то удавалось получить высшее образование, он служил всего шесть месяцев, как и его товарищи по университету.

Общий процесс проявляется яснее всего в судебной реформе, потому что реформаторы тщательно и гласно объяснили почти каждую статью новых положений. Раздел о цензе присяжных начинается торжественными словами: «Присяжные заседатели избираются из местных обывателей всех сословий».[20] Избирательный ценз имели разные чиновники: сельские судьи или служившие не менее 3 лет в сельской должности, владельцы 100 или более десятин и другие лица с доходом не менее 200 рублей в год. Реформаторы объясняли этот ценз ссылкой на западноевропейский опыт. За рубежом ценз определялся платежом «известной суммой прямого налога в казну», но «у нас целые сословия... вовсе изъяты от платежа прямых налогов». Поэтому получился ценз в основном имущественный: «При сем было замечено: 1) что имущественный ценз... должен быть у нас, по крайней мере на первое время, довольно высок; иначе в присяжные поступали бы лица бедные, не имеющие достаточного образования и не довольно развитые для того, чтобы исполнить важную и трудную обязанность... 3) что в список присяжных заседателей надлежит вносить не одних владельцев недвижимых имуществ или капиталов, приносящих определенный законом доход, но и лиц, получающих пенсии, жалование

или доход от своего занятия, ремесла и промысла в известном размере, определенном законом; — иначе обязанность быть присяжными пала бы всем своим бременем на одних владельцев недвижимых имуществ, все другие лица, зажиточные и соединяющие прочие условия, требуемые от присяжных, были бы вовсе изъяты от этой трудной общественной обязанности. Но... признано необходимым, требуемый от них ценз дохода возвысить несколько против ценза, требуемого от владельцев недвижимых имуществ... [Наконец], признано, что имущественный ценз... должен быть довольно высок, дабы от присяжных заседателей можно было с уверенностью ожидать заботливость об охранении общественной и частной безопасности и законного порядка».[21]

Перед нами целый арсенал классовых понятий и различий: богатые — бедные, образованные — необразованные, развитые — отстающие, «заботливость об охранении... порядка» и соответственное предпочтение поземельной собственности всем другим ее видам. В присяжные брали только тех крестьян, которые уже «беспорочно» служили в качестве судей, старшин и старост. Одним словом, правительство пыталось исключить трудящихся из присяжных. Попытка оказалась и напрасной, и неудачной.[22] Тем не менее классовая дискриминация в судебном уставе, как и другие виды дискриминации в реформах 60-х гг., имела и сословный аспект. Цензы имущественный или по образованию имело большинство землевладельцев и буржуазии, крестьяне имели их редко и как класс, и как сословие. Таким образом, и в эпоху реформ, и в эпоху контрреформ можно говорить о классовом пути к сословной цели.

Крутой поворот правительства к незамаскированной классовой политике был одним из последствий революции 1905—1907 гг. Самым важным примером этого поворота была, конечно, столыпинская ставка «на крепких и на сильных». На самом деле ставок было три. Первой была попытка заменить благородное сословие новым классом землевладельцев, преимущественно из крестьян, так как во время революции поместное дворянство оказалось ненадежным в качестве первой опоры престола в российской деревне. Второй была попытка посредством общего укрепления надельных земель в частную собственность переделать правосознание и самосознание крестьян, придать новым собственникам то уважение к правам собственности вообще, которым славилось крестьянство французское. И третьей, как результат превращения надельных земель в товар, была попытка перенести социальную рознь с губернского или уездного уровня на деревенский, поставить некрепких против крепких в каждой деревне. Можно найти и другие примеры общего поворота в столыпинской политике в сфере местной администрации. Но последовательность и строгость новой линии яснее всего проявляются в Положении о выборах 3 июня 1907 г. Например, волостные сходы могли избрать в выборные только *настоящих*

крестьян, т. е. «из числа крестьян-домохозяев, принадлежащих к составу сельских обществ данной волости или приписанных к ней, которые, владея в пределах волости надельной или приобретенной в собственность землей и проживая в ней не менее года, лично ведут хозяйство». Класс здесь определяется как бы по-марксистски, отношением к средствам производства. В городе так же, как и в деревне. Промышленник без имущественного ценза мог войти в первую курию по экономическому значению своего предприятия. Оговаривалось также, что «рабочие... не подлежат внесению в избирательные списки по съездам землевладельцев и городских избирателей, хотя бы и владели установленным для того цензом».[23]

Итак, налицо движение не только от сословных к классовым представлениям, но и от пестроты к простоте. Далее, каждый комплект представлений был тесно связан с преобладающей линией правительственной политики того же периода. Например, сословно-классовые представления периода 1861-1905 гг. соответствовали стремлению к урегулированию и опеке, которое разделяли, каждый по-своему, Н. А. Милютин, Д. А. Толстой и С. Ю. Витте. Наконец, поскольку эти представления воплощались в законодательстве, они были выражением власти и ее самоутверждением перед населением.

Что можно сказать о сходстве представлений внизу с представлениями наверху и, в частности, о возобновлении и оживлении сословного сознания в период первой русской революции, которые отмечают некоторые исследователи?[24] Во-первых, в некоторых случаях сословные представления действительно совпадали с деятельностью, занятиями и представлениями о себе и людей и целых групп, совпадая также с классовыми понятиями. Тот купец, который не покупал, не продавал, переставал быть купцом, и в условиях начала XX в. от сословного понятия «купечество» к классовому понятию «буржуазия» — шаг небольшой. В то же время очень часто потомственный дворянин не был ни землевладельцем, ни служилым человеком.[25] По данным переписи 1897 г. во всех великорусских губерниях, кроме семи, большинство дворян жило в городах. Причины этого «огорожанивания» дворянства надо искать в притоке дворян в новые профессии, в естественной простоте, и в одворянивании, и лишь в меньшей степени в распродаже имений.[26]

Во-вторых, в напряженной обстановке 1905—1914 гг. соперники искали оружие всюду, где только могли найти. Сословные привилегии и преимущества, сословные представления, даже сословные мифы, были под рукой. В известных условиях даже тоска по старине — по той счастливой эре, когда сословные рамки обеспечивали патриархальность бар и покорность преданных им крестьян, могла быть политическим оружием. Контрнаступление дворянства в земских и дворянских собраниях и в новых всероссийских организациях было оборонительным действием класса землевладельцев в сословном мун-

дире, и дворяне-неземлевладельцы не принимали в нем значительного участия.

Сказанное относится и к крестьянам, хотя и лишенным сословных преимуществ. Возьмем как пример приговоры и наказы крестьян во время первой революции.[27] Главным в них была, конечно, жажда земли. Почему крестьяне украсили основное свое требование дополнительными политическими и другими требованиями, очень часто в пользу некрестьян? Имели значение, конечно, взгляды сочинителей приговоров, деревенских интеллигентов, и когда мы находим в пункте о голосовании всю так называемую четыреххвостку, мы видим это «чужое» влияние (хотя силу этого влияния нелегко установить).[28] Имел значение и нетрудный расчет: чем шире демократизация, тем больше будет политический вес земледельческого крестьянства как класса. А может быть, имело значение и представление о крестьянстве как универсальной категории, почти тождественной с народом, а значит, и с нацией — представление, которое ближе к сословному, чем к классовому понятию. Понимание крестьянами того, что их сила только в численном превосходстве, толкнуло их к самому широкому и поэтому квазисословному представлению о себе, по крайней мере в сфере политики.

Но был, конечно, десяток миллионов «некрестьянских крестьян» — в 1897 г. в Европейской России 11 760 069 человек сельского состояния не занимались земледелием. Большинство из них были рабочими, социальные представления которых в значительной степени определялись связью с землею. Так вопрос обыкновенно ставится, однако Э. Крузе указывает на разновидности этой связи.[29] Вместе с каждым видом связи шло много возможных представлений о себе. Но какую бы форму ни принимала связь рабочего с деревней, она не ладит с представлением историков. Как отметил М. Конфино, «мы привыкли к мысли, судя по тенденциям в других странах в другие периоды, что Иван, как John и Jean, должен быть *или* крестьянином, *или* рабочим», и он сам, отклоняя эту мысль, охотно примиряется с крестьянином-рабочим.[30] Может быть, противоположность русских и западных рабочих была на самом деле только относительной, но в дореволюционный период эта противоположность укоренилась в представлениях самих русских — рабочих и других. Хоган приводит пример петербургского металлиста В. Соколова, который еще жил по-крестьянски в домашней обстановке, но гордился своей сознательностью и вне дома вел себя как рабочий интеллигент,[31] перед ним был западный образ рабочего, и отождествление себя с ним было актом самоутверждения и отпором властям. Словом, это представление извне не было просто навязанным Соколову и его товарищам, скорее, как отмечает Л. Хаймсон, «сила и прочность этих представлений зависели в конце концов от степени их соответствия совокупному жизненному опыту» рабочих.[32] И эта степень была в свою очередь обусловлена политической и экономической конъюнк-

турой. Хаймсон приводит пример московских аптекарских помощников, которые во время подъема революционного энтузиазма, несмотря на свои довольно высокие квалификацию и интеллигентность, стали думать о себе как о рабочих.[33] Среди металлистов Петербурга в период отступления революции Хоган отмечает противоречивые представления: с одной стороны, «регрессия» в форме возобновления фабричного и районного местничества, а с другой — новая тенденция представлять своего противника не как хозяина или администрацию фабрики, а как буржуазию вообще. Вторая тенденция была следствием многих факторов, прежде всего правительственной политики: «... куриальная система [в выборах] содействовала процессу классообразования, который не уменьшил, а увеличил представление рабочих о себе именно как о рабочих, а не как о гражданах Петербурга или нации».[34]

Рассмотрим, наконец, знакомый источник — петицию, подготовленную для представления Николаю II 9 января 1905 г.[35] В нем важна не монархическая оболочка, а то, что авторы представляют себя совершенно обездоленными, бессильными: в петиции угроз нет, и альтернатива удовлетворению их просьб — не борьба, а смерть просителей. Они сироты, как в челобитии периода московского государства; соответственно они обращаются к государю на ты. Но по содержанию это не челобитие, и монархизм в нем не очень убедителен. Пункт об Учредительном собрании, избранном всеобщей подачей голосов, является по существу требованием, чтобы батюшка-царь отказался от власти. Далее, в первой строке они представляют себя коренными, семейными, петербургскими фабричными рабочими. Они не забывают о своих меньших братьях в деревне и вводят в петицию несколько просьб в их пользу, но они подчеркивают специфически рабочие просьбы, требуя удовлетворения их «немедленно». Они не забывают и о духовных нуждах и просят об отделении церкви от государства. Странная забота для людей на краю смерти, но она имеет большое значение в плане социальных представлений. Просьба эта — общее место для всей левой, прогрессивной общественности в России и на Западе; выдвигая ее, авторы показывают, что они — рабочие сознательные, пролетарии. Переплетение в этом документе представлений из разных эпох отражает состав рабочего населения столицы и, может быть, колебания среди авторов. Единственное постоянное представление — это двоичное различие между своими и чуждыми, между собою и противостоящими хозяевами и чиновниками. Это различие вмещает все другие представления — и фабричные люди и трудовой народ, и рабочие и пролетарии — и, может быть, оно нашло отзвук и в представлениях высокопоставленного адресата.

В заключение предлагаю пять тезисов:

1. Развитие сословного строя и переход от него к классовому — то движение, которое давно изображается в литературе,— действительно имело место, но оно вряд ли было прямолинейным.

Оно обусловливалось противоречивостью и многосложностью сословных и классовых понятий, взаимодействием этих понятий друг с другом, уровнем совпадения их с другими видами социальных представлений. Постоянным было только двоичное различие между обществом и народом.

2. Правительственная политика оказала сильное влияние на все виды социальных представлений, но результаты этого влияния часто не соответствовали намерениям правительства по сословно-классовому вопросу.

3. Уровень совпадения разных видов социальных представлений друг с другом сильно колебался в зависимости от политической и экономической конъюнктуры и от положения личности или группы в иерархии данного времени.

4. В повседневных взаимодействиях и в столкновениях — в выступлении крестьян, в выступлении земского гласного (даже, скажем, в пляске Наташи) — главное значение имело «представление» в третьем указанном выше смысле, т. е. исполнение роли перед другими.

5. Перед нами открыт средний путь между самоуверенностью и отчаянием. Отказываясь от легкомысленного отождествления сословия с классом и от механических предположений о данном классе или сословии, мы не должны отказаться от категоризации вообще. Биолог спокойно справляется с морским млекопитающим и рыбой с легкими, не отрекаясь от своей науки и ее лексики. Надо признать, однако, что судьба одарила нас, специалистов по истории России, немалой долей утконосов.

1 Я имею в виду прежде всего доклад М. Конфино на съезде Южной конференции славистов в Чапел Хилл в 1986 г. См. также: Confino M. Issues and Nonissues in Russian Social History and Historiography // Kennan Institute for Advanced Russian Studies. Occasional Paper. Washington, 1983. № 165.

2 Freeze G. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History // American Historical Review. 1986. V.91, № 1. P.11—36.

3 Brooks J. Competing Modes of Popular Discourse: Individualism and Class Consciousness in the Russian Print Media, 1880—1928 // Culture et Révolution Ed. by Ferro M. Fitzpatrick S. eds. Paris, 1989. P.76.

4 Довженко А. Зачарованная Десна. М., 1964. С. 49—50.

5 В прошениях, написанных в течение следствия и на пути в ссылку, Ленин представлял себя по номинальной профессии как «помощник присяжного поверенного»; в прошениях из Сибири он пользовался разными формами выражения: «административно-ссыльный по политическому делу, помощник присяжного поверенного» — т. е. к профессии прибавлял занятие, с намеком на несправедливость своего наказания, а после ссылки в одном прошении на имя директора Департамента полиции он представил себя как «потомственного дворянина» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.46. С.448—456).

6 Письмо 7 января 1889 г. А. С. Суворину //Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. М., 1949. Т.14. С.289.

7 В этом нисходящем порядке Ленин, как мне представляется, поставил работающую женщину ниже мужчины без работы, но выше крестьянина-мужчины.

8 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.34. С.329. См. также: Там же. С.322—323.

9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.8. С.207—208.

10 Weber E. Peasants into Frenchmen. Stanford (Ca), 1976. P.252—253.

[11] В 1936 г. бывший семинарист Сталин также ввел двоичную категоризацию населения СССР, но в отличие от Бога он допустил промежуточную категорию — интеллигенцию (см: Сталин И. В. О проекте Конституции Союза ССР // Соч. Т.1(14): 1936—1940 гг. Стенфорд, 1967. С. 142—145.)

[12] По мнению М. Чернявского «русский» отличался от «российского» прежде всего связью первого с првославием. Ахматова, кажется, была того же мнения. В цикле стихотворений о том времени, когда «безвинная корчилась Русь», когда она была «с моим народом», она очень часто пользуется религиозными образами и ссылается на православные обряды. Эта связь, конечно, только дополняет основное отношение слова «российский» к понятиям многонационального, казенного и городского. Одним словом, различие между русским и российским очень близко соответствует различию между обществом и народом. (Cherniavsky M. Tsar and People: Studies in Russian Myth. New Haven; Stanford, 1961. P.118—120); Ахматова А. Реквием // Лирика. М., 1989. С.213—221.

[13] Чернышевский Д. В. Карательная политика царизма 1881—1894 гг. Саратов, 1990. С.6.

[14] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1930. Т.10. С.266—267.

[15] Kropotkin P. A. Memoirs of a Revolutionist. Boston, 1899. P.105.

[16] Mousnier R. The Institutions of France under the Absolute Monarchy: Society and the State. Chicaqo, 1979. P. 4—14; on «corporations» see p.429, f. По подсчету Блюш и Солнон, во Франции в 1695 г. были 22 социальных ранга, обнимающих 569 уровней (Bluche F. & Solnon J.-F. La véritable hierarchie de l'ancienne France. Geneva, 1983).

[17] Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. М.; Л. 1946. Т.1. С.44.

О классификации как проявлении власти в советский период см.: Фиулатрик Ш. Классы и проблемы классовой принадлежности в Советской России 20-х годов // Вопросы истории. 1990. № 8. С.16—32.

[18] Freeze G. The Soslovie ... P.20.

[19] ПСЗ-2. 1861. Т.36. № 36657.

[20] Составители Положений отметили, что они рассмотрели и отвергли другую, сословную систему: Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны. СПб., 1864. Ч.3. С.XXVII—XXVIII.

[21] Там же. С.74.

[22] В 1883 г. в пяти центральных губерниях (без губернского города и его уезда) процент присяжных из крестьян колебался от 53.9 % в Петербургской до 79.9 % в Нижегородской; данные по одному уезду показывают, что из крестьянских присяжных только 15 % имели имущественный ценз (Афанасьев А. К. Состав суда присяжных в России // Вопросы истории. 1978. № 6. С.199—203).

[23] ПСЗ-3. 1907. Т.27. № 29242.

[24] Freeze G. The Soslovie ... P.31—32.

[25] Об уменьшении доли поместных дворян в высшей бюрократии во второй половине XIX в. см.: Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. Гл. IV.

[26] Общая площадь дворянских земель в Европейской России в 1905 г. составила 73 % от 1877 г. тогда как число дворян-землевладельцев за этот период сократилось лишь на 6.5 %.

[27] См.: Буховец О. Г. The Political Consciousness of the Russian Peasantry in the Revolution of 1905—1907: Sources, Methods, and Some Results // Russian Review. 1988. V.47, № 4. P.357—374 и его же статьи на русском языке, процитированные там.

[28] Например, в приговоре села Упертовки, Тульской губ. от 29 октября 1905 г. мы находим требование созыва «Учредительного собрания из представителей всего народа, выбираемых всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием». В приговоре села Федотьева, Рязанской губ. от 21 ноября 1905 г., мы находим те же лозунги, но каждый из них сопровождается объяснением. Кажется, что эти объяснения — результат обсуждения их крестьянами и сочинителем на сходе, а может быть, сочинитель внес их для того, чтобы придать приговору более простонародный вид? Революция 1905—1907 гг. в России.

Документы и материалы. М., 1955. Ч.2: Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г. С.405; Крестьянское движение в Рязанской губернии в годы первой русской революции. Рязань, 1960. С.84.

29 Крузе Э. Э. Положение рабочего класса России в 1900—1914 гг. Л., 1976. С.141—147.

30 Confino M. Issues and Non-issues ... P.41,58.

31 Гарви П. Записки социал-демократа. Newtonville. (mass.), 1982. P.67. Цит. по: Hogan H. The Metal Workers of St: Petersburg, 1890—1914 (рукопись).

32 Haimson L. Civil War and the Problem of Social Identities in Early Twentieth Century Russia // Party, State and Society in the Russian Civil War / Ed. by Koenker D. P., Rosenberg W. G., Suny R. G. Bloomington (IN.), 1989. P.28—29.

33 Sanders J. Drugs and Revolution: Moscow Pharmicists in the First Russian Revolution // Russian Review. 1978. V.44, № 4. P.351—378.

34 Hogan H. The Metal Workers ...

35 Начало первой русской революции. Январь — март 1905 г. М., 1955. С.28—31.

С. И. Потолов

ЦАРИЗМ, БУРЖУАЗИЯ И РАБОЧИЙ КЛАСС РОССИИ В НАЧАЛЕ XX В. (ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)*

Рост рабочего движения на рубеже XIX—XX вв., усиление его массовости и организованности, политической, общедемократической направленности против самодержавного строя (Обуховская оборона 1901 г., политические стачки и демонстрации 1901—1902 гг.) явились одним из главных факторов возникновения в начале XX в. общенационального кризиса, революционной ситуации. Российский пролетариат, прежде всего индустриальные рабочие в крупнейших промышленных центрах становятся ведущей силой освободительного, революционного движения в стране, а рабочий вопрос наряду с аграрным выдвигается на первый план, и от его решения зависели во многом судьбы как самодержавия, так и буржуазии.

Этот кризис; помимо всего прочего, отчетливо обнаружил бесплодность и очевидную неудачу прежней политики царизма в рабочем вопросе, сочетавшей казенное «попечение» о рабочих с жестокими полицейскими преследованиями участников рабочего движения, запрещением пролетарских организаций. Неудачу терпел и традиционный предпринимательский патернализм.

В докладе мне хотелось бы кратко высказать соображения по давно дискутируемому вопросу о том, насколько реальна и осуществима была в России альтернатива революционному движению, имелись ли серьезные перспективы у традиционного для западноевропейских стран тред-юнионизма, реформистского направления в рабочем движении и какова роль в этом плане

---

* Экономические аспекты темы см. в последующем докладе Л. Е. Шепелева.

внешней, если можно так выразиться, социальной среды — царского правительства, а также основного классового противника рабочего класса — предпринимательской, деловой буржуазии, их политики в рабочем вопросе.

В правильном понимании этих важных коренных проблем — едва ли не главная разгадка характера рабочего движения в России начала XX в., в котором политическая, антиправительственная направленность не только соседствовала с обычными экономическими формами борьбы, но в отдельные периоды превращалась в важнейший фактор общедемократического, революционного движения, особенно накануне и во время всех трех российских революций.

Как известно, буржуазные реформы 1860—1870-х гг., осуществленные вслед за отменой в 1861 г. крепостного права в России, мало затронули рабочий класс. И это было следствием того, что в стране еще только происходили становление капиталистических отношений, формирование основных классов капиталистического общества — рабочего класса и буржуазии. Тем не менее основные элементы будущей охранительно-попечительной рабочей политики царизма складываются именно в эти годы, в процессе разработки рабочего законодательства различными правительственными комиссиями (Штакельберга, Игнатьева, Валуева).[1] И уже тогда определился отказ от либерально-буржуазного принципа свободы отношений между трудом и капиталом и связанной с ней свободой стачек и рабочих организаций, рабочего представительства в выборных органах (в частности — в промышленных судах по проекту Комиссии Штакельберга), что представлялось несовместимым с самодержавным строем.

Но отказывая рабочему классу, да и буржуазии в свободе взаимоотношений в сфере трудового договора, царизм неизбежно становился на путь казенного попечительства, вмешательства сверху в трудовые взаимоотношения между рабочими и промышленниками, их мелочной регламентации в целях предупреждения трудовых конфликтов. В случае же их возникновения (в ходе стачечного движения 1870-х гг., например), правительство и его местные органы, полиция и жандармерия принимали все меры для подавления рабочих выступлений, преследуя активных их участников, преимущественно в административном (внесудебном) порядке на основе циркуляров МВД 1870, 1878—1879 гг., а затем и Положений об усиленной и чрезвычайной охране 1881 г., разрешавших высылку стачечников в места их приписки. В отдельных случаях участники рабочего движения привлекались к уголовной ответственности по суду на основании сохранившейся с 1845 г. в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных ст. 1358, предусматривавшей кратковременное тюремное заключение для нарушителей трудового договора. Реакционная охранительная публицистика (прежде всего изда-

ния М. Н. Каткова) со своей стороны требовала окончательного узаконения и ужесточения всех охранительно-попечительных мер для предупреждения пролетарского движения, подобного западноевропейскому.

В начале 1880-х гг. Министерство финансов во главе с Н. Х. Бунге проводит первые фабричные законы, ограничившие детский и женский труд и учреждавшие в целях надзора за их исполнением институт фабричной инспекции. В общем и целом они копировали западно-европейское законодательство и были вполне буржуазными, отвечавшими назревшим потребностям промышленного развития страны. Их осуществление, однако, встретило, с одной стороны, сильное противодействие промышленников, а с другой — критику охранительного лагеря, требовавшего принятия более решительных законодательных мер против и в целях предупреждения растущего в стране рабочего движения.

В условиях политической реакции и контрреформ 1880-х гг., сразу после Морозовской стачки 1885 г., продемонстрировавшей определенную организованность и упорство рабочих в отстаивании своих требований, по инициативе Министерства внутренних дел и Департамента полиции были разработаны «Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих», составившие впоследствии центральную часть новых редакций «Устава о промышленности». Эти «Правила», с одной стороны, регламентировали условия найма и труда рабочих, ограничивая произвольные действия промышленников (размеры штрафов, сроки и порядок расчетов и т. п.), а с другой,— фактически запрещали, под угрозой уголовной ответственности, стачки рабочих. В последнем случае эти действия правительства, откровенно нарушающие гражданско-правовой характер трудового договора, объяснялись (в Записке в Государственный совет) тем, что «личный наем для работ на фабрики и заводы... по значительности интересов государственных, с ним связанных, представляется важным предметом полицейского благоустройства и, в силу его значения для общественного порядка, не может не входить в область особого попечения и надзора правительства».[2] «Правилами» были увеличены сроки тюремного заключения по суду за участие в стачках на промышленных предприятиях. И все это происходило в то время, когда в западноевропейских странах уголовное преследование участников рабочего движения почти повсеместно было отменено.

Наконец, новые «Правила» коренным образом изменили роль фабричных инспекторов, которым теперь вменялось в обязанность принятие мер «к предупреждению споров и недоразумений между фабрикантами и рабочими», т. е. сугубо полицейские функции. Они должны были теперь тесно сотрудничать с полицией и губернскими властями, на последних возлагался общий надзор «за соблюдением на фабриках и заводах долж-

ного благоустройства и порядка» посредством вновь создаваемых губернских по фабричным делам присутствий.[3] Утвержденные в окончательном виде Александром III 3 июня 1886 г. указанные «Правила» стали основным фабрично-заводским законом, действовавшим без особых изменений вплоть до 1917 г. и отражавшим саму суть рабочей политики самодержавия, в которой, как справедливо отмечал В. И. Ленин, «крепостнические методы борьбы с рабочим движением страшно преобладают».[4]

Однако карательные статьи русского уголовного права, ставившие фактически вне закона стачки рабочих, были не только историческим анахронизмом, отражавшим архаичность и отсталость всех политических институтов самодержавного строя, они также оказались и трудноосуществимыми на практике: несмотря на все юридические запреты и ограничения, рабочее движение в России неуклонно росло и ширилось, и невозможно (да и обременительно!) было привлекать к ответственности всех его участников; в этом не были заинтересованы и сами предприниматели. Поэтому на деле преобладали внесудебные формы подавления рабочих выступлений, основанные на полицейском произволе, употреблении (а точнее — злоупотреблении) всех мер административного воздействия, от телесных наказаний до использования войск.

Правительственную политику в отношении рабочего движения на рубеже XIX—XX вв., ее репрессивную сущность определяли секретные циркуляры, исходившие главным образом от Министерства внутренних дел (наиболее известным из них был откровенно антистачечный циркуляр министра внутренних дел И. Л. Горемыкина от 12 марта 1897 г.), а также Положения об усиленной и чрезвычайной охране 1881 г., руководствуясь которыми власти на местах, полиция жестоко подавляли всякое проявление пролетарского протеста, арестовывая и высылая без суда и следствия рабочих активистов. Особенно усилились репрессии властей против рабочих в конце 1890-х гг., после того как в декабре 1897 г. между МВД и Министерством юстиции была достигнута, в развитие горемыкинского циркуляра, договоренность о преимущественном применении против стачечников административно-полицейских мер на основе охранных положений, действовавших на рубеже XIX—XX вв. в основных промышленных губерниях России.

В результате уже с начала 1898 г. случаи судебного преследования участников рабочего движения становятся весьма редкими, зато многократно усиливается полицейский произвол, а аресты и административная высылка рабочих активистов, просто рядовых стачечников, приравненных теперь окончательно к «государственным преступникам», становятся обычной, повседневной практикой. Об отношении верхов к стачкам русских рабочих красноречиво свидетельствует характерная пометка Николая II, сделанная им 25 мая 1897 г., т. е. уже после петер-

бургских стачек 1895—1897 гг., на всеподданнейшем отчете гродненского губернатора за 1895: «...стачки выдумала именно образованная Европа».[5]

Министерство финансов пыталось возражать против усиливающегося вмешательства МВД, полиции в неподведомственную им промышленно-финансовую сферу, доказывая (в записке от 23 июня 1898 г.), что обеспечение «внутреннего порядка» на фабриках и заводах находится исключительно в компетенции фабричной инспекции, а «нарушение фабрикантом или рабочим правил внутреннего распорядка является всегда и прежде всего нарушением договора между ними, представляется, следовательно, нарушением частного права и не может само по себе рассматриваться как нарушение общественного порядка, в узком значении этого слова».[6] Иными словами, уже в 1898 г. Министерство финансов высказывало известные оговорки против уголовного преследования за участие в экономических конфликтах на промышленных предприятиях, т. е. фактически выступило за легализацию стачек, рассматривая это как единственно реальное средство противодействия вмешательству органов МВД в фабричные дела. Однако до этого тогда дело не дошло, все свелось к разграничению сфер действия полиции и фабричной инспекции.

Антистачечные мероприятия царизма конца 1890-х гг., равно как и поощрявшиеся правительством и местными властями меры казенного попечения о рабочих и предпринимательский патернализм, в конечном счете не принесли их творцам желаемого эффекта, и новый подъем рабочего движения в России в начале 1900-х гг. (а движение это все больше приобретало политический характер[7]) был очевидным показателем неудачи всего охранительно-попечительного курса, политики репрессий. На рубеже XIX—XX вв. в правительственных кругах и ведомствах происходят лихорадочные поиски новых методов решения «рабочего вопроса», причем все больше утверждается отказ от прежних представлений об отсутствии в России сложившегося, аналогичного западноевропейскому, рабочего класса и о «патриархальности» отношений между предпринимателями и рабочими. Созываются междуведомственные совещания, заседают различные комиссии, обсуждаются многочисленные записки, проекты, однако реальными их результатами было новое усиление административно-полицейского аппарата надзора и преследования рабочих да попытки отдельных чиновников Министерства внутренних дел действовать методами «полицейского социализма», насаждать в рабочей среде контролируемые охранными отделениями «зубатовские» организации.[8]

Вместе с тем выявляются и определенные разногласия в самом правительстве, нашедшие наглядное проявление в ведомственном соперничестве Министерства финансов и Министерства внутренних дел. Отнюдь не отказываясь от решительной борьбы с рабочим движением, промышленно-финансовое ведом-

ство во главе с С. Ю. Витте в то же время выступало против откровенного вмешательства властей в экономические конфликты между предпринимателями и рабочими, передачи фабричной инспекции в ведомство Министерства внутренних дел с целью ее полного подчинения полицейским органам на местах, за дальнейшее развитие фабричного законодательства, иными словами, за более буржуазные методы решения «рабочего вопроса». Несомненно, это была более дальновидная политика укрепления самодержавного строя посредством развития экономики и ослабления социальных конфликтов в промышленности.

С этих позиций Министерство финансов и выступило в начале 1902 г. с собственным проектом отмены уголовного преследования участников экономических стачек, их легализации, разрешения рабочим организовывать разного рода кассы, общества самопомощи и просветительные организации, беспрепятственно проводить на заводах и фабриках собрания для обсуждения своих нужд, избирать из своей среды выборных представителей для сношений с администрацией на предприятиях и фабричными инспекторами. Подобные предложения содержались в специальной записке «О пересмотре статей закона, карающих забастовки и досрочные расторжения договоров о найме и о желательности установления организации рабочих в целях самопомощи», которая в литературе обычно фигурирует как записка Витте.[9] Основная часть проекта не была тогда реализована, единственным его отголоском был весьма ограниченный, имевший сугубо охранительные функции закон 10 июня 1903 г. о фабричных старостах, оказавшийся в итоге мертворожденным из-за бойкота со стороны рабочих и большинства промышленников. В другом, принятом также в июне 1903 г., фабричном законе «О вознаграждении владельцами промышленных предприятий рабочих и служащих, утративших трудоспособность вследствие несчастных случаев» правительство отказалось от идеи государственного страхования рабочих, опять-таки в силу своего нежелания предоставить рабочим, да и промышленникам, права создавать свои организации.

Провал новых попыток царизма решить рабочий вопрос наглядно продемонстрировала всеобщая стачка рабочих Юга России летом 1903 г., которая имела отчетливо выраженный политический, антисамодержавный характер и на практике привела к полному краху зубатовщины. С отставкой в августе 1903 г. Витте с поста министра финансов вообще прекратилась дальнейшая разработка фабричного законодательства, происходит усиление при министре внутренних дел В. К. Плеве репрессий в отношении рабочего движения, которое по-прежнему оставалось вне закона. Утвержденное Николаем II 22 марта 1903 г. новое Уголовное уложение не только сохраняло судебное преследование участников стачечного движения, но и распространило его на все категории наемного труда (прежние уголовные законы предусматривали наказания лишь для рабочих,

занятых на предприятиях, находившихся под надзором фабричной инспекции). Все это, однако, не предотвратило дальнейшего развития революционного кризиса, вылившегося в конечном итоге в буржуазно-демократическую революцию 1905—1907 гг., застрельщиком и ведущей силой которой явился рабочий класс России.

С началом революции правительство, и прежде всего Министерство финансов во главе с В. Н. Коковцовым, предпринимает очередную попытку модернизировать правительственный курс в рабочем вопросе путем дальнейшего развития буржуазного, в своей основе фабричного, законодательства и отказа от уголовного преследования участников экономических стачек и рабочих организаций. В срочном порядке были привлечены прежние законопроекты и записки по рабочему вопросу и в несколько подновленном виде были представлены на обсуждение промышленников в специальной комиссии под председательством В. Н. Коковцова.

Промышленная буржуазия активно выступила против каких-либо экономических уступок рабочим (в страховом деле и организации больничной помощи, сокращении рабочего дня) и в самом начале сорвала работу комиссии Коковцова. В многочисленных записках, выступлениях промышленников и предпринимательских организаций в 1905 г. (до октября — ноября) отразилось как недовольство рабочей политикой царизма, постоянным вмешательством властей во взаимоотношения между предпринимателями и рабочими, так и определенные претензии на раздел с помещиками политической власти в стране. Отсюда требования политических реформ, предоставления приоритета законодательному обеспечению политических, гражданских прав населения, включая сюда и свободу собраний, экономических стачек и организаций, как рабочих, так и предпринимательских (вплоть до монополистических), перед реформой собственно рабочего законодательства.[10] Среди всех этих близких по своему содержанию документов едва ли не самыми либеральными были всеподданнейшая записка уральских горнопромышленников 9 марта 1905 г., выступления и предложения Совета съездов уральских горнопромышленников при обсуждении правительственных проектов трудового законодательства в Совете по горнопромышленным делам весной 1905 г.[11] Этот во многом показной либерализм промышленной буржуазии на практике сочетался с налаживанием предпринимательскими организациями единого фронта антизабастовочной борьбы (заключение специальных конвенций, локауты и т. п.).

Что же касается главной силы революции в России — рабочего класса, к мнению которого не собирались прислушиваться и привлекать к обсуждению разрабатываемого трудового законодательства, он проявлял явное равнодушие к «реформаторству» царских бюрократов и буржуазному фразерству, на деле, явочным путем, в ходе массовых стачечных выступлений утверждая

свои права на забастовки и создание пролетарских организаций, профсоюзов, активно борясь за 8-часовой рабочий день и коренное улучшение своего экономического и политического положения, за ликвидацию самодержавного строя. Возглавив Всероссийскую политическую стачку в октябре 1905 г., рабочий класс вынудил царизм пойти на известные уступки, обещать в манифесте 17 октября политические свободы и созыв законодательной думы. Создав свои классовые организации — Советы рабочих депутатов, профсоюзы — российский пролетариат в период высшего подъема революции в конце 1905 г. вступил на путь вооруженной борьбы с самодержавием, не ослабляя одновременного сопротивления экономическому наступлению промышленной буржуазии.

В этих условиях окончательно определяется расстановка основных классовых сил в революции, и против дальнейшего нарастания массовых политических забастовок, вооруженных восстаний единым фронтом выступают самодержавный помещичье-крепостнический лагерь во главе с Николаем II и практически вся буржуазия от промышленно-финансовых кругов до «ультралибералов» в лице кадетов. Характерно, что с требованиями присылки воинских частей для подавления рабочего движения в конце 1905 г. выступают недавние наиболее рьяные поборники свободы стачек и рабочих организаций — московские фабриканты, южные и уральские горнопромышленники.

Правительство и местные власти, как правило, шли навстречу подобным ходатайствам. Реорганизованный в октябре 1905 г. Совет министров во главе с С. Ю. Витте в рабочем вопросе активно проводил двуединую политику решительной борьбы с революционным пролетарским движением в сочетании с попытками осуществить реформу трудового законодательства буржуазного характера. При этом в борьбе с рабочим классом использовался не только весь репрессивный аппарат царизма, но и разработанные и в срочном порядке принятые различные Временные правила, направленные против демократической печати, массовых политических забастовок, ограничившие в самом начале права возникавших в стране многочисленных профессиональных союзов.[12] Той же, по сути, цели служили попытки вновь созданного Министерства торговли и промышленности провести в жизнь разработанную им в начале 1906 г. (особое совещание М. М. Федорова) наиболее буржуазную программу по рабочему вопросу, осуществить давно назревшую реформу трудового законодательства, ориентированную на свободное соглашение сторон в трудовом договоре, относительно широкое представительство рабочих в проектируемых промышленных судах, страховых органах, свободу стачек и профсоюзов. Либерально-реформистский подход МТП имел своей целью выхолостить революционное содержание пролетарского движения, ввести его в ограниченные экономические рамки посредством сотрудничества с соглашательскими и тред-юнионистскими эле-

ментами (весьма, заметим, немногочисленными в рабочем классе), установить социальный мир между рабочими и предпринимателями с помощью примирительных камер, тарифных, коллективных соглашений и т. п.

Это была реальная альтернатива революционному рабочему движению, и тем более показательна ее неудача. Неосуществимость этого достаточно ограниченного либерально-реформистского курса в рабочем вопросе на практике выявилась очень скоро. В условиях спада, особенно со второй половины 1906 г., революции и широкого наступления против завоеваний российского пролетариата со стороны предпринимательского лагеря и властей, широко пользовавшихся механизмом почти повсеместно действовавших репрессивных Положений об усиленной и чрезвычайной охране, все более иллюзорной становилась «свобода» стачек и профсоюзов. В правительстве все большее преобладание получает традиционно жесткая позиция Министерства внутренних дел и его главы, нового председателя Совета министров П. А. Столыпина, отражавшая настроения самодержавно-крепостнических кругов и ориентировавшаяся в своей практической деятельности почти исключительно на беспощадное подавление пролетарских выступлений и рабочих организаций. Между властями и антирабочими предпринимательскими организациями налаживается деловое сотрудничество в преследовании забастовщиков и профсоюзных активистов. В этих условиях тарифные, коллективные договоры, случаи примирительного разбирательства (примирительные камеры) и подобные им другие проявления либерально-буржуазного разрешения трудовых конфликтов носят на заключительных этапах первой русской революции единичный характер, растворяются в общем потоке антирабочей, антипрофсоюзной деятельности капиталистов. Активное противодействие промышленная буржуазия оказывала правительственным проектам реформы трудового законодательства (в частности, на совещании Д. А. Философова в декабре 1906— марте 1907 г.), в результате чего они так и не дошли в 1907 г. до Государственной думы. Практически ни одно из крупных правительственных мероприятий в рабочем вопросе в 1905—1907 гг. не получило своего решения.

Свернутой в конечном итоге оказалась и правительственная программа в области реформ трудового законодательства. Все правотворчество третьеиюньской монархии свелось к принятию в 1912 г. III Государственной думой весьма ограниченных страховых законов. В наступившей в стране после поражения революции 1905—1907 гг. политической реакции жестоким преследованиям подвергались профсоюзные и другие легальные рабочие организации, забастовщики.[13] Но эта репрессивная антирабочая политика царизма и буржуазии в 1907—1911 гг. имела глубочайшие последствия. Ее конечная неудача выражалась не только в неспособности к социальному творчеству, но и в провале попыток предотвратить массовое рабочее движение,

которое в 1912—первой половине 1914 г. приобретает преимущественно политический, революционный, антисамодержавный характер. Соответственно и возрождение в эти годы профсоюзного движения также происходит на революционной основе. Репрессии и гонения на рабочий класс и его организации в годы реакции в конечном счете оказались бумерангом, который нанес сильнейший удар и по царизму, и по буржуазии, а попутно и реформизму, оказавшемуся в условиях царской России совершенно несостоятельным.

Подтверждением правоты большевиков во главе с В. И. Лениным, всегда выступавших за придание рабочему движению политического, общедемократического характера, стало их преобладание к середине 1914 г. как в самом пролетарском движении, так и в рабочих организациях, профсоюзах и, напротив, отсутствие сколько-нибудь серьезной в них базы у крупной и мелкой буржуазии.[14]

Попытки правительства в лице Министерства торговли промышленности осуществить свой давний проект об организации примирительных учреждений из рабочих и предпринимателей для улаживания конфликтов между ними и аналогичные предложения группы московских прогрессистов во главе с А. И. Коноваловым практических результатов не имели. В борьбе с рабочим движением по-прежнему преобладали репрессивные меры, в том числе массовые локауты и увольнения забастовщиков, но они уже не достигали своей цели. В самый канун войны петербургские промышленники, объединенные в Петербургское общество заводчиков и фабрикантов, в ответ на всеобщую стачку столичных рабочих провели массовый локаут. В свою очередь Николай II, по представлению Совета министров 11 июля 1914 г., ввел в обеих столицах, Петербурге и Москве, положение чрезвычайной охраны, причем мотивировалось это министром внутренних дел Н. А. Маклаковым характерным признанием, что «власть бессильна бороться нормальными средствами с такого рода явлениями, а таковое невольное бездействие власти ведет к подрыву ее высокого авторитета и окрыляет тех, кто целью своей работы ставит смуту».[15]

Начавшаяся мировая война лишь временно прервала развитие общенационального кризиса, когда массовое рабочее движение к июлю 1914 г. фактически подвело страну к новому революционному рубежу, к революционным баррикадам. Война внесла мало нового в арсенал антирабочих, антизабастовочных мероприятий правительства и промышленников. До высшего предела были усилены репрессивные меры против забастовок и рабочих организаций, чему благоприятствовали законы и всякого рода ограничения военного времени. В результате были запрещены основные рабочие организации, профсоюзы, рабочая печать, арестам подвергались рабочие активисты, повседневной была практика использования полиции и войск в борьбе со стачечным движением. Предпринята была даже попытка пере-

вести всю промышленность (не только казенную и военную) на военное положение с соответствующим запретом не только бастовать, но и вообще переходить с одного предприятия на другое. И хотя эта милитаризация труда в полной мере не осуществилась из-за разногласий в правительстве и возражений промышленников, боявшихся чрезмерного вмешательства властей в их производственную деятельность, определенное влияние на развитие рабочего движения все эти чрезвычайные меры оказали, особенно в первый год войны.[16]

И опять репрессии сыграли с рабочим движением роль тугой пружины, которая от сильного сжатия распрямляется с огромной обратной силой. Лишенное легальной основы, рабочее движение в России с осени 1915 г. под воздействием ухудшения экономического и политического положения пролетариата неуклонно, хотя и волнообразно, нарастает, в нем начинают преобладать откровенно политические мотивы, и оно к концу 1916 г. играет ведущую роль в возникновении общенационального кризиса, революционной ситуации в стране. Усиливается нелегальная, революционная деятельность рабочих организаций, профсоюзов.

Либерально-реформистскую струю в рабочее движение вносили возникшие в 1915 г. при содействии А. И. Коновалова и А. И. Гучкова рабочие группы Центрального и некоторых местных военно-промышленных комитетов. Ничего нового и радикального в «рабочей программе» коноваловской группы не было, она в сущности повторяла прежние либеральные проекты периода первой русской революции и имела своей первостепенной задачей направление «неизбежного при всякой развитой промышленности рабочего движения в нормальное русло», т. е. как раз стремилась освободить его от революционного содержания, подключить к оппозиционному по отношению к царизму движению либеральной буржуазии. С этой целью предлагалось в первую очередь создавать примирительные органы по улаживанию конфликтов между предпринимателями и рабочими, узаконить профессиональные организации рабочих, создать на предприятиях рабочее представительство — реанимация института старост по закону 1903 г., — организовать биржи труда, рабочие кооперативы, легализовать рабочую печать.[17]

Эта либерально-реформистская программа была принята на вооружение «военно-промышленными социалистами» из рабочих групп, но так до Февраля 1917 г. и не была реализована из-за противодействия властей и большинства российской деловой буржуазии и их организаций, которые оказались неготовыми к социальному компромиссу. В самом рабочем движении рабочие группы военно-промышленных комитетов не имели преобладающего влияния. Несмотря на определенные изменения в годы войны социального состава рабочего класса, он в своей массе сохранил приобретенные в предшествующее десятилетие революционные потенции, что сыграло решающую роль в свержении царизма пролетарско-солдатскими массами, прежде

всего рабочими Петрограда и Москвы в Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г., а затем и в завоевании рабочим классом в остром противоборстве с буржуазией политической власти в октябре 1917 г.[18]

[1] См.: Лаверычев В. Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861—1917 гг.). М., 1972. Гл.1.
[2] ЦГИА СССР. Ф.20. Оп.2. Д.1802. Л.27.
[3] См.: Полянский Н. Н. Коалиции рабочих и предпринимателей с точки зрения уголовного права //Учен. зап. Моск. ун-та. Юрид. ф-т. М., 1909. Вып.35.
[4] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.25. С.322.
[5] ЦГИА СССР. Ф.1263. 1897. Оп.2. Д.5274. Л.514.
[6] Там же. Ф.878. Оп.1. Д.36. Л.29.
[7] См.: Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. М., 1989. Гл.7; Кирьянов Ю. И. Переход к массовой политической борьбе. Рабочий класс накануне первой российской революции. М., 1987.
[8] См.: Вовчик А. Ф. Политика царизма и буржуазии по рабочему вопросу в предреволюционный период. Львов, 1964.
[9] Ее автором был, как нам удалось установить, фабричный инспектор Московского округа А. С. Астафьев.
[10] См.: Рабочий вопрос в комиссии В. Н. Коковцова в 1905 г. М., 1926.
[11] ЦГИА СССР. Ф. 48. Оп.1. Д.269. Л. 14—16; Записка Совета съездов горнопромышленников Уральской области по рабочему вопросу на Урале. СПб., 1906. С.1—23.
[12] См.: Потолов С. И. Указ 2 декабря 1905 г.//Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1985. Т.XVI. С.216—233.
[13] Подробнее см.: Кризис самодержавия в России. 1895—1917 гг. Л., 1984. Часть третья. Гл.3.
[14] Ленин В. И. Объективные данные о силе разных течений в рабочем движении // Полн. собр. соч. Т. 25. С.245—250.
[15] Кризис самодержавия в России. С.416.
[16] См.: Рабочий класс России 1907—февраль 1917 г. С.274—281.
[17] Записка Центрального военно-промышленного комитета (за подписью А. И. Коновалова, июнь 1916 г.) «Некоторые соображения о современном рабочем движении и необходимых мерах к его урегулированию» // Красный архив. 1933. Т.2 (57). С.72—84.
[18] См.: Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. М., 1987. Гл.III.

Ю. И. Кирьянов

РАБОЧИЕ РОССИИ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Доклад ставит целью показать место и роль рабочего класса в революционной ситуации 1901—начала 1905 г., его отношения с другими классами и слоями общества, а также с царским правительством. Вместе с тем предполагается выяснение степени воздействия на поведение, активность рабочего класса различных факторов, прежде всего экономического характера (соотношения заработной платы и цен на предметы первой необходимости и др.).

Как же характеризовались рабочее движение в России в конце XIX—начале XX в. и те изменения в нем, которые дают основание говорить о нежелании рабочих жить по-старому?

Доля стачечников от общего количества рабочих фабрично-заводской промышленности в 1895—1904 гг. составляла ежегодно от 1.5 до 5.1 %. Преобладающая часть стачек возникала на экономической почве, прежде всего по поводу заработной платы. Однако такие сопутствующие события, как собрания, митинги, уличные демонстрации, антиправительственные речи, присущие большинству крупных, групповых, всеобщих стачек на экономической почве, придавали выступлениям в целом характер революционных.

Переход к массовой политической борьбе четко обозначается во время выступлений рабочих в Харькове в мае 1900 г. и в Петербурге в апреле — мае 1901 г. Получив начало, он продолжался и углублялся в последующие годы, вплоть до 1905 г. Хорошо известные по последней литературе[1] данные о числе уличных демонстраций, выпущенных прокламаций, количестве лиц, вступивших в социал-демократическую организацию, а также о числе первомайских стачек весьма четко указывают на рубеж XIX—XX вв. как на определенный количественный и качественный перелом в массовом рабочем движении.[2] Показательно, что именно в 1901 г. социал-демократы выдвигают лозунг восстания как лозунг пропаганды.[3]

Хотя по своим количественным показателям уровень стачечного и демонстрационного движения был еще невелик, характер и острота борьбы давали революционным социал-демократам основание считать, что наиболее выдающиеся выступления рабочих (как, например, всеобщая стачка в России в ноябре 1902 г., всеобщие стачки в городах Юга, Кавказа и Украины в июле — сентябре 1903 г.) были уже «первым отдаленным раскатом надвигающейся революции». Все клонится к тому, заявлял в 1903 г. Петербургский комитет РСДРП, что «какая-нибудь крупная демонстрация превратится в революцию». Характерно, что на знаменах участников демонстрации рабочих в Туле в сентябре 1903 г., кроме лозунгов «Да здравствует свобода!», «Долой самодержавие!», были начертаны слова «Да здравствует революция!»[4]

Многие современники как в России, так и за рубежом отмечали, что с переходом к массовой политической борьбе рабочие страны стали играть ведущую, решающую роль в освободительном движении. Говоря об «общественных элементах» освободительного движения, В. И. Ленин назвал таковыми для самого начала 1902 г. рабочих, студентов, земцев. При этом он заметил: «Все эти три общественных элемента располагаются таким образом в правильном порядке по мере уменьшения их численной силы, их общественной подвижности, их социально-политического радикализма, их революционной решимости».[5]

Вскоре положение несколько изменилось. В конце марта — начале апреля включилось в активную борьбу крестьянство, что

имело «историческое значение» для освободительного движения,[6] стали участвовать в открытых выступлениях те средние городские слои, которые ранее в движении не наблюдались.

Мы имеем возможность сравнить некоторые показатели, характеризующие открытые выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев.[7] Хотя они и не относятся ко всем классам и слоям российского общества, но все же позволяют говорить о выдающейся роли рабочего класса в освободительном движении в первые годы XX в.

Особо следует сказать о либеральной буржуазии, которая развертывает в это время движение за доверие царского правительства «к народу». В ноябре—декабре 1904 г., в период «банкетной кампании», в 34 городах было проведено более 120 собраний и банкетов. В них приняло участие около 50 тыс. человек. Было бы неверно сбрасывать со счетов настроения и поведение либералов, их выступления, воздействие на определенные круги правительства (даже на руководителя МВД Святополк-Мирского), как это делалось во многих работах ранее. Однако преувеличивать силу конституционного движения и его воздействия на развитие революционной ситуации 1901—начала 1905 г. нет оснований: «Либерализм оказался бессилен».[8]

Рабочее движение начинало оказывать определенное влияние на поведение предпринимателей, местных властей, правительства, привлекая внимание зарубежных дипломатов. Это было характерно для всего предреволюционного десятилетия, но особенно для второй его половины. В этой связи достаточно напомнить о зубатовщине, многочисленных обследованиях условий труда и быта рабочих, публикации с 1903 г. ежегодных «Сводов отчетов фабричных инспекторов» со сведениями о стачках, издании законов 1903 г. (страховых, о фабричных старостах), обращении биржевых комитетов к правительству с просьбой содействовать восстановлению нормальной работы нефтяных предприятий в Баку в декабре 1904 г., рассмотрении правительством вопроса о разрешении свободных «организаций рабочих в целях самопомощи» и попытках пересмотра закона, карающего забастовки и досрочное расторжение договоров о найме.[9] В контексте внутренней политики Николая II и его правительства шаги государственной власти в отношении рабочих следует признать даже «существенными».

Нельзя не учитывать и того факта, что по крайней мере часть правительства смотрела на русско-японскую войну как на «отвлечение от внутренней смуты» (слова, приписываемые министру внутренних дел В. К. Плеве).[10]

Особый вопрос — это отношение армии к рабочему движению. В первые годы XX в. можно отметить проявление симпатии отдельных солдат к рабочим, особенно во время всеобщих стачек в городах Юга летом 1903 г. (в Одессе, Тифлисе). Однако армия оставалась оплотом самодержавия. Сообщение нелегальной печати о том, что Туле в марте 1902 г. «выпала честь быть

местом первого братания русских солдат с русскими рабочими»,[11] не подтвердилось.

Теперь рассмотрим вопрос о том, что являлось причиной роста возмущения рабочих, перерастания их недовольства в открытый протест, в открытую массовую политическую борьбу?

Тезис о тяжелых и плохих условиях труда и быта, низком жизненном уровне большей части рабочих России — общепринят. Но бытовавшая долгое время в литературе точка зрения об ухудшении и без того тяжелого материального положения рабочих вследствие экономического кризиса (как решающем факторе углубления революционной ситуации) в 70-е годы стала оспариваться. Если обратиться к сопоставлению погодовых изменений номинальной заработной платы и цен на предметы первой необходимости (прежде всего питания) за последние годы XIX в. (например, по 1904 г.),[12] то следует констатировать, что расхождения между ними не были сколько-нибудь существенными. Из сказанного следует, что главной причиной недовольства рабочих было не резкое падение реальной заработной платы, а обострившаяся неудовлетворенность необеспеченностью существования в широком смысле и нежелание рабочих в дальнейшем мириться с подобным положением.[13] Наиболее проницательные представители Министерства финансов еще до революции 1905—1907 гг. отмечали, что рабочие переросли те экономические и правовые условия, в которых им приходилось жить и трудиться.[14]

Начавшаяся в январе 1904 г. русско-японская война, естественно, не могла способствовать улучшению экономического положения трудящихся. Но все же особой остроты недовольство войной в среде рабочих до 1905 г. еще не получило.

Зато немаловажным обстоятельством было массовое пробуждение в среде рабочих человеческого достоинства, гражданственности, чувства протеста против произвола властей, приходящееся на рубеж XIX—XX столетий, что четко зафиксировано нелегальной печатью уже в 1901 г.[15] В этот период рабочие выносят на улицу клич «Долой самодержавие!»,[16] который получает столь широкое распространение, что нелегальная печать называет его «известной русской поговоркой». Отмеченные выше сдвиги нашли свое отражение и в фактах расширившегося и усиливавшегося (но носившего все еще локальный характер) отпора рабочих произволу власти, в частности в применении огнестрельного оружия (в Риге в 1899 г., в Киеве летом 1903 г., в Белостоке в сентябре 1904 г.). Именно эти выступления подготовили открытый протест рабочих всей страны в связи с расстрелом мирного шествия их петербургских товарищей к Зимнему дворцу 9 января 1905 г.

Перелому в социальной психологии, сознании рабочих, обозначившемуся уже в первые годы XIX в. и так рельефно проявившемуся вслед за «Кровавым воскресеньем» 9 января 1905 г., способствовал ряд факторов. И в первую очередь здесь следует ука-

зать на нелегальную пропаганду революционных социал-демократов и других партий, а также на выход в первые ряды борьбы наиболее культурного и организованного отряда рабочих-металлистов. Достаточно сказать, что ежегодное число названий выпущенных социал-демократических листовок увеличивается за десятилетие с нескольких десятков до нескольких сотен: 1895 г. — 20, 1896 г. — 97, 1897 г. — 64, 1898 г. — 56, 1899 г. — 77, 1900 г. — 114, 1901 г. — 42, 1902 г. — 110, 1903 г. — 387, 1904 г. — 308. В политическом просвещении рабочих, нацеленном прежде всего на активизацию борьбы с самодержавием, принимали участие РСДРП, национальные социал-демократические партии и организации, социалисты-революционеры, Польская социалистическая партия и др. Решающая роль в этом отношении принадлежала социал-демократам.

Но были ли выступления рабочих в начальный период революции организованным или стихийными, была ли роль революционной социал-демократии в движении в это же время всеопределяющей? Ответ на эти вопросы не имеет сколько-нибудь высокой корреляционной связи со сказанным выше о роли революционных социал-демократов в рабочем движении в 1901—1904 гг. Как известно, движение в январе 1905 г. началось с активной деятельности гапоновской (зубатовской) организации, скорректировать которую социал-демократам до шествия 9 января удалось лишь в ограниченных пределах. Сама социал-демократическая печать характеризовала начало стачки как «чисто стихийное». Стихийный рост стачки в Петербурге значительно обгонял планомерное участие в движении организованных социал-демократов,[17] хотя в речах на собраниях гапоновского союза под влиянием социал-демократов выставлялись социал-демократические требования.

В заключение можно отметить, что ряд показателей, «черт» революционных ситуаций накануне первой и второй буржуазно-демократических революций были сходными: ведущая роль рабочего класса в освободительном движении, значительное стихийное начало в движении, недостаточность партийного руководства борьбой рабочих, выдающаяся роль Петербурга — Петрограда и др. Но вместе с тем нельзя не видеть и существенных отличий, связанных прежде всего с несравненно большей глубиной продовольственного, хозяйственного и правительственного кризиса, с несравненно большим опытом борьбы рабочего класса накануне февраля 1917 г. по сравнению с 1901-началом 1905 г.

[1] См.: Кирьянов Ю. И. Переход к массовой политической борьбе. Рабочий класс накануне первой российской революции. М., 1987. С. 181—182; Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. 2-е изд. М., 1989.

[2] Заметим, что эсеры, признавая важность массовых форм борьбы, преувеличивали значимость политического террора и потому считали, что именно с убийством министра просвещения Боголепова 14 февраля 1901 г. «не только по задачам, но и по методам, не только по направлению, но и по темпу движение стало революционным» (Революционная Россия. 1901.№ 2; Слетов С.

К истории возникновения партии социалистов-революционеров. Пг., 1917. С.103).

[3] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.5. С.294; Т.6. С.386; Т.9. С.95—96; Т.11. С.59—60; Т.27. С.44.

[4] См. подробнее: Рабочий класс России... С.259, 594.

[5] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.6. С.356 (Опубликовано 10 марта 1902 г.).

[6] Искра. 1902. 1 июня.

[7] См.: Кирьянов Ю. И. Указ. соч. С.182.

[8] См.: Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905—1907 гг. М., 1985. С.294, 324.

[9] Кризис самодержавия в России. 1895—1917. Л., 1984. С.70—92.

[10] См.: Освобождение. 1904. № 44. С.83.

[11] Куклин. Хроника рабочих волнений и стачек // Жизнь (Лондон). 1902. Апрель. № 1. С.14; Искра. 1902. 1 апреля.

[12] См.: Рабочий класс России. С.336.

[13] Там же. С.523.

[14] См.: Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. СПб., 1904. С.14.

[15] Искра. 1901. 1 апреля.

[16] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.9. С.251.

[17] Вперед. 1905. 24 (11) января; Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.9. С.174. См. также: С.218, 223, 225, 263; Мартов Л. История российской социал-демократии. Пг., 1918. Ч.1. С.105.

И. М. Пушкарева

РАБОЧИЕ РОССИИ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ярким проявлением революционной ситуации в годы первой мировой войны было стачечное движение рабочих. После резкого спада в стране забастовочной борьбы в первые девять месяцев войны она с апреля 1915 г. вновь стала набирать силу. Первая стачечная волна достигла своей вершины в июне 1915 г., когда по официальным данным только в 164 забастовках фабрично-заводских и горных рабочих участвовало более 80 тыс. человек и было потеряно более 220 тыс. рабочих дней.[1] Вторая волна имела своей кульминацией сентябрь 1915 г. — 184 стачки, почти 114 тыс. забастовщиков и более чем 224 тыс. потерянных рабочих дней. Третий подъем стачечного движения пришелся на январь 1916 г., он дал только 130 тыс. бастующих, но число потерянных рабочих дней достигло 525 тыс., что становилось настоящим бедствием для промышленности. После некоторого ослабления напора забастовок с апреля 1916 г. начался новый подъем: в мае в 154 стачках участвовало более 118 тыс. рабочих, а потеря рабочих дней равнялась почти 780 тыс., что свидетельствовало об упорстве стачечников.

В 1915 г. в 1034 стачках фабрично-заводских рабочих участвовало более 553 тыс. рабочих, в 1916 г. число участников 1410 стачек достигло 1086 тыс. Только в январе 1917 г. 382 забастовки в стране вовлекли в движение уже более 249 тыс. человек, или столько же, сколько за весь IV квартал 1916 г.

И хотя стачечное движение развивалось как всегда волнообразно, с чередованием временных подъемов и спадов, по числу забастовщиков Россия в 1915—1916 гг. вышла на первое место в мире: если в 1916 г. здесь бастовало более 1 млн рабочих, то в Англии лишь 280 тыс., в Германии — 130 тыс., во Франции — 40 тыс.[2] Стачечное движение в России отражало глубоко затронувший общество процесс негативного отношения к авторитарной системе самодержавия, к его бюрократическим институтам. Оно оказывало огромное влияние на «кризис верхов», кризис политики господствующих классов. Масштабы этого движения возросли более чем в 10 раз по ряду показателей и прежде всего по числу стачек по сравнению с 1901—1904 гг., т. е. с кануном революции 1905—1907 гг.

Сравнивая положение России в те годы, когда русско-японская война была также одним из факторов революционной ситуации, с 1914—1917 гг., следует отметить, что теперь сама война была «другой». Первая мировая война разразилась на основной территории России, с небывалой силой разрушая функциональные связи в хозяйственном механизме страны, которые существовали в мирное время. Их распад усиливался теми же процессами в мировом хозяйственном механизме. Экономические трудности, которые остро ощущались во всех воюющих странах и влияли на положение там трудящихся масс, в России оказались несравненно значительней. Зависимость российской экономики от импорта многих видов промышленной продукции и даже сырья, прекращение работы многих предприятий на занятой врагом территории и в прифронтовой полосе, расстройство транспорта, недостаток топлива, нового оборудования, рабочей силы, продовольствия — все это крайне усугубляло экономическую ситуацию в стране. А попытки государственно-монополистического регулирования хозяйства, проведенная бессистемно милитаризация экономики не могли остановить обострения экономических трудностей. В 1916 г. на нужды обороны работало 81.8 % в недавнем прошлом гражданских предприятий фабрично-заводской промышленности с 77.5 % рабочими.[3] На войну ежегодно расходовалась треть национального дохода страны, т. е. примерно 5.4 млрд рублей.

Милитаризация экономики вела к усилению эксплуатации народных масс и прежде всего рабочих России. Их экономическое положение было теперь худшим, чем в канун революции 1905—1907 гг., а тем более накануне первой мировой войны. Ведь уже в течение первого года войны народное потребление сократилось на 25 %, за второй военный год — на 43 и в течение третьего года — на 52 % от довоенного уровня.[4] Наблюдавшееся в период военных лет повышение заработной платы у рабочих, занятых в промышленном производстве и сельском хозяйстве, являлось чисто номинальным и не успевало угнаться за безудержным ростом цен на продовольствие и промышленные товары, падение платежноспособного спроса отражало снижение

жизненного уровня рабочих. Если в 1913 г. годовая заработная плата рабочего средней квалификации в европейской части страны составляла 264 руб., то в 1915 г. она возросла до 322 руб., или на 22 %.[5] Однако индекс цен превысил рост заработной платы основных категорий рабочих чуть ли не в 3 раза.[6] Общую картину положения населения России в 1914—1917 гг. можно представить на основании данных о покупательной способности рубля: по отношению к 1913 г. она, учитывая нормированные цены, составила к декабрю 1915 г. 58.2 %, к декабрю 1916 г.— 36.3, а к февралю 1917 г.— 32.2 %.

Нужда и бедствия, связанные с войной, еще теснее связали воедино судьбы рабочих со всеми трудящимися массами страны. 10 млн. мобилизованных в армию составляли крестьяне, свыше 1 млн. хозяйств остались безлошадными. Рост цен на сельскохозяйственные продукты крестьян не выручал. На этом наживались лишь богатые крестьяне. Беднота и многие середняки продавали хлеб лишь осенью, а по весне появлялись на рынке в качестве покупателей зерна для посева и на прокорм скота. В войну повысились государственный поземельный налог, размеры земских и «мирских» сборов. Как и рабочие, крестьяне страдали от нараставшей спекуляции товарами первой необходимости. Тяготы рабочих и крестьян разделяла демократическая интеллигенция, страдавшая в городах от нехватки и подорожания продовольствия и товаров первой необходимости.

С наступлением третьей военной зимы 1916/17 гг. и с заторами на железнодорожном транспорте в крупных промышленных городах стала ощущаться нехватка даже хлеба, о чем свидетельствуют очереди в продовольственных лавках, запечатленные на фотографиях тех лет. Известны и демонстрации по этому поводу (например, 12 января 1917 г. на Калужской площади в Москве, собравшая до 2 тыс. рабочих этой части города). В конце декабря 1916 г. правление фабрик Морозовых в Орехове-Зуеве сообщило во Владимир, что среди рабочих фабрик «наблюдается сильное волнение и недовольство невыдачей из фабричных лавок продуктов» и что оно может охватить другие фабрики.[7] Уже установлено, что изменение цен на хлеб хронологически совпадало с возрастанием стачечной борьбы, а экономические стачки преобладали над политическими, на долю которых приходится не более 30 % общего числа забастовщиков.

Тем не менее в нарастании недовольства в среде рабочих в годы войны значительное место занимало их политическое «прозрение», понимание все большим их числом социальных процессов в обществе и места в нем различных групп населения. Не только грамотные рабочие, в большей степени подверженные политической агитации революционных партий, понимали и возмущались несправедливостью распределения материальных благ, наблюдая в крупных городах дорогие рестораны с богато одетой публикой. «В этом году,— писала в канун нового, 1917 г. в статье «Пир во время чумы» газета «Петроградский листок»,—

7 Заказ № 3277

наш тыл остался без хлеба и мяса, но с шампанским и брильянтами... Рабочие, отдавая свой труд и здоровье отечеству, не находят, чем утолить голод, их жены и дети проводят дни и ночи на грязных мостовых из-за мяса и хлеба, и в то же время взяточники... блистая безумными нарядами, оскорбляют гражданское чувство отвратительным пиром во время чумы».[8] Обогащались не только спекулянты, но и прежде всего капиталисты, прибыли которых, в случае если предприятие работало «на оборону», возросли в 3 и более раз по сравнению с довоенным временем. Так, на упомянутых выше фабриках Морозовых прибыль в 1915 г. в сравнении с 1913—1914 гг. возросла почти в 7 раз. Бывали случаи, когда военные заказы давали капиталистам до 1000 % прибыли. Растущая ненависть массы обездоленных рабочих к богатству стимулировалась революционной, и в первую очередь социал-демократической печатью, которая целенаправленно формировала неприятие рабочими существующих в обществе порядков, охраняемых царем, его министрами, армией и полицией.

Экономические требования в стачках по мере нарастания революционной ситуации все теснее переплетались с неэкономическими, совпадающими, как отмечала фабричная инспекция с «общими демонстративно-политическими». Так, в 1915 г. во время крупных общегородских сентябрьских стачек в столице бастующие требовали возвращения из Сибири депутатов-большевиков IV Государственной думы, свободы печати, всеобщего избирательного права, удаления с заводов казаков, отправки на фронт служащих в полиции, освобождения арестованных за участие в стачках и митингах.

Показательно, что многие требования экономического характера в ходе крупных выступлений были обращены к правительству, как например в выступлениях рабочих, закончившихся провокационными расстрелами 5 июня 1915 г. в Костроме и 10 августа в Иваново-Вознесенске. Тогда рабочие требовали введения твердых цен на основные продукты питания, что могло решаться только правительством. Свидетельством усиления социальной напряженности был рост политических и неэкономических стачек: в связи с годовщиной 9 января 1905 г. и Ленского расстрела 1912 г., по поводу отмены суда военного трибунала над революционными матросами Кронштадта в октябре 1916 г. и др. Так, в I квартале 1915 г. стачки такого рода охватили 30.25 % общего числа бастующих, в III квартале 1915 г. — 67.3, во II квартале 1916 г. — 81.0 %. При общем росте стачечного, в том числе экономического, движения участники политических забастовок составляли в IV квартале 1916 г. 52.2 %, а в январе 1917 г. — 65.4 % к общему числу бастующих. При этом политические демонстрации, наблюдавшиеся в канун революции 1905 г. как новая самостоятельная форма движения, выдвигаемая РСДРП, в годы войны значительно сократились: по законам военного времени за пол-

итические выступления рабочим грозила суровая расправа и немедленный призыв в действующую армию, если не тюрьма.

Как и ранее в развитии новой революционной ситуации весьма значительной была роль петроградских и московских рабочих. Из 2 млн. бастующих в стране с августа 1914 по февраль 1917 г. 50.1 % приходится на Петроград, 20 — на Москву и 13 % — на украинские губернии. В Петрограде участники политических стачек составили примерно 70 %, в Москве — 54 % к общему числу их в этих городах.[9]

Известный вывод ученых социологов о том, что «если на одном конце настроения смыкаются с действием, то на другом конце — с убеждением и пропагандой»,[10] подтверждается и материалами о рабочем движении в период первой мировой войны. Наряду с РСДРП в нем в этот период, как и ранее, действовали эсеры и другие политические партии и группы. Их влияние было различным в разных слоях рабочего класса. Это было, конечно, «революционное меньшинство». Но пропаганда и агитация этих партий и групп падали на подготовленную почву, совпадали с настроением и требованиями народных масс, обращенными к правительству. Они расширяли круг людей, убежденных в необходимости изменения государственного устройства. Нельзя забывать и о силе революционных традиций, особенно о развитии их после революции 1905—1907 гг. Они способствовали скорому возрождению в годы войны лозунгов с требованиями демократических свобод и установления демократической республики. В обстановке растущей нехватки продовольствия, хозяйственной разрухи лозунг «Хлеба!» не только соответствовал моменту, но и приобрел политическое звучание и направленность. Для большинства рабочих, как и всего народа страны, вначале необходимость ведения военных действий не вызывала сомнений. Это был не шовинизм, а тревога за свою страну. Но к 1917 г., когда обозначились все тяготы войны, в глазах широких народных масс, в том числе и рабочих, Николай II и его министры становились ответственными за военные неудачи, хозяйственную разруху, наступающий голод, гибель близких, все ужасы войны. Лозунг «Мира!» становится в одном ряду с лозунгами «Свободы!», «Хлеба!».

Революционный взрыв, определивший переход революционной ситуации в революцию, был подготовлен глубокими внутренними причинами, т. е. спонтанно. Рабочие Петрограда оказались в эпицентре этого взрыва. Кризис же с продовольствием, так же как локаут, примененный к путиловцам, явились поводом для этого взрыва. Отличительной чертой рабочего движения в России с начала революционной ситуации в годы войны было проявление пролетарской солидарности между отдельными отрядами рабочего класса. Она определила и развитие событий в феврале 1917 г., так же как полученный в ходе классовых сражений опыт перерастания стачек в уличные митинги и де-

монстрации, широкий размах которых принес победу вооруженного восстания в Петрограде 27 февраля 1917 г.

[1] Здесь и далее приводятся сведения о стачечной борьбе, опубликованные в кн.: Стачечное движение рабочих России в годы первой мировой войны. Материалы официальной статистики за август 1914-январь 1917 гг. М., 1986. Вып. I—IV.

[2] Рабочий класс России. 1907 — февраль 1917 гг. М., 1982. С. 327.

[3] Россия в мировой войне. 1914—1918 гг. (в цифрах). М., 1925. С. 70.

[4] Ефремов В. Мировая война и ее последствия//Там же. С. 6.

[5] Статистический сб. за 1913—1917 гг. М., 1928. Вып. 1. С. 118—123.

[6] Свод товарных цен на главных русских и иностранных рынках за 1915 г. Пг., 1917. С. 2.

[7] ЦГАОР СССР. Ф. 63. 1917. Д. 72. Л. 1; На баррикадах революции. Из жизни орехово-зуевских рабочих. 1865—1927. Орехово-Зуево, 1927. С. 64.

[8] Петроградский листок. 1916. 3 дек.

[9] Уткин А. И. Ленинская партия в годы революционной борьбы рабочего класса России (июнь 1907 — февраль 1917 г.). М., 1985. Табл.1.

[10] Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1966. С. 113.

Ю. Б. Соловьев

САМОДЕРЖАВИЕ, ДВОРЯНСТВО И ПРОБЛЕМА СБЛИЖЕНИЯ С КРЕСТЬЯНСТВОМ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Вся российская действительность к концу XIX — началу XX в. представляла собой намертво запутанный узел всех и всяческих противоречий, накопившихся за десятилетия непримиримых антагонизмов.

В социальной области запутанность, а значит напряженность противоречий в их особо антагонистической форме, сказывалась в отчужденности режима и всего общественного строя от народной массы. Отчужденность верхов от низов, доходившая до отсутствия между ними всякой общности интересов или хотя бы точек соприкосновения, в особенности между властью и дворянством и стомиллионным крестьянством, вырастала в громадную угрозу всему существующему строю, пусть многие годы она и пребывала больше в латентном состоянии. Но и в пору затишья Пугачев никогда не забывался. И все-таки в годы внешнего спокойствия, в царствование Александра III с повсеместным укреплением и реставрацией старых начал ничего не было сделано для сближения с крестьянством. На первое место во внутренней политике выступила забота о дворянстве.

С началом нового царствования дворянство возобновляет настояния предоставить ему дополнительную помощь. Но и крестьянский вопрос самой жизнью выдвигается как не терпящая отлагательства проблема. Государство становится на перепутье перед необходимостью принятия важнейших решений. Борьба старых и новых начал, все расширяясь, охватывает все сферы жизни, переносится в правительственные верхи. Венцом

этого явилось учреждение Особого совещания по делам дворянства в апреле 1897 г., с чем связывались надежды на общий поворот во внутренней политике, дабы не допустить дальнейшего ослабления позиций самодержавия и дворянства. То было поражение тех сил в высших эшелонах власти, которые, хотя и оппортунистически, выступали за дальнейшее укоренение новых начал в жизни страны. Самой крупной фигурой здесь был Витте, которому противостоял Плеве как наиболее значительный представитель ретроградного течения. В пику своим оппонентам Витте попытался выдвинуть в качестве главного правительственного дела крестьянский вопрос, но те сумели поставить как центральную задачу упрочение положения дворянства.[1] В контексте складывающейся обстановки одерживаемые ими победы являлись все-таки тактическим успехом, тогда как для достижения стратегического результата нужно было бы суметь оставить крестьянство в том особом положении при упоре на сохранении во множестве пережиточного, в которое оно было поставлено после отмены крепостного права и которое за истекшие десятилетия обнаружило свое несоответствие требованиям развивающегося уклада. Через 40 послереформенных лет крестьянин оставался особым существом с особой жизнью. Громадная разница сохранялась между ним и всем, что стояло выше.

Витте, как никто другой, понял, что, не дав ему простора, не оградив от забивавшего его произвола сонма поставленных командовать им, нельзя будет догнать страны, где инициатива и предприимчивость с господством принципа laissez faire давно сделались основой общественной и экономической жизни. Но он же сознавал, какие громадные препятствия стоят на пути освобождения крестьянства от стеснявших всякое его движение помех. Главным тут было противостояние переменам дворянства и проводников его интересов в высших государственных инстанциях и ближайшем окружении трона. И он констатировал, что на стороне дворянства громадный перевес. «После Александра II, — писал он о первооснове всей пореформенной эволюции, — дворцовое дворянство загнало крестьянство...».[2] Но этим же обусловливалось, что все одержанные победы должны были в конечном счете обернуться против победителя. Чем хуже делалось положение крестьянства, тем хуже становились дела для режима и тем яснее невозможность безнаказанно помыкать 9/10 населением страны.

Деревня, дойдя до крайности, не позволяла отвернуться от себя. Она сделалась громадным магнитом, приковывавшим к себе внимание независимо от чьей-либо воли и хотения. Мощное давление ее ста миллионов неустроенных обитателей становилось крупнейшей политической величиной, и, правильно представляя колоссальное значение этого фактора, потерпевший неудачу Витте продолжает настаивать на своем, побуждая самодержавие пойти навстречу выдвигавшимся на боевые позиции

бесчисленным миллионам. Первый приступ был сделан им в 1898 г. в связи с рассмотрением в Комитете министров отчета государственного контроля, где отмечалось, что «платежные силы сельского населения находятся в чрезвычайном напряжении». Царь изъявил тогда согласие с данной оценкой, а Витте воспользовался моментом и тут же предложил создать особую комиссию с исключительными полномочиями с целью «заняться крестьянским делом и довершить то, что было совершено императором Александром II в 60-х годах, но не было докончено». В Комитете министров «после долгих споров» предложение Витте было принято, и в мае 1898 г. последовало обращение к царю, отложившего решение до осени. Задержку Витте объяснял тем, что, «очевидно, е. и. в. опять подвергся воздействию двух направлений» — его собственного и представляемого Дурново, шансы которого опять выглядели предпочтительнее.

Опасаясь срыва начинания, которому Витте придавал исключительное значение, он решил заранее заручиться поддержкой царя, а для этого объяснить ему всю важность намечаемого. В написанном им в октябре пространном письме он предстал во весь свой рост, как крупный государственный деятель, со всей силой аргументации, на какую он только был способен, ибо ставкой тут была судьба России, как он старался убедить Николая. Он хотел внедрить в него «ясное сознание необходимости совершить подвиг», «твердую решимость его совершить».[3] Требовалось произвести подлинный переворот в основах народной жизни и всего установленного в деревне порядка, всей своей подавляющей тяжестью намертво придавившего крестьянина. «Крестьянство освобождено от рабовладетелей, но находится в рабстве произвола, беззаконности и невежества», — обрисовывал он бедственное состояние народной громады, откуда проистекали тяжкие последствия. У лишенного всех прав, не принадлежащего себе работника «парализуется жизненный нерв прогресса». Но это тянуло вниз всю страну, отодвигало Россию среди других стран на последние места, потому что «не идя вперед», она «будет идти назад сравнительно с народами, двигающимися вперед». С сохранением теперешних порядков не уйти будет от проигрыша в развертывающемся мировом соперничестве. «Государство при настоящем положении крестьянства, — твердил Витте, накрепко связывая одно с другим, — не может мощно идти вперед, не может в будущем иметь то мировое значение, которое ему предуказано природой вещей, а может быть, и судьбою».

Разницу между императивами государственного бытия и имеющимися скудными возможностями наглядно обнаруживали финансы – призвание и развитие России требуют все новых расходов», для которых, однако, не находилось необходимых средств, причина же их отсутствия — «в крестьянском неустройстве, в крестьянском оскудении». При многообразном и всюду дававшем себя чувствовать неблагополучии выход мог быть

только один — «нужно прежде всего поднять дух крестьянства, сделать из них действительно свободных и верноподданных сынов ваших». Царь никак не откликнулся на этот громкий призыв и Витте приписал безрезультатность своего выступления воздействию Дурново, Плеве и Стишинского. Они «могли торжествовать».[4]

Со своим подходом Витте далеко опережал в это время верхи, закосневевшие в пренебрежительном отношении к крестьянству. Ему не удалось при существовашей атмосфере провести и такую ограниченную меру, как задуманное им сложение выкупных платежей. Зондаж в Государственном совете обнаружил нерасположение к этому большинства как к потачке и без того якобы распущенному крестьянству. «И теперь нам жить в деревнях нельзя, так крестьяне распущены и самовольствуют», — жаловались Витте опрашиваемые, и он не решился дать делу ход.

Только лишь за несколько месяцев до того, как, наконец, весной 1902 г. грянул гром и потерявшее терпение крестьянство южных губерний пошло войной на дворянское землевладение, крестьянское дело становится все же на рассмотрение, как того годами безуспешно добивался Витте. Под его председательством 22 января 1902 г. создается Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности с задачей изыскать способы поднять сельское хозяйство и прежде всего крестьянство.

В обстановке надвигающихся и уже наступивших потрясений обсуждение создавшегося в деревне положения сфокусировало те противоречия, которые годами, десятилетиями накапливались в русской жизни, а теперь сплелись в гордиев узел. Развязка же его и достижение тех целей, которые преследовал Витте, как стало видно с самого начала, требовали общих перемен и в общественном и в государственном устройстве. Нельзя было изменить жизнь в деревне, не изменив жизни в стране.

Линия Витте в восприятии его противников вела к колебанию главных устоев. И когда совещание обосновало рекомендацию перевести крестьянство на индивидуальную собственность взамен общинной, то «в таком решении Министерство внутренних дел и вообще реакционное дворянство не могло не усмотреть значительного либерализма, если не революционизма, так как в существовании общины, т. е. в стадном устройстве быта нашего крестьянства, высшая полиция усматривала гарантию порядка».[5] Как подрыв установленного порядка расценивались и наделение крестьянства определенными правами и судебной их защиты.

Закрыв 30 марта 1905 г. совещание о нуждах «как революционный клуб», вместе тут же учредила другой орган во главе с И. Горемыкиным, власть с Кривошеиным и Треповым, свалившим Витте, для ведения крестьянского дела в нужном духе и без какого-либо ущерба для основ. Новая комиссия «дала понять, что придерживается твердо существовавшего тогда строя

крестьянства, т. е. строя общинного и административно-стадного управления». Такая направленность состояла в тесной зависимости от задачи сохранения за дворянством его господства, и в результате «в этой комиссии опять всплыли интересы дворянства в том смысле, что предполагалось лишь постольку допустить изменения в быте крестьянства, поскольку это вообще представлялось дворянству для их кармана невредным».[6]

Но события уже понеслись галопом. С каждым часом набирающая разгон революция быстро вырастает в угрозу самому существованию царизма и дворянства, и возможность спасения прямо связывается с тем, как поведет себя крестьянство. Высказанное в сентябре мнение Витте, что «студенческие сходки и рабочие стачки ничтожны сравнительно с надвигающейся на нас крестьянской пугачевщиною», указывало на то решающее значение, которое приобрел крестьянский вопрос. Однако ни власть, ни дворянство не оставляют надежду так или иначе сблизиться с крестьянством, как раз ставя это своей главной целью. Основой разрабатываемых планов становятся стародавние иллюзии на счет крестьянства как непоколебимого приверженца существующего строя, который горой встанет за самодержавие. О том, что «большинство крестьянского населения» стоит на стороне «консервативно благомыслящей партии»[7] писал царю, анализируя обстановку в феврале 1905 г., видный член дворцовой камарильи кн. М. Путятин. С крестьянством связывал надежды на победу в разгорающейся борьбе и ближайший царский советник этого времени Д. Трепов, не отделявший его в этом случае от дворянства. Обе силы должны были выступить совместно на защиту самодержавия, но для того, чтобы этот шаг сделало крестьянство, решая тем самым исход сражения, следовало проявить о нем заботу, исправляя прежде допущенные промахи. Вообще вся прежняя политика в отношении крестьянства признавалась глубоко ошибочной. Главнейшие вопросы жизни деревни «не только не получили у нас удовлетворительного разрешения, — заявлялось в пространной записке Трепова, адресованной царю, — но, в сущности, даже и не вполне осознаны«.[8]

Капитальным просчетом в концептуальном подходе к крестьянскому делу объявлялось «искусственное перенесение его из области культурно-экономической в область исключительно правовых отношений», что «грозит самыми печальными событиями». Вместо того, чтобы заниматься переделкой быта крестьянина, результаты чего могут сказаться спустя годы и годы, следовало подойти к проблеме совсем с другого конца и в порядке крайней спешности в расчете на немедленный осязаемый эффект, признавая, что самый главный интерес представляет для него земля и беспрепятственное пользование ею. «Изменение поземельных отношений и широкое развитие экономических реформ представляют в данный момент более настоятельный вопрос, чем какая бы то ни была реформа пол-

итическая», — выдвигал Трепов тот основополагающий принцип, в соответствии с которым стала строиться политика самодержавия в крестьянском вопросе. «Крестьянский вопрос,— на эту высоту поднимал теперь его Трепов,— есть центральный вопрос русской жизни. С крестьянским вопросом связано все наше дальнейшее историческое существование». Это было собственно повторение того, что писал Витте в своем октябрьском письме 1898 г., о чем говорилось и на председательствуемом им совещании, но метод решения этой громадной, как теперь признавалось всеми без исключения, важности задачи предлагался иной, совместимый с сохранением существующего порядка в надежде, что, получив землю с устранением помех и неудобств в пользовании ею, крестьянин будет совершенно удовлетворен и будет безропотно сносить привычную для него жизнь. Земля будет для него дороже всякого права, а получив ее из рук власти, он будет неколебимо стоять за нее. Приобретение поддержки крестьянства означало бы стратегический успех в борьбе со всеми домогавшимися политических перемен.

В духе треповских рекомендаций самодержавие делает ставку на крестьянство, подкрепляемое в этой стратегии наиболее ретроградной частью дворянства. Взгляд обоих на крестьянство как на оплот старого порядка утвердился в виде официальной догмы летом 1905 г. при обсуждении на петергофских совещаниях под председательством царя проекта учреждения Государственной думы.

От Стишинского как от одного из наиболее ретроградно настроенных представителей правительственных верхов исходило предложение в противоположность проекту Совета Министров провести выборы в Думу по сословному принципу в расчете на создание в ней подавляющего перевеса дворянства и крестьянства, понимаемых в качестве армии старого порядка. Иные из разделявших эту иллюзию ставили крестьянство даже выше первенствующего сословия. На совещании прозвучало немало весьма резких упреков в его адрес с обвинениями в нестойкости и ненадежности, тогда как крестьянство превозносилось за свою будто бы беззаветную преданность самодержавию. «Оно, — рассуждал Государственный контролер П. Л. Лобко, правее которого поставить было некого, — ничего не говорит, не колеблет самодержавие, не требует уступок, а просит лишь забот о материальном его обеспечении». «Несомненно, крестьяне — опора престола, они должны быть призваны в Думу, это отвечает их преданности и их численному преобладанию над всеми другими группами населения».[9] Этот взгляд подкрепил всем еще имевшимся у него авторитетом Победоносцев.

И когда на рассмотрение совещания было вынесено разногласие, возникшее в Совете Министров при обсуждении проекта по поводу отводимого крестьянству места и всего лишь двое — Лобко и Глазов — выступили против всех остальных 18 и председательствовавшего Булыгина ради предоставления кре-

крестьянства, т. е. строя общинного и административно-стадного управления». Такая направленность состояла в тесной зависимости от задачи сохранения за дворянством его господства, и в результате «в этой комиссии опять всплыли интересы дворянства в том смысле, что предполагалось лишь постольку допустить изменения в быте крестьянства, поскольку это вообще представлялось дворянству для их кармана невредным».[6]

Но события уже понеслись галопом. С каждым часом набирающая разгон революция быстро вырастает в угрозу самому существованию царизма и дворянства, и возможность спасения прямо связывается с тем, как поведет себя крестьянство. Высказанное в сентябре мнение Витте, что «студенческие сходки и рабочие стачки ничтожны сравнительно с надвигающейся на нас крестьянской пугачевщиною», указывало на то решающее значение, которое приобрел крестьянский вопрос. Однако ни власть, ни дворянство не оставляют надежду так или иначе сблизиться с крестьянством, как раз ставя это своей главной целью. Основой разрабатываемых планов становятся стародавние иллюзии на счет крестьянства как непоколебимого приверженца существующего строя, который горой встанет за самодержавие. О том, что «большинство крестьянского населения» стоит на стороне «консервативно благомыслящей партии»[7] писал царю, анализируя обстановку в феврале 1905 г., видный член дворцовой камарильи кн. М. Путятин. С крестьянством связывал надежды на победу в разгорающейся борьбе и ближайший царский советник этого времени Д. Трепов, не отделявший его в этом случае от дворянства. Обе силы должны были выступить совместно на защиту самодержавия, но для того, чтобы этот шаг сделало крестьянство, решая тем самым исход сражения, следовало проявить о нем заботу, исправляя прежде допущенные промахи. Вообще вся прежняя политика в отношении крестьянства признавалась глубоко ошибочной. Главнейшие вопросы жизни деревни «не только не получили у нас удовлетворительного разрешения, — заявлялось в пространной записке Трепова, адресованной царю, — но, в сущности, даже и не вполне осознаны«.[8]

Капитальным просчетом в концептуальном подходе к крестьянскому делу объявлялось «искусственное перенесение его из области культурно-экономической в область исключительно правовых отношений», что «грозит самыми печальными событиями». Вместо того, чтобы заниматься переделкой быта крестьянина, результаты чего могут сказаться спустя годы и годы, следовало подойти к проблеме совсем с другого конца и в порядке крайней спешности в расчете на немедленный осязаемый эффект, признавая, что самый главный интерес представляет для него земля и беспрепятственное пользование ею. «Изменение поземельных отношений и широкое развитие экономических реформ представляют в данный момент более настоятельный вопрос, чем какая бы то ни была реформа пол-

итическая», — выдвигал Трепов тот основополагающий принцип, в соответствии с которым стала строиться политика самодержавия в крестьянском вопросе. «Крестьянский вопрос,— на эту высоту поднимал теперь его Трепов,— есть центральный вопрос русской жизни. С крестьянским вопросом связано все наше дальнейшее историческое существование». Это было собственно повторение того, что писал Витте в своем октябрьском письме 1898 г., о чем говорилось и на председательствуемом им совещании, но метод решения этой громадной, как теперь признавалось всеми без исключения, важности задачи предлагался иной, совместимый с сохранением существующего порядка в надежде, что, получив землю с устранением помех и неудобств в пользовании ею, крестьянин будет совершенно удовлетворен и будет безропотно сносить привычную для него жизнь. Земля будет для него дороже всякого права, а получив ее из рук власти, он будет неколебимо стоять за нее. Приобретение поддержки крестьянства означало бы стратегический успех в борьбе со всеми домогавшимися политических перемен.

В духе треповских рекомендаций самодержавие делает ставку на крестьянство, подкрепляемое в этой стратегии наиболее ретроградной частью дворянства. Взгляд обоих на крестьянство как на оплот старого порядка утвердился в виде официальной догмы летом 1905 г. при обсуждении на петергофских совещаниях под председательством царя проекта учреждения Государственной думы.

От Стишинского как от одного из наиболее ретроградно настроенных представителей правительственных верхов исходило предложение в противоположность проекту Совета Министров провести выборы в Думу по сословному принципу в расчете на создание в ней подавляющего перевеса дворянства и крестьянства, понимаемых в качестве армии старого порядка. Иные из разделявших эту иллюзию ставили крестьянство даже выше первенствующего сословия. На совещании прозвучало немало весьма резких упреков в его адрес с обвинениями в нестойкости и ненадежности, тогда как крестьянство превозносилось за свою будто бы беззаветную преданность самодержавию. «Оно, — рассуждал Государственный контролер П. Л. Лобко, правее которого поставить было некого, — ничего не говорит, не колеблет самодержавие, не требует уступок, а просит лишь забот о материальном его обеспечении». «Несомненно, крестьяне — опора престола, они должны быть призваны в Думу, это отвечает их преданности и их численному преобладанию над всеми другими группами населения».[9] Этот взгляд подкрепил всем еще имевшимся у него авторитетом Победоносцев.

И когда на рассмотрение совещания было вынесено разногласие, возникшее в Совете Министров при обсуждении проекта по поводу отводимого крестьянству места и всего лишь двое — Лобко и Глазов — выступили против всех остальных 18 и председательствовавшего Булыгина ради предоставления кре-

стьянским выборным гарантированного делегатства, с частичным возвращением к отвергнутому принципу сословности выборов, то на этой стадии победило при горячей поддержке дворянских участников заседания мнение меньшинства. «Об устойчивую стену консервативных крестьян разобьются все волны красноречия передовых элементов», — высказал суть понимания обстановки правыми дворянами Бобринский, непосредственно смыкаясь в этом с носителем верховной власти. «Царь настоял на крестьянах, которые могли бы и не попасть по булыгинскому проекту»,[10] — с удовлетворением отмечал один из старейших поборников дворянского дела А. Киреев, деятельно сотрудничавший с дворянским представительством в Совещании.

На громкие предостережения, прозвучавшие на нем, и целиком оправдавшиеся прогнозы реального поведения крестьянской массы внимания не обращали. «Я никак не могу признать отвечающим действительности сравнения крестьянского элемента со стеною, ограждающею Думу от нежелательных элементов»,[11] — пробовал вразумить Коковцов отдавшихся во власть иллюзий ретроградов. То, что они принимали за гранит, был «скорее, воск», и он точно предсказывал то, что произошло на самом деле: «Я сильно опасаюсь, как бы крестьянские голоса в Думе не оказались в распоряжении тех неблагонадежных элементов, которые так или иначе несомненно проникнут в призываемое к жизни и к ответственному труду учреждение». То был не якорь спасения, а валящий с ног камень и потому Коковцов наряду с некоторыми другими старался удержать власть от опрометчивого шага. «При таком взгляде на этот вопрос меня не может не пугать слишком большое число крестьян в Думе», — взывал он к собранию, а больше всего к царю, но и самодержец, и его дворянские единомышленники продолжали упорствовать в своих заблуждениях.

Их не развеяла даже осень 1905 г., когда катастрофа казалась неминуемой. В самую страшную пору крестьянство не только не воспринималось как враждебная сила, но именно с ним связывались надежды на спасение. Развернутое им в последние месяцы года наступление на дворянство с массовым разгромом поместий вместе с тем стимулировало усилия привлечь его на сторону власти и с его помощью отразить в конце концов натиск революции. Она и весь последующий переворот в общественной жизни противопоставляются ему как нечто чуждое и даже враждебное. Крестьянину, уверяли Николая Горемыкин и Будберг как соперники Витте в развернувшейся вокруг Манифеста борьбе, совершенно безразличны и никчемны провозглашенные в нем права и перемены. В записке царю, написанной в первую же неделю после подписания Манифеста, Будберг предупреждал его о грозящих «великих бедствиях для государства» из-за того, что, мол, «дарованные России политические права ничего не говорят крестьянам, которые неминуемо дол-

жны подумать, что эти права были нужны господам и кулакам, а крестьянам от них ничего не будет».[12]

В унисон с этим и Горемыкин внушал царю, что Манифест будет понят крестьянством лишь как забота о господах вкупе со всякой прочей неподобающей публикой. «В дни торжества и радости, охвативших вследствие получения политических прав известные части населения государства, другая, более многочисленная его часть — земледельцы-крестьяне, — рисовалась картина их полной отчужденности от устанавливаемого порядка — скажут себе: все эти блага даны господам, интеллигентам, кулакам и прочим, верно, они им выгодны, когда так их радуют, а нам что же? Плати подати, голодай по-прежнему и жди журавля в небе!». И он тоже страшил царя гибельными последствиями от наносимой крестьянству обиды, какой выглядел в таком изображении Манифест 17 октября. «Великое предстоит бедствие, — давал он острый сигнал тревоги, — если такая мысль народная направит его движение на опасный для государственного спокойствия путь».[13]

В продолжение настояний Трепова оба предлагают во избежание наихудшего немедленно пойти навстречу крестьянству, убедить его конкретными поступками, что для власти оно стоит на первом месте. Это надо показать, советовал Будберг, «прямым делом, могущим отозваться на быте крестьян». Он поддержал предложение Горемыкина отменить выкупные платежи в сумме 80 млн. руб. в год. Выдвинутая концепция была принята царем как наилучшее решение главной политической задачи, обещавшее капитальное упрочение позиций власти в борьбе с наступающим противником. Манифест 17 октября уже не представлялся пролагающим магистральный путь. Центром стратегии должно было стать завоевание на свою сторону крестьянства, и Николай теперь сожалел, что дело прояснилось для него с запозданием, иначе он поступил бы по-другому. «Я очень жалею, — писал он 31 октября о сути только что определившегося плана действий, — что в Манифесте 17 октября не было упомянуто о крестьянах и о мерах удовлетворения их нужд».[14] Речь шла, однако, не о добавке. Скорее, весь Манифест должен был стать, по новой мысли царя, добавкой к тому, что теперь рассматривалось как гораздо более значительное. «Вопрос, конечно, первенствующей важности и, по-моему, несравненно существеннее, — производил он эту рокировку с перемещением Манифеста на самый край политической доски, — чем те гражданские свободы, которые на днях дарованы России. Правильное и постепенное устройство крестьянства на земле обеспечит России действительное спокойствие внутри на много десятков лет».

Серьезность замысла демонстрировалась намерением обратиться к стране с новым Манифестом, которым имелось в виду затмить только что изданный. В еще небывалой спешке, в считанные часы собирается Совет Министров, проводится обсуждение текста Манифеста, и уже 3 ноября он публикуется как

акт не меньшего государственного значения, чем его недавний предшественник, теперь даже заслоняемый им. Оповещалось об отмене с 1 января 1907 г. выкупных платежей при их уменьшении до того наполовину, а Крестьянскому банку указывалось широко раздвинуть свою деятельность, дабы крестьянство смогло получить ощутимую и скорую прибавку земли.

В таком подходе к решению крестьянского вопроса и превращению стомиллионной деревни в стойкого защитника существующего порядка проявилась глубокая общность самодержавия и дворянства, которые в эти же самые сроки намечают тот же путь сближения с крестьянством, пока что всеми силами отбиваясь от него. Под могучим напором революции оно сдвигается теснее, создавая различные объединения, главным из которых стала организация Объединенного дворянства с состоявшимся в мае 1906 г. первым съездом. Все, что говорилось на протяжении полугода с ноября 1905 г., когда заседали учредители создаваемого союза землевладельцев, означало, что столыпинский путь был проложен до Столыпина. Община предавалась анафеме. То был «уродливый пережиток средневековья». Заявлялось, что из-за нее крестьянам стало хуже, чем при крепостном праве. Голоса ее немногочисленных защитников покрывались мощным осуждающим хором. Для подавляющего большинства путь к спасению был только один — превращение крестьянина в собственника. Главным обвинением против общины выдвигалось вытравление ею чувства собственности у крестьянской массы. При всех вариациях ставка делалась на это чувство собственности, которое оградит лучше всяких воинских команд и применения оружия дворянское землевладение и которое должно было воспитаться с появлением у крестьянина своего клочка земли. Этим способом предполагалось сблизиться с крестьянством, став объединенным союзом земельных собственников, у которых между собой не может быть счетов. «Мы — друзья народа, мы — часть народа, мы его братья», — провозглашал на первом съезде Объединенного дворянства Марков в уверенности, что с собственническим крестьянством дворянство сумеет договориться. А на втором съезде другой такой же известности кулачный боец, каким был Пуришкевич, выставлял категорически тот же императив: «Нам надо демократизироваться, мы можем выиграть только при общении с землей, при тесной связи с народом»,[15] подразумевая, что это объединение совершится на развалинах общины.

Направляя в эту сторону крестьянскую жажду земли, дворянские противники общины рассчитывали таким способом оградить от будущих партнеров собственные владения, судьба которых в конце 1905 г. повисла на волоске. И когда Столыпин принялся за осуществление уже собственно готового плана решения аграрного вопроса, наделяя крестьянство крестьянской же землей при полной неприкосновенности дворянского земельного фонда, то предусматриваемая им активизация операций

Крестьянского банка встретила в дворянской среде необходимую поддержку.

Однако если у революции хватило силы заставить самодержавие и дворянство вступить на путь обуржуазивания, у нее не хватило силы заставить их пройти его до конца. Пропасть, отделявшая старое от нового, оказалась гораздо шире, чем предполагали создатели новой стратегии, нацеленной на сближение с крестьянством. Острота социальных конфликтов не допустила довершения проводимых в согласии с ней преобразований.

Камнем преткновения явилось уравнивание в правах крестьянина-собственника с дворянством, этим в прежнем безраздельным распорядителем жизни в деревне. И когда Столыпин в логическое продолжение проводимой трансформации крестьянина-общинника в крестьянина-собственника на следующем этапе реформы поставил на очередь реорганизацию местного управления с приобщением крестьянства к отправлению власти на местах наряду с дворянством, он встретил с этой стороны предельно ожесточенное сопротивление.

Появление рядом с собой в органах местной власти крестьянина-соправителя дворянство расценило как опаснейшую угрозу. То был не союзник, каким он фигурировал в разрабатываемых проектах, который, укрепившись в статусе мелкого собственника, как повсюду в Европе, потянется за крупным землевладением, а намеренный посчитаться с дворянством за прежние обиды и теперешние тяготы мужик, которого и в пореформенные десятилетия держали на положении полуперсоны и которого с дворянством ничто никогда не связывало, а разъединяла вся обстановка жизни, противопоставляя их в непримиримом антагонизме.

В этом смысле исключительную ценность представляет концепция создавшегося положения и вытекающей из этого политики одного из виднейших представителей дворянского сословия в последние десятилетия существования старого режима, каким был самарский губернский предводитель А. Н. Наумов. Он был одним из тех, кто возглавил дружное противодействие дворянских представителей объявленным планам, усматривая в них сокрушение устоев, на которых держится существующий порядок.[16] Изображая общий подход Столыпина, основу его программы в корне ошибочными, Наумов усматривал крупнейший его просчет в переоценке, как он был уверен, подготовленности крестьянства к переходу на новые методы хозяйствования и вообще новое существование в качестве индивидуальных земельных собственников. Столыпин, выходило, далеко забегал вперед в такой трактовке, выступая с реформами для тех, кого на самом деле еще не существовало, и вся его программа повисла в воздухе. Последующее же только увеличило имевшиеся различия, основой которых было мнение, что Столыпин слишком торопит события, проявляет чрезмерную напористость. Особенно серьезная претензия предъявлялась в этой связи по

поводу избранного им метода насаждения мелкой крестьянской собственности путем насильственного разрушения общины.

Оценивая объективно изложенную Наумовым историю его расхождений со Столыпиным, ее следует рассматривать как свидетельство того, что Столыпин ошибался в самом главном, просчитавшись в общей оценке обстановки, не уловив, насколько враждебны друг другу те, кого он попытался свести и примирить. По деревне проходила линия фронта, и враждующие стороны занимали все те же позиции, что и во время революции. Оружие нигде не было сложено, и легко можно было предвидеть скорое возобновление боевых действий. В этом опасении дворянство встало непреодолимой преградой на пути Столыпина. На IV и V съездах Объединенного дворянства оно разгромило все его начинания, потребовав от власти сохранения в неприкосновенности прежнего порядка на местах, сохранения за дворянством всего его всевластия.

Верховная власть, усмотревшая со своей стороны тяжкую угрозу в общей политике перемен и реорганизаций, с тем большей легкостью признала правоту дворянских критиков Столыпина. Терпит провал вся его линия.[17]

Пропасть между самодержавием и дворянством, с одной стороны, и крестьянством — с другой, которую царско-дворянская Россия хотела преодолеть ради собственного спасения, осталась такой же зияющей, какой была столетиями. Те несколько шагов, которые были сделаны, чтобы приблизиться к крестьянину, убавить его враждебность, не достигли своей цели. Перспективу успеха открывало лишь массовое превращение крестьянина-общинника в крестьянина-собственника с предоставлением ему полной самостоятельности и свободы и политического их обеспечения — процесс, который занял бы годы и годы и который потребовал бы общей демократизации всей жизни в России, а это в свою очередь потребовало бы совершения целой революции, настолько старый порядок неразрывно сросся со старым, стоявшим в непримиримом противоречии с новым, укладом жизни.

В обстановке же неубывающей социальной напряженности сближения самодержавия и дворянства с крестьянством не произошло, и потенциальный союзник так и остался непримиримым противником обоих.

[1] Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX в. Л., 1973. С. 250—251.

[2] Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т.2. С.540.

[3] Там же. С. 523.

[4] Там же. С. 529. Фундаментальное исследование развернувшейся в верхах борьбы по аграрной политике содержится в монографии М. С. Симоновой «Кризис аграрной политики царизма накануне первой российской революции» (М., 1987).

[5] Витте С. Ю. Указ. соч. С.535.

[6] Там же: С.538.

[7] Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в 1902—1907 гг. Л., 1981. С.149, 186.

[8] Там же. С.151. Во всех подробностях проблема освещена в работе М. С. Симоновой «Аграрная политика самодержавия в 1905 г.» (см.: Исторические записки. 1968.Т.81. С.199—215).

[9] Цит. по: Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в 1902—1907 гг. С.178.

[10] Там же. С.181.

[11] Там же. С.180.

[12] Там же. С.192.

[13] Там же.

[14] Там же. С.193.

[15] Там же. С.243.

[16] Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. New York, 1955. Кн. II. С.133—134, 159 и др.

[17] Крах политики Столыпина подробно освещен в работах А. Я. Авреха, В. С. Дякина, П. Н. Зырянова и в обобщающем труде «Кризис самодержавия в России 1895—1917» (Л., 1984).

Ю. Шеррер (Франция)

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РАБОЧИЕ

В своем докладе мне хотелось бы поделиться размышлениями по проблеме взаимоотношений между интеллигенцией и рабочими в России конца XIX—начала XX в.

Эти отношения для российской социал-демократии представляли гораздо большую значимость, чем для социал-демократических движений Западной Европы, являя собой существенную проблему. Основной вопрос, который встал с самого начала,— мог ли пролетариат один, т. е. без интеллигенции, выполнить свою историческую миссию, миссию гегемонии в освободительном движении? В какой степени и насколько выражала интеллигенция «историческую миссию» рабочих масс? Еще задолго до основания РСДРП открытым был вопрос о том, идет ли речь о партии социал-демократической интеллигенции или о рабочей партии. Составляла ли интеллигенция организованное руководящее ядро аморфного рабочего класса?

Особое положение революционной интеллигенции по отношению к рабочим проходит красной нитью практически через всю историю этих отношений. Время от времени в отдельных группах рабочих усиливались голоса, протестовавшие против особого положения социал-демократической интеллигенции, против ее политических амбиций, голоса, напоминавшие об «обслуживающей», подчиненной ее роли. В качестве примера здесь можно привести лозунг, брошенный в 1897 г. «Рабочей мыслью» и формулировавшийся как «рабочие для рабочих». Составная часть трактовки и осмысления этого лозунга — «самопомощь» и «самоосвобождение» пролетариата (он мог рассчитывать лишь на свое собственное сплочение в качестве класса, а не на помощь интеллигенции).

История отношений между интеллигенцией и рабочими знает примеры меняющихся отношений между ведущими и ведо-

мыми, изменяющиеся картины взаимоотношений между ними в различные периоды, будь то 90-е гг. XIX в., искровский период, 1905 г. или последующее время. Подоплекой были характерные для русского марксизма и русской социал-демократии определенное противопоставление между экономической и политической классовой борьбой, фундаментальное противоречие между стихийностью рабочих и сознанием (сознательностью) вождей-интеллигентов. Важнейшие из этих этапов охарактеризованы в следующих тезисах.

Плеханов и Аксельрод признавали уже в своих первых, написанных от имени группы «Освобождение труда», работах историческую роль социалистической интеллигенции, которая, по их мнению, заключалась в том, чтобы пробудить в промышленном пролетариате понимание своих классовых интересов и помочь становлению его классового сознания. Политическое сознание могло прийти только со стороны революционной интеллигенции; для Плеханова было немыслимо рабочее движение, независимое от организаторской функции интеллигенции. Далее Плеханов рассматривает воспитывающую функцию интеллигенции по отношению к рабочим на двух уровнях: пропаганды и агитации. При этом Плеханов рассматривал пропаганду в качестве «функции вождей», а агитацию как ориентированную прежде всего «на массы». В работе «О задачах социалистов в борьбе с голодом» (1892 г.) Плеханов отмечал, что пропагандист передает большое количество идей ограниченному кругу лиц, в то время как агитатор передает лишь одну или несколько идей массе народа. В этой связи он полагал также, что благодаря агитации осуществляется необходимая связь между «героями» и «толпой», между «массами» и «их вождями».

Первые попытки интеллигенции внести свой вклад в пробуждение сознания рабочих были предприняты во второй половине 80-х гг. XIX в. В крупных городах сложились нелегальные пропагандистские кружки, где передовые рабочие (их иронически называли «социалисты-культурники») получали подготовку по теоретическим основам марксизма и должны были способствовать нелегальному распространению социал-демократических идей. Эта интеллектуальная эмансипация рабочих затрагивала, естественно, лишь элиту. Подобная деятельность способствовала формированию в России «рабочей интеллигенции», которая, однако, быстро теряла контакт с широкими слоями рабочих. Начиная с 1894 г. стали создаваться также чисто рабочие кружки, которые отвергали какое-либо сотрудничество с интеллигенцией (о так называемых диких кружках пишет Тахтарев в своем «Очерке...»).[1]

Все более усиливавшийся с 90-х гг. XIX в. раскол, который происходил между рабочими и интеллигенцией, привел в конечном счете к «кружковщине» и к акцентации фабричной агитации. Решающую роль в переходе «от пропаганды к агитации» сыграла брошюра «Об агитации» (1894 г.), в которой критико-

вались методы пропаганды, применяемые социал-демократической интеллигенцией. В брошюре говорилось, что в кружках осуществлялось самообразование лишь элиты рабочих, здесь они формировались в «рабочую социалистическую интеллигенцию». Лучшие элементы пролетариата выделялись тем самым в «особую группу», ей «были присущи все черты нашей революционной интеллигенции, которая обречена на вечное прозябание в кружковой жизни». В отличие от плехановского деления на «пропаганду для вождей и агитацию для масс» автор брошюры Аркадий Кремер предлагал объединить пропаганду и агитацию, теорию и практику. «Кружковская пропаганда» интеллигенции противопоставлена здесь «живому соединению агитатора с массой». «Экономический метод агитации» предложил социал-демократической интеллигенции «беспрерывную агитацию среди фабричных рабочих, которая должна быть поставлена на почву реальных повседневных нужд и требований».[2]

Спонтанная «экономическая» агитация взамен требуемой интеллигенцией «политической борьбы» была поводом возраставших элементов раскола между рабочими и революционной интеллигенцией. Как полемически подчеркивал редактировавшийся С. Н. Прокоповичем орган петербургской рабочей оппозиции «Рабочая мысль» (1897, № 1), рабочее движение-де «не более, чем средство успокоения неспокойной совести мучимой раскаянием интеллигенции». Примат экономической борьбы (так называемый экономизм) означал, что непосредственный опыт борьбы рабочих противопоставлялся социал-демократической теории, в качестве носителя которой выступала интеллигенция. Революционные традиции интеллигенции отныне рассматривались как самоцель. «Интеллигенция, которая пытается найти в пролетариате материальную силу для претворения в жизнь своих планов», сегодня не является более значимой, писал С. Н. Прокопович в 1898 г. в своем ответе на брошюру Аксельрода «К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов». По его мнению, программа группы «Освобождение труда» устарела и годится разве что для некоторых интеллигентов, «идущих к рабочим», но не для самих рабочих. Последние должны, поддаваясь своему собственному импульсу, «без революционной бациллы интеллигенции», определить временной пункт, когда они могут начать борьбу против автократии. Выступая против, по его словам, конспиративной, бланкистской концепции революции, исповедуемой группой «Освобождение труда», Прокопович ратовал за «революцию, ведомую сознательным пролетариатом». Для этого процесса строительства своей сознательности рабочие должны вначале создать союзы образования и воспитания рабочих, участвовать в легальных организациях и т. д.[3] В подобных же выражениях отвергалась опека интеллигенции над рабочими со стороны редактировавшегося Кусковой «Кредо» экономистов (1899 г.). Здесь говорится, что интеллигенция проецирует вместе с соб-

ственным догматизмом свои собственные интересы и честолюбивые устремления на рабочий класс. Ее тактика отражала, скорее, конспиративную, нежели объективную панораму исторического процесса.

Политическая борьба необходима для развития классового сознания и классовой организации — это один из важнейших доводов борьбы, которые Ленин и «Искра» выдвинули против экономистов. Развитая Лениным в его работе «Что делать?» концепция о профессиональном революционере, а также его противопоставление «стихийности» сознания (рабочих) и сознательности (интеллигенции) имеют решающее (другое дело — позитивное или негативное) значение для всех без исключения дебатов, которые развернулись в последующем между различными группами интеллигенции социал-демократического толка в связи с проблемой взаимоотношений с рабочими.

Ленинская концепция пролетариата, согласно которой должно быть «внесено сознание извне», а также идеи Ленина о партии профессиональных революционеров особенно резко критиковались Владимиром Акимовым (В. П. Махновцом). Марксизм, упрекал он Ленина на втором партийном съезде, означает, что рабочие должны быть сами хозяевами своей судьбы. Он оспаривал пролетарский характер «Искры».[4] Позднее он даже обвинял партию, что она узурпировала в своем названии слово «рабочий».[5]

После 1903 г. вновь вышли на поверхность процессы разрыва между рабочими и интеллигенцией, которые привели к тому, что часть рабочих повернула сначала к Зубатову, а потом к Гапону.

Особую роль среди многочисленных критиков интеллигенции в смысле ее роковой роли по отношению к подлинным интересам рабочих играют Ян Вацлав Махайский (А. Вольский) и «махаевщина». В своем основном произведении «Умственный рабочий» (и многочисленных прочих работах) он характеризует социалистическую интеллигенцию в качестве нового класса, которая посредством монополии знаний осуществляет новую функцию власти. В связи с тенденциями, направленными против интеллигенции, необходимо указать также на анархо-синдикалистов, среди которых особый резонанс имели работы К. Оргеиани.

Бесспорно, важнейший вклад во взаимоотношения между интеллигенцией и рабочими в период между 1906 и 1912 гг. внесли партийные школы и концепция пролетарской культуры в интерпретации левых большевиков, в первую очередь Богданова.

Важна для понимания дискуссий в России о взаимоотношениях между интеллигенцией и рабочими общая концепция западноевропейской социал-демократии. С большим вниманием следили в германской социал-демократии за дебатами вокруг так называемого вопроса об академиках в рабочем движении. Многие страницы в «Neue Zeit» заполняли терминологические споры относительно терминов «духовный пролетариат», «интел-

лектуальный пролетариат», «рабочие умственного труда», «рабочие, которым приходится работать головой» и т. д. Подобное происходило и в революционном синдикализме его французской и итальянской чеканки (Пеллутье, Жорж Сорель, Герберт Лагарделль, Эдуард Берт, Антонио Лабриола), и это находило свой значительный, правда не всегда с обратной связью, отклик в России. Наконец, надо указать еще на партийные школы, организованные социал-демократическими партиями Германии, Бельгии и Австрии, и выработанную здесь модель воспитания и образования рабочих, которая не могла не оказать влияния на основателей школы на Капри и в Болонье.

Центральным отправным пунктом для дебатов об отношении интеллигенции и рабочих после поражения революции 1905 г. было отступление рабочего движения (и прежде всего бегство интеллигенции из партии), а также создавшаяся вследствие этого новая ситуация с отсутствием руководства у местных организаций. Возникновение левой раскольнической группировки внутри большевистской фракции восходит непосредственно к постановке большевистскими лидерами проблемы «интеллигенция — рабочие». Для Богданова и его сторонников прежние представления об организации партии, прежде всего об агитации и пропаганде на фоне все более и более отступающего движения масс, казались не соответствующими действительности. Они должны были глубоко продумать новую ситуацию и внести коррективы. Должна была быть выработана новая стратегия. Богданов и его сторонники начиная с 1906 г. организовали боевые группы с целью постоянного поддержания готовности рабочих к революционному выступлению, хотя фактически революционная ситуация шла на убыль. В политическом плане их поведение выражалось в терминах «отзовизм», «ультиматизм», «бойкотизм», посредством чего они оказывали давление на Думу и легальное рабочее движение; это все более усиливало их оппозицию по отношению к Ленину. То, что их влияние на более радикализированные слои рабочих Петербурга, Москвы и Центрально-промышленного региона было больше, чем влияние Ленина, подтверждается также донесениями охранного отделения.

Параллельно с развертывавшимся в большевистском политическом центре политическим и философским конфликтом между Лениным и Богдановым (который закончился исключением Богданова из большевистской фракции) Богданов с помощью Горького, Алексинского и прежде всего рабочего Никифора Ефремовича Вилонова готовил партийную школу русской социал-демократии на Капри (август — декабрь 1909 г.). За ней последовала вторая партийная школа в Болонье (ноябрь 1910—март 1911 г.).[6]

Проект партийной школы не был нов. Уже в 1908 г. Г. А. Алексинский от имени женевской «Социал-демократической группы содействия» передал Ленину подобное предложение

и предложил программу. Инициатива Алексинского осталась без ответа. Впоследствии Ленин говорил, что тогда вопрос об организации партийной школы казался ему преждевременным. Как он считал, условия изгнания казались ему малоподходящими, чтобы здесь, в эмиграции, заниматься образованием русских рабочих. В действительности Ленин не счел подходящим проект Алексинского, который предусматривал создание рабочей интеллигенции, которая бы взяла в свои руки партийные организации в России вместо партийной интеллигенции. Одну из причин этого нужно видеть в том, что Ленин внутри руководства партии не хотел делать никакого качественного различия между теми, кто имел пролетарское и непролетарское происхождение. Введенный им самим термин «профессиональный революционер» искусно вбирал в себя всех партийных деятелей, происходили ли они из среды буржуазной интеллигенции, или же из пролетарской среды, он не обращал в данном случае внимания на социальное происхождение. Через год, когда столкновения с Богдановым достигли своего апогея, ленинское неприятие партийной школы на Капри стало иметь и новую причину: прокламируемое здесь образование рабочих было бы для Богданова и его сторонников лишь предлогом разбросать получивших здесь образование рабочих в качестве сети порученцев по местным партийным организациям в России, чтобы они пропагандировали их собственную, направленную против Ленина, политическую стратегию (ультиматизм, бойкотизм, отзовизм).

Богданов неоднократно говорил, что он в 1903 г. под сильным влиянием работы Ленина «Что делать?» присоединился к большевистской фракции. После 1905 г. он упрекал Ленина, что он не остался верен изложенным им в данной работе тезисам. Сам Богданов обратил основное внимание на то, чтобы проводить в жизнь изложенную в «Что делать?» необходимость формирования пролетарского сознания для осуществления «истинного» большевизма. Ленинская стратегия квалифицировалась «левыми большевиками» (и прежде всего Луначарским) в качестве «ленинизма», т. е. «интеллигентского авторитаризма». Под влиянием выдвинутого Лениным до 1905 г. тезиса о пролетарском сознании и его роли Богданов пришел к мысли о необходимости создания в условиях современного ему капиталистического общества «пролетарской культуры», базирующейся на пролетарском сознании. По мнению Богданова, это было необходимой предпосылкой гегемонии рабочих в грядущей революции. Политическое сознание пролетариата было для него лишь одним из аспектов гораздо более широкой культуры нового класса, которую еще только предстояло создать. Политическая гегемония пролетариата над буржуазией, по Богданову, была невозможна без культурной гегемонии.

С партийными школами на Капри и в Болонье, где должно было проводиться образование рабочих и создание рабочей интеллигенции для непосредственной цели перестройки партийных

организаций, связывался и более крупный проект Богданова по воспитанию рабочих, с точки зрения культурной гегемонии пролетариата. Богдановский проект, который должен был быть проэкспериментирован в партийных школах, коренным образом отличался от ленинского представления об отношениях социал-демократической интеллигенции и рабочих. Политизация партийных школ (в частности, посредством созданной Богдановым большевистской фракционной группы «Вперед») все более усиливала столкновение на этом форуме ленинской и богдановской моделей. В конце концов Ленин пришел к выводу о необходимости конфронтации с богдановской моделью пролетарской культуры в основанной им самим партийной школе (Лонжюмо/Париж, 1911 г.).

Поскольку ленинская точка зрения относительно взаимоотношений между интеллигенцией и рабочими, а также его позиция по отношению к «пролетарской культуре» довольно хорошо известны, ограничусь здесь лишь в кратком виде изложением аргументации Богданова.

Чем больше Богданов политически изолировался от Ленина в 1908—1909 гг., тем более настойчиво звучало его требование о «рабочей интеллигенции», которая должна была встать на место «партийной интеллигенции» (воплощением ее являются Ленин и Плеханов) и которая привносит индивидуалистический и авторитарный подход при решении партийных дел, свое *личное честолюбие и свой тщеславный эгоизм*, вырастающий вплоть до культа личности. По Богданову, подобные характеристики являются неотъемлемыми свойствами представителей буржуазии и авторитарного индивидуализма, присущего этому классу. Критика, раздающаяся время от времени по отношению к подобному поведению «партийной интеллигенции», по его мнению, не способна что-либо существенно изменить, ибо менталитет (образ мышления) партийных руководителей глубочайшим образом отражает их класс. Помочь здесь могло только одно: замена их образом поведения, жизненными и мыслительными формами нового класса, которые базируются на товарищески-коллективистских и равноправных рабочих отношениях прогрессивного промышленного пролетариата.

Под руководством Богданова учениками партийной школы на Капри была составлена платформа группы «Вперед», которая ставила своей целью создание пролетарской культуры. Социалистическое сознание рабочего класса не должно ограничиваться непосредственной борьбой в сфере политики и экономики, оно должно охватывать всю его жизнь. Политическая борьба не является независимой. Самостоятельная политико-экономическая практика рабочего движения, с одной стороны, и самостоятельные формирование и дальнейшее развитие всех без исключения областей культурной жизни пролетариата — с другой, составляют неразрывное целое.[7]

Частично в деятельности партийных школ проводилось то, что предлагал Ленин в «Что делать?»: помочь каждому способному рабочему стать профессиональным агитатором, организатором и пропагандистом. Однако часть лекций касалась отдельных аспектов пролетарской культуры, а также пролетарского искусства, пролетарской морали и пролетарской науки. Образование означало для организаторов не только накопление энциклопедических знаний, но также упрочение классового сознания. В конечном счете речь шла о неизмеримо большем, чем о том, чтобы просто сформировать партийного руководителя в рабочей среде. «Рабочая интеллигенция» абсолютно не была синонимом «партийной интеллигенции», как это обозначалось вначале. Речь шла о сознательном формировании нового образа мышления и форм действий, которые исходили от пролетариата в его общем сплоченном целом, исходили из его собственного опыта, а не от действий и опыта интеллигенции. Для инициаторов «пролетарской культуры» было ясно, что этот путь культурно-воспитательной работы представлял значительно более длительный процесс развития, чем тот, что предусматривал Ленин для политической борьбы. По Богданову, новое сознание пролетариата не могло прийти без помощи «извне». Как и раньше Богданов придерживался «Что делать?», как и раньше он солидаризировался с Лениным по вопросу о стихийности, однако в отличие от него Богданов не считал возможным действовать за рабочих. Интеллигенция, которая в процессе становления сознания пролетариата занимала позицию помощи, была, по мнению Богданова, довольно немногочисленной, ее представители были еще «белыми воронами».[8]

Высказывания некоторых учеников-рабочих об их опыте в школах на Капри и в Болонье (речь идет прежде всего об их воспоминаниях, написанных в начале 20-х гг.) не дают каких-либо прямых указаний на то, как они сами себя называли (партийной интеллигенцией или же рабочей интеллигенцией), равным образом не дают представления и об их позиции по отношению к интеллигенции. Напротив, этого нельзя сказать о воспоминаниях о рабочем Вилонове (Михаил). Для Богданова (и еще более для Горького) Вилонов воплощал как идеальный тип рабочего интеллигента, так и идеальный тип партийного интеллигента. Фактически он был основным организатором школы на Капри, ибо он выбирал учеников-рабочих данной школы из местных партийных организаций России. Его основная черта и мотив при организации партийной школы — ненависть к интеллигенции, покинувшей партию после 1905 г., и связанное с этим убеждение о возможности формирования из класса пролетариев своей собственной, выражаясь словами Грамши, «органической» интеллигенции. Письма Вилонова к Богданову показывают, что для него были характерны глубокие колебания между желанием самому стать «настоящим интеллигентом» и глубоким раздражением и скепсисом по отношению

к образу мышления интеллигентов, которых он встречал на даче Горького на Капри. Для Горького антиинтеллектуализм Вилонова являлся «в высшей степени чувствительным барометром», по которому он сверял «все свои собственные мысли по этому вопросу». Вилонов противопоставляет индивидуализм интеллигенции коллективизму рабочих.[9]

Богданов, работы которого Вилонов хочет изложить в популярном виде русским рабочим, является для него (вследствие его философии труда) философом большевизма вообще. Партия должна, по его мнению, сделать философию Богданова своей тактикой. Вилонов считает, что Ленин сам убедится в необходимости идеологической реорганизации партии. Как только Вилонов понимает, что богдановский проект имеет своей целью гораздо более далеко идущие задачи, чем просто воспитание и образование рабочих для дела партии, что концепция «рабочей интеллигенции» для Богданова все меньше и меньше означает «партийные руководители», проблема «практики» становится для Вилонова приоритетной. Он рвет с Богдановым, «который под флагом старого большевизма хочет заменить партийную школу кружковой школой при исключении практиков». Те немногие месяцы, которые еще отпустила жизнь тяжело больному туберкулезом Вилонову, он смыкается с Лениным, жесткая концепция партии которого кажется ему для будущего более многообещающей. Как писал Горький, классовая ненависть была, по мнению Вилонова, наимощнейшей созидательной силой. Богданов говорил об огромных заслугах «рабочего философа» для воспитания и образования рабочих России, когда он после 1917 г. организовал первый пролетарский университет, преемник партийных школ на Капри и в Болонье.

Рабочего интеллигента Вилонова знал и ценил также Троцкий. Вилонов при посредничестве Богданова написал для троцкистской «Правды» подробную статью о необходимости организации партийных школ, отметив при этом, что «пролетариат должен иметь свою собственную интеллигенцию». На пути в Россию, где он должен был набрать учеников-рабочих для партийной школы, он встречается, останавливаясь в июне 1909 г. в Вене, с Троцким, знакомит его с проектом партийной школы, в которой, как он предполагал, Троцкий должен был стать одним из преподавателей.

Троцкий, подобно инициаторам школы на Капри, думал о перестройке партийных организаций и при этом очень значительно рассчитывал на авангард рабочих, способный взять на себя в партии роль интеллигенции. «Правда», которую он издавал, начиная с 1908 г., в Вене, ставила целью привести русское рабочее движение «от эры интеллигенции к эре прогрессивных рабочих». Образование и воспитание рабочей интеллигенции, задуманные на Капри партийной школой, он рассматривал как действие, параллельное тому, что осуществлялось и изданием рабочей газеты. Он с удовольствием констатировал

в письме к Горькому, что «наша партийная жизнь перемещается с бельэтажа интеллигенции в подземелье пролетариата». Троцкий считал, что официальные партийные круги, которые «представляют консерватизм старой партийной надстройки, бессильны против этой новой тенденции. Русская интеллигенция, — писал он в «Neue Zeit», — навязала социал-демократическому движению свойственные ей самой особенности — сектанство, индивидуализм и идеологический фетишизм. Она привнесла свои собственные характерные черты в марксизм и тем самым фальсифицировала его. По его словам, марксизм для русской интеллигенции деградировал до уровня метода, с помощью которого она демонстрирует свою духовную ограниченность в полной мере.[10]

Троцкий считал, что каприйская образовательная программа слишком нацелена на чистую передачу научного знания. Он видит здесь большую опасность формирования лишь «полуобразованных самодовольных людей», т. е. людей, которые, будучи выходцами из интеллигенции или из пролетариата, равным образом отвратительны. Школа должна иметь свою собственную цель, а именно — передачу рабочим «метода». Глобальный конфликт между интеллигенцией и рабочими в партии отражает прежде всего слабость рабочих по отношению к интеллигенции в партийной среде. Троцкий выводит это прежде всего из того, что рабочие не владеют методом познания и придавлены хаотическим нагромождением фактов.[11]

Впрочем, Богданов в период своей преподавательской деятельности, которую он осуществлял для рабочих, пришел к совершенно аналогичному выводу. Его «рабочая философия», названная тектологией, была не чем иным, как попыткой систематизировать или, как он выражался, «организовать» знания, давящие на рабочих.

Троцкий невысоко оценивал сотворенных Богдановым «нового» человека и «новую» культуру, однако он вступил в дискуссии по поводу «пролетарской культуры» лишь после революции, в связи с организацией Пролеткульта. По Троцкому, пролетариат, как писал он в «Литературе и революции», эстетически необразован, он не может начать там, где закончила буржуазная интеллигенция. Цель пролетарской революции заключалась для него не в том, чтобы создать новую классовую культуру, а в том, чтобы заложить фундамент для «подлинно гуманной культуры». Представления Троцкого о длительном процессе «самообразования», который в данном случае должен проделать рабочий класс, едва ли отличаются от ленинских.[12]

Среди различных социал-демократических групп русской интеллигенции меньшевики были практически первыми, которые глубоко критиковали богдановскую концепцию пролетарской культуры. В различных номерах меньшевистского журнала «Новая заря» А. Н. Потресов и И. Н. Кубиков в 1913—1914 гг.

выражали свои сомнения по поводу того, в состоянии ли пролетариат, помимо своей политической и экономической борьбы, еще создать свою, самобытную культуру.

Ленинская критика, которая в годы перед первой мировой войной сводилась лишь к банальной полемике, становится существенной лишь тогда, когда он увидел в Пролеткульте заявку на организацию собственной партии, имеющей в своем распоряжении лучших рабочих, их «элиту».

[1] См.: Тахтарев К. М. (Петербуржец). Очерк петербургского рабочего движения 90-х годов. Лондон, 1902.

[2] Об агитации. Женева, 1896. С. 16.

[3] Прокопович С. Н. Ответ на брошюру Аксельрода «К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов//Рабочее дело (Женева). 1900. Февраль.

[4] Акимов В. К вопросу о работах второго съезда российской социал-демократической рабочей партии. Женева, 1904.

[5] Акимов В. Строитель будущего//Образование. 1907.

[6] См.: Scherrer Jutta. Les écoles du parti de Capri et de Bologne: La formation de l'intelligentsia du parti//Cahiers du Monde russe et sovietigues. 1978. Jullet—septembre. XIX (3). S. 259—284.

[7] Современное положение и задачи партии. Париж, Б. г. (конец 1909—начало 1910 г.).

[8] См.: Scherrer Jutta. Pour l'hégémonie culturelle du prolétariat: Aux orogines historiques du concept et de la vision de la «culture prolétarienne»//Culture et Révolution/Ed. by M. Ferro, S. Fitzpatrick, S. Monas, J. Sherrer. Paris, 1989. S. 11—24.

[9] См.: Scherrer Jutta. Gor'kij — Bogdanov. Apercu sur une correspondencee non publice//Cahiers du Monde russe et sovietiques. 1988. Janoyer—mars. XXIX (1). S. 47—52.

[10] См.: Scherrer Jutta. Un «philosophe ouvrier» russe: N. E. Vilonow//Le Mouyement Social. 1980. Avril—juin. III. S. 165—187.

[11] См.: Scherrer Jutta Trockijs Stellung zur Arbeitererziehung und Arbeiterintelligencija» (в еще не опубликованных материалах конференции о Троцком в Вуппертале, 1990).

[12] Там же.

С. В. Тютюкин, В. В. Шелохаев

РСДРП В ГОДЫ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

История первой российской революции настолько тесно переплетается с историей РСДРП, что разделить их практически невозможно. При этом совершенно очевидно, что Российская социал-демократическая рабочая партия, выражавшая классовые интересы пролетариата и общедемократические интересы народа, сыграла в 1905—1907 гг. чрезвычайно важную роль, а ее деятельность наложила отпечаток на все основные события революции. И хотя уже давно существует мнение, что социал-демократы «испортили» ее своими обгонявшими время несбыточными мечтаниями, нетерпеливостью и нетерпимостью, можно утверждать, что без них натиск народа на самодержавие был бы

намного слабее, а значит, и результаты революции были бы еще скромнее.

Историографическая ситуация, сложившаяся вокруг данной проблемы в Советском Союзе, выглядит достаточно оригинально. У нас давно уже принято считать настоящими социал-демократами, марксистами, революционерами только большевиков, тогда как меньшевики рассматривались и рассматриваются до сих пор как мелкобуржуазная, непролетарская партия, фактически порвавшая с марксизмом. Исходя из этого, все внимание исследователей было обращено только на большевиков, тогда как на их оппонентов в рядах РСДРП смотрели лишь как на идейных противников большевизма и изучали их только в той мере, в какой это было нужно для понимания истории ленинской партии. Еще хуже обстояло дело с изучением истории национальных социал-демократических партий — Бунда, Социал-демократии Королевства Польского и Литвы, латышской, украинской, финской, армянской социал-демократии и др.

Что касается деятельности большевиков, то она явно идеализировалась и лакировалась. Поэтому и общие труды по истории КПСС, и около 150 изданных к настоящему времени очерков истории местных партийных организаций весьма далеки от научной объективности и нуждаются в постепенной замене принципиально новыми трудами. Процесс этот не может идти быстро, ибо требует нового, серьезного и непредвзятого прочтения всего корпуса исторических источников, включая и архивные документы. Сейчас эта работа только начинается.

На глазах меняется и отношение советских историков к работам своих зарубежных коллег, в которых раньше видели одну только сознательную фальсификацию истории КПСС. Между тем жизнь показала, что в этих «фальсификаторских» изданиях о роли РСДРП в трех российских революциях в общем и целом было больше правды, чем в подавляющем большинстве работ советских авторов, хотя исключения были, разумеется, с обеих сторон.

В настоящем докладе будут кратко затронуты или только поставлены лишь некоторые узловые вопросы темы, заслуживающей самого пристального внимания и тщательного изучения.

Начнем с вопроса о том, что представляла собой российская социал-демократия в период революции 1905—1907 гг. В системе политических партий и организаций, в основном оформившейся в России в те годы, РСДРП занимала место на ее левом фланге, хотя и не была ультрареволюционной, максималистской организацией типа левых эсеров или анархистов.

В годы первой российской революции структурно РСДРП представляла собой сложносоставную политическую организацию рабочего класса, включавшую в себя две основные фракции — большевиков и меньшевиков, внефракционных социал-демократов и целый ряд национальных социал-демократических организаций. Большевики и меньшевики имели в начале 1905 г.

собственные обособленные идейно-организационные центры (Бюро комитетов большинства и редакция газеты «Вперед!» — у большевиков, редакция «Искры» — у меньшевиков). В ряде мест, в том числе в Петербурге и Москве, даже возникли параллельные, большевистские и меньшевистские организации РСДРП. Однако большинство организаций оставались объединенными, что отражало реальную ситуацию в «низах» партии (в «верхах» фракционное деление прослеживается совершенно четко и определенно). При этом общее направление деятельности той или иной местной организации в конечном счете определялось составом ее руководящего органа — комитетом РСДРП.

По подсчетам исследователей, к лету 1905 г. число членов РСДРП возросло по крайней мере до 26 тыс. (14 тыс. большевиков и свыше 12 тыс. меньшевиков). В дальнейшем этот процесс продолжал набирать силу. К концу революции, после того как в 1906 г. произошло объединение большевиков, меньшевиков, бундовцев, польских, литовских и латышских социал-демократов, в рядах РСДРП насчитывалось 150—170 тыс. членов. Это число еще более возрастет, если добавить сюда финских, армянских, а также часть украинских социал-демократов, остававшихся в организационном отношении за рамками РСДРП, но достаточно близких к ней с точки зрения идеологии и тактики.

Пока еще трудно делать окончательные выводы о численном соотношении социал-демократов и второй крупнейшей революционной партии России — эсеров. Дело в том, что до сих пор нет более или менее достоверных подсчетов численности национальных неонароднических партий эсеровского направления (они существовали в Польше, Армении, Грузии, Белоруссии, на Украине, в Финляндии), без чего сопоставление численности РСДРП и ПСР было бы недостаточно корректным. Бесспорно, к 60 с лишним тысячам эсеров, о которых известно сегодня историкам, нужно приплюсовать еще несколько тысяч эсеров-националов, но и в этом случае численный перевес социал-демократов будет очевиден. Если же сравнивать РСДРП с партиями и организациями других политических лагерей, то она численно уступала лишь черносотенцам (свыше 400 тыс. человек), хотя степень идеологической и организационной оформленности последних (как, впрочем, и всех остальных партий России той поры) не идет ни в какое сравнение с социал-демократами.

Сила российской социал-демократии состояла в ее тесной связи с рабочим классом и значительной частью радикально настроенной демократической интеллигенции, а также в том сочувствии, с которым относилась к ней часть политически активных групп крестьянства и средних слоев городского населения. В ходе революции РСДРП показала себя не только как идеологическое течение, но и как политическая сила, ведущая активную борьбу за радикальное изменение существующего

строя и полную демократизацию всех общественных структур. Об этом свидетельствовали прежде всего чрезвычайно активная, во многих случаях руководящая роль социал-демократов в непосредственной массовой борьбе трудящихся за свои права, отстаивание ими интересов народа в рамках возникшей под напором революции Государственной думы, участие или сотрудничество с массовыми беспартийными организациями трудящихся. Большое значение имел и тот факт, что РСДРП играла в 1905—1907 гг. активную роль в профессиональном движении рабочих, служащих, демократической интеллигенции.

Довольно сложной была роль РСДРП в национальном движении, впервые широко развернувшемся в России в 1905—1907 гг. Бесспорно, социально-классовые факторы, и прежде всего интернациональное единство трудящихся, были для всех российских марксистов важнее, чем факторы национальные. Столь же бесспорно, что глубокий и искренний интернационализм РСДРП давал ей дополнительную силу в масштабе всей страны. Но у этого важного преимущества РСДРП, имевшего особое значение в такой многонациональной стране, как Россия, была и своя оборотная сторона. Достаточно абстрактный и общий характер ряда пунктов национальной программы РСДРП, в том числе и «обтекаемая», лишенная конкретности постановка вопроса о праве наций на самоопределение вплоть до отделения, с одной стороны, и недостаточное внимание социал-демократов к ряду культурно-бытовых аспектов национального вопроса — с другой, ослабляли позиции РСДРП среди мелкобуржуазных масс национальных районов Российской империи, что отрицательно сказывалось и на судьбе национального движения в стране в целом.

Аналогичная ситуация складывалась и в деревне, где позиции РСДРП в 1905—1907 гг. были еще очень непрочными. Причин тому было несколько: сказывались такие факторы, как политическая неразвитость большинства крестьян, недостаток материальных, и, главное, людских сил для работы в деревне, большой разброс мнений по аграрному вопросу в международной и российской социал-демократии, недостаточный учет общинно-уравнительной психологии крестьян (о которую, кстати говоря, споткнулся и Столыпин), нежелание поощрять мелкобуржуазные, частнособственнические настроения в крестьянстве, глубокая убежденность марксистов в исторической обреченности мелкого крестьянского хозяйства. В итоге РСДРП вступила в революцию с явно недостаточной «отрезочной» программой, которую быстро опрокинула сама жизнь. Затем после ожесточенной внутренней борьбы в 1906 г. партия перешла к компромиссной программе, включавшей в себя «муниципализацию», частичную национализацию и даже возможный раздел земли между крестьянами. Идея «муниципализации» была непонятна крестьянам и носила чересчур книжный, доктринерский, европеизированный характер, не отвечавший российским условиям,

хотя в ней и было определенное рациональное зерно (в какой-то мере муниципализация могла служить противовесом государственно-бюрократической централизации). Ленинский план национализации земли был гораздо ближе к настроениям крестьян, но и он не отражал тягу большинства из них к «черному переделу» и их общинно-уравнительные настроения, которые пришлось учесть большевикам в 1917 г. Пока мы еще не можем со всей определенностью сказать, в какой мере позиции социал-демократов в деревне уступали в 1905—1907 гг. позициям эсеров, но по целому ряду показателей (позиция Всероссийского крестьянского союза и Трудовой группы, материалы наказов и приговоров крестьянских обществ) можно определенно сказать, что в ряде моментов социал-демократы проигрывали эсерам.

Что касается армии и флота, активное вовлечение которых в политическую жизнь страны стало одной из наиболее характерных черт революции 1905—1907 гг. как буржуазно-демократической революции нового типа, то здесь активно действовали и социал-демократы, и эсеры, но перевес все же, по-видимому, был на стороне первых.

Какие же изменения происходили в организационной структуре и самом стиле работы РСДРП в годы революции?

По мере ее развития выявлялось все больше «узких мест» как в организационной, так и в практической деятельности социал-демократии. Рядовые социал-демократы рабочие самым решительным образом требовали коренной перестройки партийных рядов. Рабочих не удовлетворял сам состав местных комитетов, в которых преобладали профессиональные революционеры («комитетчики»), с рвением выполнявшие указания «сверху», но недостаточно вникавшие в настроения рабочих. Характеризуя этих товарищей, Н. К. Крупская в воспоминаниях о В. И. Ленине, наряду с несомненными достоинствами этих партийных функционеров, отмечала и их недостатки: излишнюю самоуверенность, отрицательное отношение к внутрипартийной демократии, нежелание и неумение оперативно перестраиваться и приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям. На этой почве часто возникали разногласия между заграничными и российскими партийными работниками. Эти явления, как показывают документы и мемуарные источники, в той или иной мере были характерны не только для большевиков, но и для других отрядов российской социал-демократии.

Рядовые социал-демократы настаивали на необходимости пополнения комитетов свежими, молодыми силами, на расширении внутрипартийной демократии. Эти тенденции, идущие снизу, быстро уловил В. И. Ленин, который одним из первых в 1905 г. поставил вопрос о расширении рабочей прослойки в партии и ее руководящем ядре. В известной мере эти ленинские положения были отражены в новом Уставе партии, принятом на III съезде РСДРП. Однако, как показали дальнейшие собы-

тия, этого оказалось уже явно недостаточно. Поэтому осенью 1905 г. Лениным были предприняты дальнейшие энергичные шаги, направленные на демократизацию партии. В статье «О реорганизации партии» (ноябрь 1905 г.) он высказался за более полное осуществление принципа демократического централизма, за последовательное проведение выборного начала в РСДРП и коллегиальность партийного руководства. Одновременно Ленин считал необходимым принять конкретные меры для выработки условий объединения большевиков и меньшевиков. Как известно, процесс объединительного движения в РСДРП, за которое особенно горячо выступали рабочие, завершился на IV съезде партии весной 1906 г.

После этого социал-демократическая партия стала действительно всероссийской, что имело важное значение для руководства массовым пролетарским движением. Однако подлинного единства достигнуто все же не было. После поражения декабрьских вооруженных восстаний 1905 г. меньшевики опять «поправели», и к весне 1906 г. отношения между двумя основными фракциями РСДРП — большевиками и меньшевиками — вновь ухудшились. Далеко не органичным было и объединение с национальными социал-демократическими организациями. В итоге к концу революции РСДРП в значительной мере была федерацией нескольких составных частей, между которыми сохранялись достаточно серьезные расхождения тактического и организационного характера.

В годы первой российской революции возникла проблема взаимоотношений РСДРП с массовыми демократическими организациями трудящихся — Советами, профессиональными и профессионально-политическими союзами (например, Всероссийскими союзами железнодорожных служащих, почтово-телеграфных служащих, учителей и т. д.), Всероссийским крестьянским союзом. Эти организации чаще всего возникали «снизу» по инициативе самих масс. К сожалению, эта инициатива на первых порах не была в должной мере понята и осознана партийными комитетами. Исходя из тезиса о том, что в стихийное массовое движение сознание вносится извне, т. е. революционной социал-демократией, партийные комитеты усматривали в этой инициативе действия, противоречащие идеологическим установкам партии. Поэтому они предприняли попытку подчинить вновь возникшие организации своему контролю. С этой целью комитетчики попытались навязать Советам, профессионально-политическим союзам, а также профсоюзам принятие Программы РСДРП, угрожая в противном случае выйти из состава этих организаций. Такую, в частности, позицию занимали некоторые руководящие работники большевистского Петербургского комитета РСДРП по отношению к Совету рабочих депутатов, московские комитетчики по отношению к Всероссийскому крестьянскому союзу и т. д. В этом проявились их шаблонный, догматический подход к массовому движению,

неумение уловить и понять новые веяния жизни. Между тем все эти организации продемонстрировали в ходе революции поистине огромные, творческие способности народных масс.

Потребовались прозорливость и политический реализм Ленина, выступавшего самым решительным образом против попыток большевиков-комитетчиков превратить беспартийные организации в нечто вроде филиалов партии, поставить их под жесткий партийный контроль и изгонять из них всех инакомыслящих. Ленин считал, что борьба за влияние партии в беспартийных организациях представляет собой длительный процесс, требует большого такта и глубокого понимания настроений и интересов различных социальных слоев и групп населения. Факты свидетельствуют о том, что выработка общей тактической линии поведения Советов была результатом согласования позиций различных сил, составлявших «левый блок», которые должны были учитывать настроения и интересы беспартийной массы трудящихся, прежде всего рабочих.

Далеко не просто складывались отношения РСДРП с профсоюзами. Напомним, что к концу революции в России насчитывалось уже около 1200 легальных и нелегальных рабочих профсоюзов, действовавших в 350 населенных пунктах. В профессиональном движении шла упорная борьба между большевиками и меньшевиками, сумевшими на первых порах занять руководящие позиции во многих союзах. Такое распределение ролей между представителями двух фракций РСДРП объяснялось тем, что меньшевики с самого начала уделяли большее внимание экономической борьбе, оперативнее осваивали легальные формы организации пролетариата. Следует также иметь в виду, что на первых порах далеко не все большевистские комитеты смогли выработать правильную линию поведения по отношению к профсоюзам, предлагая им в ряде случаев в качестве непременного условия сотрудничества принять социал-демократическую программу.

Такая позиция большевиков объяснялась тем, что они, вслед за Каутским и Бебелем, по существу отказавшимися в 1905 г. от бытовавшей прежде во II Интернационале теории «нейтральности» профсоюзов, выступили не только за установление более тесных контактов РСДРП с профсоюзами, но и за необходимость проведения в них жесткой партийной линии. Стремление большевиков к политизации не только всех форм классовой борьбы, но и разного рода пролетарских организаций имело не только позитивные, но и негативные последствия. С одной стороны, оно вело к повышению сознательности рабочих и усилению их политической борьбы с самодержавием, а с другой — к расколу профессионального движения, к неоправданному и вредному дроблению и без того не очень значительных пролетарских сил. В этом безусловно сказалось преувеличение большевиками факторов субъективного порядка, их стремление «перескочить» еще не пройденные этапы в развитии классового

сознания рабочих, известная недооценка факторов чисто экономического характера. Заметим, что негативные последствия этой политики по отношению к профсоюзам особенно рельефно проявились после того, как большевики стали правящей и притом единственной в стране политической партией. В создавшихся условиях советские профсоюзы постепенно утратили одну из главных своих функций — функцию защиты интересов трудящихся и стали простым придатком к партийному и государственному аппарату.

В настоящем докладе, естественно, не претендующем на полноту изложения всех вопросов, хотелось бы более подробно остановиться на некоторых оценках меньшевизма и его роли в период революции 1905—1907 гг.

Меньшевистскую фракцию РСДРП, численность которой превышала в 1907 г. 45 тыс. человек (у большевиков было тогда около 60 тыс.), нельзя, как это делалось раньше, автоматически отлучать от марксизма, революции, рабочего класса. Кстати говоря, в последних работах советских авторов, хотя и не всегда последовательно, этот взгляд уже получил известное отражение. В этой связи хотелось бы также заметить, что довольно распространенное сейчас в публицистике противопоставление «демократического социализма» меньшевиков «революционному социализму» большевиков тоже весьма неточно, ибо создает впечатление, что меньшевики всегда были сторонниками чисто эволюционных, реформистских методов продвижения к социализму.

Между тем в конце 1905 г., когда в выходившей в Петербурге меньшевистской газете «Начало» (а она претендовала тогда на роль центрального органа меньшевиков) закрепилось влияние Троцкого и Парвуса, эта газета по своей революционной остроте мало чем уступала большевистской «Новой жизни», редактировавшейся Лениным. Да и само объединение большевиков и меньшевиков в 1906 г. просто не могло бы иметь места, если бы меньшевики не стояли в общем и целом на революционных позициях. Сам за себя говорит и факт участия меньшевиков в Московском вооруженном восстании в декабре 1905 г., а также в ряде других восстаний, имевших в это же время место в России.

Меньшевики не только имели в 1905—1907 гг. ту же партийную программу, а в 1906—1907 гг. и тот же устав, что и большевики, но и были убежденными республиканцами, демократами и сторонниками вооруженных методов изменения государственного строя, хотя после декабря 1905 г. они больше декларировали свою приверженность лозунгу восстания, чем вели практическую работу в данном направлении, переключив основное внимание на деятельность в Государственной думе и профсоюзах.

В чисто идеологическом плане меньшевиков следует критиковать, скорее, за марксистский догматизм и излишнюю при-

верженность букве учения Маркса и Энгельса, чем за его прямую ревизию. Однако совершенно очевидно, что они подходили к нему очень субъективно, выбирая из произведений классиков лишь то, что наиболее соответствовало их мироощущению и пониманию общей ситуации в России.

Сходство большевиков и меньшевиков было довольно велико, в том числе и в вопросах партийного строительства. Меньшевики тоже страдали от «сверхцентрализма» и недостатка демократии, тоже стояли перед фактом абсолютного преобладания в своих руководящих органах на всех уровнях интеллигенции.

Тем не менее мы были бы очень далеки от истины, если бы стали утверждать, будто раскол РСДРП был чем-то случайным и искусственно подогревался излишней ортодоксальностью и диктаторскими замашками Ленина. Чем дальше, тем больше обнаруживались серьезные различия в подходе большевиков и меньшевиков к таким вопросам, как уровень развития капитализма в России, оценка различных классов и слоев российского общества, с точки зрения их революционных и социалистических возможностей, соотношение объективных и субъективных факторов исторического процесса, перспективы построения социализма в России и т. д.

Каждый из этих сюжетов можно было бы легко развернуть в самостоятельный доклад, но поскольку это невозможно, скажем лишь, что меньшевики по сравнению с большевиками в общем и целом лучше понимали ограниченность чисто волевого, во многом волюнтаристского подхода к решению кардинальных вопросов общественного развития, хотя и впадали часто в другую крайность, граничившую с социально-экономическим фатализмом. Впрочем, в полной мере это их качество проявилось уже позже, особенно в 1917 г.

Второй важной чертой меньшевизма было стремление избегать ненужной торопливости, тщательно взвешивать свои силы и возможности и, если надо, даже тормозить революционное движение, чтобы не допустить излишнего забегания вперед и ненужных, неоправданных жертв. Бесспорно, большевики, по крайней мере в рассматриваемое в настоящем докладе время, тоже еще не исповедовали принципа «победы любой ценой», но все же при решении подобных вопросов у них было больше дерзости, революционной романтики и меньше сомнений, чем у меньшевиков. Отсюда и принципиально разное решение большевиками и меньшевиками основного вопроса революции — вопроса о власти. Если большевики готовы были пойти на участие РСДРП во Временном революционном правительстве, то меньшевики хотели бы ограничиться лишь ролью крайней оппозиционной партии, не несущей ответственности за действия властей, хотя бы и революционных.

Третьим важным отличием меньшевизма от большевизма был сравнительно больший учет факторов спонтанного саморазвития тех или иных процессов, тогда как большевики больше

рассчитывали на руководящую, регламентирующую, дирижерскую роль партии, которая должна была держать все стихийные процессы в жестких рамках, направлять их «сверху» в желательном для партии направлении и «насыщать» массовое движение марксистскими идеями. Конечно, разница в этом отношении между большевиками и меньшевиками была еще в 1905—1907 гг. довольно относительна, но она была и во многом определяла их взаимное неприятие и борьбу.

В определенной корректировке нуждается и широко распространенное мнение, будто меньшевики в отличие от большевиков уже в 1905—1907 гг. начисто отрицали для России более или менее близкую социалистическую перспективу. Левые меньшевики во многом были близки здесь к большевикам, причем и те, и другие непременно связывали такую перспективу с европейской пролетарской революцией. Так ставили, например, в 1905 г. вопрос не только внефракционный Троцкий, но и лидер меньшевиков Мартов. Характерно, однако, что правые меньшевики вслед за Плехановым и Аксельродом хранили здесь полное молчание, недвусмысленно давая понять, что социально-экономическая незрелость России исключает саму постановку такого вопроса.

Сейчас нередко можно услышать мнение, что в 1905—1907 гг. меньшевики занимали более правильные позиции, чем большевики. Такое суждение является по меньшей мере спорным, а если говорить более определенно, то весьма односторонним и в конечном счете неправильным. Заметим, что такой взгляд на меньшевиков во многом навеян тем глубоким кризисом, который переживает КПСС, и не всегда соответствует историческим реалиям начала XX в. Революционный импрессионизм меньшевиков, их недостаточная политическая определенность, частая смена позиций, тяготение к легальности, нерешительность признаны, кажется, всеми, включая и наиболее честных меньшевистских лидеров.

Видимо, следует внести определенные коррективы и в наше традиционное понимание такого явления, как социалистический оппортунизм. Политическая практика показывает, что это понятие включает в себя не только колебания, зигзаги, уступчивость и «мягкость» по отношению к политическим противникам, но и трезвый расчет, стремление максимально снизить «цену революции», способность быстро реагировать на изменения политической ситуации. Вот почему оппортунизм далеко не всегда совпадает с понятием «социал-реформизм». Больше того, в определенные моменты «оппортунистические» решения могут принимать и самые революционные партии, в том числе и большевики. Достаточно сослаться хотя бы на их отказ от бойкота Государственной думы в 1906 г.

С учетом вышесказанного не подлежит никакому сомнению, что тактика меньшевиков действительно отличалась в 1905—1907 гг. политическим оппортунизмом. Однако следует иметь

в виду, что в нем были и отдельные позитивные моменты, благодаря которым меньшевики оказывались в некоторых случаях в более выгодном положении, чем большевики. Кроме того, линия меньшевиков в общем и целом оставалась в 1905—1907 гг. более «мягкой», компромиссной, чем у большевиков. В дальнейшем элементы оппортунизма в меньшевистской тактике значительно усилились.

Совершенно очевидно, что в период революции 1905—1907 гг. не подтвердился излишний оптимизм меньшевиков в отношении российской либеральной буржуазии и партии кадетов. В общем ставка большевиков на крестьянство была более реалистична, чем надежды меньшевиков на активизацию и «левение» либералов, хотя надо прямо сказать, что довольно распространенный в советской историографии прошлых лет взгляд, согласно которому меньшевики чуть ли не вообще сбрасывали со счетов крестьянство как революционную силу, не соответствует действительности. С большим трудом пробивала себе дорогу линия меньшевиков на развитие легальных организаций трудящихся, ибо ни царизм, ни буржуазия не проявляли в то время готовности к поиску компромисса с народом.

Вот почему, отбрасывая старый тезис о том, что большевики были единственной подлинно революционной партией России, мы не хотели бы отказываться от другого важного вывода, который состоит в том, что большевики делали в 1905—1907 гг. для победы революции в общем и целом больше, чем меньшевики, хотя вклад последних в революционный процесс был несомненно весьма значительным.

Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что изучение данной проблемы требует объединения усилий историков разных стран, ибо только совместный творческий поиск и откровенные научные дискуссии могут привести к положительным результатам.

Л. Хаймсон (США)

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕР ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

Мне хотелось бы сконцентрировать внимание на предположениях, которые повлияли на концепции о происхождении и характере Февральской революции 1917 г. и о роли, которую сыграло в этом процессе рабочее движение. Особенно я хотел бы остановиться на тех стереотипах, которые сложились в этом отношении на протяжении сталинского периода и в годы застоя.

На мой взгляд, в советской историографии тех лет можно заметить существенное противоречие между стремлением определить Февральскую революцию как буржуазную, с одной сто-

роны, и отрицать сколько-нибудь значительную роль буржуазии в нарастании и последующем взрыве этой революции — с другой. Конечно, это противоречие основывалось не только на догматических стереотипах, но также на подлинном историческом парадоксе.

К лету и осени 1916 г. царский режим столкнулся с чрезвычайно широкой и разнообразной оппозицией в лице различных политических партий и фракций, представленных в Государственной думе, и «общественных» организациях цензового привилегированного общества. Еще летом и осенью 1915 г. депутаты Национального Союза, созданного Столыпиным для обеспечения своего правительства надежной политической поддержкой, вместе с кадетами, прогрессистами и октябристами приняли участие в формировании Прогрессивного блока. Даже в организации объединенного дворянства — этой цитадели существующего режима — до конца 1916 г. произошел раскол из-за продолжающейся поддержки их лидерами существующего правительства и их оппозиции Прогрессивному блоку.

И все же, для того чтобы «сделать революцию» в февральские дни 1917 г., понадобились решительные действия со стороны рабочих столицы, демонстрации которых прорвались в центр столицы, и та поддержка, которую они получили от солдат Петроградского гарнизона. Это убедило лидеров умеренных и либеральных партий в Думе и даже представителей более радикальных партий и фракций (включая большевиков) в том, что революция в самом деле началась.

Бездействие и чувство бессилия, которые вплоть до февраля 1917 г. существовали среди лидеров думской оппозиции, тем более любопытны, поскольку с формированием добровольных организаций цензового общества во время войны — от Земского и Городского союзов до Военно-промышленных комитетов и их рабочих групп — возникла целая сеть учреждений, которые, казалось, имели достаточный авторитет, чтобы взять в руки бразды правления, как только падет старая власть.

В тот период многие умеренные и либеральные представители цензового общества, включая лидеров кадетов, оправдывали свое нежелание взять курс на революцию тем, что любые революционные авантюры в разгар войны могут привести к поражению России. В свою очередь несколько поколений советских историков объясняли это нежелание лидеров Прогрессивного блока опасением, что революция несомненно повлекла бы за собой радикальные как социальные, так и политические изменения и привела бы к уничтожению наряду с царским режимом и привилегированного цензового общества.

В записях совещаний Прогрессивного блока можно найти подтверждение обеим этим точкам зрения, но можно также увидеть, что именно по вопросу об отношении Прогрессивного блока к революции возникли глубокие разногласия в среде представителей либеральных и умеренных партий и фракций.

Внутри самого Прогрессивного блока эти разногласия явственно проявились летом и осенью 1915 г. между подавляющим большинством блока, которое поддерживало требование министерства «общественного доверия», и прогрессистами и левыми кадетами, которые требовали создания «ответственного министерства», т. е. министерства, подотчетного большинству Государственной думы, представленному в это время Прогрессивным блоком.

В комментариях многих современников и мемуаристов (как и в работах советских историков) разница между этими двумя требованиями представляется как разница узких парламентских целей, если не парламентских тактик. На самом деле этот вопрос заключал в себе проблему власти как таковой и особенно способов завоевания этой власти. Обе стороны вполне осознавали, что требование «ответственного министерства» могло быть осуществлено только с помощью угрозы, если не реального осуществления, революционной конфронтации с царским режимом. Противники требования «ответственного министерства» считали, что наращивание подобной угрозы, которая требовала бы радикализации общественного мнения, и подстрекательство к публичным демонстрациям и «беспорядкам», включая политические забастовки и выступления рабочих, были бы игрой с огнем и могли бы привести к военному поражению России. В свою очередь защитники этого требования утверждали, что только глубокие изменения в политической власти смогли бы предотвратить такой исход.[1]

Именно эта, последняя, точка зрения лежала в основе позиции революционного оборончества, которую лидеры фракции прогрессистов склонны были принять, хотя и с большими колебаниями, с конца лета 1915 г. Начиная с этого периода, и особенно на протяжении 1916 г., эту позицию выражали с нарастающей убежденностью как члены левого крыла кадетской партии, так и отдельные лица более умеренных фракций. Еще до революции эта позиция революционного оборончества перекидывала мост, хотя и очень хрупкий, между взглядами этого воинствующего меньшинства русского либерализма и отдельными представителями рабочего движения и меньшевистского крыла РСДРП. В самом деле, взгляды, первоначально выраженные лидерами Рабочей группы в своих контактах с лидерами Центрального военно-промышленного комитета, совпадали с этой позицией революционного оборончества, дополненной требованиями Циммервальдской платформы — мира без аннексий и контрибуций.

Отмеченные разногласия военного времени внутри русского либерализма приобретают еще большее историческое значение, чем это признавалось до сих пор большинством советских историков, когда мы рассматриваем период, непосредственно предшествующий войне. В самом деле, отдельные лица и политические группы, которые поддерживали требование «ответствен-

ного министерства» летом и осенью 1915 г., — представители фракций прогрессистов, руководимые Ефремовым и Коноваловым, и левые кадеты, представленные в Центральном комитете кадетской партии и особенно в нескольких ее провинциальных организациях (надо выделить Киевскую) — были в основном теми же, кто еще зимой и весной 1914 г. призывали к радикализации и широкой мобилизации общественных сил внутри и вне Государственной думы. Эта мобилизация должна была осуществляться в союзе с партиями и фракциями крайне левых (включая большевиков) и предполагала призыв к различным массовым выступлениям, включая политические забастовки. Когда весной 1914 г. как большинство Центрального комитета кадетской партии под руководством Милюкова, так и делегаты мартовской конференции партийных организаций кадетов отвергли эту воинственную тактику, лидеры прогрессистов (по инициативе А. И. Коновалова) старались осуществить ее по своей собственной инициативе через формирование информационных комитетов, которые должны были включать представителей крайне левых партий.

Несмотря на то что отказ большевиков принять участие в информационных комитетах подорвал эти последние до первой мировой войны попытки поднять новую всенародную борьбу для свержения самодержавия, аргументы обоих лагерей в русском либерализме по этому вопросу особенно любопытны, потому что фактор участия России в войне пока еще отсутствовал в их расчетах.

На заседаниях ЦК кадетской партии весной 1914 г. Милюков страстно настаивал на том, что время мобилизации на всенародную борьбу против абсолютизма под руководством либералов, напоминающее действие Союза освобождения, прошло. В отличие от периода до 1905 г., аргументировал Милюков, разные политические и социальные группы среди русского общества уже слишком разобщены чувством взаимного антагонизма, чтобы объединить свои силы в такой борьбе. При данных условиях радикальная тактика, к которой призывали прогрессисты и левые кадеты, даже если бы она преуспела в свержении самодержавия, привела бы только к социальным конфликтам и волнениям, напоминающим по своей остроте период Смутного времени начала XVII в. В конце концов такие волнения могли бы принести выгоду только партиям крайне левых и разрушили бы либеральные тенденции и ценности, представленные кадетской партией в русском обществе. На эту аргументацию Милюкова Н. В. Некрасов и его немногие сторонники в ЦК отвечали, что революция в любом случае неизбежна и что единственный способ избежать катастрофического сценария, нарисованного Милюковым,— самим либералам окунуться с головой в революционное движение и принять на себя лидерство и контроль над всеми революционными силами, включая низы русского общества.[2]

Учитывая эти предвоенные дебаты, позиция, занимаемая прогрессистами и левыми кадетами во время войны, приобретает большее историческое значение, чем было традиционно признано, так же, как и усилия прогрессистов перевести свою платформу в политические действия через свои контакты с лидерами Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета. Разумеется, эти контакты, начиная с предложения лидеров Рабочей группы Гучкову и Коновалову ранней осенью 1915 г. прийти к власти как представителям буржуазии, и кончая неудачей рабочих демонстраций в поддержку Государственной думы, организованных Рабочей группой при поддержке Коновалова и Гучкова в феврале 1917 г., оказались в конечном итоге бесполезными. Эта бесполезность не была, однако, результатом отсутствия целеустремленности со стороны участников этих контактов и попыток. Их неудачи, скорее, объясняются тем фактом, что в решительные моменты лидеры как Центрального военно-промышленного комитета, так и его Рабочей группы не смогли получить поддержку тех социальных слоев, от имени которых, как им казалось, они выступали.

Однако рассмотренные нами черты оппозиционного движения внутри цензового общества являются существенными для понимания динамики Февральской революции. Широта оппозиции, которая нарастала в цензовом обществе в предвоенные и, особенно в военные годы, помогает объяснить, как и почему царский режим рухнул как карточный домик, как только действия рабочих и солдат Петрограда в февральские дни заставили других индивидуальных и коллективных актеров — включая лидеров либеральных групп цензового общества — признать, что происходит революционное восстание. Точно так же водоразделы предвоенного и военного периода внутри цензового общества помогают объяснить политические формы, которые эта революция приняла с первых дней февраля.

Происхождение и характер двоевластия. Позиция революционного оборончества, занятая в 1915—1916 гг. лидерами Центрального военно-промышленного комитета и его Рабочей группой и другими сторонниками договоренности между либеральными элементами цензового общества и рабочим движением, приобретает историческое значение также и потому, что именно из среды ранних приверженцев этой платформы вышли наиболее стойкие сторонники союза между «демократией» и «прогрессивными кругами буржуазии» в 1917 г. В самом деле, взаимодействие между Центральным военно-промышленным комитетом и его Рабочей группой может рассматриваться как прототип, если не первый эксперимент двоевластия и в конечном итоге коалиция во время революции 1917 г.

Это не значит, однако, что представители революционного оборончества, ставшего на эту позицию еще до свержения царского режима, были единственными сторонниками двоевластия в начале революции 1917 г. Даже в среде социал-демократов

мы находим среди сторонников двоевластия в первые дни революции не только меньшевиков-оборонцев и революционных оборонцев, но также представителей наиболее радикальных фракций социал-демократии, включая межрайонцев и большевиков. Цели, преследуемые как радикальными, так и умеренными социалистами-защитниками двоевластия, по крайней мере до Апрельского кризиса и возвращения Ленина в Россию, были одинаковыми: сдерживать любые максималистские проявления со стороны рабочих, которыми они стремились руководить, тем самым избежать преждевременного поворота к реакции со стороны буржуазии. В глазах умеренных социалистов, настаивающих на буржуазном характере революции, эта сдержанность казалась постоянным условием политической ответственности. Для радикально настроенных социалистов такая сдержанность была, скорее, временным, однако столь же необходимым условием, чтобы дать революционному процессу в России возможность углубиться и распространиться на другие воюющие страны.

Таким образом, как бы они ни различались в своих конечных целях и в своих диагнозах процесса, начатого Февральской революцией, почти все социалистические лидеры в России были согласны в эти первые месяцы революции с необходимостью двоевластия. Точно по такой же схеме они поддержали аргумент, выдвинутый Стекловым на Первой конференции Советов, что согласие на двоевластие лидеров Петроградского совета в первые дни революции было расчетом, правильно отражающим существующее равновесие политических и социальных сил. Точно так же можно оценить поведение лидеров Временного комитета Государственной думы (за исключением, возможно, Милюкова), которые так настойчиво требовали поддержки от Петроградского совета в первые дни революции, и тем более отчаянные призывы Временного правительства к Совету более ощутимо доказать свою поддержку в период до формирования коалиционного правительства.

Каково же было отношение к двоевластию со стороны различных слоев рабочих, особенно в столице? В историографии сталинского периода было принято считать, что лидеры Петроградского совета, которые поддерживали двоевластие, тем самым предали ожидания рабочих, во имя которых они якобы выступали. Мне кажется, что, даже учитывая настроения наиболее радикальных слоев рабочих столицы (например, металлистов Выборгского района), такое обвинение может быть более оправдано по отношению к поддержке умеренными социалистами коалиционного правительства до конца октября, чем к их поддержке двоевластия в февральские дни. Говорить об ожиданиях часто неясно высказывавшихся о своих политических стремлениях рабочих трудно, но можно составить представление об их настроениях на базе их поведения как накануне, так и в первые дни революции. В отношениях даже наиболее радикаль-

ных слоев рабочих в столице с представителями цензового общества после начала войны — со съезда по борьбе с дороговизной жизни в июле 1915 г. и выборов членов Центральной рабочей группы Военно-промышленных комитетов летом и осенью — мы можем найти две главные черты. Первая — это требование равенства, которое выражалось в старании использовать на равных правах все легальные возможности, которые правительство и добровольные организации цензового общества им предоставили. Вторая черта — настойчивое требование самостоятельности, которое рабочие старались осуществить при формировании их собственных независимых организаций, когда они использовали эти легальные возможности.

Точно так же, мне кажется, это стремление рабочих к равенству и самостоятельности по отношению к цензовому обществу было по существу реализовано, по крайней мере в первые дни революции, в формуле двоевластия. Разработка этой формулы лидерами Петроградского совета совпадала также с представлениями рабочих о соотношении и равновесии политических и социальных сил в этот момент революции.

Формула поддержки Временного правительства «поскольку-постольку» означала признание его в той степени и до того момента, пока его политика будет совпадать с демократическими целями революции в России и за границей, включая достижение всеобщего мира без аннексий и контрибуций. Она означала также контроль Советов над политической властью, а по существу и над предпринимателями через поддержку Советами законных требований рабочих на предприятиях. Понадобился опыт обостряющегося социального и политического кризиса под усиливающимся влиянием войны, а также растущего и обострившегося процесса поляризации общества, в связи с крахом политического эксперимента в виде коалиционного правительства, чтобы все эти формулировки стали пустыми словами в глазах рабочих и чтобы они начали стремиться к более радикальным политическим, социальным и экономическим переменам с нарастающим упорством и отчаянием.

Роль петроградского рабочего класса в Февральской революции. Своими замечаниями по поводу общего характера политической конъюнктуры я никак не хочу преуменьшить роль катализатора, которую сыграли рабочие Петрограда в Февральской революции 1917 г. Скорее, я хотел подчеркнуть, что рабочие столицы сумели сыграть такую решительную роль в февральские дни частично из-за двух противоречивых черт этой конъюнктуры.

Первая — это широко распространенный характер оппозиции царскому режиму, которая нарастала почти среди всех значительных слоев общества к началу Февральской революции. Вторая — острота разногласий между представителями либеральных элементов этого общества относительно риска революционной конфронтации и отказ большинства их лидеров от этого риска.

Этот отказ был, видимо, вызван не только условиями войны, но также еще живой памятью среди либеральных и умеренных кругов о радикальном и хаотическом характере, который в конце концов, как они считали, приняла революция 1905 г.

Кризис был разрешен и агония царского режима внезапно закончилась только благодаря мобилизации воли, которая заставила рабочих Петрограда прорваться в центр столицы во время февральских дней, и благодаря присоединению к ним солдат Петроградского гарнизона. Характер политической конъюнктуры, в которой разворачивалась вторая русская революция, также помогает нам объяснить, как благодаря их решимости совершить революцию — а их действия именно это и означали — рабочие Петрограда на самом деле ее совершили, создав для других групп населения, включая лидеров разных политических партий, как и для самих себя, представление, что революция, которую они ожидали с такими разными чувствами, необратимо началась.

Эта роль катализатора, которую сыграли рабочие Петрограда в проведении второй русской революции, широко признается в советской и даже в западной историографии. Однако характер динамики, объясняющей эту революционную роль рабочих России, был в течение десятилетий объектом дебатов, которые все более и более принимали схоластический характер. В этой связи я остановлюсь на двух противопоставлявшихся друг другу парах аналитических категорий, которые играли центральную роль в этих дискуссиях и спорах. С одной стороны, проводилось строгое различение элементов сознательности и стихийности в развитии рабочего и революционного движения в России. С другой — проводилась жесткая грань между так называемыми объективными и субъективными факторами в революционных процессах.

Мне кажется, что со временем использование этих терминов становилось все более ярким примером того, что́ английский философ А. Уайтхед назвал «овеществлением» и «ошибкой неуместной конкретности» в использовании абстрактных понятий при анализе эмпирических процессов, когда эти абстракции рассматриваются как реальные и различаемые аспекты конкретной действительности. Хотелось бы проиллюстрировать эти соображения некоторыми наблюдениями относительно динамики Февральской революции и роли, которую принимало в ней рабочее движение.

Если смотреть на этот вопрос узко, начало Февральской революции, или, точнее, революционные демонстрации петроградских рабочих 23—26 февраля 1917 г., было ярчайшим примером стихийного (я предпочитаю использовать термин — *спонтанного*) явления: не запланированными и даже не признанными как значительный революционный взрыв лидерами ни одной политической партии и фракции, включая большевиков, по крайней мере до вечера 26 февраля. Спонтанность поведения

петроградских рабочих в течение этих дней становится особенно очевидной, когда мы сконцентрируем внимание на металлистах Выборгского района, наиболее воинственного и взрывчатого слоя рабочих в столице и во всей стране, на протяжении всей стачечной волны военного времени.

Большевики призывали их к революционным стачкам и демонстрациям 9 января 1917 г., в годовщину кровавого воскресенья. Металлисты Выборгского района забастовали, как предполагалось, 9 января и с революционными песнями и развернутыми красными флагами вышли из ворот своих предприятий на улицу и пошли домой. Рабочая группа Центрально-промышленного комитета призвала их бастовать 14 февраля — в день начала работы Государственной думы — и направиться к Таврическому дворцу, чтобы продемонстрировать свою поддержку думской оппозиции. Рабочие-металлисты Выборгского района вновь забастовали в назначенный день, но опять пошли домой. После этих неудач даже большевики отложили какие-либо планы призвать рабочих к новым революционным выступлениям по крайней мере до 1 мая. В такой ситуации становится понятнее тот факт, что забастовки и демонстрации, начатые рабочими Выборгского района 23 и 24 февраля 1917 г., произошли в то время, когда ни одна революционная политическая организация в столице, включая Петроградский комитет большевиков, не призывала к ним и не ожидала этого и когда фактически ни один из сотни агентов Петербургского охранного отделения не предсказывал никаких значительных рабочих волнений.[3] В этом узком смысле движение, которое началось среди рабочих Выборгского района 23 февраля 1917 г., можно действительно рассматривать как спонтанное движение.

Однако можно утверждать, что рабочие-металлисты Выборгского района вели себя в этом случае исключительно сознательно, когда они мобилизовали свою волю, чтобы в первый раз с начала войны пересечь Неву, которая отделяла их район от центра города и центра власти, и направиться к главной артерии города — Невскому проспекту, магниту революционных демонстраций, начиная со второй половины XIX в.

В этом кратком выступлении нет возможности описать стремительность и упорство, которые проявили рабочие Выборгской стороны и других районов столицы, присоединившиеся к выборжанам 24—26 февраля, когда те пробили себе путь и перегруппировывались на Невском проспекте, несмотря на усилия полиции и казаков разогнать их с помощью оружия. Надо подчеркнуть, что именно эти сцены были лучшим доказательством решительности этих рабочих осуществить революционное восстание.

Что заставило в этот момент рабочих-металлистов Выборгской стороны прорываться в центр города? Именно с точки зрения мобилизации коллективной воли, которую требовало это действие, различные другие события и сцены, часто отождест-

вляемые с началом и динамикой Февральской революции, приобретают свое особое значение. Именно хлебные бунты, так же как и беспрецендентные призывы работниц текстильных фабрик и металлических заводов к рабочим-металлистам Выборгской стороны, усилили и обусловили у металлистов ощущение возможности, а потому и необходимости пересечь Неву и направиться к Невскому проспекту, чтобы свершить революцию. В том же самом смысле лозунг «Дайте хлеба!», который многие из этих рабочих бросили силам порядка, призванным разогнать их, казался им более неопровержимым и потому более убедительным доказательством отсутствия права на существование такой власти, чем призывы к свержению самодержавия и окончанию войны, высказанные ими в политических стачках и демонстрациях 1915—1916 гг.

Учитывая эту картину, я надеюсь, что бесплодность дебатов о роли сознательных и стихийных факторов в поведении рабочих Петрограда в Февральской революции станет очевидной. Февральские дни 1917 г. были спонтанным феноменом, в том смысле, что ни одна политическая партия или фракция не диктовала эти события и даже не предвидела их. Однако действия металлистов Выборгской стороны и многих тысяч других рабочих, присоединившихся к ним 25 и 26 февраля, кажутся мне — если вообще какие-либо коллективные действия заслуживают такого термина — сознательными актами, начатыми сознательными актерами исторической драмы. Резкое противопоставление субъективных и объективных факторов в дискуссиях о динамике и развитии рабочего движения и его роли в революционных процессах в России мне кажется столь же искусственным и бесплодным.

С разными оттенками, как советские, так и западные историки, давно концентрировали внимание на объективных факторах в положении рабочего класса, которые позволили ему сыграть такую центральную роль в развитии революционной ситуации в России от начала века до 1917 г.

Исследование забастовочного движения, проведенное мною и моими сотрудниками с использованием количественных методов, имело целью определить и объяснить характер изменяющихся социальных и экономических факторов, которые отличали слои рабочих, наиболее интенсивно участвовавших в политических и экономических стачках периода от 1905 до 1917 г.

Это исследование показало растущее значение двух объективных процессов в социальной характеристике наиболее активных участников забастовок, особенно политического характера, между 1905 и 1917 гг. Первый из них — это процесс урбанизации этих рабочих, отраженный, в частности, в их более высоком уровне грамотности и в ослаблении их в связи с землей,[4] а также в кристаллизации в больших городах, и особенно в Петербурге, более стабильных и сплоченных рабочих кварталов, в

которых эти рабочие жили постоянно со своими женами и детьми.[5]

Второй из этих объективных процессов заключается в переменах форм организации производства и труда, особенно на больших частных механических предприятиях — филиалах иностранных фирм в Петербурге. Эти перемены в организации производства, которые произошли в значительной степени под влиянием западных доктрин «scientific management», заключались не только в интенсификации процессов механизации и разделения труда, но и в появлении новой системы зарплаты (так называемая «американская система»), которая учитывала время, затраченное рабочими в процессе производства.[6]

На макроуровне эти два процесса проявились в растущей интенсивности и уровне концентрации забастовочного движения в среде рабочих столицы, рабочих металлообрабатывающего производства в стране в целом и рабочих-металлистов Петербурга в особенности. Но, пожалуй, наиболее показательным являлось отражение этих процессов на микроуровне, т. е. учитывая только эволюцию забастовочного движения в столице. Тут мы замечаем растущую роль в стачечном движении рабочих Выборгской стороны, а среди них рабочих больших механических предприятий этого района — филиалов иностранных фирм.

В Выборгском районе мы замечаем особенно ярко отражение и взаимодействие двух структурных процессов, роль которых мы подчеркнули в динамике стачечного движения.[7] Влияние этих двух процессов и их взаимодействие резко отражались в растущей интенсивности и уровне концентрации забастовок в столице после Ленских событий и особенно в военные годы среди рабочих металлистов этого района.[8] Но еще более любопытна была роль катализатора, которую рабочие Нового Лесснера, Минного завода, Айваза и некоторых других механических заводов Выборгской стороны, где выявленные нашим анализом процессы были особенно заметны, сыграли в политических забастовках и демонстрациях этих годов. Рабочие этих заводов были главными участниками попыток выборгских рабочих прорваться к центру столицы во время июльских дней 1914 г. Эти же рабочие играли роль зачинателей в политических забастовках во время войны и первыми были вовлечены в революционную репетицию октябрьской стачки 1916 г. И наконец, это были те самые рабочие, которые составили ударную силу выборгских рабочих, прорвавшихся на другую сторону Невы, чтобы «сделать революцию» в февральские дни 1917 г.

Но несмотря на значение структурных процессов в развитии рабочего движения, так же как и меняющихся политических и экономических конъюнктур, нам надо признать их взаимодействие с еще одним существенным элементом в динамике, которая привела к революции 1917 г. Это был субъективный элемент человеческих инстинктов, сознания и воли, который привел этих рабочих к свершению революции.

Искусственность и бесплодность дебатов о роли сознательности и стихийности, а также о роли объективных и субъективных факторов в революционном движении рабочих и взрыве Февральской революции кажутся мне столь очевидными, что вопрос стоит главным образом о том, как эти дебаты возникли и развивались. Их первоначальные истоки следует искать в дебатах между так называемыми «экономистами» и «политиками» в начале века о характере и роли сознательных и стихийных факторов в динамике развития рабочего и революционного движения в России. Споры по этому вопросу были особенно ярко выражены в концепции «тактики-процесса», представленной редакторами «Рабочего дела» в противоположность «тактике-плану», которую, с их точки зрения, представляли редакторы «Искры».

Во время первой русской революции большевики-практики в России, так называемые «комитетчики», до осени 1905 г. осуждали «стихийные формы рабочего движения», включая забастовки, как отвлечение от организации революционных сил для вооруженного восстания и свержения самодержавия. В это время меньшевики придавали большее значение роли спонтанных факторов в развитии рабочего движения и особенно возникновению революционных институтов де-факто, в «явочном порядке», в процессе самой революции. К началу войны роли поменялись. Теперь меньшевики осуждали использование большевиками рабочих волнений, как «стачечный азарт», усиливающий хаотические и стихийные черты стачечной волны, которая стала им напоминать примитивное бунтарство крестьянских волнений XVII и XVIII вв. больше, чем сознательное современное европейское рабочее движение. В свою очередь большевики видели во взрывном характере, который все более и более принимало предвоенное забастовочное движение, динамику, способствующую их новой стратегии проведения всеобщей политической стачки, ведущей к вооруженному восстанию для свержения самодержавия и установления «твердого демократического режима».

Меньшевики и большевики, каждые по-своему преследуя свои политические цели, стратегию и тактику, продолжали применять эти противоположные концепции о роли сознательных и стихийных факторов в своих анализах рабочих волнений и динамики революционных процессов во время войны и революции. И эти концепции, или, точнее говоря, терминология, были унаследованы последующими поколениями советских историков. Однако с начала 30-х гг. в употребление этой терминологии в советской историографии был привнесен новый элемент, продиктованный в основном сверху. Сами термины «сознательный», а затем «субъективный» в дискуссиях о рабочем движении и революционных процессах стали идентифицироваться исключительно с ролью большевистской партии. А роль партии в свою очередь стала почти полностью отожде-

ствляться с ролью ее подпольных организаций. Политическое давление на этот процесс слишком очевидно, чтобы распространяться на эту тему.

Однако, чтобы вполне понимать устойчивость некоторых акцентов, которые остались характерными для советской историографии рабочего движения даже после того, как политическое давление уменьшилось, если не полностью исчезло, нужно также принять во внимание особенность самих первоисточников по истории рабочего класса и социал-демократического движения в России. Сами участники событий намеренно преувеличивали роль партийных организаций из-за важности того политического влияния, которое видимость их функционирования могла бы оказать на массы рабочих, а также чтобы поддерживать моральный дух самих членов и активных сторонников этих организаций. Отсюда исходили отчаянные попытки создавать любой ценой партийные комитеты и организации, а также формально восстанавливать их после ликвидации, чтобы выпускать прокламации и листовки от их имени даже тогда, когда эти организации не играли никакой другой политической роли.[9]

Этим я хочу подчеркнуть, что самый характер документов по истории социал-демократического движения в России, которые пришлось изучать историкам в качестве первоисточников, и огромное значение, отводящееся организациям и псевдоорганизациям в этих документах — своеобразный организационный фетишизм,— способствовали тому значению, которое позже стали приписывать в советской историографии роли партийных организаций в истории рабочего движения в России и особенно в отождествлении этой роли с ролью «сознательных» и «субъективных» факторов в революционном развитии пролетариата в целом.

Этими замечаниями мне не хотелось бы преуменьшать огромное влияние, которое различные радикальные партии и фракции, включая большевиков, сумели оказать на рабочих России, особенно через «открытые» организации рабочего движения. Скорее, я хочу подчеркнуть, что это влияние осуществлялось в первую очередь благодаря соответствию между призывами этих революционных партий и фракций чаяниям самих рабочих и тем самым способности этих призывов влиять на формирование политического кругозора рабочих. Точно так же различные факторы, включая влияние большевизма, которые сыграли роль в развитии революционного рабочего движения в России, не могут быть упрощенно сведены к деятельности большевистских подпольных партийных организаций.

Я обратил такое внимание в этой дискуссии на роль этих стереотипов в развитии советской историографии потому, что, как мне кажется, только полное раскрепощение от них даст возможность для подлинного изучения динамики истории рабочего класса в России. Я имею в виду историографию, которая обратит внимание не только на специфические условия жизни

и быта разных слоев рабочих и формы коллективной жизни, но также на те аспекты их самосознания, которые выражались в их попытках организовываться на борьбу в защиту своих интересов. Короче говоря, я имею в виду то, что в теперешней историографии рабочего класса и рабочего движения на Западе называется «история снизу».

Надо признать, что, несмотря на давление этих стереотипов, база для таких исследований была создана в 20-е гг. и даже в годы застоя. Я особенно имею в виду в этой связи работы К. Сидорова и других его коллег из Академии Красной профессуры в 20-е гг. и в более близкое время труды о положении и облике рабочего класса в России, написанные Ю. И. Кирьяновым и его коллегами из Института истории СССР. Надо особенно отметить и монографии Э. Бурджалова, которые до сих пор остаются наиболее ярким примером удачной попытки освободиться от влияния этих стереотипов в изучении Февральской революции и роли, которую сыграл в ней рабочий класс. Можно твердо надеяться, что эти исследования создадут во времена перестройки базу для развития исторической науки, в которой рабочий класс России будет фигурировать как самостоятельный исторический актер, т. е. как субъект, а не только объект своей собственной истории.

[1] ЦГАОР. Ф. 523. Оп. 1. Д. 18, 32; Оп. 3. Д. 5, 9.

[2] Там же. Д. 31, 16.

[3] Там же. Ф. ДП. ОО. 5. Ч. 57. 1917 г.; Ф. 111.

[4] Более подробно см: Haimson L., Petrusha R. Two strike waves in Imperial Russia// Strikes, Wars and Revolution in an International Perspective/ Ed. by L. Haimson, Ch. Tilly. Cambridge University Press, 1989. P. 101—166.

[5] Haimson L., Brian E. Changements demographiques et greves ouvrieres a Saint-Petersbourg, 1905—1914//Annales (Economies, Societes, Civilisations). 1985. № 4.

[6] Более подробно см.: Hogan H. Scientific management and the changing nature of work in the St.-Petersburg metalworking industry; Haimson L. *Structural processes of change and changing patterns of labor unrest// Strikes,* Wars and Revolutions... P.356—401.

[7] Более подробно см.: Haimson L. Changements demographiques...

[8] Данные нашего квантитативного анализа стачек в 1916 г. на предприятиях, подведомственных фабричной инспекции, показывают, что металлисты Выборгского района, составлявшие менее 1 % всех рабочих таких предприятий в стране и меньше 20 % металлистов Петрограда в 1916 г., дали более 60 % участников политических стачек, зарегистрированных среди металлистов столицы, и более 45 % среди всех рабочих России. В нашем распоряжении для этого года имелись данные отчетов окружных инспекторов по поводу каждой стачки, зарегистрированной фабричной инспекцией в каждом предприятии под его ведомством. Эти данные нам позволяли точно определить количество и пропорцию забастовок и забастовщиков среди рабочих-металлистов Выборгского района в статистике фабричной инспекции о стачках в стране в 1916 г.

Более подробно см.: Haimson L., Brian E. Labor Unrest in Imperial Russia during the First World War//Haimson L., Sapelli G. Strikes, War and Revolutions. The Impact of the Experience of the First World War. Annali Feltrinelli Foundation (в печати).

[9] Следует отметить, что огромное значение, придававшееся даже видимости функционирования партийных организаций, было заметно с самого

начала существования социал-демократического движения в России, хотя это явление резко возросло после раскола между большевиками и меньшевиками. Надо только вспомнить об огромной важности, которая придавалась в 90-е гг. XIX в. штампам (печатям) на прокламациях, которые удостоверяли подлинность подпольных организаций, подписывающих эти прокламации и тем самым утверждали их политическое значение. Держателям таких печатей, как например С. И. Радченко в Петербурге, автоматически отводилась центральная роль в партийных кругах.

М. Хильдермайер (ФРГ)

ВОЗМОЖНОСТИ И РАМКИ АГРАРНОГО СОЦИАЛИЗМА В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

С тех пор как исследователи обратились к партии социалистов-революционеров (ПСР), ее история изучалась с точки зрения альтернативы марксизму, прежде всего большевизму. Если рассматривать фракции социал-демократии отдельно (учитывая резкую и длительную вражду между ними), то социалисты-революционеры (эсеры), по меньшей мере номинально, были сильнейшей партией в лагере оппозиции самодержавию. Как сторонники аграрного пути к новому обществу, они, по-видимому, были естественными представителями мелких и средних крестьян. Они имели серьезные причины считать себя наследниками «русского социализма» и «классического» народничества шестидесятых и семидесятых годов. Они располагали твердой опорой в лице радикальной интеллигенции. И они предлагали другую цель для социально-экономического и политического будущего России: общество, свобода и экономическое благосостояние которого будут гарантированы распространением коммунального принципа. Эта утопия была по своей сути оригинальной, несмотря на некоторые марксистские добавления, внесенные Черновым. Конечно, социализм Герцена или Чернышевского, как и почти все явления русской духовной истории с Петра Великого, нужно понимать как ответ на родственные течения в Западной Европе. Но ви́дение России в качестве большой общины сохраняло гораздо больше повенпических традиций, чем марксизм Плеханова, Ленина или Мартова. Эта историческая привязка и национальная окраска, казалось бы, давали им решающее преимущество по сравнению с заимствованными извне идеями, поскольку эта привязка обещала органическое развитие, хотя эсеры, как и их соперники, считали революцию неотвратимой.

С конца 70-х гг. в западных исследованиях ощутимо выросло неприятие вопросов об альтернативах, типологических упорядочениях, сравнениях с западноевропейскими процессами, относительной отсталости (России) и других глобальных концепций. Некоторые основные проблемы, казалось, были решены, другие — более или менее свелись к спекуляциям о контрафактической

истории.[1] Оливер Рэдки в своем монументальном, до сегодняшнего дня не превзойденном исследовании не скрыл свой гнев по поводу того, что большинство эсеров в 1917 г. забыли свое революционное прошлое. В этом он видел важнейшую причину их крушения.[2] Почти четверть столетия спустя Морин Перри описала эсеровскую агитацию среди крестьян в первой «революции» (которой, как известно, при точном рассмотрении, не было). Она пришла к выводу, что партия в конце концов не смогла осуществить свою претензию быть авангардом «трудящихся» крестьян.[3] Несколько лет спустя я сам предпринял попытку объяснить причины неудачи ПСР особенностями и недостатками ее тактики, организации и программных позиций.[4] С тех пор главное внимание обращалось на ее социальную физиономию. Кристофер Райс выяснил, что эсеры в большей степени, чем считалось до сих пор, вербовали своих членов из городских рабочих. Майкл Мелансон подтвердил это замечание, подчеркнув, что ПСР, как и ее социал-демократическую конкурентку, следует считать даже по преимуществу партией рабочих и интеллигентов.[5] Недавно Ханно Иммонен подверг новой, в высшей степени интересной проверке аграрную программу и утверждает, что тезис о реформистском «укрощении»партии не находит никакого подтверждения в источниках.[6] Он не смог обнаружить никаких существенных перемен, тем более никакого отступления от революционных требований, так как уже законодательные проекты 1906 и 1907 гг. должны были препятствовать «черному переделу» и обеспечивать правовой переход дворянской земли в крестьянское «пользование».

Эти новые выводы и гипотезы по частным вопросам дают повод преодолеть настороженное отношение к общей постановке проблемы аграрного социализма. Вопрос о шансах и пределах альтернативы тому пути, по которому пошли в октябре 1917 г., сохраняет свое значение. В Советском Союзе он актуальней, чем когда-либо. Не в последнюю очередь поэтому представляется нужным обсудить некоторые точки зрения. Они касаются программы и тактики, организации и социального характера ПСР между революциями.

Программа и тактика. Хотя эсеры не собирались оставлять в неприкосновенности индустриальную частную собственность, их первейшая цель, без сомнения, состояла в социализации земли. Особое значение этого требования подчеркивается в сущности уже тем, что оно было частью так называемой программы-минимум, в то время как «социализация фабрик» откладывалась на более поздний период революционного процесса. Многие крестьяне и рабочие, особенно пришельцы из деревни, во время первой революции едва ли могли быть в состоянии следовать абстрактным теоретическим дебатам о революционной стратегии. Большинство простых сочувствующих идентифицировало партии по типичным лозунгам и боевым призывам. При этом знаменем эсеров был несомненно призыв к безоговороч-

ному отчуждению крупных земельных владений в ходе радикального, в высокой степени спонтанного и автономного аграрного движения.

Больше простора для различных мнений предлагает ответ на вопрос, изменялось ли и в какой форме это центральное требование до решающих месяцев февральского режима. Официально цели оставались прежними. Эсеры, как и кадеты, придерживались программы, которую принял первый съезд партии в январе 1906 г. Иммонен недавно попытался доказать, что это на деле соответствует фактам, а не только отражает потребность сохранять видимость преемственности, в то время когда партия фактически давно была расколота. Он основывает свое мнение на том, что существенные высказывания ПСР о земельной реформе содержала не только партийная программа, но и законопроект, который эсеровская фракция представила II Думе. Уже в этом, так называемом проекте 104-х он видит руку Вихляева, ведущего практика среди эсеровских аграрных экспертов, который и в 1917 г. как товарищ министра земледелия при Чернове отвечал за претворение эсеровских идей в конкретную политику. В этом открытии можно видеть ядро реинтерпретации Иммонена. Уже во время первой революции эсеровское руководство, согласно этой точке зрения, хотело понимать формулу «социализация земли» как признание общего «права на землю». Раздел частной земельной собственности должен был планироваться, следовательно, почти с самого начала мирный и легальный процесс, осуществляемый правительством под контролем парламента.[7]

Не вызывает сомнений, что уже в это время имелось реформистское толкование формулы социализации. Его нужно искать прежде всего в думской фракции; оно, вероятно, также имело некоторых сочувствующих в Центральном комитете. Однако есть достаточные основания не преувеличивать общность политических представлений обоих органов. Партия еще призывала к бескомпромиссной борьбе без достойных упоминания ограничений, лишь путем которой «трудящиеся» смогли бы свергнуть иго угнетения. Партия еще не боялась при этом самого радикального тактического средства, террора, в качестве замены не наступающего восстания и в качестве продолжения устной агитации. Однако все говорит в пользу предположения, что простые члены и попутчики партии видели главную цель в исполнении желания, которое в течение столетий побуждало крестьян к правонарушениям или открытым волнениям, — желания земли. Таким практикам, как Вихляев, могло быть ясно, что нужна была правовая и законная процедура, чтобы пойти навстречу этому желанию. Революционные ветераны вроде Е. К. Брешко-Брешковской и О. С. Минора, молодые агитаторы типа С. Н. Слетова и А. А. Аргунова или привлеченные теоретики, которые поставили себя на службу становлению истинно свободного и равноправного общества, думали иначе.

Неожиданное массовое восстание лишь придавало им мужества, хотя некоторые уже признали поражение.

Только явный конец революции, выразившийся в роспуске II Думы, потряс до основания это самопонимание. ПСР была, как большинство других партий, продуктом массового протеста против неподвижного самодержавия. В качестве внутрироссийской организации она возникла в сущности благодаря мобилизации 1905 г. После государственного переворота 3 июня 1907 г. партия во многих отношениях вновь приобрела старый образ. Опять она существовала в эмиграции в основном как «генеральный штаб без армии». Интеллектуалы, возглавлявшие партию — в большинстве такие же профессиональные революционеры, как и их социал-демократические соперники, — вновь остались сами с собой. Только упадок после взлета дал руководству повод и случай задуматься о будущем. Условия, в которых состоялось это раздумье, были не только негативными: конец массового движения устранял в некотором отношении давление действий и убеждений масс, что позволяло бросить трезвый, не затуманенный революционной динамикой взгляд на общее положение и фактическое соотношение сил. На первый план вышел аграрный вопрос.

Этот приоритет диктовала не только эсеровская шкала ценностей. И кроме нее имелось основание для заботы о точности анализа и соразмерности выведенных из него политических целей и тактических рецептов. Эксперты Центрального комитета находились под глубоким впечатлением от первых успехов столыпинских реформ. Если еще в 1907 г. они предрекали скорый крах атаке на передельную общину, то уже в 1908 г. они должны были согласиться, что цифры выхода из общины не были малой величиной. В ретроспективе оказалось, что их опасения были безосновательны.

Из общины выходили лишь те, кто давно к этому стремился. Однако этого еще не могли знать ни Чернов, ни Ракитников (взявший на себя ведущую роль в дебатах). Можно предположить, что расхождения по аграрному вопросу не могли бы вызвать долгий и глубокий спор о программе и тактике, который возник и существенно определял партийную жизнь в предвоенные годы. Были и другие разногласия, прежде всего по отношению к индивидуальному террору — покушениям на ведущих представителей самодержавия. В этих вопросах сосредоточивались основополагающие разногласия, которые касались революционной стратегии в целом, а также способа и целей переворота. В сущности ПСР переживала то же, что и почти все социалистические (а также другие) партии в России и Западной Европе: разделение на радикальный левый лагерь, прагматический, готовый к компромиссу правый и лагерь, который старался занять позицию центра.[8] С полным пренебрежением к действительности левая фракция рекомендовала держаться тактики восстания прошлых лет. Она по-прежнему ста-

вила на подъем масс, «инициативу меньшинства» и террор как основу пропаганды действием и истинного, ориентированного на открытое выступление революционного мышления. Она *в некотором смысле была наиконсервативнейшей фракцией*, поскольку и далее хотела действовать как прежде, и ее не смущало ни разоблачение главнейшего террориста Е. Ф. Азефа как полицейского шпика, ни очевидное обстоятельство, что того пороха в образе готовых к мятежу масс, который она думала привести к взрыву, более не было. На другом крыле правая фракция серьезно учитывала не только далеко идущий развал партийной организации. Она находила кроме того, в послереволюционной социальной и политической жизни новые, в высшей степени острые для революционной стратегии моменты. Она рассматривала партии, профсоюзы, кооперативы, кассы помощи и другие союзы не как эфемерные явления, но как прочные результаты революции. Она исходила из того, что в этом «трудовая общественность» обрела твердые формы, которые в будущем можно будет рассматривать как основу партийной работы и оппозиционно-революционной политики. *Свержение самодержавия должно было последовать изнутри*, «трудовое» общество должно было словно выдолбить государство и принять его функции путем обобществления своих демократических и организационных принципов. К тому же требовался полный отказ от прежних форм деятельности. Новая тактика должна была быть строго легальной. Она должна была организовывать, а не мобилизовывать, убеждать, а не агитировать, обеспечивать длительное самостоятельное участие в демократических организациях для достижения определенных целей, а не диктовать. По этой же причине террор полностью выходил из круга политических средств. Партия должна была ограничиться мирной деятельностью. Не требует объяснений, что в этой стратегии не было больше места также самовольному захвату помещичьей земли, связанному по меньшей мере с насилием, если не с разрушением и кровопролитием. Изменение отношений собственности в деревне не должно было нарушать право и порядок: аграрная революция принимала характер аграрной реформы. Невысказанной оставалась надежда на последствия этой легальной переориентации, на то, что Дума сможет стать инструментом действительного политического осуществления власти. Здесь были учтены советы немецкого ревизионизма: *с помощью общественных организаций и парламента достичь эволюционного преобразования экономики, общества и государства.*

Срединный лагерь отвергал подобные перспективы едва ли менее горячо, чем левые. Члены старого руководства, преобладавшие здесь, были готовы лишь к легким исправлениям партийной линии. Они хотели, насколько возможно, придерживаться старого, сохранить партию такой, какой они ее создали. Но у них хватило благоразумия принять к сведению изменение

общего социального и политического положения и сознаться, что партия должна в какой-нибудь форме учитывать это. В основном они были расположены довольствоваться двумя изменениями. Во-первых, на некоторое время террор должен был прерваться. После дела Азефа все, связанное с террором, было на обозримое время дискредитировано. Но, смиряясь с неизбежным, эти лидеры не отказывались от формы политической «акции» как таковой. Во-вторых, в аграрном вопросе расставляли некоторые новые акценты, не отказываясь от «социализации земли». Движение выхода из общины, как казалось, широкое и нараставшее, требовало ответа на вопрос — соответствовало ли вообще требование «социализации» желаниям и представлениям крестьян. Ракитников и его соратники соглашались с тем, что передельная община оказалась в бедственном положении и идея личной собственности в деревне укоренилась сильнее, чем это считалось. Но они выражали уверенность, что имущественный индивидуализм еще не изменил существенно традиционное мышление и что этого не следует опасаться. Эсеровская аграрная программа основывалась не на общине как институте, но на общности норм и мышления, которые столетиями вырастали в рамках общины. Исчезновение общины как устройства не затронет, считали они, первозданный коллективизм деревенского образа жизни. Новое общество вырастет из естественного и общинного сознания собственности крестьян. Поистине старое руководство совершенно не изменялось. Оно оставалось при своих интерпретаторских уловках и организационной нищете. В надежде на лучшие времена оно игнорировало вызов времени.

Неясно, в какой мере эта неподвижность способствовала потере власти старым руководством в предвоенные годы. Главную причину следует, наверное, видеть в тяжелой тени соучастия, которую бросало разоблачение Азефа на его долголетних «контролеров». Но основатели партии после первого шока не предпринимали никаких серьезных попыток вновь захватить инициативу. Этого не делали и левые, которые едва ли имели на своей стороне ведущих деятелей и которые окрепли только во время войны.

Политические вехи устанавливало правое крыло. В своем новом собственном публицистическом органе с программным названием «Почин»[9] оно столь эффективно агитировало за свой курс, что находило все больше сторонников в остававшихся внутрироссийских группах. К этому присоединялся один субъективный фактор решающего значения. Руководящие защитники легальной, эволюционной стратегии принадлежали к новому поколению в эсеровском руководстве. Они образовали резервную молодую гвардию, имевшую в своих рядах необычайно много талантов и располагавшую столь же необычной однородностью политико-мировоззренческой ориентации. Большинство из них училось в Германии, прежде всего в Гейдельберге, и было

знакомо с современными течениями в политической и духовной жизни Центральной Европы. Они были знакомы как с неокантианскими идеями, так и с их приложением в социал-демократической и революционной теории. Здесь они получали впечатления, которые входили в их представления о социальном и политическом будущем России.[10] Здесь закладывался фундамент для западной концепции демократии и буржуазно-капиталистического и социального устройства, по крайней мере в качестве промежуточной стадии.

Эта концепция позволяла легко связаться с меньшевистской идеей буржуазной революции. Объясняя боязнь ПСР судьбоносным летом и осенью 1917 г. признать совершившийся факт аграрной революции, Рэдки придал большое значение личной и мировоззренческой близости ведущих эсеров и меньшевиков. Это действительно нельзя понять, не обратившись к немецким годам учебы Зензинова, Гоца или Авксентьева: коалиция основывалась на общей вере в первейшую необходимость установления демократического правового государства с соответствующим устройством экономики и собственности. При этом остается открытым вопрос, в какой форме ориентация на деревенские традиции должна была быть связана с принятием индустриального будущего страны.

Социальная структура. Беглый взгляд на социальное происхождение активных эсеров подтверждает это расположение к сотрудничеству, хотя и ограниченному по времени, с совершенно другой точки зрения. Для партии, как социального союза, с самого начала была характерна некая противоречивость. С одной стороны, ясно, что эсеры рассматривали себя прежде всего, хотя ни в коей мере не исключительно, как острие и авангард крестьянской революции. Не случайно основание крестьянских братств принадлежало к первым идеализированным деяниям неонароднических групп в конце 90-х гг.[11] С другой стороны, имелась равная по силе, шедшая от Народной воли традиция преимущественной организации кружков среди рабочих и агитации в низших городских слоях. До сих пор остается неясным, в какой степени эсеровская партия фактически была связана с крестьянами. Статистически обработанные М. Перри и мною данные известных списков членов Общества каторжан и ссыльнопоселенцев и актов заграничной охранки[12] привели к заключению, что лишь относительно немногие крестьяне (в профессиональном, а не в сословном смысле) составляли актив в партийной работе. Новые советские исследования показывают, что наши источники отражают данные, уже прошедшие предварительную выборку, и это способствует искажению картины. По сведениям о более чем 20 000 лиц, которые упоминаются как члены эсеровских партийных организаций, прежде всего местного уровня, доля крестьян оказалась 45 %.[13] Естественно, эти и соответствующие им цифры должны приниматься с учетом их более высокой статистической значимости. В то же время

имеются достаточные основания предполагать, что оба расчета не исключают друг друга. Данные Перри и мои отражают отношения на другом уровне партийной деятельности и в другом регионе. Очевидно, они показательны для городов Европейской России и особенно обеих столиц, а также для партийных организаций высокого уровня, прежде всего более крупных городских комитетов и центральных органов. Поэтому очень вероятно, что относительный вес крестьян в ПСР падал с повышением уровня комитетов, к которым они принадлежали.

Одновременно все данные показывают, что доля рабочих, за некоторым исключением центральных органов, была необычайно велика.[14] По социальному происхождению своих активных членов ПСР была по крайней мере в той же степени партией рабочих, как и партией крестьян. Это наблюдение кажется на первый взгляд парадоксальным. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются, правда, хорошие основания для такого вывода. Эсеровские «активисты» происходили прежде всего из интеллигенции. Главное поле их агитации представляли города и их низшие слои. Ввиду больших расстояний и постоянного недостатка персонала агитировать среди деревенских жителей было много труднее, и особенно трудно было организовать их. И если разъездным агентам удавалось основать партийную ячейку в деревне, то была велика вероятность, что она не долго просуществует.[15] После 1907 г. едва ли оставались следы эсеровских (и других) крестьянских организаций. Положение изменилось только весной 1917 г. Если вообще имелась известная институционная преемственность ниже центрального и регионального уровня, ее можно было найти среди рабочих. Правда, все говорит за то, что эсеры в профсоюзах могли захватывать малые территории — по крайней мере существенно меньшие, чем планировалось. Большинство производственных союзов оставались доменами меньшевиков, а с 1912 г. все чаще — большевиков.[16] Эсеры контролировали только некоторые руководящие органы, особенно в союзах железнодорожников и служащих почты и телеграфа. Представляется ошибочным часто выражавшееся предположение, что эсеры находили наибольший отклик среди белых воротничков и рабочих, «подобных служащим». Напротив, эсеры обладали чрезвычайно солидной опорой у металлистов С.-Петербурга и Москвы, а также у нефтяных рабочих Баку. Среди железнодорожников «голубые воротнички» ремонтных мастерских присоединялись к ним больше, чем служащие и инженеры. Это были не неграмотные рабочие текстильных фабрик, которые помогали победить эсеровским лозунгам на стачечных митингах и демонстрациях, но грамотные и выросшие в городах. Поэтому эсеры в городах удовлетворяли свою потребность в людях более или менее из тех же социальных слоев, что и большевики. Только одна особенность рабочего-эсера, кажется, подтверждается: обычно он сохранял больше связей с деревней

и крестьянскими социальными союзами в городах (землячества, артели и др.), чем другие.[17] Этому не противоречит то, что он был к этому времени не свежий, еще «отчужденный» иммигрант, но был в состоянии хорошо или плохо примениться к жизненным условиям одновременно в городе и на фабрике.

Все это вместе взятое дает повод для резюме: ПСР была на деле, как на то претендовала ее программа, единственной оппозиционной партией, которая в равной мере могла опираться на симпатию и содействие рабочих, крестьян и интеллигентов. При этом ее сердце билось, так сказать, в деревне; но ее тело было привязано к городам. Из всех партий она имела наибольшие шансы перебросить мост через глубокую социоэкономическую и психологическую пропасть между городом и деревней, которая парализовала Россию политически и бросала длинную тень на ее будущее. Но ПСР не сумела, однако, использовать эти возможности.

Организация. В одной из своих многочисленных передовых статей Чернов писал, что партия без солидной организации в борьбе за власть будет побеждена, как бы сильна она ни была номинально.[18] Он здраво понимал то, что назвали «организационным императивом» современной политики (С. П. Хантингтон). Эта заповедь имела особое значение ввиду специфических ограничений легальной активности и общего более низкого уровня общественной самодеятельности в Российской империи. Всем партиям, консервативным еще явственнее, чем оппозиционным, тяжело было сделать решающий шаг от политического и социального движения к партии с относительно твердыми структурами. *По моему мнению, эсеры эту задачу выполняли* с меньшим успехом, чем социал-демократы, особенно большевики. Конечно, в 1906 г. они оказались в состоянии создать целую иерархию органов и кружков на разных уровнях от местной ячейки до Центрального комитета. Но уже в 1908 г. почти ничего не осталось. Важнейшие причины ясны.

1. За исключением зарубежных групп, профсоюзы были единственными относительно стабильными организациями, в которых партии могли претендовать на влияние также после революции. И эсеры, как упомянуто, имели здесь свои бастионы, но все же меньше, чем социал-демократы.

2. Дело Азефа с начала 1909 г. поставило почти все эсеровские комитеты на грань развала. Вовлеченные сочувствующие также не видели более оснований ставить на карту свое буржуазное существование ради партии, которая, очевидно, вплоть до высших функционеров, была пронизана шпиками.

3. Охранка с полным основанием считала эсеров более опасными, чем социал-демократов, и преследовала их решительно строже. Эсеры, а не их марксистские соперники, убили великого князя Сергея Александровича и многих министров. Террор вызывал соответствующую реакцию режима.

Все же, кроме подобных препятствий, имелось еще одно серьезное основание недостатка организационной стабильности и преемственности в ПСР. Несмотря на приведенную фразу Чернова, организаторская работа не много значила в среде самозванных наследников Народной воли и Земли и воли. Типичный эсер пренебрегал кажущейся столь безрезультатной и скучной рутиной «экономической» агитации.[19] Он предпочитал форму революционной деятельности, которая готовила более осязаемые и быстрые результаты. Терпение и тихая, но неустанная работа в подполье, то «низведение» революционного призвания до будничной агитации, которой Суханов объяснял успех большевиков в 1917 г.,[20] были не его делом. Его идеалом был «герой-мститель», примерно наказывавший властителей за несправедливость по отношению к неповинному народу.[21] Конечно, разоблачение Азефа опустило это мифотворчество на твердую почву фактов, а «легалисты» делали все, чтобы укрепить в ПСР другие идеалы. Однако неясно, в какой степени это удалось до второй революции.

В то же время представляется обоснованным взгляд, что эсеровская организация как раз ввиду своей фактической двухранговости в меньшей степени, чем большевистская, формировалась под влиянием политической обстановки. Как и прежде, заслуживает внимания известный аргумент, что дефицит демократии в ленинской партии отражал во многом авторитарную структуру режима, с которым она боролась. Победитель победил, так как он бил противника — как требовалось в «Что делать?» — его собственным оружием: ценой потери тех принципов, которые должны были сделать новое общество лучше. Эсеровскую организацию пощадила эта «негативная диалектика», так как она была другой. Она унаследовала от народнического прошлого сильный партикуляристский и федералистский элемент в себе самой, что сходилось с ее общей концепцией государства и общества как пирамиды автономных самоуправляющихся единиц. Партия большевиков была не менее разобщена спорами, чем ПСР. Ее комитеты также преследовались охранкой, хотя, вероятно, не столь безжалостно. Между группами вне и внутри страны, между интеллигенцией и «необразованными» зияла аналогичная пропасть. Прежде всего в 1917 г. они были настолько наводнены новыми членами, что их кадры могли утонуть в массе новичков.[22] И все же остается впечатление различия между большевиками и эсерами. Несмотря на внешние препятствия для внутрипартийной демократии, ПСР до конца сохраняла явную любовь к федералистским, децентрализованным, при этом коллективистским структурам. Она была решительно антиавторитарной и, напротив, никогда не могла совершенно отрицать родство своих представлений и действий с анархо-синдикалистскими. В этом отношении она также предлагала альтернативу будущему политическому устройству и политической культуре России.

* * *

Разумеется, в 1917 г. ПСР была вовсе не такой же, как до войны или до 1905 г. Многое говорит за то, что она изменялась сильнее, чем социал-демократия. После 1907 г. она должна была отказаться от террора. Она должна была реагировать на аграрные реформы и промышленный прогресс. Она извлекла из опыта и сохранившихся завоеваний революции уроки, вызвавшие не затихавшую до войны фракционную борьбу. Она переживала смену поколений, широко заменяя своих ведущих деятелей. Из основателей партии почет и уважение сохранял еще только Чернов; правда, основатели никогда не достигали того исключительного положения, которое мог занимать в своей организации Ленин. Война ставила трудные вопросы, умножавшие разногласия во много раз. Это был более глубокий перелом, чем в 1905 г.

В то же время можно видеть, что с первых дискуссий о программе и дебатов о тактике после 1907 г. и вплоть до 1917 г. партия не теряла своего лица. Скорее, напротив, она так и не прошла через тот раскол, который в социал-демократии состоялся уже в 1903 г. вследствие ленинского натиска, и сохраняла два варианта аграрно ориентированного революционного движения, которое с оговоркой можно назвать социалистическим. В сущности обнаружилось старое противоречие революционных темпераментов в их народническом варианте: борьба мирного просвещения и пропаганды действием, эволюционного ожидания и революционного напора. Поэтому остается оправданным предположение, что действия ПСР, которые вызвали ее поражение в октябре 1917 г., нужно было объяснять не только ситуацией того момента. Возможности и рамки аграрного социализма можно понять лишь, не отделяя его от его предыстории и признавая его амбивалентным политическим и духовным течением, которое в обеих ипостасях было представлено с самого начала и постоянно оставалось серьезной альтернативой пролетарскому социализму.

Обрисованное развитие и структурные характеристики ПСР позволяют сделать четыре наблюдения.

1. Партия придерживалась своей аграрной программы. Она, однако, допускала с самого начала два варианта толкования: эволюционный, легальный и революционный «самосуд».

2. Она извлекла из поражения революции различные уроки. При этом «правая» группировка хотела достигнуть свержения старого режима ненасильственно, через институты «трудовой общественности». Это крыло отказывалось от террора и поддерживало соответствующее правовому государству решение аграрного вопроса. В 1917 г. оно поставило на молодую гвардию партийного руководства и на наиболее влиятельных деятелей, помимо Чернова.

3. Партия объединяла в своих рядах рабочих, крестьян и представителей интеллигенции. При этом влияние «образован-

ных» росло пропорционально весу органов, в которых они участвовали. Долговременная организация деревни представляла на практике особую проблему.

4. Партия сохраняла выраженный федеративный, децентрализованный и демократический характер, теснейшим образом связанный с коллективистским идейным багажом аграрно-социалистической традиции. Эта основная черта партии была ее силой и слабостью одновременно. Она вела к известному пренебрежению к организационной и структурной слабости, но препятствовала привычке к централизму и властным решениям, к которым часто вынуждали внешние обстоятельства.

Возможны лишь предположения по фундаментальному вопросу: в какой степени эсеровские представления о будущем были адекватны реальности и имели шансы на осуществление? Как известно, ретроспектива дала множество поводов для отрицательного ответа. Хотя каждый историк должен остерегаться логики «post hoc, ergo propter hoc», надо полагать, что ПСР многое должна была бы оставить за бортом, если бы она захотела уготовить России лучшее экономическое будущее и спасти ее статус великой державы. Это особенно относилось к левым эсерам, остававшимся верными старому видению общины и основания будущего порядка в традиционных формах аграрной России. Их верность принципам, благодаря которой они не усомнились в правомерности обращения к террору, достойна уважения. Но ни один нейтральный наблюдатель не станет утверждать, что русское будущее было бы в их руках обеспечено. Как бы там ни было, в русской деревне в ее традиционном или даже в совершенно коллективистски идеализированном виде было невозможно установить современный экономический и социальный порядок.

Эсеровский центр и правые выступали за легальную аграрную реформу и были (что важнее) готовы идти меньшевистским или даже либеральным путем к капитализму и демократии. Рэдки по праву увидел решающий факт истории ПСР в 1917 г. в этом повороте к легализму. Правда, он смог увидеть в этом лишь источник всех зол, причину «расхождения» между обещаниями и действительностью, из-за которых ПСР погибла.[23] Советские авторы, от Гусева до Гинева, могли бы присоединиться к этому вердикту, поскольку они рассматривали эсеров как мелкобуржуазных революционеров, которые в конце концов по самому определению не имели другого выбора, как оказаться в лагере контрреволюции.[24]

Западные рецензенты ругали Рэдки за то, что он фактически оправдывает большевистский государственный переворот и излил неуместный гнев на персонажей, которым роли героев оказались не по плечу. Дж. Кип предложил альтернативное объяснение: эсеры не смогли бы подняться на уровень государственных мужей.[25] Это в общем так, но означает лишь, что субъективный фактор выдвигается как решающий критерий

в другой форме. А. Гершенкрон, сам близко стоящий к народнической традиции, расценивал недостаток политической силы эсеров как следствие «трагической капитуляции реализма перед утопией», мнимого отказа принять промышленное развитие в качестве решающего императива для русского будущего.[26] Один из двоих — Рэдки или Гершенкрон — должен ошибаться. Если предположение Рэдки соответствует действительности и правые определяли в 1917 г. политику ПСР (а он описывает это на многих сотнях страниц), тогда не может быть никакой речи об отступлении реализма перед иллюзией. И даже чернов ский левый центр (в терминологии Рэдки) в это время заключил свой самый долгий мир с осторожной формой индустриализации.

Если была альтернатива пройденному в конечном итоге пути, то ее следует видеть в сотрудничестве между левым и правым центром ПСР, правыми меньшевиками, а также, возможно, левыми меньшевиками и левыми кадетами. Только широкая коалиция от центра до демократических левых могла решить жизненные проблемы лета и осени 1917 г. и предотвратить падение к диктатуре. После этого вся задача состояла бы в том, чтобы преодолеть разрыв между городом и деревней, используя стратегию параллельного развития промышленности и сельского хозяйства. Если верны новейшие исследования, этот прогресс мог бы быть достигнут и при длительном демографическом давлении.[27] Единственной партией, которая на основе своей социальной структуры и фактически модифицированной программы могла бы действовать как выразитель интересов всех важных социальных групп, были эсеры, за исключением крайне левых. Если избыток насилия в последующие десятилетия, как недавно было доказано также и в Советском Союзе[28] (среди прочего), можно объяснить противоречием между уровнем социоэкономического развития и произвольно поставленными социалистическими целями, то эсеровский идеал аграрного сектора, основанного на семейном хозяйстве (в понимании А. В. Чаянова) и кустарном промысле, мог бы иметь значение в качестве более близкого к действительности и осуществимого с минимальными социальными издержками. Правда, в этом идеале отсутствовало признание крупной промышленности, которое могли внести другие партии. Российская дилемма состояла в отчетливо выраженной неравномерности ее социоэкономических структур и ее культурно-психологических уровней. Лишь демократический плюрализм давал шанс политически разрешить эту дилемму, а не гражданская война, к которой призывали Апрельские тезисы.

[1] Существенный вклад в это был сделан разрушением П. Р. Грегори гершенкроновской модели (см.: Gregory P. R. Russian Industrialization and Economic Growth. Results and Perspectives of Western Research // JGO. 1977. V.25. P.200—218; Russian National Income 1885—1913. Cambridge, 1982). Кроме

того, критика осталась странным образом незамеченной. Она проявляется, скорее, в отрицании модели, чем в открытой аргументации.

[2] Radkey O. H. 1) The Agrarian Foes of Bolshevism: Promise and Default of the Russian Socialist Revolutionaries, February—October 1917. New York, 1958; 2) The Sickle under the Hammer: The Russian Socialist Revolutionaries in the Early Month of Soviet Rule. New York, 1963.

[3] Perrie M. The Agrarian Policy of the Russian Socialist-Revolutionary Party from Its Origins Through the Revolution 1905—1907. Cambridge, 1976. P. 196 ff.

[4] Hildermeier M. Die Sozialrevolutionäre Partei Russlands. Agrarsozialismus und Modernisierung im Zarenreich. Köln; Wien. 1978.

[5] Rice C. Russian Workers and the Socialist-Revolutionary Party Through the Revolution of 1905—1907. London, 1988; Melancon M. «Stormy Petrels»: The Socialist Revolutionaries in Russia's Labor Organisation 1905—1914. Pittsburgh, 1988.

[6] Immonen H. The Agrarian Program of the Russian Socialist Revolutionary Party, 1900—1914. Helsinki, 1988.

[7] Ср.: там же (особенно с. 87 и след., 157 и след.).

[8] Доказательства и детали предшествующего и последующего в моем исследовании: Hildermeier M. Op. cit. S. 318 ff.

[9] Почин. Изд. группы социалистов-революционеров / Под ред. Н. Авксентьева, И. Бунакова, Б. Воронова и С. Нечетного (Париж). 1912 (июнь). № 1 (особенно с. 1, там же понятие «трудовая общественность»).

[10] Зензинов В. М. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 83 и след.

[11] Слетов С. Н. К истории возникновения партии социалистов-революционеров. Петроград, 1917. С. 59.

[12] Perrie M. The Social Composition and Structure of the Socialist-Revolutionary Party before 1917 // Soviet Studies. 1972. V.24. P.223—250; Hildermeier M. Op.cit. S. 281 ff.

[13] Леонов М. И. Численность и состав партии эсеров в 1905—1907 гг. // Политические партии России в период революции 1905—1907 гг. Количественный анализ. М., 1987. С. 54.

[14] Ср.: Леонов М. И. Указ. соч. — 43 %; Perrie M. Social Composition. P.245 — 45.6 %; Hildermeier M. Op.cit. S. 295 — 28 %.

[15] См. мои справки из сообщений местных комитетов в архиве ЦК ПСР: Hildermeier M. Op. cit. S. 215.

[16] Подтверждают мои выводы: Rice C. Op.cit. P. 177, 192; Bonnell V. E. Roots of Rebellion. Workers' Politics and Organizations in St.-Petersburg and Moscow. 1900—1914. P.167, 390 и след.

[17] Rice C. Op.cit. P.203.

[18] Чернов В. М. Войско и революция // Революционная Россия. 1903. № 21. 1 апреля. С.1.

[19] Это замечает также Райс, который, однако, позитивнее оценивает организационую работу ПСР: Rice C. Op.cit. P. 200.

[20] Суханов Н. Записки о революции. Берлин, 1923. Т. 6. С. 192.

[21] Ср. мои рассуждения о многочисленных оправданиях и мистификациях террористов, которые не были свободны от извращенных христианских мотивов.

[22] Elwood R. C. Russian Social Democracy in the Underground. A Study of the RSDRP in the Ukraine. 1907—1914. Assen, 1974; Service R. The Bolshevik Party in Revolution: A Study in Organisational Change, 1917—1923. London, 1979.

[23] Radkey O. H. The Sickle... P. 468.

[24] Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционизма к контрреволюции. М., 1975; Гинев В. Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества 1902—1904 гг. Л., 1983.

[25] Soviet Studies. 1964/65. V.26. P.68.

[26] Continuity in History and other Essays. Cambridge; Mass, 1968. P. 454.

[27] Ср. Merl S. Agrarreformen und nichtmarktwirtschaftliche Bedingungen — Agrarsektor und Industrialisierung in Russland und in der Sowjetunion // Toni Pierenkemper (Hg.) Landwirtshaft und industrielle Entwicklung. Zur ökonomischen

Bedeutung von Bauernbefreiung, Agrarreform und Agrarrevolution. Stuttgart, 1989. S. 175—209 (особенно S. 179); Löwe H.-D. Die Lage der Bauern in Russland 1880—1905: Wirtschaftliche und soziale Veränderunger in der ländlichen Gesellschaft des Zarenreiches. St. Katharinen, 1988.

[28] Ср. Могильницкий Б. Г. Альтернативность в истории советского общества // Вопросы истории. 1989. № 11. С. 1—16.

Д. А. Колесниченко

НАРОДНИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И КРЕСТЬЯНСТВО В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В НОВЕЙШЕЙ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В конце 70-х — 80-е гг. советская историография мелкобуржуазных партий России начала преодолевать негативистское и антиисторическое освещение истории этих партий, ориентированное в недавнем прошлом на «Краткий курс...». В качестве достижения отметим окончательно утвердившийся системный подход к исследованию непролетарских партий, как к сложному организму, отражающему объективно существующие интересы многочисленных слоев сельской и городской мелкой буржуазии, их требования и политические представления.

О. В. Волобуев, М. И. Леонов, А. И. Уткин и В. В. Шелохаев в своей коллективной статье[1] подчеркивают, что советской историографией был сделан значительный шаг вперед в понимании эволюции непролетарских партий. Авторы справедливо замечают также, что расширился круг источников изучения не только мелкобуржуазных партий, но и форм и методов борьбы с ними большевиков. Следует к этому добавить, что расширение источниковой базы дало возможность более определенно осветить проблему исторического места неонароднических партий и организаций в революционно-демократическом лагере, поставить проблему соотношения этих партий с их социальной базой — крестьянством. Назовем наиболее значительные работы этого периода. Это — обобщающая монография об эсерах К. В. Гусева; две монографии В. Н. Гинева — об эсерах и неонародничестве в целом, на широком отрезке времени; монография Н. Д. Ерофеева — о народных социалистах (энесах); А. Ф. Жукова — об эсерах-максималистах; Д. А. Колесниченко — о трудовиках; работы о партии эсеров М. И. Леонова.[2] Следует отметить ряд работ о мелкобуржуазных партиях в национальных районах и отдельных регионах: И. Ф. Кураса — на Украине, В. И. Солошенко — в Белоруссии, И. С. Капцуговича — на Урале, А. Л. Афанасьева и М. И. Казанцева — в Сибири, М. И. Леонова — в Поволжье и др.[3] Вышел также ряд обобщающих работ и сборников статей, вносящих значительный вклад в исследование мелкобуржуазных партий в период революции 1905—1907 гг.[4]

В то же время и сейчас в советской историографии мелкобуржуазных, неонароднических партий продолжают сосуществовать и взаимодействовать два подхода: историко-партийный — с одной стороны, и конкретно-исторический — с другой. Это не значит, что первый не имеет черт конкретно-исторического освещения, а второй — лишен первого хотя бы уже в силу того, что, тот и другой опираются на марксистско-ленинскую методологию классового и конкретно-исторического освещения истории партий и их политической деятельности. Взаимодействие и взаимообусловленность историко-партийного и конкретно-исторического подходов имели свои положительные результаты. Однако такая взаимообусловленность одновременно оказала и явно сдерживающее влияние на полноту и глубину исследования проблем, связанных с деятельностью неонароднических партий в массах. Повлияла она и на общую оценку партии эсеров, а также на изучение одного из важнейших вопросов — аграрной программы эсеров, их «социализации» земли, степени отражения в ней крестьянских интересов и требований.

В изучение аграрной программы эсеров безусловно внес большой вклад В. Н. Гинев, который проанализировал в названных выше монографиях аграрную программу эсеров в сопоставлении программно-теоретических и тактических установок, политической линии в аграрном вопросе трех направлений неонародничества — собственно эсеров, народных социалистов и эсеров-максималистов.

Как известно, важнейшими сторонами эсеровской аграрной программы были «социализация» земли, т. е. изъятие ее из-под частнособственнического права, и кооперация крестьянских хозяйств, что отражало представления эсеров об определенных этапах движения крестьянских хозяйств к социализму при сохранении в руках буржуазии власти и капиталистов в сфере промышленности.

Советские историки много преуспели в критике утопичности и реакционности эсеровского мелкобуржуазного кооперативного социализма, а также самой политики эсеров в области аграрного законодательства, приведшей их к отходу от собственной аграрной программы, сползанию на энесовские позиции во время деятельности Временного правительства. Но этот печальный финал, симптомы которого прослеживаются советскими исследователями с самого начала появления партии эсеров, на мой взгляд, не может заслонить того факта, что в период первой российской революции, как и на всем протяжении буржуазно-демократического этапа революции, эсеры выступали с аграрной программой, отражавшей интересы широких слоев крестьянства в борьбе с помещичьим землевладением и самодержавием.

Во всех работах по партии эсеров, вплоть до недавно вышедших трудов М. В. Спириной и Г. Д. Алексеевой,[5] систематизировавших и подвергших обстоятельной критике все элементы эсеровской концепции социализма, делается акцент на уто-

пичности и реакционности аграрной программы эсеров. Эсеровская аграрная программа при этом противопоставляется в нашей литературе большевистской, ленинской программе, как дававшей единственно верные ответы на вопросы о путях решения аграрной проблемы. Но при этом остается открытым вопрос, насколько конкретна и разработана была аграрная программа большевиков применительно к буржуазно-демократическому этапу революции, ее переходу к революции социалистической, вопрос о путях построения социализма в деревне.

По-моему, только В. И. Гинев заметил, что большевикам «предстояло еще продумать пути приобщения трудящегося крестьянства к социализму», что практически эти вопросы стали перед большевиками после Февраля и особенно после Октября 1917 г.[6]

Думается, однако, что не менее остро эти вопросы стояли уже и в период первой российской революции, единственной из трех революций в России, называемой В. И. Лениным «крестьянской». И здесь, как показывают исторические факты, социал-демократы отставали от эсеров в разработке аграрной программы и конкретных агитационных лозунгов, соответствующих развертывавшейся крестьянской революции.

Не говоря о той острейшей борьбе в партии по замене требования возвращения «отрезков» требованием «конфискации» всей помещичьей земли, вопрос о национализации, разделе или муниципализации земли был решен IV съездом РСДРП только в апреле 1906 г. в пользу меньшевистской муниципализации. Вопрос о пересмотре аграрной программы большевиков был поставлен в повестку дня только на Всероссийской партийной конференции в апреле 1917 г. Принятая по нему резолюция стала аграрной программой партии.[7]

Весьма спорно (и в период революции 1905—1907 гг. тоже) решался в аграрной программе большевиков важнейший для крестьян вопрос «кому и как отдать конфискованные земли». Эсеры отвечали на него «социализацией» земли: экспроприация всей помещичьей земли, превращение земли в общенародную собственность, бесплатная передача помещичьей земли крестьянам на началах уравнительного землепользования и другие меры. В сентябре 1905 г., разъясняя московскому окружному организатору А. В. Шестакову смысл резолюции III съезда РСДРП о поддержке социал-демократией крестьянского движения «вплоть до конфискации помещичьих... земель», В. И. Ленин дал ответ на поставленный вопрос, поскольку А. В. Шестаков выступил против перехода культурных помещичьих имений в руки крестьян.[8]

В защиту современно организованных помещичьих имений на Делегатском съезде Всероссийского крестьянского Союза (ВКС) в ноябре 1905 г. выступал и М. И. Васильев-Южин, а в мае 1907 г. — социал-демократический меньшевистский по составу Комитет социал-демократической фракции 2-й Думы в своем «Аграрном письме».[9]

11 Заказ № 3277

В. И. Ленин отвечал А. В. Шестакову, что большевики не затушевывают вопрос — кому и как отдать конфискованные земли, не обещают уравнительного раздела, «социализации» и т. п.[10] Но ничего конкретного по вопросу о судьбе конфискованных помещичьих земель В. И. Ленин не говорил. И это была принципиальная позиция большевиков. Чтобы в этом убедиться, приведу еще одно высказывание В. И. Ленина, относящееся к октябрю 1905 г., в статье «Социализм и крестьянство».[11]

Большевики поддерживали переход земли от помещиков к крестьянам, перераспределение земли между теми или иными разрядами собственников, классами хозяев — „в интересах победы демократии, в интересах полного вытравления следов крепостничества, повышения жизненного уровня массы, ускорения развития капитализма и т. д.». Но на вопрос о том, «как быть с конфискованными землями», Ленин отвечал, что «это вопрос второстепенный», при решении которого начнется борьба между пролетариатом и буржуазией в крестьянстве. «Вот почему,— писал В. И. Ленин,— мы либо оставляем этот вопрос открытым (что так не нравится мелкобуржуазным прожектерам), либо даем от себя лишь указание *начала* пути в виде отобрания отрезков...»[12]

Единственно реальным ответом большевики считали революционные крестьянские комитеты, способные совершить революцию в деревне силами самих крестьян. «Вместе с крестьянами-хозяевами против помещиков и помещичьего государства, вместе с городским пролетариатом против всей буржуазии и всех крестьян-хозяев. Вот лозунг сознательного деревенского пролетариата»,[13] — завершал эту статью В. И. Ленин.

Таким образом Ленин и большевики рисовали перспективы развертывания классовой борьбы в деревне, но конкретного решения земельного вопроса в аграрной программе большевиков все-таки не было. Она по существу не могла служить и не была альтернативой аграрной эсеровской программе «социализации».

Но это направление исследования аграрной программы политических партий применительно к 1905—1907 гг. в противопоставлении большевистского и мелкобуржуазного решений аграрной проблемы в нашей историографии пока не разработано. Лишь применительно к 1917 г. мы имеем ее постановку и развитие в монографии В. Н. Гинева «Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г.» (в главе IV «Программа и тактика большевиков в аграрном вопросе в 1917 г.»).

Представляет известный интерес и работа В. Г. Хороса.[14] Исходя из исторического материала и современного развития народнической или популистской идеологии, В. Г. Хорос рассматривает популизм как идеологический прием и метод, характерные для обществ, находившихся или находящихся на этапе сравнительно позднего («вторичного» или «третичного») развития капитализма, в которых капитализм внедряется в об-

ширные крестьянские массивы, традиционные докапиталистические структуры. Процесс «обуржуазивания» в этом случае, считает Хорос, вызывает весьма сложную и противоречивую идеологическую реакцию, в том числе и появление «немарксистского социализма» — обоснования «особого», некапиталистического развития через интеграцию в процессе модернизации традиционных коллективистских ценностей и институтов.

В таком подходе, как мы видим, присутствуют совершенно иные акценты, чем в упоминавшейся историографии, посвященной неонародническим партиям. Признавая исторически объективную почву для возникновения и оживления в России неонародничества, анализируя его идейно-теоретические и социально-экономические корни, в том числе его аграрную программу, советская историография сосредоточена главным образом на разоблачении несостоятельности, ошибочности, противоречивости, а потому и политической гибели и исчезновения с исторической сцены партий и организаций народнического направления.

В. Г. Хорос подходит к этому течению как к громадной полосе общественной мысли — с позиций вклада неонародничества в политическую борьбу. Сам факт создания народнических политических партий, которые отразили, по словам Ленина, «так или иначе интересы и точку зрения громадной массы русского народа»,[15] имел большое политическое значение. Эти партии предприняли попытку политической организации крестьянства. Они выдвинули программы, в которых был развернут и конкретизирован давний лозунг «Земля и воля», ставший «знаменем буржуазно-демократической революции в России».[16]

Обращаясь к проблеме «неонародничество и крестьянство», В. Г. Хорос справедливо подчеркивает, что «В. И. Ленин дал классическое определение народничества как идеологии „крестьянской демократии" — всего крестьянства в целом, а особенно его средних, наиболее крестьянских слоев».[17] Социалистические «прибавки» неонародников в их программе, считает Хорос, будучи иллюзией народников о социализме, вместе с тем в той или иной степени были эквивалентом настроений и чаяний народных масс. Они были небезразличны пролетариату.[18]

Если проверка народнического учения «движением масс» в 1905 г. показала историческое значение народнического демократизма в борьбе с либеральным и столыпинским решением аграрного вопроса, означавшим «прусский» путь развития капитализма, то 1917 г. выявил реальный смысл народнических «прибавок» к демократизму. Реализацией народническо-крестьянских наказов, указывал Ленин, был «создан фундамент, наиболее совершенный с точки зрения развития капитализма..., и в то же время создан земельный строй, *наиболее гибкий* в смысле перехода к социализму».[19]

В. Н. Гиневым оценка народнических «социалистических прибавок» дается противоположная. «Стремление крестьян к

уравнительному разделу,— пишет В. Н. Гинев,— проистекало из давних крестьянских иллюзий», которые «питались вполне реальной и еще неизжитой необходимостью покончить с остатками крепостничества... Эсеры, разделявшие, хотя и с оговорками, крестьянские иллюзии, своей пропагандой поддерживали и усиливали их. Но, конечно, отводить им роль бо́льшую, чем роль усилителя крестьянских иллюзий, не следует».[20]

Думается, что в оценке социально-классовой ориентированности как эсеровских иллюзий, так и самой их программы, необходимо вернуться к ленинским положениям, высказанным в 1906 г. при сравнении аграрных законопроектов «104-х» и «33-х» в I Думе, а именно, что эсеровский проект «33-х» это — утопия не оппортунистического, а революционного мелкого буржуа, не хозяйственного мужика, а разоренного мужика, не мечта нажиться от помещика, на счет пролетария, а мечта облагодетельствовать всех, и пролетариев в том числе, посредством поравнения».[21]

В современной советской историографии конца 70-х в — 80-е гг. также решаются вопросы взаимодействия эсеров, энесов и Трудовой группы с крестьянскими массами, ориентации этих партийных образований на определенные социальные слои крестьянства. Так, образование партии энесов в 1906 г. рассматривается в работах этого периода в связи с процессом становления и более четкого оформления интересов и физиономии зажиточного слоя крестьянства — «хозяйственных мужиков». Этот процесс подтверждает мысль Ленина о том, что «настоящие стремления крестьянства» таят в себе не идею «социализации», а новую классовую борьбу между крестьянской буржуазией и сельским пролетариатом».[22]

Но если в оценке социально-классовой природы партии энесов как выражения интересов зажиточной части крестьянства и оформляющихся устремлений крестьянской буржуазии мнения историков сходятся, то в понимании классовой базы эсеров имеются неясности и расхождения. В трактовке этого вопроса заметно противоречие в признании, с одной стороны, что аграрная программа эсеров, хотя и непоследовательно, но в основном своем требовании (передача всей земли в «общенародное достояние») была «прогрессивна и революционна», что она была отражением стремлений наиболее радикальной буржуазии — революционного мелкого буржуа, что «эсеры в какой-то степени представляли массы трудящегося и эксплуатируемого населения России»,[23] с другой — утверждения, что эсеры не имели и не могли иметь сколько-нибудь прочной классовой базы.[24] Еще большее противоречие видно в соотнесении народнических партий и организаций с более определенными крестьянскими слоями. Так, опять-таки, с одной стороны, утверждается, что эсеры, «в силу своей мелкобуржуазной классовой природы», выразили точку зрения деревенской и городской мелкой буржуазии,[25] с другой — „именно трудовики, а не эсеры наиболее

полно выражали интересы и чаяния мелкобуржуазного крестьянства», в то время как аграрная программа эсеров «выражала в конечном счете не интересы „трудового" народа, а интересы зажиточной верхушки села — кулачества».[26] В таком случае что же означает наиболее полное выражение «интересов мелкобуржуазного крестьянства»?

Представляется более правомерным, что классовая база эсеров — крестьянство — сама несла в себе двойственность и борьбу мелкособственнических, оппортунистических и обще-крестьянских, революционно-демократических тенденций, что неонародническая идеология в целом отражала интересы мелкобуржуазного крестьянства, стремящегося к «уничтожению крепостнических латифундий и к созданию свободного (насколько возможно при данных условиях) зажиточного земледельческого крестьянства».[27]

Значительно меньше сделано в рассмотрении организаторской деятельности неонароднических партий в крестьянстве. (Здесь можно, пожалуй, отметить статьи М. И. Леонова об эсерах в Поволжье:[28] автор по-новому подошел к оценке реального вклада эсеров в процесс политической организации крестьянства, решавшегося до последнего времени в основном отрицательно). В. Н. Гинев сам признается, что дать более или менее полную картину о работе эсеров в крестьянстве не представляется возможным. В целом автор оценивает воздействие неонародничества на крестьянство в период революции 1905—1907 гг. как противоречивое и неоднозначное. Что же касается предреволюционного периода, то Гиневым произведена в сущности подмена понятия «работа в крестьянстве» другой проблемой — „шла ли борьба крестьян по намеченному эсерами пути, или нет?» Поставив так вопрос, Гинев отрицательно оценивает деятельность эсеров среди крестьян этого периода, хотя сам же говорит о значительности брошенных эсерами сил на работу в деревню и широком потоке агитационной литературы антисамодержавного и антипомещичьего содержания, распространяемой эсерами. Английская исследовательница М. Перри, опиравшаяся на те же, что и В. Н. Гинев, источники и отнюдь не принадлежащая к числу апологетов партии эсеров, в работе «Аграрная политика партии русских социалистов-революционеров от ее возникновения до революции 1905—1907 гг.»,[29] на мой взгляд, более адекватно оценила работу эсеров среди крестьян накануне революции, показав, что эсеры не только распространяли литературу, непосредственно работали среди крестьян, находили отклики среди передовых, образованных, в том числе и зажиточных слоев крестьянства, среди сельской интеллигенции, но и решили ряд практических задач по дальнейшей организации революционной агитационно-массовой работы среди крестьян.

Как я уже отмечала, из последних работ, посвященных проблеме неонародничества и крестьянства в период революции

1905—1907 гг., выделяются статьи М. И. Леонова, содержащие конкретные данные о времени оформления, численности и составе организаций эсеров в Нижнегородской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Астраханской губерниях. Здесь же автор подробно прослеживает революционную деятельность эсеров региона в крестьянском движении на протяжении всей революции. Приводя таблицу состава организаций эсеров по губерниям, М. И. Леонов делает вывод о том, что в целом в Поволжье в эсеровских организациях крестьянство составляло большинство. Удалось эсерам Поволжья более верно, чем в других регионах, решить и проблему взаимодействия с Всероссийским Крестьянским Союзом (ВКС). Влияние эсеров в организациях последнего в Поволжье было во второй половине 1905 г. значительным, эсеры стояли у истоков этих организаций.

Тезис о развитии эсеров в направлении становления массовой крестьянской партией получил реальное подтверждение лишь в последнее время — с выходом статьи М. И. Леонова «Численность и состав партии социалистов-революционеров в 1905—1907 гг.». Так, если в последней из обобщающих работ — „Исторический опыт трех российских революций» — о численности партии эсеров говорится, что по завышенным данным ЦК партии эсеров она насчитывала к концу 1906 г. около 50 тыс. человек,[30] то в работе М. И. Леонова сказано, что в конце 1906 — начале 1907 г. в партии эсеров насчитывалось несколько более 65 тыс., при этом существовали не единицы «крестьянских братств», а 1555, объединявших более 23 тыс. крестьян.[31]

Пестрый социальный состав эсеровских организаций, затушевывающий их мелкобуржуазность, вместе с тем не может заслонить выявленного М. И. Леоновым факта — значительного числа в составе организаций эсеров всех уровней не интеллигенции (это характерно только для руководства партии, ее ЦК), а рабочих и крестьян. Причем в низовых организациях — «братствах» — крестьяне составляли большинство. Тем самым документальное подтверждение приобретает определенно высказанный, как итог нашей историографии, вывод главы монографии «Генеральная репетиция Октября» о том, что эсеры отчасти преодолели характерную для них раньше интеллигентскую оторванность от крестьянских масс и сумели создать себе опору в деревне, что они привлекли к себе в период революции 1905—1907 гг. часть крестьян главным образом своей демократической аграрной программой.[32] Тем самым подтверждается и другой очень важный вывод этой монографии относительно аграрной программы эсеров: «...несмотря на свою ограниченность и ошибочное рассмотрение ее самими эсерами как „столбовой путь" к социализму, эта программа... в общем и целом была направлена против остатков средневековья в деревне и отвечала поэтому интересам значительной массы мелкого и среднего крестьянства».[33]

Следовательно, социальная ориентированность эсеровской аграрной программы и самой деятельности эсеров была вовсе не на кулацкие или зажиточные слои деревни, как это утверждалось в советской историографии 30—40-х гг., а на широкие слои деревни, в том числе и ее подавляющую часть в лице бедного и среднего крестьянства.

Таковы некоторые положительные итоги исследования проблем неонародничества в новейшей советской историографии. В то же время следует сказать, что поворот к реальной, объективно-исторической оценке вклада неонародничества в развитие крестьянской борьбы идет очень медленно, преобладают подходы к решению этих проблем с точки зрения обоснования закономерностей их политического банкротства и гибели. Думается, что качественно новый этап в оценке и освещении реального вклада партий и организаций неонародничества или «трудовического» политического течения в годы трех революций в России еще не наступил.

[1] Волобуев О. В., Леонов М. И., Уткин А. И., Шелохаев В. В. История политических партий периода первой российской революции в новейшей советской историографии // Вопросы истории. 1985. № 7.

[2] Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции (Исторический очерк). М., 1975; Гинев В. Н. 1). Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. (К истории банкротства народничества). Л., 1977; 2) Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902—1914 гг. Л., 1983; Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979; Жуков А. Ф. Идейно-политический крах эсеровского максимализма. Л., 1979; Колесниченко Д. А. Трудовики в период первой российской революции. М., 1985; Леонов М. И. 1) Левое народничество в начале пролетарского этапа освободительного движения в России: Учеб. пособие, Куйбышев, 1987; 2) Численность и состав партии эсеров в 1905—1907 гг. // Политические партии России в период революции 1905—1907 гг. Количественный анализ: Сб. статей. М., 1987; 3) Партия эсеров в 1905—1907 гг. Организационная структура, состав и численность // Непролетарские партии России в трех революциях: Сб. статей. М., 1989.

[3] Курас И. Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. Киев, 1978; Солошенко В. И. Большевики в борьбе с мелкобуржуазными партиями в Белоруссии (1903—март 1917 г.). Минск, 1981; Капцугович И. С. История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975; Афанасьев А. Л. 1) Деятельность эсеров в Восточной Сибири в период революции 1905—1907 гг. // Классы и партии Сибири накануне и в период Великой Октябрьской социалистической революции. Томск, 1977; 2) Эсеровские организации Сибири в период революции 1905—1907 гг. (численность, состав, размещение) // Непролетарские партии России в трех революциях; Казанцев М. И. Эсеры и революционная агитация в сибирской деревне в 1905—1907 гг. // Из истории социально-экономической жизни Сибири. Томск, 1976; Леонов М. И. Эсеры и крестьянство Поволжья в революции 1905—1907 гг. // Классовая борьба в Поволжье в 1905—1907 гг.: Сб. статей, Куйбышев, 1985. С. 50—68.

[4] Непролетарские партии в России: Урок истории, М., 1984; Политические партии России в период революции 1905—1907 гг.; Политические партии в России в трех революциях. Сб. статей. М., 1989. В последнем сборнике помещена коллективная статья «Непролетарские партии России: итоги изучения и нерешенные проблемы», в которой приводятся сведения о сборниках статей по результатам научных симпозиумов в г. Калинине и других городах.

[5] Спирина М. В. Крах мелкобуржуазной концепции социализма эсеров. М., 1987; Алексеева Г. Д. Крах эсеровской концепции Октябрьской революции. М., 1989.
[6] Гинев В. Н. Борьба за крестьянство... С. 328.
[7] Гинев В. Н. Аграрный вопрос... С. 185.
[8] ЛенинВ. И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 216.
[9] ЦГАОР СССР. Ф. 1741 (Колл. нелег. изд.). Оп. 1. Д. 7845.
[10] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 222—223.
[11] Там же. С. 282—291.
[12] Там же. С. 289—290.
[13] Там же. С. 291.
[14] Хорос В. Г. Идейные течения народнического типа в развивающихся странах. М., 1980.
[15] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 209.
[16] Хорос В. Г. Указ. соч. С. 45.
[17] Там же. См. также: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 207—208.
[18] Хорос В. Г. Указ. соч. С. 52.
[19] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 326.
[20] ГиневВ. Н. Аграрный вопрос... С. 191.
[21] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 287—288.
[22] Там же. Т. 11. С. 3—4.
[23] Леванов Б. В. Из истории борьбы большевистской партии против эсеров. 1903—1917 гг. Л., 1978. С. 78—79, 83, 165.
[24] Там же. С. 158.
[25] Там же. С. 160, 163.
[26] Там же. С. 160, 170.
[27] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 210—212.
[28] Леонов М. И. 1) Эсеры и крестьянство Поволжья...; 2) Деятельность эсеров в деревне на рубеже XIX—XX вв.//Крестьянское движение в трех русских революциях: Сб. статей. Куйбышев, 1983. С. 29—39.
[29] Maureen Perrie. The agrarian policy of the Russian Socialist-Revolutionary Parti from its origins through the Revolution of 1905—1907. G.; L.; NJ.; M., 1976.
[30] Исторический опыт трех российских революций. Т. 1: Генеральная репетиция Октября. М., 1985. С. 252.
[31] Леонов М. И. Партия эсеров... С. 134—136.
[32] Исторический опыт трех российских революций. Т. 1. С. 253.
[33] Там же.

Н. Г. Думова, К. Ф. Шацилло

ЛИБЕРАЛЫ И РЕВОЛЮЦИЯ (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА)

1. Для российского либерализма XIX в. были характерны отход от контактов с революционным движением и уверенность, что ожидаемые реформы могут быть получены только из рук самодержавия. Окрик Николая II: «Оставьте бессмысленные мечтания» убедил либералов в необходимости активизировать свою борьбу, организовать «общественное мнение», под давлением которого царь вынужден будет пойти на просимые уступки. В том же 1895 г. за границей были изданы первые либеральные брошюры, а в 1896 г. за подписью С. Мирного (Д. И. Шаховского) в Женеве была издана книга «Адреса земств 1894—1895 гг. и их политические программы». Вскоре наиболее активные земские либералы организовали в

России узко замкнутый аристократический нелегальный кружок «Беседа» (1899—1905 гг.), выступавший за всемерное развитие местного самоуправления, притесняемого петербургскими бюрократами. Членами его были 54 человека, позже разбредшиеся по всем партиям, от крайне правых до кадетов.

Это был максимум, до которого смог дойти либерализм в XIX в.

2. Нарастание социально-политической напряженности в стране повело к дальнейшей радикализации земского либерализма, образованию из наиболее активных его членов — легальных марксистов, экономистов и бывших членов партии «Народное право» нового либерализма. В 1900 г. либералы решили издавать за границей регулярный нелегальный журнал, редактировать который пригласили П. Б. Струве. 1 июня 1902 г. вышел первый номер «Освобождения». На его страницах начали вырабатываться новая либеральная программа и тактика, отличавшиеся от земского либерализма несравненно большей радикальностью. Вокруг «Освобождения» в различных городах формировались нелегальные либеральные организации, главной движущей силой в которых в результате подавляющего численного преобладания стала демократическая интеллигенция.

Оформившийся в начале 1904 г. «Союз освобождения» применил и новую тактику во взаимоотношении с революционерами: вместо открытых врагов, как это было в XIX в., в них стали видеть временных союзников. Это проявилось в участии либералов в Париже в сентябре — октябре 1904 г. в совместном совещании с некоторыми революционными партиями, в применении «захватного права» (банкетная кампания осенью 1904 г.), в образовании профессионально-политических союзов накануне 1905 г.

3. В это же время на страницах «Освобождения» замелькало и слово «революция», понимаемое, впрочем, П. Б. Струве весьма своеобразно: «Только культурная работа, „легальные", „неполитические" формы могут создать достаточно прочный и достаточно широкий базис для такого движения рабочего класса, которое заслужило бы название революционного» («Освобождение». 1904. № 63. С. 221).

Начало первой народной революции в России толкнуло либералов еще дальше влево. Начался процесс «розовения» и «покраснения» либералов, которые решили «оседлать» революцию, чтобы не дать ей превратиться в якобинскую диктатуру, а «сделать» революцию по типу 1848 г. Суть этого процесса П. Милюков определил словами: надо «взять революцию в руки, канализировать ее» («Современные записки». Париж, 1930. Т. 41. С. 369), т. е. направить революционную энергию народа на завоевание только тех целей, которые соответствовали интересам либералов.

4. К концу 1905 г. революция достигла своего пика. Царь вынужден был издать Манифест 17 октября 1905 г. Правое крыло либералов вполне удовлетворилось данными обещаниями, образовало «Союз 17 октября» в поддержку «исторической вла-

сти» и активно выступило против революции. Более сложные процессы происходили в левом крыле — в «конституционно-демократической партии». Член ее ЦК П. Б. Струве в декабре 1905 г. стал издавать журнал «Полярная звезда», в котором четко проявилась тенденция к отходу от революции. С победой на выборах в I Государственную думу этот процесс усилился еще резче, ибо часть кадетов уверовала в то, что революционное потрясение окончено, наступило время мирного парламентарного реформирования страны.

5. Проявившееся бессилие двух Дум в борьбе с бюрократией и наступление реакции после 3 июня 1907 г. еще резче разделили левое крыло либерализма. Часть кадетов выпустила сборник «Вехи» (1909), резко осуждавший интеллигенцию — главную «виновницу», по мнению авторов, происшедших революционных событий. Однако ЦК кадетской партии официально осудил «Вехи», и семь других авторов-кадетов ответили на них контр-сборником «Интеллигенция в России» (1910), в котором писали о неизбежности нового революционного подъема и правомерности расчетов на союз с ним.

6. Провал столыпинской политики «успокоения и реформ» вызвал не только новый революционный подъем, но и рост либеральной оппозиционности. Даже октябристы заговорили об обреченности проводимой самодержавием политики. Еще активнее повели себя в Думе и прессе кадеты. В 1912 г. образовалась новая либеральная партия прогрессистов, в состав которой вошли по преимуществу представители торгово-промышленного мира. Накал либеральной оппозиционности вновь значительно возрос. Это проявилось как в устных и печатных выступлениях, так и в согласии прогрессистов, в частности, финансировать VI съезд РСДРП, намечавшийся на вторую половину 1914 г.

7. Начало первой мировой войны отмечено новым зигзагом в отношении либералов к революции. На однодневной сессии Думы 26 июля 1914 г. была провозглашена тактика «внутреннего мира». От имени кадетской партии П. Н. Милюков заявил о полной готовности поддерживать правительство в борьбе с врагом: «В этой борьбе мы все заодно; мы не ставим условий и требований». Либеральная пресса развернула энергичную кампанию, пропагандируя идею внутреннего мира.

8. Военные неудачи царского правительства, значительное ухудшение экономического положения России вызвали новое обострение политической борьбы в стране. Либеральный лагерь не был в этой борьбе единым, и водораздел проходил как раз по линии отношения к революции. Однако разногласия не носили стратегического характера. Конечная цель для всего либерального фронта была бесспорной — создание конституционного государства. Расхождения концентрировались в тактической плоскости. Октябристы и преобладающая часть кадетов возлагали главные надежды на достижение этой цели путем парламентской борьбы через образованное в рамках Думы межпар-

тийное объединение — Прогрессивный блок. Блок ставил перед собой двоякую задачу: с одной стороны, организовать оппозиционные силы для давления на правительство в стремлении к реформам; с другой — предотвратить революционный взрыв внизу. Прогрессисты и левые кадеты занимали иную позицию: они считали необходимым использовать революционное движение масс в качестве рычага для достижения поставленной цели и потому выступали за сотрудничество с социалистическими партиями (прежде всего с меньшевиками), хотя и не разделяли их идеологических устремлений.

9. После Февральской революции на политической арене продолжала действовать лишь одна из либеральных партий — кадетская. Ее политику в 1917 г. в советской литературе принято определять как контрреволюционную. Однако победу Февраля как замену самодержавного режима демократическим кадеты приветствовали. Они выступали противниками перерастания буржуазной революции в социалистическую, всеми силами противодействовали углублению и расширению революционных процессов в стране.

По основным проблемам, мучительно волновавшим народы России в 1917 г.,— проблемам земли и мира — кадеты занимали позицию, которая в корне расходилась с настроениями широких масс. Такая позиция обусловила поражение их как правящей партии в момент апрельского кризиса. Первые после Февраля выборы (в городские думы в мае — июне 1917 г.) показали, что кадетская партия не сможет влиять на развитие событий в стране демократическим путем.

10. В органах печати, на митингах кадеты вели широкую пропаганду против социалистической идеологии, против марксистской теории. Кадетские министры в коалиционных составах Временного правительства упорно сопротивлялись перспективе социалистических преобразований в стране. Убеждение в том, что страна катится в пропасть — к хаосу и анархии,— заставило кадетов требовать сильной власти, способной справиться с дальнейшим развитием революции, с ростом Советов и большевистского влияния в них. В начале июля кадеты возлагали большие надежды на Керенского, возглавившего Временное правительство. Разочаровавшись в способности Керенского затормозить революционный прогресс, кадетское руководство в лице П. Н. Милюкова, Ф. Ф. Кокошкина и большинства членов ЦК сделало последнюю ставку на военную акцию генерала Корнилова и тем самым дало основание обвинить кадетскую партию в том, что она является главной контрреволюционной политической организацией.

11. В момент Октябрьского вооруженного восстания кадетские министры Н. М. Кишкин, А. И. Коновалов (один из лидеров прогрессистов, вступивший в июле 1917 г. в кадетскую партию) оказались во главе Временного правительства и безуспешно пытались организовать сопротивление большевикам. Ка-

детская партия, на всем протяжении 1917 г. упорно боровшаяся против большевиков, против Ленина, встретила Октябрьскую революцию враждебно, восприняла ее как незаконный переворот.

12. «После падения Временного правительства,— писал впоследствии Милюков,— партия, конечно, не думала складывать рук. С полной решимостью она стала на сторону начавшейся борьбы». Поскольку кадетская партия в 1917 г. являлась главной в России политической организацией несоциалистической ориентации или, по ленинскому определению, «главной партией российской буржуазии», именно на нее обрушились первые репрессии Советской власти, связанные с начальными вспышками гражданской войны, с «бойкотом чиновников«. На заседании Совнаркома 28 ноября 1917 г. был утвержден написанный Лениным проект декрета об аресте вождей гражданской войны против революции, объявлявший кадетскую партию как организацию контрреволюционного мятежа, «партией врагов народа».

13. Сразу же после Октября началось образование подпольных антисоветских организаций, руководящую роль в которых играли кадеты: так называемая девятка (ноябрь 1917 г.). Правый и Левый центры (март 1918 г.). В июне 1918 г. был создан Национальный центр, который стал боевым штабом кадетской партии в годы гражданской войны. Он сосредоточил в своих руках управление подпольной деятельностью ее членов, контакты с белой армией и представителями Антанты. Национальный центр стремился стать ядром общего фронта контрреволюционных сил внутри страны и, по определению одного из ведущих кадетских идеологов гражданской войны Н. В. Устрялова, «возглавлял и одухотворял до последнего момента все антибольшевистское вооруженное движение». Однако белые армии не могли сражаться против Советской власти без помощи иностранных штыков. Выступление кадетов в одном строю с интервентами было воспринято народными массами не только как борьба против Октябрьской революции, но и как борьба против Родины, против России. Это явилось одним из важнейших факторов крушения белых режимов, идеологом которых являлась кадетская партия.

Л. Энгельштейн (США)

«ПОЛОВОЙ ВОПРОС» И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1905 г.

Непосредственно после революции 1905 г. русские авторы, независимо от их политической окраски, выражали беспокойство в связи с тем, что интеллигенция забыла о высоком служении общественным идеалам в погоне за личными удовольствиями.[1] В то же время определенные профессиональные круги

использовали «половой вопрос» для разработки серьезных проблем,[2] стремясь сформулировать гражданскую альтернативу старому патриархальному образу жизни с его абсолютистскими политическими структурами и построить регулируемое в рамках общественного и корпоративного самоуправления общество ответственных граждан. В новых политических условиях России после революции 1905 г. эти профессиональные круги видели в решении «полового вопроса» способ добиться, опираясь на свои знания и опыт, увеличения их роли в обществе. «Половой вопрос» им представлялся поводом, а не препятствием для обсуждения широких общественных проблем. Политическое значение «полового вопроса» в дискуссиях профессиональной интеллигенции составляет тему этой статьи.

Начиная с 1860-х годов врачи, педагоги, юристы, социологи, а позднее и психиатры, боролись за признание своего профессионального статуса[3] и одновременно выносили на широкое обсуждение в печати и на профессиональных съездах общественные вопросы, связанные с половой проблематикой,— такие как проституция и венерические заболевания, вопросы семьи и воспроизводства населения, юриспруденции и пенитенциарной системы в связи с сексуальными преступлениями и извращениями, половое и нравственное воспитание.[4] 1890-е гг. отмечены углублением интереса общества к данным вопросам, обостренное внимание к ним совпадает по времени с политической активизацией образованных классов.

После 1905 г. эти темы, всегда чреватые определенными политическими обертонами, становятся открыто политическими. Профессиональная интеллигенция выражает возрастающее беспокойство в связи с изменяющимся характером классовых взаимоотношений в стране. Речь шла не только об угрозе беспорядков в среде низших классов, но также и о неустойчивости поведения самой элиты. Комментируя революционный конфликт, врачи и педагоги, с одной стороны, подчеркивали роль учащейся молодежи, которая, с их точки зрения, оказалась вовлечена в революцию силой подавленной прежде эротической энергии. С другой стороны, они считали, что половые излишества, связи с проститутками и мастурбация отвлекают юношей от социально ответственной деятельности и тем угрожают общественному благу.

В отношении же низших классов специалисты, напротив, сосредоточили свое внимание на сексуальных отклонениях от принятого стандарта в женской среде. Как им казалось, среди пролетариев главная проблема заключалась в том, что женщины уходили из дома и превращали свои половые ресурсы в предмет купли-продажи. Сама по себе проституция давно уже была предметом общественного и профессионального внимания, но сейчас центральное место отводится социальной преступности девочек-подростков. Массовое бегство девочек на улицу вопреки родительскому авторитету, в глазах наблюдателей, свидетельст-

вовало о развале пролетарской семьи и упадке общественных устоев. Во взгляде специалистов на так называемую «детскую проституцию» отразилось их неоднозначное восприятие угрозы низшим классам. С одной стороны, девочки-проститутки изображались совершеннейшими жертвами: невинными девственницами, соблазненными либо безжалостными торговцами человеческим телом, либо распутными сводням. В этом аспекте девочки-проститутки символизировали податливость рабочего класса к политическому манипулированию. С другой стороны, эти жертвы были агрессивны, курили, сквернословили, рано созревали и сами соблазняли других. Они обнаруживали определенные способности, наличие которых не предполагалось вообще в юных созданиях. Некоторую аналогию этому находили в том, что рабочие также неожиданно продемонстрировали способность заниматься целенаправленной политической деятельностью во имя поставленных ими целей.

Интерес к проблеме мужской сексуальности восходит еще к XVIII в., когда русская публика стала читать классические трактаты по педагогике и сексуальной гигиене. Начиная с 1860-х гг. много внимания сексуальной практике уделялось в военных училищах. Однако приблизительно с 1900 г. исследования по нравственности в учебных заведениях приобрели более выраженную политическую направленность. Используя этот научный материал как своеобразную метафору политического строя в целом, врачи предостерегали против губительных последствий грубого насилия. Недостаток свободы, подчеркивали они, способствует либо покорности, либо бунту. Вопреки всем намерениям консерваторов, репрессивный режим воспитания порождал в ответ опасный дух сопротивления. К примеру, в 1901 г. петербургский врач Александр Виренинус описывал причины «половой распущенности в школьном возрасте» на языке политической аллегории и приходил к выводу: «...телесное и нравственное угнетение учащихся вызывает в них потребность ко всякого рода возбуждениям, к искусственному подъему пониженной жизнедеятельности».[5]

Навязанная администраторами и политическими деятелями система противоречила, по наблюдениям Вирениуса, физической и душевной конституции учеников, которая в свою очередь оказывалась силой куда более могущественной, нежели стеснявшие ее условные ограничения. Если допустить, что социальный порядок зависит в конечном итоге от биологических факторов, врачи могли бы составить серьезную и влиятельную силу в обществе.

Вирениус и в самом деле не только диагнозировал болезнь тогдашнего строя, но выписал несколько рецептов для установления более подходящего, с медицинской точки зрения, режима и для подготовки более здоровых граждан. Взамен автократического режима в классах, Вирениус рекомендовал не столь строгую систему, с большей долей свободного времени

и не столь жестким наблюдением за учениками, что должно было содействовать пробуждению у них «самодеятельности и творчества», а также способствовало бы «естественному ходу развития ума и тела».[6] Верениус предлагал в миниатюре систему, которая бы допускала для подчиненных возможность свободного самовыражения и проявления личных особенностей, а не диктовала бы казенное однообразие. Между тем, с его точки зрения, существовавшая система в моральном и физическом отношении подталкивала школьников к «распущенности», воспитывая в детях скрытность, и способствовала накоплению фрустраций.[7] В свою очередь подростки пытались смягчить эти эмоциональные состояния путем мастурбации. Подобная ослабляющая, по оценке Верениуса и большинства его коллег, привычка вырабатывала у них антиобщественные настроения. Истощая телесную энергию и воспитывая вкус к самоудовлетворению, мастурбация подтачивает самые основы существования общества. Врач, предотвращая мастурбацию, может улучшить тонус общественной жизни.

Среди врачей многие подчеркивали социальные последствия сексуальных заболеваний. Здоровое политическое тело зависит от физического здоровья его членов, думали они. Как писал Людвиг Якобзон в самый разгар революции 1905 г., «пробудившейся после долгой спячки России нужны для ее животворной работы свежие, бодрые, здоровые люди, а не сифилизованная и трипперизованная молодежь!»[8] Многие считали, что дурное поведение содействует накоплению биологического ущерба. Подобные аргументы приводили как врачи, так и деятели женского движения, подкрепляя ими свои призывы к нравственной реформе. «Мы знаем, что громадное большинство нашей учащейся молодежи нервно, худосочно, болезненно и страдает разными душевными ненормальностями. Ранняя половая жизнь тут играет громадную роль,— писала в 1912 г. деятельница женского движения и народного здравоохранения Мария Покровская.— И в каких зверей и нравственных уродов нередко превращается эта молодежь в более зрелом возрасте!»[9] С ее точки зрения, женское равноправие и единый моральный стандарт в плане половых отношений могли подготовить биологические условия для нравственного и политического обновления общества.

Верениус, должно быть, ощутил правоту своих предсказаний, когда разразилась революция и старорежимная дисциплина оказалась совершенно неэффективна. Тлеющие искры восстания, которые он разглядел под покровом законопослушания еще в 1901 г., вспыхнули впервые в 1905 г., когда школьники били окна, строили баррикады или просто, воспользовавшись общим беспорядком, слонялись по улицам. Описывая эти события, один из деятелей народного образования С. Золотарев прибегал к языку, который лишь усиливал политическое значение поднятых вопросов. При первой же возможности, подчеркивал он,

«все, что порождается скукой, бездельем, тупостью, злостью и что сдерживалось долго в известных пределах капральской палкой,— все вырвалось наружу, и школьные шалости, как преступники, выпущенные из тюрьмы вследствие землетрясения или пожара, разбегаются во все стороны и наполняют все ужасом».[10] Найти решение, чтобы снять недовольство учеников и соответственно справиться с беспорядками, вызванными этим недовольством, можно не наказаниями, а политическими реформами, заключал он.

По мнению подобных наблюдателей, революция в такой же степени была противодействием молодежи управлению старших, как и реакцией общества против государственного насилия. Вот как в 1906 г. объяснял происшедшее журналист-философ Василий Розанов: «Революция почти вся делается молодежью, делается и в поэтической, и даже в физической ее части,— и ее можно определить просто в двух словах: Молодость пришла».[11] Речь, однако, шла не обо всей молодежи. Научная литература по половой проблеме в школе подчеркивала, что самоудовлетворение с последующими физическими и психологическими отклонениями возникало вследствие классовых привилегий. Некоторые ученые заходили даже так далеко, что утверждали, будто простой народ вовсе не занимается мастурбацией. И даже если большинство врачей соглашались с тем, что мастурбация распространилась повсеместно, они тем не менее объясняли ее происхождение в социологических терминах: мастурбация либо результат невежества и материальных лишений в среде беднейших классов, либо продукт индивидуальных слабостей и роскоши среди привилегированных слоев общества. Отсюда следовало, что в широких массах исправить положение можно лишь путем просвещения. В среде элиты остановить распространение мастурбации способна лишь индивидуальная самодисциплина. Таким образом, научное воспитание — в школе и семье — считалось ключом к нравственной добродетели образованного класса.[12]

В послереволюционный период, когда многие образованные люди в России утратили веру в политические идеологии, профессионалы стали искать в научной истине своего рода якорь, чтобы удержать коллективные ценности перед лицом катастрофических перемен. Как писал в 1908 г. психиатр Александр Бернштейн, наука — это противоядие от патологической субъективности. Половое воспитание — это «светлая лаборатория», где будут рассеяны облака окольных разговоров, которые царят в клубах, школьных классах и дортуарах.[13] С его точки зрения, таинственность создавала естественный контекст для недозволенных наслаждений, наука же — контекст социальной ответственности, отраженной в воспроизводстве. Ему вторил в 1910 г. знаменитый психиатр Владимир Бехтерев, призывавший науку создать рациональные ориентиры в эпоху, когда «ни религиозные, ни нравственные нормы не удерживают половые стремле-

ния в тех рамках, которые соответствуют человеческому благосостоянию».[14]

Чтобы собрать научные данные по моральному состоянию университетской молодежи, Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова провело четыре опроса на половые темы в университетской среде в Харькове (1902 г.), Москве (1903 г.), Юрьеве (1904 г.) и Томске (1907 г.).[15] Опросы показывали, что политическая ангажированность отвлекала молодых людей от половой жизни, сокращала частотность незаконных связей и понижала уровень венерических заболеваний. Сотрудничество с женщинами приучало студентов уважать их, а социалистические лидеры призывали забыть о собственных удовольствиях перед лицом общественных нужд.[16] И лишь когда массовое движение пошло на убыль, юношество оставило высокие идеалы в поисках чувственных наслаждений,— свидетельствовали авторы опроса. Утратив связь с благородным и дисциплинирующим рабочим движением, студенты и интеллигенты, как говорилось в опросе, обратились к эротическому самоудовлетворению, что, как предполагалось, было типично для привилегированного класса.[17]

Однако наряду с устойчивыми стереотипами народной добродетели после 1905 г. возник также новый, куда менее идеализированный образ половой жизни в среде угнетенных классов. В центре кризиса, затронувшего одновременно и нормативы полового существования, и общественный порядок, оказался образ девочки-проститутки. Растущая озабоченность детской проституцией отражала не только прогрессирующее влияние современной криминалистической и медицинской мысли о проституции как выражении патологической наследственности, но также и воздействие тогдашней западной пропаганды о так называемых «белых рабынях». По примеру Великобритании, русские основали в 1900 г. свое собственное Общество защиты женщин. Общество успешно агитировало за принятие законодательства против проституции — такого законодательства, которое бы особо строго карало эксплуатацию несовершеннолетних.[18] Общество также провело в Петербурге в 1910 г. съезд по борьбе с торгом женщинами, на котором присутствовали видные общественные деятели и известные попечители благотворительности, а также врачи и борцы за женское равноправие. На съезде в центре внимания оказался вопрос о проституции несовершеннолетних.[19] В частности, съезд 1910 г. резко осудил установленную государством систему врачебно-полицейского надзора, введенную в России в 1840-х гг.[20]

Ораторы на съезде настаивали на том, чтобы не административная власть, но общественные силы взяли на себя ответственность за предотвращение половых преступлений и венерических заболеваний. Съезд 1910 г. отличался от съезда по обсуждению мер против сифилиса в России, проведенного в Петербурге в 1897 г. под эгидой министерства внутренних дел, в котором приняли участие только врачи (почти все были

мужчины).[21] Представители земской медицины обличали регистрацию проституток как пример нарушения гражданских прав и бюрократическую узурпацию прерогатив, принадлежащих врачам. Однако большинство съезда в 1897 г. не сумело безоговорочно заклеймить существовавшую систему регистрации, как того удалось добиться на съезде 1910 г.[22]

К 1910 г. моральное влияние феминистского движения серьезно выросло, а влияние земской медицины упало. На съезде по борьбе с проституцией врачи оказались в явном меньшинстве, а число земских врачей среди них и вовсе было не велико. Напротив, число делегатов-женщин, многие из которых активно участвовали в женском движении, превышало число мужчин на съезде в 2 раза. Результаты съезда 1910 г., таким образом, свидетельствуют не о победе группы земских врачей в профессиональном мире, но, скорее, отражают общественное стремление отобрать у государства его надзирательные функции и взять их под свой контроль.

Если съезд в 1897 г. лишь мельком затронул вопрос о детской проституции, то съезд 1910 г. уделил этому вопросу главное внимание. Как раз оттого, что дети считались существами невинными и послушными, а не свободными в половых отношениях партнерами, проституция среди подростков представлялась совершеннейшим воплощением полной патологии, составляющей, по мнению многих, важную сторону торговли телом.[23] В докладе на съезде 1910 г. петербургский врач-журналист Борис Бентовин прямо затронул вопрос о глубинной патологии девочек-проституток. В Петербурге, уверял Бентовин, девочки-проститутки используют «до шестнадцати различных способов блаженства — за исключением естественного». «Девочки 11—13 лет ругаются такими невероятно погаными словами, от которых иногда краснеют взрослые проститутки... Дети-проститутки почти сплошь пьяницы, и пьют они с ухарством, с охоты, для веселья и буйства».[24] Даже Мария Покровская, которая прежде неустанно разоблачала совращение малолетних, к 1912 г. стала описывать малолетних проституток как ненормальных.[25]

Многочисленные комментаторы настаивали, что половая распущенность у девочек является плодом распада пролетарской семьи. Анатолий Сабинин, либеральный деятель народного здравоохранения, писал: «Дети бедняков, благодаря условиям житейской обстановки, слишком рано знакомятся с половыми отправлениями, и у девушек бывают не особенно редки случаи противуестественного полового удовлетворения в период зрелости... При таких условиях до проституции остается только один шаг».[26]

В брошюре о проституции, выпущенной социалистами в 1906 г., описаны нездоровые жилищные условия в доме, где «большие и малые — все намешано в кучу, мужчины и женщины спят вповалку на полу. От такого слишком близкого сожительства недалеко и до беспорядочных половых отношений».[27] В социологи-

ческом отчете, изданном в 1912 г. под редакцией социолога левого направления Михаила Гернета, один из авторов объясняет, как нищета приводит к нравственному падению: «В сыром углу, где почти всегда протекает детство девочек-проституток, темно и скучно, бранятся пьяные... Девушка, привыкшая еще с самых ранних лет видеть... самые нескромные ласки, слушать самые циничные слова — легко попадает в омут разврата».[28] Аналогичную зловещую картину описывал известный общественный деятель Дмитрий Дриль в докладе на съезде 1910 г.[29]

Некоторые ученые, соглашаясь с тем, что социальная среда является причиной роста полового разврата, определяли, однако, саму половую распущенность девочек-подростков, скорее, в терминах биологических, нежели социологических. Так, например, один из криминологов описывает уже знакомую нам картину быта пролетарского ребенка, но заключает: «Такие девочки обладают болезненно-раздражительною чувствительностью, которую и стремятся удовлетворить каким-либо неестественным образом». Он настаивает на том, что «у многих из них дегенеративная психика: воля ослаблена, фантазия болезненно развита, имеется наклонность к пьянству и курению».[30]

Тенденция рассматривать подростковую половую распущенность, да и собственно проституцию, как биологический порок усилилась в годы, последующие за 1905-м. Подтверждением тому служит развитие идей Бентовина по данному вопросу. В 1904 г. он отвергал утверждение профессора Военно-медицинской Академии Вениамина Тарновского о том, что проституция объясняется врожденными патологическими наклонностями, а не материальными условиями, толкавшими женщин на улицу.[31] В 1906 г. Бентовин находил причину растущего спроса на несовершеннолетних проституток в «извращении инстинкта» у клиентов. Самих же девочек Бентовин описывал как жертв корыстных бандерш, а иногда — даже их собственных, доведенных до отчаяния родителей.[32] В 1905 г. Бентовин впервые признал различие между девочками, столь глубоко погрязшими в своем ремесле, что они уже не поддавались исправлению, и теми девочками, которые хотя и соблазнились проституцией, но еще могли спастись в результате практической помощи со стороны благотворительных учреждений.[33] А в 1910 г. Бентовин пришел уже к утверждению, что безнадежные проститутки приговорены к своей участи особенностями своего организма.

Среди слушателей Бентовина некоторые поддержали его точку зрения на девичью патологию. Врач-клиницист Вадим Сланский подчеркивал: «Не подлежит сомнению, что малолетние проститутки являются душевно-нервно-больными детьми».[34] Дмитрий Дриль утверждал, что большинство юных проституток являлись «психически нормальными» жертвами жутких обстоятельств, но и он соглашался, что психически расстроенные девочки создают особую проблему. Директор приюта, Серафима Коноплева, назвала многих из своих неисправимых подопеч-

ных «болезненно-порочными».[35] Однако большинство участников дискуссии отвергли предложение Бентовина, чтобы призрение предназначалось бы лишь «нормальным» девочкам.[36]

Что же, по мнению врачей, работников благотворительных обществ и иных учреждений, собравшихся в 1910 г., можно было считать исчерпывающим ответом на проблему детской проституции? Отвергнув идею Бентовина, предлагавшего исключить патологические случаи из системы призрения и врачебного обслуживания, участники съезда 1910 г. выдвинули проект, по которому «органы общественного самоуправления» сотрудничали бы с воспитательно-исправительными учреждениями в «принудительном воспитании» несовершеннолетних проституток. Лишь один из участников настаивал на том, что патологическая сторона в поведении юных проституток заслуживает профессионального внимания сама по себе. «Лечение, воспитание и призрение малолетних проституток, являясь специальным и ответственным делом, требующим врачебно-педагогической подготовки, не может далее оставаться на руках благотворительности»,— сказал он. Однако он остался в одиночестве, когда пришел к выводу, что несовершеннолетних проституток следует заключать в психиатрические лечебницы.[37] В конечном итоге съезд решил, что следует предоставить шанс нравственного спасения всем несовершеннолетним проституткам без исключения, поскольку у всех них еще сохраняется потенциал внутренних изменений.

Общественное обсуждение этой темы вскрывало глубокую озабоченность просвещенных слоев истинным положением низших классов, по отношению к которым представители элиты все еще надеялись оставаться наставниками и покровителями. Профессионалы стремились оформить свои отношения с рабочими и крестьянами в рамках современных методов научного патернализма, заменив ими опекунскую практику самодержавного режима. В образованном обществе они хотели воспитать автономных граждан мужского пола, способных подчинять чувства разуму, инициативных, а не послушных исполнителей — короче, идеальных деятелей научного и гражданского самоуправления, основополагающего для установления либерального порядка. Этими стремлениями они не отличались от своих западных коллег.

[1] Изгоев А. С. Об интеллигентной молодежи//Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М., 1909. С. 104; Жбанков Д. 1) Половая вакханалия и половые насилия: Пир во время чумы//Практический врач. 1908. № 17. С. 308—310; № 18. С. 321—323; № 19. С. 340—342; 2) Половая преступность//Современный мир. № 7. 1909. Отд. 2. С. 54—91; Стеклов Ю. М. Социально-политические условия литературного распада//Литературный распад: Критический сб. СПб., 1908. Вып. 1. С. 28, 52.

[2] Бернштейн А. Н. Вопросы половой жизни в программе семейного и школьного воспитания. М., 1908. С. 5.

[3] Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971; Остроумов С. С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. 2-е изд. М., 1980; Frieden Nancy M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution. 1856—1905. Princeton, 1981;

Brown Julie V.: 1) The Professionalization of Russian Psychiatry, 1857—1911. Ph. D. Dis. University of Pennsylvania, 1981; 2) Psychiatrists and the State in Tsarist Russia//Social Control and the State/Ed. by S. Cohen, A. Scull. New York, 1983.

4 Engelstein Laura: 1) Morality and the Wooden Spoon: Russian Physicians View Syphilis, Social Class, and Sexual Behavior, 1890—1905//Representations. 1986. 14; 2) Gender and the Jyridical Subject: Prostitution and Rape in 19th-Century Russian Criminal Codes//Journal of Modern History. 1988. 60:3; 3) Abortion and the Civic Order: The Legal and Medical Debates, 1911—1914//Russia's Women: Accommodation, Resistance, Transformation/Ed. by Engel B., Clements B., Worobec Ch. (forthcoming).

5 Верениус А. С. Половая распущенность в школьном возрасте//Врач. 1901. Т. 22, № 41. С. 1264.

6 Там же. С. 1264.

7 Там же. С. 1264—1265.

8 Якобзон Л. Я. Половое воздержание перед судом медицины//Русский врач. 1905. № 18. С. 594.

9 Покровская М. И. О проституции малолетних//Женский вестник. 1912. № 10. С. 196.

10 Золотарев С. Дети революции//Русская школа. 1907. № 3. С. 6.

11 Розанов В. Ослабнувший фетиш//Когда начальство ушло. СПб., 1910. С. 345.

12 Верениус А. С.: 1) Половая распущенность в школьном возрасте. С. 1261; 2) Беседа по вопросу о борьбе с половыми аномалиями (онанизмом) учащихся для родителей и воспитателей//Медицинская беседа. 1902. Т. 16. № 13—14. С. 376—377; Прайс А. Половая жизнь учащихся//Медицинская беседа. 1902. № 23. С. 665—666; Роков Г. Больной вопрос воспитания//Вестн. воспитания. 1902. № 7, ч. 1. С. 66.

13 Бернштейн А. Н. Указ. соч. С. 9; См. также: М-ий Н., Михайловский Н. К. Борьба с половой распущенностью в школе//Русская школа. 1907. № 7—8. С. 33.

14 Бехтерев В. М. О половом оздоровлении. СПб., 1910. С. 2.

15 Фалевич Я. Итоги Томской студенческой половой переписи: Доклад, читанный февраля 1910 г. на заседании Пироговского Студенческого Медицинского Общества при Томском Университете//Сибирская врачебная газета. 1910. № 17. С. 197—198; Членов М. А. Половая перепись московского студенчества и ее общественное значение. М., 1909; Половая жизнь Юрьевского студенчества (Из Журн. Об-ва русских врачей в память Н. И. Пирогова. 1907. № 1)//Вестн. общественной гигиены. 1907. Июль. С. 1162—1163; Малыгин Н. П. Из итогов студенческой переписи в Юрьеве (Дерпте)//Журн. Об-ва русских врачей в память Н. И. Пирогова. 1907. № 1. С. 20—31.

16 Фалевич. Итоги//Сибирская врачебная газета. 1910. № 19. С. 221—223; Членов М. А. Указ. соч. С. 74.

17 Фалевич. Указ. соч. С. 222; Жбанков Д. Изучение вопроса о половой жизни учащихся//Практический врач. 1908. №28. С. 487, 490.

18 Дерюжинский В. Памяти А. А. Сабурова//Российское об-во защиты женщин в 1915 году. Пг., 1916. С. 7—9.

19 Список членов//Тр. первого Всерос. съезда по борьбе с торгом женщинами и его причинами, происходившего в С.-Петербурге с 21 по 25 апреля 1910 года. СПб., 1911. Т. 1. С. 7—21; Данилов Н. Первый Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами//Изв. Московской городской думы. Отдел общий. 1910. № 9. С. 94. Половина женщин, присутствовавших в 1910 г., присутствовала и на съезде о женщинах в 1908 г.: Список членов первого женского съезда//Тр. первого Всерос. женского съезда при русском женском об-ве в С.-Петербурге. 10—16 декабря 1908 года. СПб., 1909. С. 907—920.

20 Bernstein Laurie. Yellow Tickets and State-Licensed Brothels: The Tsarist Government and the Regulation of Urban Prostitution//Health and Society in Revolutionary Russia/Ed. by Solomon Susan G., Hutchinson John F. Bloomington, 1990. P. 45—65.

21 Список членов съезда//Тр. Высочайше разрешенного съезда по обсуждению мер против сифилиса в России. СПб., 1897. Т. 2. С. 259—266.

[22] Жбанков Д. Н. О съезде при Медицинском Департаменте по обсуждению мероприятий против сифилиса в России//Врач. Т. 18. 1897. № 30. С. 831; Данилов Н. Указ. соч. С. 114.

[23] Захаров Н. А. Причины распространения проституции находятся не столько в экономических, сколько в моральных условиях//Тр. первого Всерос. съезда... Т. 1. С. 202; Обсуждение вопроса о детской проституции: Прения по докладу В. И. Бентовина//Там же. 1911. Т. 2. С. 553 (речь С. И. Коноплевой).

[24] Бентовин В. И. О проституции детей//Тр. первого Всерос. съезда... Т. 2. С. 441—457.

[25] Покровская М. И.: 1) Женская беззащитность//Женский вестн. 1905. № 2. С. 46—47; 2) О проституции малолетних//Там же. 1912. № 10. С. 194.

[26] Сабинин А. Х. Проституция: Сифилис и венерические болезни. СПб., 1905. С. 258—259; См. также; Бентовин В. И. О проституции детей. С. 451—454; Файнгар И. М. Детская проституция//Вестн. психологии, криминальной антропологии и педологии. 1913. Т. 3, № 3. С. 36; Гальперин В. И. Проституция детей//Дети-преступники. М., 1912. С. 369—371.

[27] Гремяченский Д. Современный строй и проституция. М., 1906. С. 19.

[28] Гальперин В. И. Указ. соч. С. 376.

[29] Дриль Д. А. О заброшенности детства как могущественной причине детской проституции//Тр. первого Всерос. съезда... Т. 1. С. 84—88.

[30] Файнгар И. М. Указ. соч. С. 30—31, 36.

[31] Бентовин Б. Источники проституции//Русское богатство. 1904. № 11; Торгующие телом: Очерки современной проституции. 2-е изд. СПб., 1909. С. 38.

[32] Бентовин Б. Тайная проституция: Из очерков столичной проституции//Образование. 1906. № 10, ч. 1; Торгующие телом. С. 164—165.

[33] Бентовин Б. Спасение «падших» и хулиганство: Из очерков современной проституции//Образование. 1905. № 11—12, ч. 1; Торгующие телом. С. 198.

[34] Обсуждение вопроса о детской проституции. С. 550.

[35] Там же. С. 551, 553—554.

[36] Обсуждение вопроса о детской проституции. С. 556; см. также: Данилов Н. Указ. соч. С. 108.

[37] Обсуждение вопроса о детской проституции. С. 554.

П. Гетрелл (Великобритания)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.

Одной из основных задач, стоящих перед исследователями последнего периода Российской империи, является поиск ответа на вопрос, почему динамизм развития довоенной экономики не привел к социальной и политической стабильности. Экономический рост в период с 1905 по 1914 г. приблизился к высоким темпам развития, достигнутым в последнем десятилетии XIX в. К 1909 г. промышленный подъем на рубеже XX столетия и новый спад после революции 1905 г. начали забываться. Экономика испытывала продолжительный подъем. Тщательные расчеты, проведенные П. Грегори, свидетельствуют о том, что национальный доход в России на душу населения (в ценах 1913 г.)

с 1908 по 1913 г. вырос почти на 17 %.[1] Имеющийся ряд цифр, характеризующих производство, свидетельствует о том, что крупное промышленное производство и чистое производство зерна по темпам роста опережали валовое производство. Рост торгового оборота примерно соответствовал росту производства, хотя (насколько можно об этом судить по несовершенной статистике) строительство и животноводство развивались медленнее. Другими словами, ясно, что в среднем в 1914 г. подданные царя питались и одевались лучше, чем их непосредственные предшественники. Об этом же говорят и показатели социального положения населения: уменьшилась смертность среди детей в возрасте до одного года, увеличился процент грамотности населения. Миграция и индустриализация открыли новые возможности в сфере экономики, в особенности для молодежи. Экономическое развитие Западной Сибири возвестило новую эру сельскохозяйственного производства и экспорта продовольствия. Значительно увеличились урожаи зерновых, и крестьяне продавали свою продукцию по более высоким ценам. Экономика России сумела обеспечить активное сальдо в торговле без каких-либо жалоб на потери в сфере народного благосостояния, сопровождавших рост экспорта в период правления Витте. Рост капиталовложений дал свои плоды в виде новых заводов, железных дорог, портов, квартир, школ и больниц. Новейшие финансовые учреждения предоставляли кредиты новому классу торгово-промышленных предпринимателей. Для сельского населения разумный доступ к кредитам обеспечивали небольшие финансовые учреждения. Благодаря счетам, которые акционерные банки открывали частным клиентам, процветал и ширился российский рынок ценных бумаг правительства и промышленников. Наконец, увеличение числа торговых и кредитных кооперативов свидетельствовало о растущем процветании и динамизме российской экономики последнего периода монархии.[2]

Политическая стабильность в России после 1905—1906 гг. была обманчивой. За парламентским фасадом разворачивались неразрешимые конфликты среди основных социальных групп российского общества. Экономический рост не сопровождался политической стабильностью. Почему же тогда лишь немногие считали необходимым поддерживать систему, приносившую столь впечатляющие блага? Одним из ответов на этот вопрос является утверждение, что экономический рост скрывал крупные недостатки. Например, экономический рост не способствовал сокращению разрыва между Россией и промышленными странами а, наоборот, увеличивал его. Кроме того, бóльшая часть сельского хозяйства и промышленности России оставалась на низком техническом уровне. Многие крестьяне занимались сельским хозяйством в первую очередь чтобы прокормить себя, а не для того, чтобы везти свою продукцию на рынок, и владели они очень скромным состоянием. Не менее важно то, что крестьяне черноземной зоны продолжали испытывать трудности.

В период между 1900 и 1913 гг., вероятно, снизилось производство зерновых и уменьшилось поголовье скота на душу населения. Но эти замечания не дают нам окончательного ответа: едва ли эти недостатки экономической системы могли побудить народ свергнуть ее.[3]

Еще один возможный ответ на вопрос состоит в том, чтобы допустить, что, хотя правительство признавало необходимость проведения социальных реформ как средства приведения в соответствие быстрого экономического роста с отстающей социально-политической системой, эти намерения не были реализованы. Л. Е. Шепелев и В. С. Дякин в своих работах подчеркивают, что важные инициативы были предприняты в сфере трудовой политики, земельной и финансовой реформ. Однако проведению этих инициатив препятствовали либо различия в политических взглядах (в случае трудовой реформы), практических соображениях (например, в финансовых ограничениях), либо недостатки в формулировках этих инициатив.

Земельная реформа, с точки зрения инициативы, стала обстоятельством, которое создало больше проблем, чем решило. Крестьяне не получили удовлетворения от мер, связанных с именем Столыпина, по трем причинам. Во-первых, реформа оставила без ответа их требование о полном и справедливом распределении частных дворянских поместий. Во-вторых, предположения Столыпина отождествлялись, скорее, с административным вмешательством и принуждением, чем с учетом чьих-то интересов. Крестьяне ощутили всю силу правительственных репрессий в 1906 и 1907 гг. Теперь им предлагалось принять к себе правительственных землемеров, чья деятельность казалась крестьянству гораздо менее полезной и нужной, чем она представлялась тем, кто находился в коридорах власти. Последняя, но не менее важная причина заключалась в том, что процесс проведения реформы создавал новые источники конфликтов в российской деревне; между приверженцами общины и теми, кто хотел бы разорвать связь с нею (точнее, «сепаратисты» хотели иметь все блага членства в общине — школы, дороги и прочие элементы инфраструктуры — без обязательного общинного землепользования). Реформа вскрыла также существовавшую напряженность в отношениях между молодым и старшим поколениями: старшие могли, при желании, сконцентрировать в своих руках право распоряжаться частной собственностью.

Третий возможный ответ заключается в утверждении, что сам экономический рост порождал социальные конфликты. Есть несколько вариаций этой обширной темы. Первая заключается в утверждении, что экономический рост не сопровождался сокращением различий в доходах и богатстве. Распределение дохода и богатства оставалось крайне неравномерным, а это порождало чувство несправедливости в российском обществе. Росло ли неравенство с течением времени — сказать трудно. Однако можно утверждать с уверенностью, что ни налоговая политика, ни прио-

ритетные расходы правительства не смягчали этого неравенства. Следует отметить, что соображения такого рода не играли никакой роли в политике правительств европейских государств того времени, за исключением Англии, где радикальные предложения Ллойд Джорджа по бюджету ускорили конституционный кризис 1909 г.[4] Другой вариацией на эту тему является предположение, что индустриализация России сопровождалась высокой степенью концентрации, в результате чего политическое значение рабочих становилось несоразмерным их числу в общем количестве населения. Такой линии доказательств, по-видимому, придерживаются В. Я. Лаверычев и В. И. Бовыкин, на которых произвело впечатление преобладание крупномасштабной промышленности. Однако Ольга Крисп подчеркивает, что фабрично-заводская статистика запутана и, вероятно, переоценивает степень промышленной концентрации в России.[5] Более тонкое толкование соотношения экономического роста и социальных конфликтов предложено Леопольдом Хаимсоном и его некоторыми бывшими учениками. Эта линия исследования оказалась исключительно плодотворной. Например, Хитер Хоган сделал предположение, что попытки администрации добиться увеличения производительности труда в машиностроении после 1908 г. спровоцировали рабочих на выступления против введения нового трудового распорядка и последовавшего за ним усиления контроля.[6]

Экономическая политика правительства стремилась совместить две противоречивые цели. Программа земельной реформы вместе с сопутствующей политикой предоставления кредитов российским крестьянам и субсидирования миграции населения требовала крупномасштабного вложения ресурсов. В период между 1906 и 1915 гг. общий земельный фонд Крестьянского земельного банка составлял 6.4 млн. десятин стоимостью 578 млн. рублей. Конечно, это составляло лишь около 1 % всей стоимости сельскохозяйственных угодий империи, но все же это было значительное количество в абсолютных цифрах.[7] Одновременно царское правительство стремилось восстановить на международной арене национальный престиж, пошатнувшийся после Цусимской катастрофы. Для этого требовались огромные суммы на покупку новейших военных кораблей и вооружений. Эту дилемму хорошо понимал министр финансов В. Н. Коковцов. В. С. Дякин упоминает об этом в своем докладе. По предложению Думы правительство приступило к модернизации государственных судостроительных верфей и Уральского чугунолитейного завода, с тем чтобы уменьшить выделяемые им средства из казны. Однако масштабы перевооружения сделали эту честолюбивую попытку модернизации тщетной. В 1909 г., вопреки желанию Коковцова, государственный долг резко увеличился. В то же время перевооружение не сдерживало продуктивных капиталовложений. Частные вкладчики стремились к инвестициям в тяжелую промышленность, у которой были хо-

рошие перспективы, и российские предприниматели, хотя и жаловались на многие вещи, недостатка капиталов не испытывали. Некоторое, если не все, новое оборудование могло быть использовано для невоенного производства, и поэтому перевооружение не влекло за собой больших непредвиденных расходов. Другими словами, «дилемма Коковцова» была менее серьезна, чем казалась сначала. Тем не менее перевооружение повлекло некоторые непредвиденные расходы. К 1912 г. промышленники жаловались на взвинчивание цен на топливо и полуфабрикаты, например железо и сталь. Перед правительством стояла трудная задача совместить амбиции России на международной арене с финансовыми трудностями и необходимостью проведения внутренних реформ. Приходилось жертвовать реформами и финансовой дисциплиной на алтарь дипломатического престижа.[8]

В каждом разделе этой статьи в той или иной степени ставится вопрос об экономическом развитии России в сравнительной перспективе. Соответствовало ли развитие России общей модели европейского развития? Согласно Теодору Шанину, в России проявились особенности, более сходные с особенностями «развивающегося общества», чем с особенностями европейского развития. Сюда входят современный промышленный анклав, обеспечивающее существование сельское хозяйство и мигрирующая рабочая сила. Такая точка зрения приближается к концепции многоукладности, являющейся темой работы В. И. Бовыкина.

Второе положение (связанное с Александром Гершенкроном) заключается в том, что в XIX в. Россия была экономически отсталой и что только крупномасштабные государственные инициативы спасли ее экономику от застоя; к 1914 г., однако, Россия уже находилась на пути к «вестернизации» модели ее экономического развития. После 1905 г. правительство в основном отказалось от своей интервенционистской роли. Земельная реформа Столыпина способствовала созданию более процветающего крестьянства, чей спрос на товары массового потребления вызвал второй промышленный бум. В противоположность этому государственные расходы значительно снизились. Гершенкрон утверждает, что модернизация экономики была достигнута благодаря политической стабильности. Отношения в промышленности приобрели черты западно-европейского тред-юнионистского соглашательства внутри капиталистической системы. Но к началу первой мировой войны, заключает он, перспективы дальнейшего роста и «вестернизации» были исключительно благоприятны. С этим положением трудно согласиться. Отношения в промышленности оставались крайне политизированными, а у профсоюзов была лишь ограниченная сфера маневра. Относительно небольшое число рабочих было членами профсоюзов. Кроме того, перевооружение означало, что Россия не останется в стороне во время войны в Европе.

Третье положение, выдвигаемое Джоном Маккеем, заключается в том, что «особенность» пути развития России была пре-

увеличена, особенно в отношении роли государства. Маккей замечает, что для вступления иностранных фирм в промышленность России не существовало никаких препятствий, что цены были гибкими и что существовала возможность свободного найма рабочей силы. Это вносит ценную поправку в то, что стало господствующей точкой зрения среди западных ученых относительно кампании индустриализации в конце XIX в.[9]

К сожалению, ни один из авторов, за исключением В. Я. Лаверычева, не обращается непосредственно к вопросу о роли первой мировой войны. Уже достаточно сказано о том, что самой войной не могло объясняться стремление большинства людей участвовать в свержении царизма или по крайней мере молча соглашаться с этим. Слишком много оставалось затянувшихся неразрешимых конфликтов после 1905 г., слишком велико было чувство несправедливости, чтобы говорить, что в 1914 г. состояние социально-экономической системы было стабильным. Но следует должным образом учитывать глубокие социальные потрясения, вызванные войной. Война была больше, чем политическая и военная катастрофа; она стала также, и в России в большей степени, чем где-либо, социальной и экологической катастрофой, которая навсегда сорвала со своих мест миллионы мужчин, женщин и детей. Империя превратилась в океан беженцев, борющихся вместе с более устроенной частью населения за свое существование и стремящихся как-то выбраться из своего отчаянного положения.[10] Глубокое чувство потери охватило страну: гибель людей, потеря капитала, утрата земли и, самое ужасное, потеря уважения к себе. Определяя эти чувства и изучая, как они воплощались в действиях, можно понять, почему в 1917 г. рухнули последние устои самодержавия.

[1] Gregory P. Russian National Income. 1885—1913. Cambridge University Press. Cambridge, 1982. P. 56—57.

[2] Gatrell P. The Tsarist Economy. 1850—1917. London, 1986; Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. М., 1948.

[3] См.: R. Davies. From Tsarism to the New Economic Policy/Ed. by London. 1990.

[4] О кратком анализе данных о национальном доходе см.: Gregory. Op. cit. P. 146—147.

[5] Crisp O. Labour and Industrialisation in Russia. Cambridge Economic History of Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 1978. V. 7. Part 2. P. 308—415.

[6] Hogan H. The Reorganisation of Work Processes in the St. Petersburg Metalworking Industry. 1901—1914. Russian Review. 1983. V. 42. P. 163—190.

[7] Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. М., 1952. Т. 2. С. 270. О полной стоимости сельскохозяйственной земли см.: Вайнштейн А. Л. Народное богатство и народнохозяйственное накопление России. М., 1960. С. 449.

[8] Об инициативе реформ в оборонной промышленности см.: Поликарпов В. В. О «коммерческом» управлении государственной промышленностью в России начала XX в.//Вестн. МГУ. История. 1988. № 4. С. 48—61.

[9] Shanin T. Russia as a «Developing Society». London. 1985. V. 1, Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge (Mass.), 1962.

[10] Cohn S. The Cost of the War to Russia. New Haven, 1932.

В. С. Дякин

ВЫБОР ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX в.)

Проблемы экономической политики России в конце XIX — начале XX в. неоднократно привлекали к себе внимание исследователей. В наибольшей мере в их поле зрения попадала политика С. Ю. Витте, направленная на ускорение промышленного развития страны. В результате экономическая политика рассматривалась по преимуществу как торгово-промышленная. Это в известной мере нарушало целостность восприятия народнохозяйственных проблем, стоявших перед страной. Этим обстоятельством определяется постановка вопроса в данном докладе, где проблема выбора пути экономического развития рассматривается прежде всего как проблема отношения к сельскому хозяйству. Полная картина экономической политики может быть получена, разумеется, только при учете как той, так и другой стороны вопроса.

В начале 1890-х гг. Россия встала перед задачей ускоренного развития и промышленности, и сельского хозяйства. Создание крупной современной промышленности диктовалось не только интересами России как великой державы, но и необходимостью избежать, как писал Витте, «унизительного положения экономической данницы» передовых государств Западной Европы.[1] Одновременно голод 1891 г. подчеркнул отсталость сельского хозяйства. Для поднятия его уровня требовались меры как социально-политические (изменение аграрных отношений и правового положения крестьян), так и агротехнические (интенсификация земледелия и т. п.), предполагавшие значительные капиталовложения. В действительности, однако, промышленное развитие в России, как и в других странах на соответствующем этапе, происходило за счет средств, изымаемых из сельского хозяйства с помощью таможенного протекционизма и налогового обложения, а мировой аграрный кризис 1870—1890-х гг. резко уменьшил доходность экстенсивного российского сельскохозяйственного производства.

Ускорение темпов роста промышленности в 90-е гг. делало его особенно болезненным для земледелия. В этих условиях поместное дворянство, с трудом приспосабливавшееся к капиталистическим формам хозяйствования, требовало от царизма замедлить или даже остановить процесс создания крупной промышленности. Полемика о направлении экономической политики царизма в своих крайних проявлениях вылилась в спор тех, кто понимал необратимость капиталистической эволюции, но надеялся поставить ее на службу интересам и самодержавия, и российских аграриев, защищавших сиюминутные интересы по-

местного дворянства. Одновременно в этой полемике отражалось беспокойство правящих кругов и более дальновидной части помещиков в связи с кризисным состоянием основной массы крестьянства, подрывавшим прочность государственного бюджета и основы аграрных отношений. Эта сторона дела неоднократно рассматривалась в советской историографии, а наиболее полно освещена в работах Ю. Б. Соловьева.

В отличие от дворянских идеологов, веривших, что «Россия имеет свою отдельную историю и специальный строй», а потому избежит капитализма, Витте не только выступал за «напряженное развитие промышленности в короткий срок», но и подчеркивал, что к такому развитию Россию вынуждает «мировой непреложный закон»[2] перехода к капиталистическому строю. При этом Витте настаивал на неизбежности принесения в жертву промышленному прогрессу «потребительских» и «частнохозяйственных» интересов.

Параллельно с полемикой Витте и поместного дворянства о неизбежности и правомерности капиталистической эволюции экономики России развертывался спор Министерства финансов и созданного в 1894 г. Министерства земледелия и государственных имуществ (далее — МЗиГИ) о формах и масштабах государственного воздействия на сельское хозяйство.

Глава сельскохозяйственного ведомства А. С. Ермолов поддерживал Витте в вопросе о необходимости развития горной и металлургической промышленности и привлечения для этого иностранных капиталов. Остальные отрасли промышленности Ермолов рассматривал в первую очередь как источник заработка для крестьян и средство повышения доходности помещичьих имений и потому выступал за предпочтение в этих отраслях кустарного и мелкого производства. Исходя из принципиально верного тезиса о невозможности прочного процветания экономики при длительном «искусственном поддержании одной обрабатывающей промышленности», Ермолов считал государство обязанным «играть роль могущественного покровителя» сельского хозяйства.[3] Прежде всего Ермолов имел в виду организацию государственных мелиоративных работ на казенных и частных землях и создание мелиоративного кредита. При этом средства для такого кредита должны были быть получены путем гарантированных государством займов.

Позиция Витте по отношению к сельскому хозяйству в своих главных чертах сложилась еще в 1891—1892 гг. Витте прекрасно понимал экономическое значение сельского хозяйства, в том числе для промышленного развития. Но он выступал против прямого государственного вмешательства в отрасль, которая, по его мнению, меньше и медленнее всего поддается «правительственному воздействию». Государство, как считал Витте, могло содействовать сельскому хозяйству не прямыми капиталовложениями в него, а созданием дешевого кредита, строительством железных дорог и, главное, расширением внутреннего рынка

через «развитие отечественной фабрично-заводской промышленности».[4]

На позиции Витте сказывалось и его отношение к мировому аграрному кризису. С одной стороны, он был склонен отрицать его наличие и считал установившиеся низкие хлебные цены выгодными для народного хозяйства в целом, хотя и наносящими при особенно резком падении ущерб «продавцам зерна». При этом Витте, опираясь на либерально-народнических экономистов, утверждал, будто основная масса крестьянства не производит товарного хлеба. Дело заключалось в том, что политика индустриализации велась Витте в расчете на низкие хлебные цены, сокращавшие расходы по созданию промышленности. С другой стороны, аграрный кризис породил широко распространенное и разделявшееся Витте представление о нерентабельности интенсификации зернового производства, поскольку цены на хлеб будут впредь определяться экстенсивно развивающимся земледелием вне Европы. Соответственно Витте противился отпуску средств на предлагаемые МЗиГИ меры такой интенсификации.

Центральным вопросом подъема сельского хозяйства в целом был вопрос о крестьянском хозяйстве. Остроту его Витте оценил не сразу и первое время считал, что выделение зажиточной верхушки деревни происходит в условиях, когда общий уровень благосостояния крестьян не понижается. Но голод 1891 г. и падение хлебных цен в 1893—1895 гг. сделали краткосрочный кредит для крестьян проблемой крайне актуальной не только ради поддержки разоряющегося крестьянства, но, следовательно, и ради укрепления основ государственного бюджета. Такой кредит был и в интересах помещиков, поскольку лишь ссуды под хлеб могли удержать крестьян от массовой осенней продажи урожая, сбивающей цены. В 1895 г. был поэтому принят закон об учреждениях мелкого кредита. Закон создал новую форму такого учреждения — кредитное товарищество, получавшее от Государственного банка ссуду на образование основного капитала и не требовавшее от участников паевого взноса.[5] Эта форма оказалась в принципе жизнеспособной и в дальнейшем получила широкое развитие. Но в 90-е гг. распространению кредитных товариществ препятствовали сохранение правовых ограничений крестьян и скудость средств, отпускаемых Государственным банком.

В момент принятия закона Витте считал еще возможным извлекать за счет крестьянских сбережений дополнительные ресурсы на нужды Государственного банка, о чем свидетельствовал принятый новый устав сберегательных касс. С конца 90-х гг. и Витте, и его противники заговорили о «чрезмерном напряжении» платежных сил крестьянства. Со стороны противников Витте это было отражением реального беспокойства по поводу прочности государственного бюджета и социального мира в деревне, а также стремлением уйти от сословно-дворянской

мотивировки требований аграриев. Витте по-прежнему отрицал негативное влияние своей финансовой политики на положение крестьянства и объяснял падение его благосостояния исключительно «юридическим и экономическим неустройством быта» крестьян, начав борьбу против общины.

В итоге к концу XIX в. в России по-прежнему существовала лишь система учреждений государственного и частного ипотечного кредита. Средства, получаемые из этих учреждений под залог земли, в большей мере отвлекались от сельского хозяйства, чем вкладывались в него. Сельскохозяйственный (краткосрочный и мелиоративный) кредит находился в зародышевом состоянии и не оказывал существенного влияния на земледелие. Начавшийся пересмотр взглядов Витте в крестьянском вопросе не привел еще к реальным шагам в области мелкого кредита. Однако обвинения против Витте, согласно которым именно его финансовая политика явилась основной причиной упадка крестьянского хозяйства, были предвзятыми. Форсированное развитие промышленности лишь ускорило процесс постепенного падения крестьянских хозяйств, в основе которого лежало сохранение после 1861 г. полукрепостнических пережитков в аграрном строе во всех их проявлениях. Налоговые тяготы, испытываемые крестьянством в связи с покровительством промышленности, накладывались на выкупные платежи, непосильность которых признавалась задолго до прихода Витте к руководству российскими финансами.

Промышленный кризис начала XX в. привел к усилению полемики вокруг общего направления экономического курса страны. Как справедливо отмечал Б. В. Ананьич, кризис выявил реальные противоречия политики Витте, использовавшего для капиталистического развития России феодальную по своей природе систему государственного управления и своими мерами по государственной поддержке промышленности препятствовавшего в конечном счете естественному развитию капиталистических отношений.[6]

Представители аграрных кругов делали из кризиса вывод об ошибочности всей предшествующей экономической политики и о необходимости преимущественной поддержки сельского хозяйства. Так, государственный контролер П. Л. Лобко утверждал, что наступила пора ликвидации «увлечений по насаждению у нас промышленности», ибо ее можно развивать, лишь предварительно подготовив внутренний рынок, основанный на «цветущем земледелии».[7] Это и подобные заявления отражали озабоченность в верхах бедственным положением крестьянства, весной 1902 г. уже приводившим к открытым антипомещичьим выступлениям. Стремление сохранить незыблемым помещичье землевладение побуждало правящие круги искать выход в частичном снятии остроты земельного вопроса за счет переселения крестьян в восточные районы России и агротехнических мер

повышения доходности крестьянского хозяйства в границах существующего землепользования.

В круг задач, связанных с поднятием уровня крестьянского благосостояния, ставилась и поддержка кустарного промысла. Сама по себе необходимая, такая поддержка рассматривалась как создание альтернативы крупной индустрии и капитализму. В изданном МЗиГИ в 1902 г. «Обзоре кустарных промыслов в России» утверждалось, что предпочтительное покровительство кустарям создало бы «естественный и верный путь» для развития и крупной промышленности, не нуждающейся в протекционизме. Иными словами, России предлагалось повторить процесс роста фабричного производства из ремесла в условиях, когда в соседних странах уже существовали промышленные монополии, жаждущие внешних рынков.

В сложившейся ситуации Витте на открывшемся в феврале 1902 г. Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности было важно обсудить не только крестьянский вопрос (эта сторона Совещания наиболее подробно исследована М. С. Симоновой),[8] но и ряд экономических проблем. Попрежнему считая малоэффективными прямые вложения капитала в сельское хозяйство, Витте предпочитал воздействовать на последнее через общее экономическое развитие страны (главным рычагом которого оставалось железнодорожное строительство) и через организацию хлебной торговли. Между тем в 1902—1903 гг. уже наметился поворот к сокращению строительства железных дорог на средства казны, а увеличение роли частного капитала требовало существенного пересмотра условий его допуска. Витте же нуждался в немедленном росте строительных работ, которые обеспечили бы увеличение рынка для металлургической промышленности и выход из экономического кризиса. Поэтому он попытался провести через Совещание программу сооружения местных (облегченных) железных дорог и выражал готовность пойти на фиксацию значительных расходов на эту программу. Смысл маневра заключался в том, что местные дороги проходили бы по смете МВД под флагом содействия сельскому хозяйству.

Важное место на Совещании занял вопрос о структуре сельскохозяйственного вывоза. На рубеже XIX—XX вв. под свежим впечатлением мирового аграрного кризиса в помещичьей среде возникла идея резко увеличить экспорт мяса, сократив ради этого вывоз хлеба. Этот план, проповедуемый как выход из кризиса для дворянских имений, предполагал большие государственные затраты на поднятие животноводства у помещиков и на обеспечение вывоза мяса соответствующим оборудованием. Между тем с 1896 г. в результате роста внутреннего потребления, вызванного развитием промышленности, и вследствие ряда неурожайных лет хлебный экспорт России временно сократился. Не возражая против частной инициативы в животноводстве и мясном экспорте, Витте отказывался от активного государствен-

ного содействия такому экспорту и предупреждал, что погоня за проблематичным мясным рынком может привести к тому, что «другие страны займут наше место на зерновом рынке».[9] В создавшейся ситуации Витте был теперь сторонником увеличения производства хлебов, если оно не связано с казенными расходами.

Ермолов и его ведомство продолжали на Совещании доказывать необходимость непосредственного государственного финансирования и кредитования сельского хозяйства, предлагая увеличить ассигнования на государственные мелиоративные работы и расширить мелиоративный кредит. Министерство финансов возражало против этих предложений, подчеркивая, что нужда в мелиоративном кредите серьезно возникает лишь при массовом переходе к интенсивным формам хозяйства, включающем в этот процесс и крестьянские земли, а это невозможно без изменения системы землепользования. Для интенсификации же помещичьих имений Витте предлагал поощрять частную инициативу в форме мелиоративных товариществ.

Одним из центральных вопросов экономики сельского хозяйства был вопрос о мелком кредите. Вырабатывая свои предложения в этой области, Витте учитывал две цели: продемонстрировать непосредственную связь мелкого кредита с правовым и имущественным положением крестьянства и необходимость пересмотра крестьянского законодательства, с одной стороны, и отвергнуть обвинения в том, что его финансовая политика вообще и деятельность сберкасс в частности препятствуют развитию такого кредита — с другой. Витте и его сотрудники настаивали, что не только в России, но и в Западной Европе именно на постоянном приливе средств в сберегательные кассы держится весь государственный кредит. При этом Витте постоянно подчеркивал, что и на мелкий кредит его ведомство сумеет выделить достаточные средства, если для такого кредита будет «найдена форма, применимая на практике».[10] Речь шла в первую очередь об обеспечении ссуд, поскольку неотчуждаемость наделов и приоритет недоимок по казенным и мирским сборам делали ссудные операции учреждений мелкого кредита негарантированными. Поскольку Витте предполагал медленный пересмотр имущественных правоотношений крестьян в процессе добровольного выхода из общины, делавшего возможным залог надела, он предсказывал и медленный рост кредитных учреждений в деревне. Соответственно выделять средства на их поддержку он реально собирался на первом этапе в очень ограниченных размерах. В целом решения Совещания о мелком кредите, а затем принятый на их основе закон 7 июня 1904 г. отражали переходный этап в подходе к крестьянскому законодательству вообще и вследствие этого к крестьянскому кредиту. В них сохранялись дуализм целей кредита — поддержание «крестьян, близких к разорению», и в то же время «экономически лучшего элемента», дуализм форм учреждений кредита — сослов-

ные ссудо-сберегательные кассы и бессословные кредитные товарищества, дуализм их подчинения — соответственно МВД и Министерству финансов.

Столкновением целей МВД и Министерства финансов характеризовалось и обсуждение в 1903—1904 гг. вопроса о дальнейшей деятельности Крестьянского банка. Операции банка по покупке земли за свой счет все больше втягивали его в переселенческую политику, с той разницей, что банк осуществлял переселение на частные земли и в пределах Европейской России. Это вызывало объективную необходимость согласования деятельности банка и Переселенческого управления МВД. При этом Витте рассчитывал увеличить роль банка в аграрной политике государства, а Плеве — подчинить его деятельность целям своего ведомства. Смерть Плеве и начало русско-японской войны, поглотившей все средства государства, прервали конфликт, но в перспективе более широкое вовлечение Крестьянского банка в общую землеустроительную политику царизма становилось неизбежным.

В ходе и после революции 1905—1907 гг. в характере полемики о направлении развития страны произошли существенные изменения, вызванные переменами в общей расстановке экономических и политических сил в стране. С одной стороны, политика Витте при всей ее односторонности создала определенные предпосылки для дальнейшего саморазвития промышленности за счет притока частных, в том числе иностранных капиталов, причем обеспечение этого притока государством в необходимых размерах было уже невозможно с помощью прежних мер «насаждения промышленности». В то же время ряд элементов системы Витте — прежде всего золотое денежное обращение и таможенный протекционизм — стал неотъемлемой частью финансового курса страны. С другой стороны, в качестве главной народнохозяйственной задачи выдвинулась ликвидация диспропорции между уровнем и темпами роста промышленности и сельского хозяйства. Эта народнохозяйственная задача по своей направленности совпадала с основной социально-хозяйственной целью, которую поставил перед собой царизм с 1906 г.— осуществить земельную реформу и создать многочисленный класс мелких земельных собственников.

Столыпинская реформа потребовала значительных прямых расходов казны на землеустройство и усиленной эмиссии свидетельств Крестьянского банка. Открывая путь к более глубокому проникновению капитализма в деревню, она создавала отсутствовавшие ранее условия продуктивного использования ссудного капитала в крестьянском хозяйстве, в особенности при создании участкового землевладения. Но низкая доходность сельского хозяйства и дробность крестьянских земель затрудняли приток в земледелие частных капиталов, делая необходимым выпуск гарантированных государством ипотечных бумаг. Между тем казначейство само нуждалось в займах на восстановление

потрясенного русско-японской войной и революцией финансового хозяйства, а иностранная задолженность казны и без того лежала тяжелым грузом на расчетном балансе России и на ее бюджете. Поэтому В. Н. Коковцов, занимавший с 1904 по 1914 г. с небольшим перерывом пост министра финансов, постоянно проповедовал необходимость «жить по средствам».[11] В 1906—1908 гг. он добивался бездефицитного бюджета, а с 1909 г., учитывая обострение международной обстановки, использовал превышение доходов над расходами для образования денежного запаса («свободной наличности») и предупреждал о необходимости сдержанно использовать денежный рынок на нужды ипотечного кредита, поскольку на этот рынок рассчитывают и другие отрасли народного хозяйства.

Нужды сельского хозяйства заставляли, однако, правящие круги искать выход на денежный рынок. В 1906 — начале 1909 г. речь шла почти исключительно об обеспечении кредитом вновь создаваемых единоличных крестьянских хозяйств. С этой целью 15 ноября 1906 г. был разрешен залог в Крестьянском банке наделов, укрепленных в личную собственность, даже без сведения их в один участок. В 1908 г. глава Главного управления землеустройства и земледелия (далее — ГУЗиЗ) А. В. Кривошеин выработал план «вещного» кредита (ссуд на покупку инвентаря в рассрочку). Обе эти формы кредита не получили распространения из-за незалогоспособности чересполосных земель. В дальнейшем рост крестьянской кооперации (особенно кредитных товариществ по уставу 1895 г.) сделал, видимо, для правящих кругов менее актуальным поиск организационных форм краткосрочного и мелиоративного кредита для крестьян, поскольку кооперация до известной степени взяла эти функции на себя, обнаружив при этом способность самостоятельно привлекать местные средства. Поэтому с 1909—1910 гг. полемика вокруг крестьянского кредита в бюрократических сферах смещается в сторону проблем степени и форм подчинения кредитной кооперации государственному контролю и допустимости ее самостоятельного выхода на общероссийский денежный рынок.

С 1909 г. вновь ставится в повестку дня вопрос о сельскохозяйственном кредите для поместного землевладения. Хорошие урожаи и высокие хлебные цены подняли кредитоспособность помещичьих хозяйств и увеличили их спрос на ссуды, и раньше удовлетворявшийся Государственным банком в недостаточной степени. Сельскохозяйственный кредит рассматривался и как мера по предотвращению мобилизации помещичьих земель, поскольку ипотечного кредита для этого оказывалось недостаточно. Одновременно в обстановке усилившейся борьбы буржуазии и поместного дворянства создание банка, занимавшегося под контролем государства и «производителей зерна» экспортной торговлей, рассматривалось как возможность потеснить хлеботорговцев.

Конкретным воплощением всех планов явились выдвинутые в 1910 г. проекты создания Сельскохозяйственного банка в системе ГУЗиЗ и передачи в его ведение Крестьянского банка. Выдвигая эти проекты, Кривошеин и поддерживавший его Столыпин исходили из убеждения, что в стране и на иностранном денежном рынке есть достаточные капиталы для привлечения их и к промышленности, и к сельскому хозяйству, а если приток средств к последнему грозит ущербом для других отраслей хозяйства, то их интересы могут быть отодвинуты на второй план ради «разумного и полного использования сил... сельского населения».[12] Предвидя, что такая постановка вопроса вызовет возражения Коковцова, Кривошеин готов был пойти на разрушение единой системы государственных кредитных учреждений, требуя передачи в его ведение сельскохозяйственного кредита. При этом он планировал широкое вторжение на денежный рынок, предусматривая первоначально для Сельскохозяйственного банка, призванного заниматься краткосрочными ссудами и для крестьян, и для помещиков, неограниченное право эмиссии облигаций, гарантируемых «всем достоянием государства».[13] Передача в систему ГУЗиЗ Крестьянского банка должна была сопровождаться его реорганизацией в бессословный Государственный земельный банк, выдающий мелиоративные ссуды как крестьянам, так и помещикам. Главной задачей банка оставалось, однако, «устройство единоличных крестьянских хозяйств».[14]

Полемика ГУЗиЗ и МВД, с одной стороны, и финансового ведомства — с другой, в связи с вопросом о сельскохозяйственном кредите впрямую выходила на проблемы общего направления экономической политики. ГУЗиЗ подвергало резкой критике виттевский курс, утверждая, что попытка «в широких размерах привлечь народный труд к обрабатывающей промышленности не увенчалась успехом». С точки зрения Кривошеина, при низком уровне сельского хозяйства развитие промышленности «невозможно даже при энергичной поддержке правительства». Он считал, что только подняв сельское хозяйство, можно тем самым заложить основу успешного будущего развития промышленности.[15] Со своей стороны представители Министерства финансов выражали сомнение, допустимо ли «искусственное закрепление... путем усиленного кредитования преобладающей роли того или иного промысла, в особенности земледельческого».[16]

Первоначально Кривошеин и Коковцов договорились о компромиссе, согласно которому учреждения сельскохозяйственного кредита оставались в системе Министерства финансов (что соответствовало общегосударственным интересам), но реформировались в основном в духе предложений ГУЗиЗ, получавшего и большее влияние на их политику. Однако после смерти Столыпина Министерство финансов затянуло подготовку соответствующих законопроектов, лишь к концу 1913 г. наметив основы реформы мелкого и краткосрочного кредита. В отличие

от планов ГУЗиЗ, собиравшегося подчинить кредитную кооперацию Сельскохозяйственному банку на правах низового звена, Министерство финансов предполагало образование союзов и банков кредитной кооперации, имеющих право самостоятельного выхода на денежный рынок, сохранив за собой контрольные функции.[17]

В значительной части в результате разногласий с Кривошеиным из-за кредитования сельского хозяйства Коковцов 30 января 1914 г. был сменен И. Л. Горемыкиным на посту Председателя Совета министров и П. Л. Барком в качестве министра финансов. В написанном Кривошеиным рескрипте Николая на имя Барка провозглашалась необходимость «коренных преобразований» в «заведовании государственными финансами и экономическими задачами страны». В вину Коковцову ставился недостаток «правильно поставленного и доступного кредита» для «народного труда». Перед Министерством финансов выдвигалась задача изыскать новые государственные доходы на основе «увеличения производительных сил государства» и «удовлетворения народных нужд».[18]

К июлю 1914 г. ГУЗиЗ и Министерство финансов достигли соглашения о реорганизации Управления мелкого кредита при Государственном банке в Банк краткосрочного кредита, который в будущем мог получить в свои руки и заведование элеваторами. Это дало бы ему возможность вмешиваться в экспортную торго- влю, что приближало его по функциям к Сельскохозяйственному банку. Крестьянский и Дворянский банки наряду с ипотечными должны были выдавать и мелиоративные ссуды, причем первый — всем землевладельцам недворянского происхождения. Для объединения деятельности всех трех банков в Министерстве финансов намечалось создать специальное управление.[19]

Выработанное соглашение решало организационную сторону сельскохозяйственного кредита, оставляя открытой проблему его источников. Систематические превышения с 1909 г. реальных доходов над исчисленными по росписи и общий рост вкладов в Государственный и частные банки, казалось бы, подтверждали мнение ГУЗиЗ о возможности найти для сельского хозяйства свободные капиталы. Но анализ фондового рынка показывал обоснованность скептицизма Министерства финансов. Русский и международный денежные рынки были переобременены гарантированными государством бумагами, причем ускорившийся процесс мобилизации дворянских земель и использование казенных и удельных для проведения столыпинской реформы значительно увеличили эмиссию ипотечных обязательств. Около 40 % общего прироста русских ценных бумаг в третьеиюньский период приходилось на ипотечный кредит.[20] Интересы ипотечного и сельскохозяйственного кредита сталкивались, поскольку оба обращались к одному и тому же источнику, и чем больше средств отвлекалось на поддержку дворянского землевладения и

на мобилизацию земли, тем меньше их оставалось на собственно сельское хозяйство.

Возможности прямого финансирования сельского хозяйства за счет бюджета были тем более ограничены. Основная масса бюджетных расходов царизма приходилась во все увеличивающемся объеме на подготовку к мировой войне, содержание административно-карательного аппарата и государственного хозяйственного механизма и на выплату процентов по внешнему долгу. Быстро возраставшая смета ГУЗиЗ не удовлетворяла даже чисто землеустроительных нужд. В бюджетном порядке государство брало из сельского хозяйства в виде налогов больше, чем вкладывало в него.

Наличие полуфеодальных элементов в политическом и экономическом строе России и вызванный в конечном счете этим обстоятельством затрудненный приток капиталов в сельское хозяйство привели к тому, что в XX в. диспропорция между промышленным и сельскохозяйственным производством увеличилась. Чистый прирост производства (без влияния изменения цен) составил с 1900 по 1913 г. в промышленности 62.7 %, а в сельском хозяйстве 33.8 %.[21] При этом рост производства в сельском хозяйстве происходил в основном за счет экстенсивных факторов — значительного увеличения посевных площадей за Уралом и на юго-востоке Европейской России и серии урожайных лет.

Таким образом, борьба вокруг выбора пути экономического развития России как в 90-е гг., так и в начале XX в. отражала реально стоявшие перед народным хозяйством страны задачи — создание современной крупной индустрии и подтягивание сельского хозяйства до уровня, обеспечивающего в экономике — устранение диспропорции обеих этих отраслей, а в политическом отношении — создание массовой социальной опоры власти. Эти задачи, однако, оказывались неразрешимы без коренных изменений в социально-экономическом и политическом строе страны. Половинчатость и непоследовательность мероприятий, намечавшихся правящими кругами для решения выдвигавшихся экономическим развитием задач, были следствием общего кризиса существующего строя и в свою очередь подчеркивали и углубляли этот кризис.

[1] Исторический архив. 1957. № 4. С. 154.

[2] Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX в. Л., 1973. С. 292—295.

[3] ЦГИА СССР. Ф. 1149. Оп. 11. 1893. Д. 102. Л. 19.

[4] Там же. Ф. 1683. Оп. 1. Д. 58. Л. 7—8.

[5] См. подробнее: Корелин А. П. Сельскохозяйственный кредит в России в конце XIX — начале XX в. М., 1988. С. 104—109.

[6] Кризис самодержавия в России 1895—1917. Л., 1984. С. 43—45.

[7] Всеподданнейший отчет Государственного контролера за 1902 г. СПб., 1903. С. 44—45.

[8] Симонова М.С. Кризис аграрной политики царизма накануне первой российской революции. М., !987.

[9] ЦГИА СССР. Ф. 1233. Оп. 1. Д. 23. Л. 237—238.
[10] Там же. Д. 21. Л. 290. Ф. 1152. Оп. 13. 1902. Д. 130[а]. Л. 5.
[11] Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв III. Сессия 1. Ч. III. СПб., 1908. Стб. 3588.
[12] Кризис самодержавия в России. С. 425.
[13] ЦГИА СССР. Ф. 395. Оп. 1. Д. 2116в. Л. 1—14.
[14] Там же. Ф. 592. Оп. 1. Д. 221. Л. 143—147.
[15] Там же. Ф. 395. Оп. 1. Д. 2116[в]. Л. 36—37.
[16] Там же. Д. 1929[а]. Л. 106.
[17] Там же. Ф. 582. Оп. 6. Д. 457. Л. 36—73.
[18] Дякин В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911—1914 гг. Л., 1988. С. 178.
[19] ЦГИА СССР. Ф. 1571. Оп. 1. Д. 64. Л. 13—18.
[20] Гиндин И. Ф. Русские коммерческие банки. Из истории финансового капитала в России. М., 1948. С. 239.
[21] Опыт исчисления народного дохода 50 губерний Европейской России в 1900—1913 гг./Под ред. С. Н. Прокоповича. М., 1918. С. 69.

В. И. Бовыкин

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Состояние освещения данной проблемы в советской исторической литературе несет на себе зримые следы приоритета априорных схем и установок над изучением реальных фактов. Будучи выражением предельной политизации исторического знания, утверждение такого приоритета имело свою историю. Его предпосылки стали складываться еще в предреволюционную эпоху, когда в условиях резкого обострения социальных противоречий активизировалось идейное и политическое размежевание общества. Различные классовые и партийные интересы определяли разное видение происходивших событий. Их участники, оказавшиеся на противоположных сторонах тех баррикад, которые разделили общество, воспринимали и трактовали характер происходившего социального противоборства и смысл своего участия в нем с диаметрально противоположных позиций. Более того, даже те, кто находился на одной стороне баррикады, но придерживался различной тактики борьбы, оценивали ее ход и результаты далеко не одинаково. Отсюда проистекало, в частности, зарождение уже в ходе революции 1905—1907 гг. различных «концепций» ее истории: большевистской, меньшевистской, эсеровской, либеральной, царистской и др. Я взял слово концепции в кавычки, чтобы подчеркнуть условность его применения для классификации очень разнообразных по своей трактовке описываемых событий версий истории революционного движения в России, получивших хождение в 1906—1917 гг. И все же партийность этих версий в большинстве случаев очевидна, поскольку они выражали не только личные взгляды их авторов, но и позиции определенных общественно-

политических течений или группировок. Политическая борьба как бы перерастала в борьбу историографическую.

Это явление в той или иной степени свойственно изучению любых проблем истории общества. Историку, идущему по следам недавних столкновений классовых или групповых интересов людей, борьбы их идей и честолюбий, невозможно быть нейтральным постольку, поскольку эти интересы и идеи продолжают действовать в том обществе, в котором он живет. Лишь по прошествии времени, необходимого для утраты прямой связи событий прошлого, изучаемых историком, с окружающей его общественной средой, он получает возможность для объективного анализа исторической дейсвительности, но изучение исторического процесса с позиций участвовавших в нем классов, партий и общественных группировок, разработка на этой основе определенных концепций, в борьбе между которыми выявлялись недостатки одностороннего подхода, составляли необходимое предварительное условие последующего объективного анализа.

В изучении проблемы «Экономическое развитие России и революционное движение», как и в исследовании истории России начала XX в. в целом, эта предварительная стадия не получила необходимого развития. Осуществление в Советской России социальных преобразований, преследовавших целью уничтожение прежних эксплуататорских классов — помещиков и буржуазии, сопровождалось ожесточенной борьбой с их идеологическим наследием. В результате эмиграции руководителей и идеологов политических сил, утративших государственную власть в феврале—октябре 1917 г., исторические концепции, соответствовавшие их трактовке событий, стали разрабатываться за рубежом, что еще более обострило и политизировало историографическую конфронтацию, способствовав ее превращению в одно из важнейших проявлений идеологической борьбы. Тем не менее советская историческая литература эпохи НЭПа, как исследовательская, так и особенно мемуарная, включавшая большое число переводных изданий, отражала широкий спектр мнений, которые далеко выходили за пределы господствующей идеологии. Впрочем, и сама эта идеология тогда еще давала необходимый простор для разномыслия. Положение стало быстро меняться в конце 20-х — первой половины 30-х гг. Происшедшая тогда идейная унификация получила наиболее откровенное и отчетливое воплощение в трактовке истории РСДРП: различные ее версии, имевшие хождение в историко-партийной литературе предшествующего периода, были заменены «одобренным ЦК ВКП(б)» «Кратким курсом». Поскольку РСДРП играла первостепенную роль в истории революционного движения в России, это означало подчинение изучения этой истории жесткой схеме.

Постольку поскольку «Краткий курс» затрагивал вопросы экономического развития России, он наложил свой отпечаток и на их научную разработку. Он придал характер непререкаемой

догмы тезису о полуколониальной зависимости России, внедрявшемуся Сталиным в историческое сознание с 1934 г.[1] Страшные итоги коллективизации и печальные результаты неоправданно форсированных в годы первой пятилетки темпов индустриализации вызвали необходимость корректировки освещения уровня экономического развития предвоенной России, по которому оценивались успехи социалистического строительства в СССР. Тезис о полуколониальной зависимости России послужил своего рода рычагом такой корректировки. Под влиянием этого тезиса, констатировал В. С. Лельчук, «постепенно обычным явлением стало подчеркивание технико-экономической отсталости страны, господства иностранного капитала в ее народном хозяйстве. Фактически даже перестал употребляться термин капиталистическая индустриализация России, а социалистическая индустриализация иногда трактовался как процесс, начавшийся чуть ли не с нуля».[2] Неудивительно, что в «Кратком курсе» не нашлось места даже для упоминания о происходивших в стране процессах капиталистического обобществления производства, на которые указывал Ленин, обосновывая осенью 1917 г. необходимость осуществления социалистических преобразований.[3]

«Краткий курс» провозглашал существование в отсталой аграрной, полуколониальной стране развитого рабочего класса — гегемона революционного движения. Объяснить это было невозможно. Не потому ли историки явно уклонялись от рассмотрения проблемы «экономическое развитие России и революционное движение» в целом? Она изучалась как бы по частям: отдельно исследовались процессы развития народного хозяйства и история революционного движения.

С середины 50-х гг. сталинские догмы и установки «Краткого курса» стали утрачивать свой канонический характер. Но этот процесс шел крайне медленно, непоследовательно и не в одинаковой мере проявился в различных отраслях исторического знания. В наименьшей степени он затронул партийную историю дооктябрьского периода. Предпринятая журналом «Вопросы истории» в 1955—1956 гг. попытка подвергнуть критическому анализу общепринятую схему вызвала протесты со стороны правоверных историков и была пресечена. Дело ограничилось внесением несущественных поправок. Это сковывало развитие изучения революционного движения в целом. Эмпирические исследования, развернувшиеся на данном направлении, вскрыв целые пласты фактического материала, вольно или невольно «сверялись» со все еще незыблемыми положениями историко-партийной схемы.

Пожалуй, наиболее существенные сдвиги произошли в изучении экономической истории. Освобождаясь от влияния тезиса о полуколониальной зависимости России, историки ринулись в архивы, чтобы на основе документов установить, что же собой представляла предреволюционная Россия в действительности. Десятилетие с середины 50-х до середины 60-х гг. явилось

периодом небывалого подъема историко-экономических исследований. Их итогом стали первоклассные документальные публикации и многие монографии, способствовавшие уяснению процессов капиталистического развития России и эволюции ее политического строя в конце XIX — начале XX в. Сложность и противоречивость выявленных данных о природе аграрного строя России, характере экономической политики самодержавия и отношений его с монополиями породили дискуссии. Многие вопросы тогда были лишь поставлены. Для их решения требовалось изучение в архивах крупных документальных массивов, освоение имеющихся статистических изданий, разработка соответствующей методики и т. д. Однако в первой половине 60-х гг. стал все более явственно обнаруживаться возврат к приоритету установочных, априорных представлений.

Среди сторонников возрождения априорных канонических схем и формул были свои консерваторы и новаторы. Первые требовали возвращения на исходные позиции, т. е. к старым схемам и формулам. Вторые призывали к «новому прочтению» Ленина, означавшему фактически поиск новых формул взамен тех, которые перестали носить канонический характер. Противопоставление одних цитат другим породило ряд схоластических споров, имевших место во второй половине 60-х — начале 70-х гг.: о том, утрачивал ли российский пролетариат гегемонию в революционном движении, в союзе со всем или не со всем крестьянством выступал он в Октябрьской революции и др.

Одним из результатов «нового прочтения» Ленина оказалась «концепция» многоукладности предреволюционной России, некоторые из сторонников которой, провозгласив себя «новым направлением» в изучении социально-экономических предпосылок Октябрьской революции, стали исходить при объяснении ее происхождения из признания типологического сходства России со странами полуколониальной и колониальной периферии мирового капитализма. Мне уже приходилось анализировать эту «концепцию» по существу.[4] Идея многоукладности России, высказанная в литературе еще в начале 50-х гг.,[5] т. е. задолго до появления «нового направления», представляла собой научную гипотезу, требовавшую, чтобы превратиться в концепцию, как теоретического осмысления, так и фактического обоснования. Но представители «нового направления» не потрудились определить даже базовые понятия предложенной ими «концепции»: уклад и многоукладность. Приписав эту «концепцию» Ленину, они избавили себя от необходимости доказательства ее истинности.

Распространение «концепции» многоукладности России в 60-е гг. сопровождалось свертыванием эмпирического изучения процессов капиталистического развития российского народного хозяйства в целом, роста крупной промышленности, утверждения монополий, формирования финансового капитала в конце XIX — начале XX в. Справочники свидетельствуют о неуклонном со-

кращении в те годы числа публикаций по данной проблематике[6] и почти полном прекращении ее разработки в архивах.[7]

Но на месте этих руин не было построено новое здание. И причина заключалась не в каких-либо преследованиях, на которые ссылаются сторонники «концепции» многоукладности, пытаясь оправдать ее бесплодность. Сама эта «концепция», взятая на вооружение главным партийным идеологом М. А. Сусловым,[8] наоборот, приветствовалась. «Исследование глубинных процессов эволюции многоукладной капиталистической системы открывает широкое поле деятельности для дальнейшего изучения на новом, более высоком уровне науки закономерностей исторического развития общества и прежде всего складывания материальных и политических предпосылок его революционных преобразований»,— писали авторы рецензии на книгу «Вопросы истории капиталистической России. Проблемы многоукладности».[9] Критиковались лишь утверждения представителей «нового направления» о преобладании в общественно-экономической структуре России начала XX в. докапиталистических отношений и принципиальных особенностях складывания здесь системы крупнопромышленного производства.

«Новое направление», проявив недюжинные разрушительные способности, оказалось не в состоянии создать что-либо действительно новое потому, что его попытка подвести фактическую основу под «концепцию» многоукладности России не увенчалась успехом. Обнаружилось сочетание и взаимодействие многих укладов — от патриархально-общинного (родового) до капиталистического — только в некоторых отсталых колониальных регионах Российской империи, например в Киргизии.[10] Но Российская империя не отличалась в этом отношении от других империй XX в.— Британской, Французской, Германской. Что касается ее метрополии — Европейской России, то, за редкими исключениями, касающимися остатков родового строя в некоторых национальных районах (в частности, в Удмуртии), речь шла о том или ином сочетании двух укладов — капиталистического и феодального.[11]

Тем временем опубликованные в 70-е годы исследования историков-аграрников показали необоснованность утверждения о докапиталистическом характере российского аграрного строя — краеугольного положения «концепции» многоукладности России в ее толковании представителями «нового направления».[12] Перейдя от схоластических рассуждений о взаимодействии укладов к конкретно-историческому рассмотрению всего многообразия форм производственных отношений в России, историки убедились в том, что по своему экономическому содержанию все эти формы сводятся к двум основным типам: во-первых, заметно деформированным, приспособляющимся к капитализму или постепенно отмирающим феодальным отношениям и, во-вторых, неуклонно развивавшимся и распространявшимся вширь капиталистическим отношениям. Эмпирическое изучение реальной

того непростая картина еще более осложнялась многообразными внутриклассовыми, региональными, национальными и религиозными различиями.

При обязательной необходимости учитывать всю эту пестроту, видимо, ее не следует преувеличивать. Партийно-политическая структура России периода после революции 1905 г. свидетельствует о достаточно ясном понимании в обществе основных классовых антагонизмов и более или менее определившейся на этой основе расстановке общественных сил. Но и эти основные антагонизмы и интересы открывали весьма разнообразные возможности последующего общественного развития. Мне никогда не казалось убедительным распространенное в нашей литературе мнение об отсутствии в предвоенной России реформистских возможностей. На мой взгляд, оно основывается главным образом на цитатах из ленинских работ, причем неверно интерпретированных.[18] Объективные экономические условия, рост производительных сил требовали изменения общественного устройства страны. Каким образом произойдет это изменение — реформистским или революционным, насколько оно будет радикальным — решение этих вопросов зависело от степени обострения социальных противоречий и его влияния на массовое сознание, соотношения и расстановки политических сил, способности партий и лидеров разработать стратегию и тактику, ведущие к успеху, их умения повести за собой массы.

Предпринятая Л. И. Бородиным, Ю. И. Кирьяновым и мной попытка изучения на основе массовых данных взаимодействия промышленной конъюнктуры, положения рабочих и стачечного движения в 1895—1913 гг. показала, что в России в рассмотренное время не существовало жесткой зависимости развития стачечного движения от изменений в экономической конъюнктуре и материальном положении рабочих.[19] Исследование Л. Хаймсона, выполненное при участии Р. Петруши, во многом проясняет вопрос о тех факторах, которые воздействовали на стачечное движение, определяя его интенсивность, содержание и пр.[20] Это исследование, так же как и наблюдения, сделанные в ходе изучения рабочего движения целым рядом советских и зарубежных историков (в частности, Н. А. Ивановой, Ю. И. Кирьяновым, Д. Конкер, И. М. Пушкаревой, В. Розенбергом, Х. Хоган) в их последних работах, свидетельствуют о том, что громадную роль в поведении рабочих играл достаточно устойчивый и сложный по своему содержанию пласт массового сознания, механизм формирования которого пока далеко не ясен. Очевидно, что это сознание формировалось под воздействием экономических условий, социальной среды, бытовых традиций и нравственных устоев, просвещения, идеологической и политической пропаганды, текущих событий общественной жизни и т. д. Массовое сознание, как показывают многие исторические эпизоды, существенно лимитировало пределы влияния партий и ограничивало значение субъективного

фактора в революционном процессе. В то же время оно само могло оказывать воздействие на политических лидеров и играть роль движущей силы революционного процесса.

В последнее время внимание советских историков привлекла проблема альтернативности исторического развития. Особая заслуга в этом принадлежит П. В. Волобуеву, неоднократно высказывавшему в 1986—1989 гг. мнение о необходимости рассматривать историю как выбор пути,[21] преодолеть «укоренившуюся привычку изображать исторический процесс как улицу с „запрограммированным" односторонним движением» и взять на вооружение идею о «многовариантности и противоречивости этого процесса».[22] Такой подход не нов ни в общеисторическом плане,[23] ни применительно к истории Октябрьской революции.[24] На мой взгляд, он полезен как инструмент исторического анализа, побуждающий историков при объяснении того, что произошло, учитывать, какие возможности при этом оказались отвергнуты. К тому же среди историков Октябрьской революции, действительно, до последнего времени преобладало представление о ее предопределенности, неизбежности.[25] Да и сам П. В. Волобуев много сделал для обоснования мнения о том, что у России не было других возможностей развития, кроме как по социалистическому пути. В своей монографии »Экономическая политика Временного правительства», констатировав на основе проведенного исследования «историческую обреченность» русской буржуазии и «полное исчерпание» ее «способности руководить современным производством», П. В. Волобуев пришел к выводу, что «только один класс способен был спасти страну от гибели, только одна партия указала народу выход из экономического и политического тупика», вследствие чего «единственно возможным выходом было свержение господства буржуазии и переход к социализму, материальные предпосылки для которого уже созрели».[26] В 1986 г. на страницах «Правды» он повторил свою мысль об отсутствии альтернативы Октябрьской революции. «История — писал он,— поставила Россию „перед немедленным выбором: гибель или тотчас решительные шаги к социализму" (т. 34, с. 112).[27] Иными словами, **Россия, чтобы остаться Россией, должна была стать социалистической»**.[28] Таким образом, ситуация, по мнению П. В. Волобуева, была абсолютно безальтернативной. Но в 1987 г. в своей книге «Выбор путей общественного развития: теория, история, современность», вновь подтвердив свою прежнюю формулу — «Россия, чтобы остаться Россией, должна была стать социалистической» и выразив уверенность в том, что в «экстремальных условиях» 1917 г. «спасти Россию, зажатую в железные тиски отечественного и мирового империализма, от гибели и вывести ее из тупика могла только социалистическая революция»,[29] П. В. Волобуев вместе с тем заявил нечто совершенно противоположное: «Февральская буржуазно-демократическая революция, свергнув царизм, от-

крыла перед Россией различные, в т. ч. альтернативные, возможности политического и социально-экономического развития. Вопрос встал так: пойдет ли она буржуазно-реформистским путем — к капитализму, свободному от остатков феодализма, или пролетарски-революционным путем — к социализму?»[30]

Наконец, год спустя в статье, опубликованной журналом «Коммунист», П. В. Волобуев представил капиталистический вариант альтернативы не как буржуазно-реформистский путь к капитализму, свободному от остатков феодализма, а как диктатуру контрреволюционной военщины. Он писал: «Осенью 1917 года массы ходом событий были подведены к альтернативному выбору: либо диктатура пролетариата, либо диктатура контрреволюционной военщины. Угрожающе нарастала и другая перспектива: русский анархический бунт, „бессмысленный и беспощадный" (А. Пушкин). И большинство народа, поставленное перед таким выбором, вполне сознательно сделало его в пользу власти Советов, доверив революционному пролетариату и партии большевиков руководство страной... Так была решена историческая альтернатива: социализм или капитализм».[31]

Разумеется, А. С. Пушкин здесь совершенно ни при чем. Уместнее было сослаться на П. Н. Милюкова, который задолго до П. В. Волобуева указал на альтернативу «Корнилов или Ленин?» и обстоятельно ее проанализировал. Бездоказательно и утверждение П. В. Волобуева о сознательном выборе «большинства народа» в октябре 1917 г. Разъясняя в своей статье историкам, как надо и как не надо понимать Ленина, П. В. Волобуев пишет: «Одно время превозносились книги, в которых со ссылками на Ленина доказывалось, будто большевики в октябрьские дни 1917 года в сущности не имели на своей стороне поддержки большинства народных масс и получили эту поддержку лишь после взятия власти».[32] Но ведь сам Ленин четко и недвусмысленно ответил на этот вопрос. На основании данных о выборах в Учредительное собрание он сформулировал «три условия победы большевизма: 1) подавляющее большинство среди пролетариата; 2) почти половина в армии; 3) подавляющий перевес сил в решающий момент в решающих пунктах; именно: в столицах и на фронтах армии, близких к центру».[33] Пришедшим к власти большевикам еще предстояло приобрести «сочувствие большинства трудящихся».[34]

В бурном потоке событий 1917 г., в ожесточенной борьбе на следовавших один за другим ее этапах сменялись лидировавшие политические силы и постепенно выявлялись те, кому История отдала свое предпочтение. Спектр альтернатив суживался. Тем не менее, как мне представляется, к осени 1917 г. он не сводился к выбору между двумя диктатурами: пролетариата или контрреволюционной военщины. Заслуживают рассмотрения и иные альтернативы: общедемократическая и общесоциалистиче-

ская. Однако вопрос об исторических альтернативах России начала XX в., и в частности о выборе Октября 1917 г., не может быть решен посредством догадок и умозрительных построений. Необходим серьезный научный анализ конкретно-исторических ситуаций. Приведенные выше примеры того, как он решается сейчас, надеюсь, подтверждают высказанное мной опасение, что априорный подход может вновь возобладать при изучении рассматриваемой проблемы.

[1] См.: «Замечания» Сталина, Жданова и Кирова на конспект учебника по истории СССР//К изучению истории. М., 1938. С. 13.

[2] Лельчук В. С. Социалистическая индустриализация СССР и ее освещение в советской историографии. М., 1975. С. 205.

[3] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 151—199; 287—339.

[4] Бовыкин В. И. Проблемы перестройки исторической науки и вопрос о «новом направлении» в изучении социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции//История СССР. 1988. № 5. С. 67—101.

[5] Покшишевский В. В. Заселение Сибири (Историко-экономические очерки). Иркутск, 1951. С. 201.

[6] Экономическая история: Указатель советской литературы за 1960—1969 гг. М., 1970. Вып. 2.

[7] Тематика исследований по документальным материалам в центральных государственных архивах СССР. М., 1963—1970. Вып. 1—9.

[8] Суслов М. А. Ленинизм и революционное преобразование мира//Избранные речи и статьи. М., 1972. С. 560—561. Первоначально эта статья была опубликована в журнале «Коммунист» (1969. № 15).

[9] Вопросы истории КПСС. 1973. № 11. С. 115.

[10] К истории социально-экономических укладов Киргизстана. Фрунзе, 1972.

[11] См.: Вопросы истории капиталистической России. Проблема многоукладности. Свердловск, 1972.

[12] См. труды Н. М. Дружинина, И. Д. Ковальченко, А. М. Анфимова, А. С. Нифонтова, П. Г. Рындзюнского и др.

[13] Термин Л. В. Ольховой. См.: Ольховая Л. В. Мелкая промышленность Урала в годы первой мировой войны//Вопросы истории капиталистической России... С. 334.

[14] См.: Крузе Э. Э. 1) Положение рабочего класса России в 1900—1914 гг. Л., 1976; 2) Условия труда и быта рабочего класса России в 1900—1914 гг. Л., 1981; Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX — начало XX в.). М., 1979.

[15] Блинов Н. В., Зольников Д. М. и др. Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма: хроника, статистика, историография. Томск, 1978; Стачечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. 1910 — март 1912. Хроника событий. /Сост. Желтова В. П.; отв. ред. Лаверычев В. Я. М., 1980. Т. I—II.; Хроника рабочего движения в России с 3 июня 1907 г. по 31 декабря 1910 г./Отв. сост. Атапин С. С.; отв. ред. Пушкарева И. М. М., 1981. Т. I—IV; и др.

[16] Дажина И. М. Большевистские листовки в России периода первой мировой войны и Февральской революции. Опыт источниковедческого анализа таблицы документов. М., 1981; Профессиональные союзы рабочих России. 1905 г.— февраль 1907 г. Перечень организаций/Сост. Розенталь И. С.; отв. ред. Кирьянов Ю. И. М., 1985. Т. I—II; и др.

[17] Одной из таких попыток была коллективная работа «Рабочий класс в первой российской революции 1905—1907 гг. (М., 1981)/Отв. ред. В. И. Бовыкин.

[18] См. мою рецензию на книгу А. Я. Авреха «Царизм и IV Дума.1912—1914 гг.». (М., 1981)/Вопросы истории. 1984. № 6. С. 121—125.

[19] Бовыкин В. И., Бородкин Л. И., Кирьянов Ю. И. Стачечное движение в России в 1895—1913 годы: структура и связи с развитием промышленности и изменением экономического положения пролетариата (опыт корреляционного анализа)// История СССР. 1986. № 3.

[20] Хаймсон Л., Петруша Р. Опыт математико-статистического исследования данных «Сводов отчетов фабричных инспекторов» о стачках рабочих в России в 1912—1914 гг.//Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях. М., 1985.

[21] См.: Волобуев П. В. 1) Современная эпоха: выбор путей общественного развития//Правда. 1986. 25 июля; 2) Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. М., 1987; и др.

[22] Волобуев П. Обращаясь к великому опыту. Современные задачи и методология изучения Октября//Коммунист. 1988. № 16. С. 90—91.

[23] См., напр.: Пономарев Б. Перед историческим выбором//Коммунист. 1976. № 17.

[24] См., напр.: Могильницкий Б. Г. Альтернативность исторического развития в ленинской теории народной революции//Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1974. Вып. 9.

[25] См.: Минц И. И. О перестройке в изучении Великого Октября//Вопросы истории. 1987. № 4. С. 5.

[26] Волобуев П. В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962. С. 3, 474.

[27] Цитата из статьи Ленина усечена, что меняет ее смысл. У Ленина: «Теперь, когда война необыкновенно ускорила развитие, обострила кризис капитализма невероятно, поставила народы...», *и далее следуют процитированные* слова.

[28] Правда. 1986. 25 июля. Подчеркнутые слова выделены автором жирным шрифтом.

[29] Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития... С. 177.

[30] Там же. С. 150.

[31] Волобуев П. В. Обращаясь к великому опыту... С. 94.

[32] Там же. С. 92.

[33] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 10.

[34] Там же. С. 12.

Дж. Маккей (США)

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В последнее время наши знания об экономическом развитии и предпринимательстве в Российской империи позднего периода пополнились рядом исследований. В них более отчетливо представлены: правительственная политика, частное предпринимательство, организация дела и региональные особенности. Однако в исторической литературе недостаточно исследовано соотношение этих различных аспектов и все еще преобладают традиционные взгляды. Настало время пересмотреть взаимосвязь развития экономики и частной инициативы в Российской империи последнего периода.

При рассмотрении западных взглядов на эти проблемы становится ясно, что основные исследования Александра Гершенкрона все еще являются авторитетом. Гершенкрон считал, что в

России, в условиях крайней экономической отсталости, мощное вмешательство государства определило успех запоздалого, но стремительного экономического роста в конце 80-х и в 90-е гг. XIX в. Этот экономический прорыв привел к усилению частной инициативы и ослаблению вмешательства государства в начале XX в.[1] В последнее время часть исследователей все более склоняется к тому, что положительные последствия правительственной политики для экономического развития были преувеличены. «Ревизионисты» отмечают также необычайную важность для России «фактора автономного развития» (удачное выражение Ольги Крисп) — стихии рынка, которая зависела в основном от частного спроса и мало была обязана действиям правительства.[2] Некоторые ученые-ревизионисты также подчеркивают важность частного предпринимательства, отмечая значительную долю деловой инициативы различных групп — бывших крепостных-предпринимателей, староверов, московских промышленников, иностранных компаний в России и делового еврейского населения.[3]

Обращаясь к последним исследованиям советских ученых, можно заметить, что марксистская точка зрения на экономическое и социальное развитие находится в согласии с новым интересом на Западе к механизмам автономного роста и соответственно с более сдержанной оценкой роли государства. Более того, в своих конкретных исследованиях экономической политики советские ученые выявляют ведомственный подход, непоследовательность и стремление к достижению временных политических целей и в то же время подчеркивают растущую роль деловых людей и деловых организаций.[4] Однако, за немногими исключениями, советские ученые все еще проявляют недостаточный интерес к предпринимательству как таковому и его соотношению с экономическим развитием. Таким образом, последние исследования в Советском Союзе и на Западе имеют точки соприкосновения, которые мы попытаемся совместить в настоящем исследовании.

Во-первых, на наш взгляд, в экономическом развитии Российской империи последнего периода следует различать два отдельных, жизнеспособных фактора: автономное развитие и государственное стимулирование. Во-вторых, эти активные факторы развития соответствуют двум типам делового предприятия: (обычно) небольшая, ориентированная на конкуренцию за потребителя компания в легкой промышленности, и большая, «монополистическая», связанная с государством компания в тяжелой промышленности. Фактор автономного развития, связанный с предприятиями, ориентированными на потребителя, концентрировался в районе Москвы, в то время как фактор государственного стимулирования, связанный с тяжелой промышленностью, имел своим центром Петербург (с зависимыми от него районами).

Центральный промышленный район имел самые сильные традиции в коммерческом и промышленном предприниматель-

стве. Эти традиции выросли вследствие недостатка в ресурсах сельского хозяйства, вызвавшего необходимость развития ремесленных промыслов, и вследствие рыночного спроса. К 80-м гг. в Центральном промышленном районе был создан резерв квалифицированной рабочей силы и опытных кадров предпринимателей, что определило рост мелкой кустарной и мануфактурной промышленности в XIX в. Особенно, в этом районе было развито производство текстиля, в частности хлопкового, неплохо развиты были и другие отрасли промышленности. В 1887 г. в Центральном промышленном районе было занято 55 % промышленной рабочей силы империи и производилось 45 % всей продукции.[5]

В последнее время ученые Соединенных Штатов проявляют значительный интерес к вопросу о возникновении московской группы предпринимателей. В их исследованиях подчеркиваются купеческое происхождение этой группы, ее русский национализм и ее относительная независимость от государства. Но ученые на Западе проявляли меньший интерес к этой группе как к экономическим деятелям, и в их исследованиях московские купцы в основном представлены бесчестными и отсталыми деспотами, какими их изображал в своих пьесах Островский.[6]

Сосредоточимся на более положительной интерпретации экономической деятельности данной группы. Следует подчеркнуть, что успешное развитие Центрального промышленного района к середине 80-х гг. является ярчайшим примером действия фактора автономного развития в экономике Российской империи последнего периода. Государство обеспечивало протекционным тарифом некоторые отрасли промышленности, производящие потребительские товары, особенно текстильную промышленность. Но каждая европейская страна поступала так перед лицом ранней экономической мощи Великобритании. Действительно, в последних исследованиях начального периода промышленного роста Центральной и Западной Европы отмечены многие стороны развития, характерные для Центральной России: значение сельского хозяйства, постепенное нарастание темпов развития, устойчивость ремесленных промыслов и взаимосвязь мелкого и фабричного производства.[7] Развитие Центрального промышленного района также привело к созданию классических типов капиталистических предпринимателей — от перекупщика до владельца большой фабрики.

Возникновение нефтяной промышленности в Баку к середине 80-х гг. служит еще одним примером действия фактора автономного развития и взаимосвязанного с ним предпринимательства. Эта отрасль промышленности очень мало была обязана государству, по крайней мере как это понимается сторонниками теории государственного стимулирования индустриализации.[8] Унаследовав привилегированные права в 1813 г., царское правительство чередовало систему монопольных контрактов с государственной эксплуатацией бакинских нефтяных скважин. Ре-

зультаты были неудовлетворительными, и, несмотря на большие пошлины, поставки из США обеспечивали от 80 до 90 % быстро растущего спроса на керосин между 1869 и 1872 гг. В этих условиях под давлением деловых людей и технических экспертов был проведен ряд государственных исследований, установивших, что свободное предпринимательство может вывести нефтедобычу из состояния застоя. Поэтому в 1872 г. государство сдало с аукциона частным предприятиям в аренду бакинские нефтяные земли. Новые владельцы немедленно ввели американские методы бурения, забили нефтяные фонтаны, и цена нефти упала на 95 %. В течение года 80 примитивных нефтеперерабатывающих заводов производили керосин и отправляли его в деревянных бочках в Центральную Россию.

Находясь в постоянной борьбе с конкурентами, нефтяная промышленность Баку к 1882 г. вытеснила американский керосин с внутреннего рынка. Потребительский спрос вырос быстро от 2.2 млн. пудов американского керосина в 1872 г. до 12.4 млн. пудов русского керосина в 1882 г. Оживление частного предпринимательства в добыче и переработке нефти имело несколько источников, и эта промышленность сохраняла высокую конкурентоспособность, поскольку правительство до середины 80-х гг. проводило политику свободного рынка. Наконец, появление товарищества Бр. Нобель как ведущей компании в этой отрасли также явилось результатом роста подобных компаний в США и Европе. Людвиг Нобель, обрусевший швед и владелец фабрики в Петербурге, основал очень большую фирму с несколькими отделениями, которая использовала передовую технологию, производила комплексные операции и имела сложную систему сбыта.[9]

Что касается фактора государственного стимулирования развития экономики, следует отметить, что в середине 80-х гг. действие этого фактора особо ощущалось в тяжелой промышленности Петербурга. Машиностроение и металлообработка продолжали быстро развиваться. Многие большие заводы Петербурга финансировались государством для выполнения военных заказов. Как показывает история семьи Нобелей, машиностроение и военная промышленность были тесно связаны. Старший Нобель приехал в Россию из Швеции в качестве изобретателя и производителя военно-морских мин. Его сын Людвиг остался в Петербурге, чтобы управлять обанкротившимся предприятием своего отца. В конечном итоге сын сделал состояние на производстве артиллерийских снарядов и винтовок, а также продукции машиностроения. В Петербурге была также сильно развита связанная с государством промышленность железнодорожного оборудования. В целом в 80-х гг. в Петербурге росла металлообрабатывающая промышленность, в то время как производство текстиля находилось в относительном упадке и перемещалось в Центральный район.

Прекрасным примером прочной связи между тяжелой промышленностью Петербурга и политикой правительства может

служить черная металлургия. В 80-е гг. более тонкая тарифная политика правительства способствовала созданию обрабатывающей промышленности в Петербурге, которая обрабатывала импортный чугун и тем самым уменьшала зависимость от импортной стали и некачественной продукции Урала.[10] Эта попытка заменить импортную продукцию отечественной подготовила деятелей, проводивших эту политику, к более честолюбивым замыслам в этом направлении во времена Витте.

Таким образом, к середине 80-х гг. обозначились два фактора экономического развития, представленные двумя типами предприятий, которые имели своими центрами соответственно Москву и Петербург. В Центральном районе предпринимательство находилось в основном в руках русских (или обрусевших) капиталистов, которые сосредоточили свои усилия на отраслях, производивших потребительские товары, и в основном не зависели от государственной политики и государственных заказов. Текстильная промышленность имела решающее значение, но рост нефтяной промышленности Баку показывает, что успешное экономическое развитие, основанное на потребительском спросе и на конкуренции на рынке, происходило и в других районах. В Петербурге, напротив, господствовал фактор государственного стимулирования экономического развития, который действовал в военной, транспортной и металлургической промышленности.

Обсуждение вопроса о соотношении экономического развития и регионального предпринимательства после 1885 г. следует начать с рассмотрения некоторых статистических данных. Тщательное изучение национального дохода России, проведенное Полем Грегори, дает нам многие из основных показателей. Грегори сделал вывод, что рост национального дохода в целом за годы промышленного подъема (1885—1913) составлял 3.25 % в год, а рост национального дохода на душу населения составлял 1.75 % в год. Таким образом, в конце XIX—начале XX в. Россия была одной из быстро развивающихся стран, подобно Соединенным Штатам, Японии и Швеции. Но в России также быстро росло население, и поэтому рост доходов на душу населения был только средним. Грегори также заключил, что сельское хозяйство в России находилось в лучшем состоянии, чем обычно считали ученые, и что относительно высокий уровень капиталовложений происходил не за счет крестьянства. Напротив, бóльшая часть капиталовложений шла за счет иностранного капитала, который финансировал половину роста инвестиций между 1885 и 1913 гг. Важное значение иностранного капитала свидетельствует об «открытом» характере экономики царской России, которая входила в мировое экономическое сообщество и в основном следовала за тенденциями мировой экономики.[11]

Соотнося довольно успешную макроэкономическую деятельность открытой экономики царской России с темой настоящего исследования, можно заключить, что промышленное производство сильно возросло с 1885 по 1889 г. Согласно Гершенкрону,

темпы роста промышленной продукции составляли в среднем 6.1 % в год за 1885—1889 гг. и 8.03 % в 90-е гг. и возросли до 9 % в годы экономического бума (1894—1899). Затем депрессия и революция тяжело сказались на экономике. Так, валовый рост промышленной продукции сократился в среднем до 1.45 % за 1900—1906-е гг., затем достиг среднего уровня 6.25 % за 1906—1913 гг. и вырос до 7.5 % за 1910—1913-е гг. Средний показатель роста промышленной продукции за годы промышленного подъема (1885—1913 гг.) составил 5.72 %.[12]

Третье важное статистическое исследование сравнивает деятельность различных промышленных отраслей между 1896 и 1910 гг. Это позволяет резко выделить подъем в конце 90-х гг., показывая, что он был основан на очень быстром росте тяжелой промышленности (металлургии, нефтяной и химической промышленности), в то время как отрасли, производящие потребительские товары, в эти годы развивались довольно медленно.[13]

В конце 90-х гг. взаимосвязь ускорения промышленного роста вообще и роста тяжелой промышленности в частности была обусловлена быстрым развитием нового Южного промышленного района с конца 80-х гг. Новый район обогнал отживавшую свой век черную металлургию Урала, а созданную в Петербурге в 60-70-е гг. обрабатывающую промышленность превзошел как устаревшую. Таким образом, на юге, после того как Джон Юз основал свои чугуноплавильные заводы в 1870 г., в 1880 г. производилось 5 % чугуна Российской империи, в 1890 г. 28 %, а в 1900 г.—58 %. На Урале производство чугуна снизилось с 79 % в 1880 г. до 58 % в 1890 г. и до 32 % в 1900 г., тогда как в целом производство чугуна в империи увеличилось за эти 20 лет примерно в 7 раз. Пропорционально этому возрастал выпуск стали и готовых изделий в Южном промышленном районе и таким же образом уменьшался на Урале; быстрее шло относительное сокращение данного производства в районе Петербурга. Стимулируя добычу донбасского угля, которая в 90-е гг. увеличилась более чем в 3.5 раза, металлургическая промышленность Южного района также во многом способствовала повышению качества этой продукции. Производство кокса для сталелитейных заводов только с 1897 по 1900 г. почти утроилось в объеме.[14]

Рост современной сталелитейной промышленности в Южном промышленном районе был самым драматическим и самым важным изменением в промышленности последнего периода Российской империи. Это был единственный новый промышленный район после подъема Бакинского района. Он вывел Россию на пятое место среди мировых производителей стали.

Изученное с разных точек зрения советскими учеными развитие Южного промышленного района в 90-е гг. обычно рассматривалось западными исследователями как запланированное следствие правительственной политики и как выдающийся пример успешного действия фактора государственного стимулиро-

вания. Так, «система Витте» щедро субсидировала многообещающих производителей на юге и делала крупные заказы на рельсы за высокую цену. Эта помощь в дополнение к высоким протекционистским тарифам привела к созданию современных металлургических заводов ради преследующего честолюбивые цели государственного строительства железных дорог. Усиленное налогообложение крестьянства вместе с иностранными займами предоставляло необходимый для этого капитал.[15]

Допуская, что «система Витте» явилась апогеем стимулированного государством экономического развития в XIX в., тем не менее важно отметить, что, во-первых, государство играло незначительную роль в качестве промышленного производителя и руководителя в 90-е гг. За исключением железных дорог, являвшихся собственностью государства, почти вся промышленность находилась в частных руках и рост промышленного производства происходил за счет частных предприятий. Во-вторых, частные компании в тяжелой промышленности действовали в системе относительно свободного рынка, где новые конкуренты могли участвовать в соревновании, где свободно нанималась рабочая сила и где свободно устанавливались цены. В-третьих, в сталелитейной промышленности, решающей для экономики, по мере ее развития ясно обозначилась эволюция в направлении меньшей поддержки со стороны государства. Знаменитые крупные заказы на поставку рельсов по высокой цене с целью привлечения фирмы Юза, предоставлявшиеся впоследствии и другим фирмам, не распространялись на компании, основанные в конце 90-х гг.[16]

Более того, крупные современные предприятия, созданные в Южном районе, были вполне сопоставимы с аналогичными предприятиями в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Во-первых, там была сложная технология, соответствовавшая международному уровню. Крупные сталелитейные компании, которые задавали темп развитию района, представляли собой комплексы, состоявшие из нескольких отделений, координировавшие выпуск различной продукции. Угольные компании, начавшие или значительно развернувшие свою деятельность в 90-е гг., также использовали передовую технологию, хотя многие действовали в рамках одного отделения, как и в других странах.[17] Во-вторых, финансовая структура была в равной степени передовой. Почти все крупные сталелитейные и угольные компании 90-х гг. были акционерными обществами, которые получали необходимые крупные инвестиции через организованные рынки капитала. В-третьих, этим крупным компаниям было присуще стремление к монополии (в техническом значении этого термина), и крупные размеры производства каждой фирмы неизбежно сказывались на ценах производимых ими товаров. Все три характерные черты были типичны для ведущих индустриальных стран в отраслях промышленности, в которых господствовали крупные компании.

Четвертая характерная черта — подавляющее господство иностранного капитала в тяжелой промышленности Юга — отличала Россию от других передовых стран, в которых в основном преобладал местный, национальный капитал. Среди крупных сталепроизводителей только Общество Брянского чугунолитейного завода было традиционно русским, хотя в 1899 г. бóльшая часть его капиталов перешла к Франции. В более традиционной угольной промышленности доля иностранного капитала была меньше, хотя ряд компаний (как, например, Общество Рыковской каменноугольной промышленности) в 90-е гг. были куплены иностранцами. Абсолютное господство иностранного капитала на Юге было отражением иностранного руководства в этих отраслях промышленности по всей империи.

Развитие нового промышленного района ознаменовало возникновение южной группы предпринимателей.[18] Хотя этот вопрос нуждается в дальнейшем уточнении, можно отметить, что отличительной чертой данной группы было то, что ее возглавляли наемные управляющие. Таким образом, управление этими крупными компаниями на Юге России следовало более широким тенденциям конца века и становилось более профессиональным; разделились функции управляющего и собственника. Многие высокопоставленные управляющие были профессиональными инженерами. Они получали высокую плату и премии и не всегда являлись совладельцами компании. Многие управляющие были иностранными инженерами, особенно в 90-е гг.

Хорошо работали поляки вместе с французами и бельгийцами. Большое значение имели также управляющие из евреев. Различное происхождение главных управляющих в тяжелой промышленности Юга говорит о возникновении системы меритократии, когда при подборе кадров предпочтение отдавалось профессиональным качествам, а не социальному происхождению.

Следует кратко отметить три другие характерные черты. Во-первых, начиная с создания Съезда горнопромышленников Юга России, компании и управляющие в новом районе имели сильную тенденцию к образованию профессиональных ассоциаций и групп для воздействия на правительство. Во-вторых, это стремление организоваться было естественным следствием сильного (прямого или косвенного) влияния государства на эти компании и их рынки. Во многих отношениях южные компании являлись продолжением зависимых от государства предприятий металлургической и военной промышленности Петербурга, которые усиливала южная группа предпринимателей. Наконец, только очень малое количество недавно созданных компаний получало действительно большие прибыли. Такие компании «перехватывали» прибыли у других иностранных капиталистов и создавали на Юге России классический бум (излишних) капиталовложений, бум, который выходил из рамок системы Витте и являлся закономерной составной частью ориентированного на рынок капиталистического развития.[19]

Резкое понижение, наступившее в торгово-промышленном цикле в конце 1899 г., стало поворотным моментом в развитии экономики последнего периода Российской империи. Следуя за международной тенденцией экономического спада по 1903 г., Российская империя оторвалась от общего направления, поскольку война и революция отрицательно сказались на ее экономическом положении. В результате экономических, а затем и политических неурядиц способность государства диктовать или стимулировать развитие экономики значительно уменьшилась. И постепенное оздоровление экономики, начавшееся в 1909 г., не подняло участие государства в экономике на уровень 90-х гг.

Эти факторы оказали сильное влияние на тяжелую промышленность. Во-первых, спад 1900—1903 гг. нанес тяжелый удар по крупным, капиталоемким производствам. Цены на продукцию 98 промышленных корпораций в России, в первую очередь в металлургии и в угольной промышленности, упали на 59 % с середины октября 1899 г. до середины октября 1901 г.[20] В течение промышленного кризиса многие компании в тяжелой промышленности понесли большие убытки и вынуждены были потратить часть своего капитала на болезненную реорганизацию между 1901 и 1908 гг.[21] Более всего пострадали иностранные предприниматели и вкладчики, поскольку в 90-е гг. они были в первых рядах. Объединившиеся с ними русские предприниматели понесли огромные потери. Так, тесно связанные между собой южные и петербургские группы предпринимателей и их иностранные партнеры сильно пострадали от кризиса. Только после 1909 г. они действительно обрели долю оптимизма и финансовой мощи конца 90-х гг.

Во-вторых, после 1900 г. падение цен на уголь и сталь и исчезновение прибылей вызвали опасения у некоторых деловых иностранцев в том, что стимулируемое государством вложение иностранного капитала в тяжелую промышленность может завершиться рядом банкротств, спровоцированных государством, и почти неприкрытых экспроприаций. Острый спор, разгоревшийся вокруг Общества Брянского завода и злополучного, субсидируемого им Общества Керченских металлургических заводов, выдвинул эти опасения на первый план. Сам Витте очень заинтересовался этим делом, связанным с внешнеполитическими проблемами. Он вынудил французских банкиров разорвать все связи между двумя компаниями и разорить Керченское общество, назначив такую цену за спасение «русского» Брянского Общества с помощью дополнительных ссуд Государственного банка. Так Витте использовал Общество Керченских металлургических заводов в качестве живого урока с целью подтвердить решимость русского правительства регулировать и направлять иностранное предпринимательство.[22]

Именно с учетом двух обстоятельств — глубокого кризиса в тяжелой промышленности и государственного регулирования деятельности иностранных капиталов — следует рассматривать

вопрос о синдикатах. Продамета и Продуголь, самые знаменитые из этих синдикатов, были организованы как акционерные общества для централизованного сбыта товаров, производимых членами общества. Созданные для ограничения производства, распределения рыночных квот и поднятия цен, эти организации южных предпринимателей, направленные против конкуренции, были явно смоделированы по образцу немецких картелей. Они также представляли разумное решение проблемы падения спроса и избыточных производственных мощностей в капиталоемких отраслях промышленности.

Будучи безусловно выгодными для предпринимателей и для правительства, которое хотело дальнейшего притока иностранного капитала, эти картели почти не нанесли вреда потребителям. В хорошо информированном филиале французской фирмы Crédit Lyonnais в Петербурге подсчитали, что металлургический картель поднял цены примерно на 10 % к 1904 г. по сравнению с низкими ценами 1901 г., в то время как угольный картель поднял цены на 5 %. Однако эти скромные повышения цен приостановили финансовый упадок и спасли несколько компаний от банкротства и реорганизации.[23] Успех ведущих картелей привел к появлению подобных организаций в других отраслях промышленности.

Отметим еще три момента относительно довоенных картелей. Во-первых, формирование картелей в тяжелой промышленности можно рассматривать как показатель слабости, а не силы. В конце XIX в. и в XX в. уровень прибыли в легкой промышленности был постоянно выше, чем в тяжелой промышленности, и картели пытались бороться с этой неудовлетворительной ситуацией.[24] Во-вторых, избегая свободной конкуренции и позволяя выживать более слабым компаниям, картели ограничивали стремление к большей концентрации промышленного капитала, что могло привести к более высоким ценам. Наконец, бум капиталовложений в русскую тяжелую промышленность в предвоенные годы показывает, что картели, направленные против конкуренции, не были несовместимы с быстрым экономическим ростом.

Какой бы ни была интерпретация развития картелей в России, они явились важным фактором происходившей в то время организации промышленников в группу, имевшую голос и влияние. Эта организация, вероятно, послужила некоторому слиянию основных элементов южной и петербургской групп предпринимателей, которые сталкивались со сходными проблемами и возможностями в отраслях промышленности, все еще испытывавших сильное влияние правительства. Обе эти группы в свою очередь были тесно связаны с большими коммерческими банками Петербурга между 1910 и 1914 гг. Эти банки создавали фонды для промышленности, поскольку они координировали поступления иностранного капитала, отечественные сбережения и уровень цен на бирже. Так, директора крупнейших банков

Резкое понижение, наступившее в торгово-промышленном цикле в конце 1899 г., стало поворотным моментом в развитии экономики последнего периода Российской империи. Следуя за международной тенденцией экономического спада по 1903 г., Российская империя оторвалась от общего направления, поскольку война и революция отрицательно сказались на ее экономическом положении. В результате экономических, а затем и политических неурядиц способность государства диктовать или стимулировать развитие экономики значительно уменьшилась. И постепенное оздоровление экономики, начавшееся в 1909 г., не подняло участие государства в экономике на уровень 90-х гг.

Эти факторы оказали сильное влияние на тяжелую промышленность. Во-первых, спад 1900—1903 гг. нанес тяжелый удар по крупным, капиталоемким производствам. Цены на продукцию 98 промышленных корпораций в России, в первую очередь в металлургии и в угольной промышленности, упали на 59 % с середины октября 1899 г. до середины октября 1901 г.[20] В течение промышленного кризиса многие компании в тяжелой промышленности понесли большие убытки и вынуждены были потратить часть своего капитала на болезненную реорганизацию между 1901 и 1908 гг.[21] Более всего пострадали иностранные предприниматели и вкладчики, поскольку в 90-е гг. они были в первых рядах. Объединившиеся с ними русские предприниматели понесли огромные потери. Так, тесно связанные между собой южные и петербургские группы предпринимателей и их иностранные партнеры сильно пострадали от кризиса. Только после 1909 г. они действительно обрели долю оптимизма и финансовой мощи конца 90-х гг.

Во-вторых, после 1900 г. падение цен на уголь и сталь и исчезновение прибылей вызвали опасения у некоторых деловых иностранцев в том, что стимулируемое государством вложение иностранного капитала в тяжелую промышленность может завершиться рядом банкротств, спровоцированных государством, и почти неприкрытых экспроприаций. Острый спор, разгоревшийся вокруг Общества Брянского завода и злополучного, субсидируемого им Общества Керченских металлургических заводов, выдвинул эти опасения на первый план. Сам Витте очень заинтересовался этим делом, связанным с внешнеполитическими проблемами. Он вынудил французских банкиров разорвать все связи между двумя компаниями и разорить Керченское общество, назначив такую цену за спасение «русского» Брянского Общества с помощью дополнительных ссуд Государственного банка. Так Витте использовал Общество Керченских металлургических заводов в качестве живого урока с целью подтвердить решимость русского правительства регулировать и направлять иностранное предпринимательство.[22]

Именно с учетом двух обстоятельств — глубокого кризиса в тяжелой промышленности и государственного регулирования деятельности иностранных капиталов — следует рассматривать

вопрос о синдикатах. Продамета и Продуголь, самые знаменитые из этих синдикатов, были организованы как акционерные общества для централизованного сбыта товаров, производимых членами общества. Созданные для ограничения производства, распределения рыночных квот и поднятия цен, эти организации южных предпринимателей, направленные против конкуренции, были явно смоделированы по образцу немецких картелей. Они также представляли разумное решение проблемы падения спроса и избыточных производственных мощностей в капиталоемких отраслях промышленности.

Будучи безусловно выгодными для предпринимателей и для правительства, которое хотело дальнейшего притока иностранного капитала, эти картели почти не нанесли вреда потребителям. В хорошо информированном филиале французской фирмы Crédit Lyonnais в Петербурге подсчитали, что металлургический картель поднял цены примерно на 10 % к 1904 г. по сравнению с низкими ценами 1901 г., в то время как угольный картель поднял цены на 5 %. Однако эти скромные повышения цен приостановили финансовый упадок и спасли несколько компаний от банкротства и реорганизации.[23] Успех ведущих картелей привел к появлению подобных организаций в других отраслях промышленности.

Отметим еще три момента относительно довоенных картелей. Во-первых, формирование картелей в тяжелой промышленности можно рассматривать как показатель слабости, а не силы. В конце XIX в. и в XX в. уровень прибыли в легкой промышленности был постоянно выше, чем в тяжелой промышленности, и картели пытались бороться с этой неудовлетворительной ситуацией.[24] Во-вторых, избегая свободной конкуренции и позволяя выживать более слабым компаниям, картели ограничивали стремление к большей концентрации промышленного капитала, что могло привести к более высоким ценам. Наконец, бум капиталовложений в русскую тяжелую промышленность в предвоенные годы показывает, что картели, направленные против конкуренции, не были несовместимы с быстрым экономическим ростом.

Какой бы ни была интерпретация развития картелей в России, они явились важным фактором происходившей в то время организации промышленников в группу, имевшую голос и влияние. Эта организация, вероятно, послужила некоторому слиянию основных элементов южной и петербургской групп предпринимателей, которые сталкивались со сходными проблемами и возможностями в отраслях промышленности, все еще испытывавших сильное влияние правительства. Обе эти группы в свою очередь были тесно связаны с большими коммерческими банками Петербурга между 1910 и 1914 гг. Эти банки создавали фонды для промышленности, поскольку они координировали поступления иностранного капитала, отечественные сбережения и уровень цен на бирже. Так, директора крупнейших банков

Петербурга способствовали капиталовложениям в годы предвоенного бума в тяжелой промышленности и направляли их, так же как русское государство и иностранные предприниматели способствовали буму 90-х гг. и направляли его. Русская модель развития тяжелой промышленности приблизилась в эти годы к немецкой модели.[25]

В данном исследовании, как и в большинстве исследований эпохи индустриализации, большое внимание уделено тяжелой промышленности и ее предпринимателям. Несмотря на это, имеются веские основания полагать, что фактор автономного развития, связанный с группой предпринимателей Центрального района, оставался сильным и очень важным фактором с конца 1890-х гг. по 1914 г.

Во-первых, в 1913 г. производство потребительских товаров превышало продукцию тяжелой промышленности. Около половины промышленной продукции составляли текстиль и пищевые продукты, что вдвое превышало выпуск продукции горной промышленности, металлургии и машиностроения, вместе взятых. Легкая промышленность в среднем развивалась примерно так же быстро, как и тяжелая промышленность. Тяжелая промышленность росла намного быстрее в конце 90-х гг., а легкая промышленность росла быстрее с 1900 по 1910 г., что в целом ограничило воздействие металлургического кризиса и отражало устойчивость потребительского сектора.[26]

Во-вторых, уровень прибыли в легкой промышленности был на протяжении последних десятилетий XIX в. и в начале XX в. постоянно выше, чем в тяжелой промышленности. В 1900—1910 гг., в трудное для тяжелой промышленности время, среднегодовые прибыли московской текстильной промышленности были в 5 раз выше, чем в металлургии Юга, и в 14 раз выше, чем в угольной промышленности Донбасса.[27]

В-третьих, высокий уровень оборота и амортизации способствовал росту преимущественно семейного дела в текстильной и пищевой промышленности путем реинвестиции прибылей и сохранению тем самым большой доли независимости от коммерческих банков и друг от друга. Солидная прибыль и независимость могут объяснить, почему попытки основать картели в текстильной промышленности (и в других отраслях легкой промышленности) достигли немногого. Текстильная промышленность оставалась разобщенной, и конкуренция между двумя основными центрами — Москвой и Иваново — была напряженной. Как экономическая сила и конкуренция потребительских отраслей промышленности влияли на политические и социальные стремления предпринимателей Центрального промышленного района — вопрос, достойный внимания, хотя в данной работе мы не сможем его осветить.

Наконец, существуют примеры мощной стихии рынка и разумной реакции предпринимателей в других потребительских областях. В нефтяной промышленности государство затормози-

ло строительство всех линий нефтепровода через Кавказ в 80-е гг., тем самым ограничивая доступ иностранных потребителей к русскому керосину. Более того, государство обложило большими налогами потребление отечественного керосина в 1887 и 1892 гг. Эти действия плохо согласуются с тезисом о руководящей роли государства в индустриализации.[28] Однако, деформировав иностранный и внутренний спрос на ламповое масло, государство только дало иное направление частной инициативе и мощным силам рынка. Нефтеперерабатывающие заводы переориентировали производство с медленно реализуемого керосина на нефтяные остатки. Эти остатки эффективно отправлялись из Баку танкерами и баржами в рамках крупнооптовой торговли и стали предпочитаемым видом горючего в Центральном промышленном районе в 90-е гг. Так, сварливые, но энергичные бакинские предприниматели разумно прореагировали на изменение рынка, и Россия стала во главе мировых потребителей нефти как источника энергии.[29]

Производство и продажа швейных машин американской компанией «Зингер» являются другим примером действия фактора автономного развития и сил рынка. После успешного ввоза своей продукции в Россию в 1896 г. компания начала строить большую фабрику в Подольске. Третья, подольская фабрика «Зингер» (наряду с фабриками этой компании в Нью Джерси и в Шотландии) в конечном итоге дала работу 5000 русских рабочих. В 1914 г. там производилось около 680 000 швейных машин, что составляло 30 % сбыта зингеровской продукции в мире, и были получены очень солидные прибыли. Применяя ту же технологию, что и в Соединенных Штатах и в Шотландии, «Зингер» использовал те же методы торговли и в Российской империи. Компания продавала свою продукцию в кредит на русском массовом рынке через сеть коммивояжеров, которыми руководили местные и региональные управляющие.[30]

Итак, развитие экономики в последний период Российской империи часто рассматривалось как результат действия государства и как нечто непохожее на то, что происходило в других европейских странах в XIX в. Однако последние исследования советских и западных ученых, выявившие сложность правительственной политики и разнообразие предпринимательства, говорят о преувеличении особого характера экономического развития России до 1914 г. Фактор автономного развития, основанный на рыночной стихии и на потребительском спросе, проявил значительную жизнеспособность. Предприниматели, особенно в Центральном промышленном районе, действенно реагировали на возможности рыночной конкуренции, где государство играло лишь ограниченную роль. Более того, развитие тяжелой промышленности в последний период Российской империи было само по себе более сложным и более связанным с международной рыночной стихией, чем это обычно осознается. Безусловно, государство стимулировало такой тип развития, центром кото-

рого к 80-м гг. стал Петербург. Но именно современное корпоративное предпринимательство планировало, строило, управляло и образовывало картели из больших, состоящих из нескольких отделений сталелитейных заводов в Южном промышленном районе, которые лежали в основе промышленного прорыва 90-х гг.

Быстрое расширение тяжелой промышленности в Южном районе также усилило группу предпринимателей Петербурга, которая сохраняла тесные связи с государством и которая составляла резкий контраст с предпринимателями Центрального района, ориентированными на потребителя.

[1] Gerschenkron A. Economic Backwardness in Comparative Perspective: A book of Essays. Cambridge, Mass., 1962.

[2] См. особенно: The Pattern of Industrialization in Russia, 1700—1914// Crisp O. Studies in the Russian Economy Before 1914. London, 1976. P. 4—54; Guroff G., Carstensen F. eds. Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union. Princeton, 1983. P. 347—360.

[3] Blackwell W. The Old Believers and the Rise of Private Industrial Enterprise in Early Nineteenth-Century Moscow//Slavic Review. 1965. V. 24. P. 407—424; Owen T. Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants. 1855—1905. Cambridge (England), 1981. P. 20—59; McKay J. Pioneers For Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization. 1885—1913. Chicago, 1970; Kahan A. Notes on Jewish Entrepreneurship in Tsarist Russia//Guroff G., Carstensen F. eds. Entrepreneurship. P. 125—139; Rauber U. Schweizer Industrie in Russland. Zurich, 1985; Kirchner W. Die Deutsche Industrie and die Industrialisierung Russlands. 1815—1914. St. Katharinen, 1986.

[4] Напр.: Кризис самодержавия в России. 1895—1917 гг. Л., 1984. С. 30—45; Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия в 1904—1914 гг.: проблемы торгово-промышленной политики. Л., 1987.

[5] Лившиц Р. С. Размещение промышленности в дореволюционной России. М., 1955. С. 150.

[6] Rieber A. Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia. Chapel Hill (N. C.), 1982. P. 133—178; Ruckmann J. The Moscow Business Elite: A Social and Cultural Portrait of Two Generations. 1840—1905. DeKalb Ill. 1984. P. 6—14.

[7] Gutman M. Toward the Modern Economy: Early Industry in Europe. 1500—1800. New York, 1988; Goodman J., Honeyman K. Gainful Pursuits: The Making of Industrial Europe. 1600—1914. London, 1988.

[8] McKay J. Entrepreneurship and the Emergence of the Russian Petroleum Industry. 1813—1983. // Research in Economic History. 1983. V. 8. P. 47—91.

[9] Idem. P. 61—76; Chandler A. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Cambridge (Mass.), 1977.

[10] Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. 1861—1882 годы. М., 1960. С.101—269.

[11] Gregory P. Russian National Income. 1885—1913. Cambridge (England), 1982. P. 192—194; Шепелев Л. Е. Указ. соч. Р. 16—17.

[12] Gerschenkron A. The Rate of Growth of Industrial Production in Russia since 1885 // Journal of Economic History. 1947. 7 Supplement. P. 149.

[13] Бовыкин В. И. Динамика промышленного производства в России (1896—1910 гг.) // История СССР. 1983. № 3. С. 20—52.

[14] Там же. С. 36—37; Лившиц Р. С. Указ. соч. С. 170—171, 174—175.

[15] Laue von T. Sergei Witte and the Industrialization of Russia. New York, 1963; Gerschenkron A. Economic Backwardness.

[16] См.: McKay J. Pioneers for Profit. P. 3—12. См. также замечания Ольги Крисп: Studies in the Russian Economy. P. 192—193.

[17] Idid. P. 112—157.

[18] Rieber A. Merchants and Entrepreneurs. P. 219—243.

[19] См.: McKay J. Pioneers for Profit; Бовыкин В. И.: 1) Формирование финансового капитала в России, конец XIX в.—1908 г. М., 1984; 2) Зарождение финансового капитала в России. М., 1967.

[20] Финн-Енотаевский А. Капитализм в России. 1890—1917 гг. М., 1925. Т.1. С.95. См. также: Gatrell P. Tsarist Economy 1890—1917. London, 1986. P. 167—173.

[21] Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала. С. 121—124; McKay J. Pioneers for Profit. P. 228—232.

[22] Ibid. P. 281—282; McKay J. Foreign Businessmen, the Tsarist Government and the Briansk Company // Journal of European Economic History. 1973. V. 2. P. 273—293; Гиндин И. Ф. Неуставные ссуды Государственного банка и экономическая политика царского правительства // Исторические записки. 1950. Т. 35. С. 107—112.

[23] McKay J. Pioneers for Profit. P. 283. См. также: Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала. С. 194—238; Шепелев Л. Е. Указ. соч. С. 230—244.

[24] Gatrell P. Op. cit. P. 210—211.

[25] Gerschenkron A. Economic Backwardness. P. 136—146; Crisp O. Russia, 1860—1914 // Cameron R. et al. Banking in the Early Stages of Industrialization. New York, 1967. P. 225—228; McKay J. Pioneers for Profit. P. 232—241.

[26] Gatrell P. Op. cit. P. 144; Лившиц Р. С. Указ. соч. С. 201—203; Бовыкин В. И. Динамика... С. 31.

[27] Гиндин И. Ф.: 1) Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности // История СССР. 1963. № 2. С .57—80; № 3. С. 37—60; 2) Социально-экономические итоги развития российского капитализма и предпосылки революции в нашей стране // Свержение самодержавия. М., 1970. С. 47. В цитировании и интерпретации Gatrell P. Op. cit. P. 210.

[28] McKay J. Baku Oil and Transcaucasian Pipelines. 1883—1891: A Study in Tsarist Economic Policy // Slavic Review. 1984. V. 43. P. 605—623.

[29] McKay J. Restructuring of the Russian Petroleum Industry in the 1890-s; Government Policy and Market Forses // Economy and Society: Russia 1860—1930. Essays for Olga Crisp/Ed.by Edmonson L. London (в печати).

[30] Carstensen F. American Enterprise in Foreign Markets: Studies of Singer and International Harvesten in Imperial Russia. Chapel Hill. 1984. P. 1—103, 225—234.

Л. Е. Шепелев

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАБОЧИЙ ВОПРОС В РОССИИ В 1904—1914 гг.

Вряд ли подлежит сомнению, что положение рабочего класса и его борьба не могут быть вполне поняты без учета обстоятельств, их обусловливающих, в особенности без учета состояния промышленности, программ ее развития, курса экономической политики правительства и предпринимателей, степени организованности и общественного влияния буржуазии. Вместе с тем и изучение развития промышленности не может быть вполне эффективно, если не принимается в расчет проблема рабочей силы (в широком плане). Попытаемся выяснить основные линии зависимости этих явлений (развития промышленности и экономических условий труда и быта рабочих) в России 1904—1914 гг.

Революционными событиями 1905 г. эти проблемы были выдвинуты на первый план политической жизни того времени. Модернизация рабочего законодательства признавалась важной прежде всего как средство борьбы с революционным движением. Проблема перспектив промышленного развития актуализировалась в связи с тем, что экономический кризис начала века не только поставил под сомнение прежнюю концепцию правительственной политики, но и ввел промышленность в состояние длительной депрессии. Между тем объявленный созыв Государственной думы делал будущую экономическую политику трудно предсказуемой. Промышленники предвидели, что их влияние в Думе будет незначительным, а отношение думского большинства к промышленности — по меньшей мере несочувственным.

Для консолидации «торгово-промышленного класса» и защиты интересов промышленности предпринимателями было предпринято создание всероссийской организации промышленников и торговцев — съездов представителей промышленности и торговли. Когда выяснилось, что предвидения относительно Государственной думы оправдались, съездовская организация и ее постояннодействующий орган — Совет съездов — были превращены в органы влияния на Думу и на правительство (прежде всего на созданное в октябре 1905 г. Министерство торговли и промышленности).

По мнению промышленников и руководства торгово-промышленного ведомства, несмотря на весьма существенные успехи в развитии российской промышленности в конце XIX в., задача ее дальнейшего роста сохраняла свое значение. Обосновывалось это, с одной стороны, огромным и все возраставшим государственным значением промышленности, прежде всего — экономическим и военным (в экономическом отношении особенно важным признавалось: удовлетворение внутреннего спроса на изделия промышленности и сокращение их ввоза из-за границы, что должно было содействовать упрочению курса рубля; пополнение налоговых потребностей государства; способствование прогрессу сельского хозяйства; трудоустройство излишков сельского населения; последнее имело уже не только экономическое, но и социальное значение). С другой стороны, необходимость дальнейшего развития национальной промышленности обусловливалась тем, что достигнутый уровень промышленного развития был все еще недостаточным, поскольку он не обеспечивал успешной конкуренции с промышленностью других — передовых в промышленном отношении — стран и, следовательно, не гарантировал прочности этого развития.

Поскольку задача развития промышленности сохранялась, оставались неизменными основы торгово-промышленной политики и прежде всего система таможенного покровительства. Как и в 1890-е гг., это покровительство дополнялось привлечением в страну иностранного капитала, поскольку внутренний денежный рынок был не в состоянии полностью удовлетворить

нужды промышленности в финансировании. Необходимым условием и привлечения иностранного капитала, и развития внутреннего кредита являлось упрочение курса рубля, что было в основном достигнуто к концу 1907 г. Новые важные элементы торгово-промышленной политики царского правительства в 1904—1914 гг. — отказ от прямого форсирования государством развития промышленности, усиление внимания к аграрному сектору экономики и попытка решить рабочий вопрос на новом уровне. Политика форсирования, под которой понималось всестороннее содействие (административное и материальное) скорейшему возникновению новых и расширению деятельности уже существующих промышленных предприятий, была осуждена, как послужившая одной из причин кризиса начала XX в. Считалось вместе с тем, что при уровне промышленного производства, достигнутом к кануну революции 1905—1907 гг., и ожидавшейся в связи с ней отмене правовых препонов на пути промышленного развития (что не оправдалось) форсирование оказывалось попросту излишним.

Система таможенного покровительства развитию промышленности всегда тяжелым бременем ложилась на население страны, обрекая его на необходимость приобретать изделия национальной промышленности по более высоким ценам, чем сложившиеся на мировом рынке. Как скоро развитие национальной промышленности приведет к возникновению внутренней конкуренции и снижению цен до уровня мировых, зависело от того, насколько благоприятны были для такого развития экономические и правовые условия в стране. В России эти условия оказывались в большинстве случаев неблагоприятными, главным образом вследствие как низкого и неустойчивого спроса на промышленную продукцию со стороны аграрного рынка, во многом зависевшего от урожая, так и правовой необеспеченности торгово-промышленной деятельности (либо отсутствие твердых норм закона, либо их архаичность, либо наличие разного рода ограничений).

Устранение затруднений экономического характера было если и возможно, то лишь в более или менее отдаленном будущем. Поэтому на первый план чаще всего выступали правовые проблемы. Управляющий Отделом промышленности Министерства торговли и промышленности В. П. Литвинов-Фалинский признавал, что «хозяйственная деятельность» в России «встречает ряд стеснений и затруднений, мелочно опутывающих всякую предприимчивость...», что «особенно ощутимо для мелкой, но зато многочисленной предприимчивости».[1] Однако проведение последовательно буржуазного законодательства в сфере промышленности противоречило политике царизма в других областях. Подход к решению проблем торгово-промышленной политики был различен у разных ведомств царского правительства. Коротко говоря, торгово-промышленное ведомство полагало, что раз развитие промышленности признано необ-

ходимым, препятствия с ее пути должны быть устранены, тем более что таможенное покровительство обходилось стране дорого. Противники такого подхода к проблеме считали, наоборот, что система таможенного покровительства призвана сама по себе обеспечить развитие промышленности (затем, де, и была введена) при сохранении в неизменности сложившихся правовых норм и экономических отношений.

Решение конкретных вопросов экономической политики осуществлялось в обстановке острой борьбы в правительственных верхах.

Поскольку условия торгово-промышленной деятельности в России оставались в целом неблагоприятными, оставалось лишь одно средство — дополнительно стимулировать развитие национальной промышленности, а именно: компенсировать трудности предпринимательской деятельности повышенной доходностью. Достигалось это разными способами: выгодными казенными заказами, монополизацией промышленности, высоким уровнем эксплуатации рабочих и т. п. Ясно, что сама возможность проведения такой политики зависела от уровня таможенного покровительства — защиты российского рынка от ввоза промышленных изделий из других стран.

Такая торгово-промышленная политика (и экономическая политика вообще) в целом обеспечивала по крайней мере минимум условий для развития промышленности. Успехи этого развития накануне первой мировой войны, сопровождавшиеся приливом иностранного капитала, — тому свидетельство. Но это был худший из возможных путей, который обеспечивал лишь сравнительно медленные темпы развития и не гарантировал устойчивости политики (чему придавалось большое значение), он был дорог для потребителей и особенно тяжел для рабочих (о чем нам еще предстоит говорить).

Официально признанной общеправительственной программы торгово-промышленного развития, рассчитанной на перспективу, не существовало. Но желательные меры содействия этому развитию были известны и большей частью даже согласованы между Министерством торговли и промышленности и Советом съездов представителей промышленности и торговли. Однако возможность проведения их через Совет министров в Государственную думу представлялась сомнительной.

После 1905 г. организационные возможности проведения политики по развитию промышленности и торговли не только не улучшились по сравнению с предшествующим периодом, но даже осложнились. С созданием Совета министров затруднилось проведение *ведомственной* торгово-промышленной политики. Прохождение дел через Думу значительно затягивало их решение. Очень затрудняло деятельность торгово-промышленного ведомства господство недоброжелательного отношения к промышленности в Думе и, отчасти, в правительстве.[2]

Власти должны были прислушиваться к голосу предпринимателей, поскольку достигнутый уровень промышленного развития придавал неоспоримую весомость их мнению. Важное же государственное значение промышленности требовало ее дальнейшего развития. При этом правительственные органы не обладали достаточными сведениями о состоянии и потребностях разных отраслей промышленности и вынуждены были во многом полагаться на информацию предпринимательских организаций.

В общем цели торгово-промышленной политики царизма и буржуазии совпадали: развитие отечественной промышленности до уровня, когда она могла бы удовлетворять потребности страны и успешно конкурировать с иностранной промышленностью на внутреннем рынке и, по возможности, на рынках стран Востока.

Стеснительность реальных условий торгово-промышленного развития, постоянная зависимость от усмотрения властей и отсутствие уверенности в долговременном сохранении предоставленных льгот — все это ставило под сомнение будущее такого развития, а потому не удовлетворяло предпринимателей. Между тем с каждым годом мощь промышленности увеличивалась, а вместе с тем возрастало экономическое могущество буржуазии.

Все расчеты на то, что России удастся достичь желаемой цели (такой уровень развития промышленности, когда не только будут удовлетворены потребности внутреннего рынка, но она сможет выдержать конкуренцию других промышленно развитых стран), основывались на наличии в стране огромных ресурсов рабочей силы. Выступая в Государственном совете в апреле 1912 г., бывший министр финансов С. Ю. Витте объяснял, что развитие промышленности в России определяется действием «двух живительных влияний» — протекционизма и аграрного перенаселения. Обилие рабочей силы давало возможность промышленникам работать при слабом техническом и энергетическом оснащении производства и держать низкий уровень заработной платы.[3] Поэтому выдвинутый революцией на первый план «рабочий вопрос» сразу же приобрел важнейшее значение не только в социально-политическом, но и в экономическом плане. От того, как он будет решен, во многом зависели судьбы промышленности, сроки достижения конечной цели ее развития. На Всероссийском съезде представителей промышленности и торговли в 1911 г. один из лидеров и главный теоретик Совета съездов В. В. Жуковский указывал: «Нам нужно рабочее законодательство. Оно важнее вопроса о таможенной политике... От этого зависит весь уклад нашей жизни».[4]

Экономические требования рабочих как в годы революции, так и позднее, даже если они в условиях того времени были невыполнимы, имели важное социальное значение. Объективно

они были направлены против того, чтобы развивать промышленность за счет рабочих, ценой их «физического и нравственного вырождения»,[5] и вынуждали предпринимателей, с одной стороны, технически модернизировать производство, а с другой — активизировать борьбу за свободу капиталистического развития промышленности. Действительно, в интересующий нас период «главный рост производства шел» не за счет возникновения новых заведений, а «путем концентрации и роста производства существующих предприятий», которые «пережили кризис» и были «лучше оборудованы». «Главный приток капиталов шел на расширение деятельности существующих предприятий». Рост «производительности рабочего труда» (имевший «несомненную тенденцию к увеличению») объяснялся «техническим прогрессом... заводов».[6]

И торгово-промышленное ведомство, и предприниматели считали, что рабочий вопрос выдвигается в качестве одного из важнейших не из-за того, что положение рабочих «с течением времени» ухудшается, и не потому, что оно хуже положения крестьян (преобладающей части населения страны), а только в результате того, «что требования справедливости и гуманности по отношению к низшим классам населения возрастают в гораздо большей степени, чем в какой улучшаются экономические и общественные условия их жизни». Вместе с тем улучшение материального и правового положения рабочих зависит не только от промышленников (и промышленности), но и от общей политической и экономической ситуации в стране. Наконец, в той мере, в какой это улучшение зависит от промышленников, оно должно быть увязано с целым комплексом демократических реформ, в частности освобождающих как промышленников, так и рабочих от правовых стеснений, что могло бы облегчить для промышленности реализацию необходимых мер.[7]

Царское правительство придерживалось противоположного мнения и стремилось «откупиться» от рабочего движения за счет предпринимателей. В соответствии с тем, как далеко предполагалось идти в этом направлении, в правительственном лагере существовали две линии политики в рабочем вопросе: линия Министерства внутренних дел и линия Министерства финансов, воспринятая затем Министерством торговли и промышленности. В отличие от первого ведомства оба вторых в принципе исходили из того, что решение рабочего вопроса не должно подрывать решение главной задачи — скорейшего создания национальной промышленности.

К началу 1906 г. пакет реформ включал десять законов: три по страхованию рабочих от болезней, несчастных случаев и инвалидности; о сберегательных кассах обеспечения; о найме рабочих; о рабочем времени; о врачебной помощи; о мерах поощрения строительства жилищ для рабочих; о промысловых судах и о фабричной инспекции. Министр торговли и промышленности Д. А. Философов признавал, что осуществление наме-

ченных реформ «несомненно» повлечет для промышленников «весьма крупные жертвы», но объяснял, «что убытки такого рода будут возвращены им сторицей» в результате достижения «классового мира».[8]

Признание затруднительности проведения рабочего законодательства для предпринимателей не только побуждало министра торговли и промышленности к уступкам, но и обязывало его пойти навстречу промышленникам при решении других вопросов торгово-промышленной политики.

Усилия промышленников с самого начала оказались направленными на то, чтобы отложить реализацию всех этих законов до более или менее отдаленного будущего, когда экономическая конъюнктура окажется более благоприятной. В России и без того «несравненно худшие условия» промышленного производства, чем на Западе, и усугубление положения приведут к тому, что русская промышленность, несмотря на таможенную охрану, будет задавлена конкуренцией иностранной промышленности.[9] Председателем Петербургского общества для содействия улучшению и развитию фабрично-заводской промышленности С. П. Глезмером выдвигался тезис (февраль 1905 г.) о том, что законодательная регламентация и административное воздействие только препятствуют разрешению классовых конфликтов, которые должны решаться прямым соглашением между промышленниками и рабочими. Если уж такая регламентация необходима, она не должна осуществляться «под гнетом стачек», что может лишь продемонстрировать «силу нашей фабрично-заводской массы» и слабость «нынешней государственной власти». Глезмер заявлял (декабрь 1906 г.), что «чем позже будут рассматриваться эти законы в новой Государственной думе, тем правильнее будет их решение, тем почва для них будет солиднее, нормальнее, доступнее».[10]

За необходимость постепенности в проведении рабочего законодательства высказался и С. Ю. Витте, заявивший в декабре 1907 г., что «иначе промышленность не в состоянии будет вынести этих колоссальных налагаемых на нее повинностей».[11]

Намеченные реформы расценивались представителями промышленников как опасное вторжение в сферу экономических отношений. Дело в том, что в правительственных верхах России всегда признавалось, что размеры оплаты труда в частных предприятиях не могут быть предметом государственного нормирования, «дабы не пошатнуть в корне основ нашей гражданской и промышленной жизни». Между тем представители предпринимателей не без оснований указывали на то, что положение рабочих во всех его составляющих «с экономической стороны сводится к вопросу о заработной плате» (в том смысле, что все элементы условий труда находятся в связи с заработной платой), а потому также не должно было бы подлежать нормированию. Нормирование же продолжительности рабочего дня было введено в России лишь с учетом того, что «государственный

строй» страны исключает возможность «так называемой закономерной борьбы, т. е. организованных забастовок». Поскольку Министерством финансов был поднят вопрос о легализации экономических забастовок, нормирование рабочего времени теряло свою основу.[12]

Эти соображения отступали, однако, на второй план, так как в основе позиции предпринимателей лежало убеждение, что решение рабочего вопроса в широком плане невозможно без устранения «существующих помех полицейского свойства» и разрешения «свободным коалициям русских промышленников и русских рабочих свободно... решать свои споры и свести свои счеты. Без самой широкой свободы коалиций не может быть жизненного решения рабочего вопроса».[13]

Съездовская организация упорно отстаивала настоятельную необходимость «законодательного установления права рабочих организоваться в союзы... в интересах правильного развития промышленности и торговли», в частности, исходя из того, что «союзы лучше защитят рабочего в его справедливых и выполнимых требованиях, чем какие бы то ни было законодательные нормы для регулирования условий найма и труда».[14]

Подводя итог работе совещания Д. А. Философова, Совет съездов представителей промышленности и торговли указывал, что, «оставив в стороне» окончательное решение вопросов «о законодательном регулировании забастовок и о правильной постановке законодательства о профессиональных союзах и обществах», это совещание «лишило русскую промышленность тех основных условий, которые только и могут послужить средством и почвой для установления правильных отношений между промышленниками и рабочими».[15]

Необходимо заметить, что вопросу о свободе профессиональных союзов промышленники придавали более широкое значение, чем правительство. Он связывался не только с вопросом о стачках, но и с возможностью реализации всего комплекса реформ: «Без рабочих организаций немыслимо осуществление ни государственного страхования на случай инвалидности и старости, ни больничных касс, ни даже... нормировки рабочего дня» — разъяснялось в записке Петербургского общества.[16]

Предприниматели отлично понимали, что царское правительство может пойти на эти меры лишь в самом крайнем случае, под серьезным нажимом. А до тех пор отстаивание указанных мер позволяло им отвергать законодательное регулирование условий труда рабочих. Законодательное нормирование признавалось предпринимателями приемлемым лишь в тех случаях, когда имелось в виду оградить жизнь и здоровье рабочих (ограничение рабочего дня детей, малолетних и женщин, а также мужчин на вредных производствах; установление норм техники безопасности; страхование от болезней, несчастных случаев и инвалидности).[17]

Особенно настойчиво промышленники выступали против двух законопроектов из пакета реформ: о найме рабочих и о рабочем времени. Первый рассматривался ими как «наиболее важный». Принцип «свободы соглашения», который они пытались положить в основу этого закона, был категорически отвергнут Министерством торговли и промышленности как неприемлемый в условиях тогдашней России. Другой законопроект (о продолжительности рабочего дня) затрагивал интересы промышленности с двух сторон. Во-первых, с сокращением рабочего времени обычно было связано падение выработки продукции при сохранении уровня заработной платы. Чтобы не потерять доходы, владельцы промышленных предприятий должны были обращаться к усовершенствованию техники производств (и, следовательно, нести расходы), которая могла бы восполнить падение производительности. Во-вторых, трудности возникали при самой организации деятельности предприятий — обеспечении непрерывности производства при состыковке смен, использовании техники и т. п.

И. И. Ясюкович и А. А. Вольский настаивали на том, что «рабочий день взрослого мужчины вообще не может быть предметом законодательной нормировки... Продолжительность рабочего времени является исключительно продуктом местных условий и взаимного соглашения между рабочими и предпринимателями». Названные авторы обращали внимание на то, что в разных отраслях промышленности рабочий день не может быть единым по продолжительности, что во многих случаях сама возможность производства работ зависит от погоды, что в России, как нигде, много праздников, что производительность русского рабочего низка и т. д.[18] Петербургское общество заводчиков и фабрикантов предостерегало правительство о том, что закон, «насильственно вторгаясь в ту область, которой руководят неуклонно экономические законы, не может не нарушить экономического равновесия и не вызвать серьезного промышленного кризиса». Несомненным признавалось, что в результате сокращения рабочего дня русская промышленность «будет устранена навсегда от какой-либо роли в международном соревновании». Намечаемое ограничение сверхурочных работ объявлялось невозможным на том основании, что «по положению о казенных подрядах и поставках казна имеет право увеличивать размер поставок до 25 % сверх заранее договоренного».[19] В этих случаях можно было бы набирать дополнительных рабочих, но их последующее увольнение делало эту меру нежелательной. Промышленники заявили, что могут согласиться с сокращением рабочего дня только тогда, «когда... общие реформы улучшат положение промышленности, поднимут интенсивность труда и... культурность рабочих...».[20]

Постепенно круг намечавшихся правительством законопроектов по рабочему вопросу был сужен с десяти до трех, и к началу 1908 г. его составляли лишь законопроекты «по обяза-

тельному страхованию рабочих от несчастных случаев и на случай болезни, равно как и о врачебной помощи рабочим». Сужение программы реформ было прежде всего компромиссом: стремлением правительства, «сообразуясь с обстоятельствами», сделать хоть какой-то шаг в рабочем законодательстве, как можно меньше ущемляя при этом интересы промышленности. Выбор для этого страховых реформ определялся тем, что развитие страхования рабочих было обещано указом 12 декабря 1904 г. и тем, что на ряде казенных предприятий страхование рабочих уже проводилось. Система страхования на производстве существенно способствовала закреплению квалифицированных кадров рабочих.

В журнале «Промышленность и торговля» (орган Совета съездов) в 1909 г. разъяснялось, что «рабочее законодательство имеет... всегда налоговый характер, поскольку им устанавливается налог на все население в пользу одного класса»[21] Имелось в виду, что всякое увеличение расходов предприятий, связанное с улучшением положения рабочих, перекладывается на цену производимых товаров и, следовательно, оплачивается покупателем. Но это теоретически. Практически же такое перекладывание расходов на потребителей промышленной продукции было возможно лишь в условиях таможенного покровительства и благоприятной экономической конъюнктуры. Последнее и давало предпринимателям основания сопровождать свои уступки (и вынужденные потери) при реализации рабочего законодательства открытыми или завуалированными требованиями к правительству о налоговых льготах, о санкционировании монополистических соглашений с целью поддержания высоких цен, об отмене правовых ограничений развития промышленности и т. п. Орган Совета съездов так изображал отношение к рабочему законодательству общественного мнения страны: «В тайной надежде, что налог (имелись в виду расходы промышленников, связанные с реализацией норм рабочего законодательства.— *Л. Ш.*) падет главным образом на предпринимателя, у нас громко с грустью выражают уверенность, что все будет переложено на потребителя. Бесспорно, однако, то, что терпят обе стороны. В таком случае необходимо выяснить насколько они платежеспособны». «Положение работающих в промышленности капиталов» (одна сторона) признавалось «неблагоприятным». Это подтверждалось ссылками на низкую доходность промышленных предприятий. Затем задавался вопрос: «Политично ли уменьшать еще эту жалкую доходность в то время как раз, когда нам желательно привлечь иностранные капиталы? Это вопрос, на который нельзя ждать двух разных ответов»,— уверенно заявлял журнал. Вместе с тем «материальное положение наших рабочих» признавалось «лучшим», чем «положение остальной массы нашего населения» (имелось в виду главным образом крестьянство — другая сторона). На эту сторону, т. е. покупателей промышленной продукции, и должны

были перекладываться возможные расходы по улучшению положения рабочих. По поводу участи покупателей журнал и сокрушался, задаваясь «не риторическим вопросом: каким же бременем на остальную массу населения ляжет увеличение благосостояния 12 миллионов» рабочих с членами их семей?[22]

Возможность для предпринимателей перекладывания расходов, возникших в связи с реализацией рабочего законодательства, на цену производимых товаров ограничивалась и тем, что на те же товары перекладывались разного рода налоги, прямо или косвенно налагавшиеся на промышленность (в частности, в связи с «огульным» повышением тарифов железных дорог, принадлежавших казне). Журнал «Промышленность и торговля» разъяснял, что «дальнейший рост налогового бремени промышленности возможен за счет или уменьшения промыслового дохода, или увеличения продажных цен. Первое обстоятельство, сократив и без того скучную прибыль нашей промышленности, прекратит к ней прилив иностранного капитала. Второе,— тяжело отразившись на платежных силах населения, может... сделать таможенную охрану недействительной и облегчит конкуренцию иностранным продуктам». Считают, что «промышленник все... заплатит, а сам взыщет с потребителя. Расчет очень простой...».[23] Предприниматели сумели добиться того, что после 1907 г., собственно, налогообложение промышленности не было увеличено.

Лишь 23 июня 1912 г., через четыре года после их поступления в Думу, страховые законы были утверждены. Это была не просто существенная отсрочка введения страхования. Если сначала промышленникам удалось оттянуть принятие новых законов правительством до конца революционного подъема, то теперь они оттянули их законодательное утверждение до периода экономического подъема, когда положение промышленности существенно улучшилось. Все это время они использовали предстоящее введение страхования как повод для выторговывания новых уступок в экономической политике правительства.

Совет съездов считал, что, несмотря на столь долгую подготовку проектов страхования рабочих, накануне их введения «правительство и промышленные круги оказались по многим причинам неподготовленными к практическому осуществлению закона 23 июня 1912 г.».[24]

Десятилетие 1904—1913 гг. оказалось важным периодом развития промышленности в России. Несмотря на многие трудности, производство продукции возросло на 88 % (две трети этой величины за годы подъема) при увеличении численности рабочих лишь на 33 %. Такой результат был достигнут главным образом за счет технической модернизации производства. Перспективы развития российской промышленности расценивались (мнения С. Ю. Витте и В. Н. Коковцова) как обнадеживающие.[25]

[1] Литвинов-Фалинский В. П. Наше экономическое положение и задачи будущего. СПб., 1908. С. IX.

[2] ЦГАЛИ СССР. Ф. 1208. Оп.1. Д.48 (воспоминания министра торговли и промышленности С. И. Тимашева). Л. 67; ЦГИА СССР. Ф.1101. Оп.1. Д.778 (воспоминания Н. Н. Изнара). Л. 242.

[3] Государственный совет. Стенограф. отчет. Сессия VII. 1911—1912 гг. СПб., 1912. С. 3404.

[4] Промышленность и торговля. 1911. № 7. С. 303.

[5] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 156.

[6] Восьмой очередной съезд представителей промышленности и торговли. Доклад Совета съездов о современном положении промышленности и торговли и видах на будущее в связи с предпринимательской деятельностью казны. СПб., 1914. С.27.

[7] Съезды представителей промышленности и торговли. Материалы по рабочему вопросу. № 2: Объяснительная записка к предварительному проекту по пересмотру рабочего законодательства, выработанному Министерством торговли и промышленности в совещании 15—21 апреля 1906 г. под председательством д.с.с. М. М. Федорова. С. 1—2, 5.

[8] Стенографический отчет Особого совещания при Министерстве торговли и промышленности под председательством министра Д. А. Философова для обсуждения законопроектов по рабочему законодательству. СПб., 1907. Т. 1. С. 355.

[9] Рабочий вопрос в комиссии В. Н. Коковцова в 1905 г. (с предисловием Б. А. Романова). М., 1926. С.83.

[10] Лившин Я. И. Монополии в экономике России. Экономические организации и политика монополистического капитала. М., 1961. С. 414—416; История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1968. Т.1. С.370.

[11] ЦГИА СССР. Ф. 150. Оп. 1. Д. 54. Л. 34, 42.

[12] Вовчик А. Ф. Политика царизма по рабочему вопросу в предреволюционный период (1895—1904). Львов, 1964. С. 182.

[13] ЦГИА СССР. Ф. 32. Оп. 2. Д. 72. Л. 49.

[14] Промышленность и торговля. 1909. № 9. С. 529.

[15] ЦГИА СССР. Ф. 32. Оп. 1. Д. 1860, Л. 18.

[16] Рабочий вопрос в комиссии В. Н. Коковцова С. 176.

[17] Ясюкович И. И., Вольский А. А. О рабочем дне. СПб., 1905. С. 9.

[18] Там же.

[19] Рабочий вопрос в комиссии В. Н. Коковцова... С. 54, 79, 158.

[20] ЦГИА СССР. Ф. 32, Оп. 2, Д. 72, Л. 36.

[21] Промышленность и торговля. 1911. № 22. С. 405—408.

[22] Там же. 1909. № 21. С. 460—461.

[23] Там же. 1911. № 22. С. 405.

[24] Там же. 1912. № 20. С. 287.

[25] Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т.1. С.412—413; Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Париж, 1933. Т. 2. С. 380.

В. Я. Лаверычев

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ НАЧАЛА XX В. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Царская Россия после отмены крепостного права в 1861 г. в течение нескольких десятилетий сделала на пути капиталистического развития такой значительный шаг вперед, на кото-

рый некоторым странам Западной Европы потребовались целые века. В начале XX в. российский капитализм, несмотря на тормозящее воздействие феодально-крепостнических пережитков, вступил в высшую стадию развития — империализм. Производительные силы (в первую очередь в промышленности) достигли весьма высокого уровня. Рост промышленности (особенно крупной) в пореформенной России происходил быстрее, чем в Англии, Франции и Германии. При этом в совокупной продукции крупной промышленности и сельского хозяйства на долю промышленного производства перед первой мировой войной приходилось 42.1 %.[1] Однако по производству важнейших видов промышленной продукции на душу населения Россия и в начале XX в. продолжала сильно отставать от более развитых капиталистических государств.[2]

Самый передовой промышленный и финансовый капитал, по словам В. И. Ленина, сочетался в стране с отсталой деревней.[3] Развитие капиталистических отношений в промышленности являлось важнейшим фактором, способствующим утверждению их в сельском хозяйстве. Оно ускорялось под воздействием столыпинской аграрной политики (курс на разрушение общины, насаждение хуторов, расширение переселений и пр.), проводившейся с 1906 г. Однако развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве тормозилось феодально-крепостническими пережитками (сохранение помещичьих латифундий, круговой поруки в общине и пр.). Российское крестьянство, в массе своей по-прежнему привязанное к общинному землевладению, задыхалось в малоземелье. Если 30 тыс. помещиков имели в среднем 2 333 десятины на одно хозяйство, то на 10.5 млн. крестьянских дворов приходилось по 7 десятин. В условиях России они не имели никакой возможности вести нормальное хозяйство (для этого требовалось 15—20 десятин) и вынуждены были влачить нищенское состояние.[4]

Решение аграрного вопроса и других задач буржуазно-демократической революции (свержение самодержавия, введение 8-часового рабочего дня и пр.) имело первоочередное значение. Буржуазно-демократическая революция должна была убрать препятствия на пути свободного развития страны и открыть простор прогрессу в деревне. Ее своеобразие, однако, состояло в том, что она вызревала в период империализма, когда в стране нарастали и углублялись противоречия, присущие капиталистическому обществу.

Значительная социально-экономическая отсталость царской России по сравнению с передовыми капиталистическими странами обусловливала в XIX в. усиление ее зависимости от иностранного капитала. Высокие прибыли привлекали зарубежные инвестиции в страну с середины XIX в. (сначала немецкие, а затем больше франко-бельгийские и английские). В 1908 г. вклады зарубежных капиталистов в акционерные промышленные (по преимуществу в горном деле, металлургии и машино-

строении) и коммерческие предприятия составляли, по новейшим подсчетам, 18.3 % всех инвестиций, сосредоточенных главным образом в государственных ценных бумагах. Однако эти вложения в отрасли народного хозяйства, работавшие на внутренний рынок, по признанию как советских, так и зарубежных исследователей, не могли создать каких-либо обособленных анклавов и растворялись в экономике страны. Иностранный капитал действовал в российском народном хозяйстве успешно в тех случаях, когда он, адаптируясь к существующим экономическим, социальным и правовым условиям, переплетался и сращивался с отечественным капиталом.[5]

Что касается государственной задолженности, то в XX в. здесь все более значительным становился удельный вес займов, реализуемых на внутреннем денежном рынке. К 1908 г. они уже превысили сумму иностранных капиталовложений в эту сферу. В пересчете на душу населения государственный долг России был меньше, чем в других капиталистических странах. Выплаты процентов по этому долгу ложились, однако, тяжелейшим бременем на народ, ибо национальный доход на душу населения в России был ниже, чем в других капиталистических государствах.[6] Только за 20 лет (1891—1910 гг.) иностранный капитал выкачал из России 2.76 млрд. руб. золотом.[7]

В годы первой мировой войны экономическая и политическая зависимость России от Англии, Франции и США еще более усилилась. Эта тенденция делала реальной угрозу утраты независимости страны, если бы Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом не изменила ход исторического развития.

Несмотря на экономическую зависимость от более развитых стран, царская Россия в конце XIX—начале XX в. являлась одним из крупнейших капиталистических государств мира. Ее с основанием относили к числу так называемых великих держав (наряду с Англией, Германией, США, Францией и Японией). К 1913 г. страна располагала весьма значительным экономическим потенциалом. По совокупному показателю промышленного производства она находилась на пятом месте в мире вслед за Францией.

Выпуск машин в России еще в 1897 г. достиг 142.3 млн. руб.[8] О масштабности этой цифры более точное представление может дать сопоставление с государственным бюджетом страны: доходная часть бюджета России в том же году составляла 1 416 млн. руб, а расходная — 1 299 млн. руб.[9] Следовательно, стоимость произведенных в стране машин превышала десятую часть государственного бюджета. Однако, несмотря на значительное развитие отечественного машиностроения (особенно транспортного), оно не могло полностью удовлетворить возрастающие потребности страны. Поэтому более 25 % машин ввозилось из-за границы. В 1897 г. их было ввезено на сумму 54.8 млн. руб.[10] Даже в XX. в ввоз текстильных машин в

Россию, в частности, превышал еще в отдельные годы их внутреннее производство.[11]

Приведенные показатели дают основание признать среднекапиталистический уровень развития России. Этому не противоречат и общие данные о структуре внешней торговли страны. При бесспорности факта преобладания в экспорте сельскохозяйственной продукции и в импорте — промышленных изделий привлекают внимание и некоторые новые черты, заметные при сопоставлении вывоза в 1900 и 1913 гг. Хотя «хлебный» вывоз по-прежнему доминировал, характерно возрастание удельного веса (в 2.5 раза) вывоза продуктов животноводства и промышленных изделий. В 1913 г. процент последних не очень велик (5) в общей массе вывоза, но общая сумма уже превысила 76 млн. руб. (более половины ее давали хлопчатобумажные ткани).[12] Эти сдвиги свидетельствовали о дальнейшем развитии капиталистических отношений не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве.

На рубеже XIX—XX столетий капитализм в России, как и в других капиталистических странах, вступил в высшую стадию развития — империализм. В эпоху империализма наблюдается наибольшее, возможное при капитализме, обобществление производства. В царской России эта характерная черта новейшего капитализма проявилась в начале XX в. со всей определенностью. Свое выражение она в первую очередь получила в высокой степени концентрации производства, связанной с широким акционированием предприятий.

Высокая концентрация производства явилась той почвой, на которой стал возможен интенсивный процесс монополизации производства. Перед первой мировой войной в российской экономике насчитывалось (по весьма неполным данным) 150—200 значительных и достаточно устойчивых монополистических союзов, по преимуществу типа картелей и синдикатов.[13] В тяжелой промышленности решающие позиции занимали синдикаты: «Продамета», «Продуголь», «Продпаровоз», «Продвагон», «Кровля» и др. В текстильном производстве наиболее широкое развитие получили картельные соглашения крупнейших ситценабивных предприятий центра страны. В финансовой системе России перед первой мировой войной все большее значение приобретали банковские монополии. В руках петербургских банков концентрировалось 65 % собственных капиталов всех частных акционерных банков коммерческого кредита и более 70 % вкладов. За ними следовали Московский банк Рябушинских, Московский купеческий банк и созданный Н. А. Второвым во время войны Московский промышленный банк.[14]

Как и в других капиталистических странах, в России в конце XIX—начале XX в. наблюдалось интенсивное сращивание банкового капитала с промышленным, оформлялась финансовая олигархия. В 1909 г. банкам принадлежало ценных бумаг на сумму 114 млн. руб., а в 1918 г.—276 млн. руб. Банки широко

финансировали промышленные и торговые предприятия под залог ценных бумаг, активно используя отмобилизованные ими огромные денежные ресурсы. В периодических изданиях предпринимательских организаций указывалось, что в XX в. (за 14 лет) «русские акционерные банки достигли колоссального успеха». Особенно активизировалась их деятельность после преодоления народным хозяйством страны кризисных явлений. Если в 1907 г. в России имелось 339 отделений 39 коммерческих банков, то в 1913 г. у 45 банков их было уже 732. Собственные капиталы банков за это время увеличились с 295.9 до 740.9 млн. руб., а вклады — с 760.9 до 2 293.3 млн. руб.[15]

С одной стороны, финансовый капитал последовательно укреплял свое решающее влияние во всех сферах экономической жизни.[16] С другой — процесс сращивания банкового капитала с промышленным стимулировал дальнейшую концентрацию и централизацию производства, обусловливал развитие в России монополистических объединений высшего типа — типа концернов и трестов. Под руководством Русско-Азиатского банка перед первой мировой войной сложился своеобразный военно-промышленный комплекс, центром которого являлось контролируемое банком Общество Путиловских заводов. Международный банк осуществил фактическое объединение Коломенского и Сормовского заводов и связанных с ними предприятий, а также создал трест в судостроительной промышленности.[17]

Капиталистические монополии становятся одной из основ хозяйственной жизни страны. Их организующая и направляющая роль наглядно проявлялась и на железнодорожном транспорте. Здесь наблюдалось своеобразное переплетение государственной монополии с частными предпринимательскими организациями. Царское правительство, гарантируя выплату процентов по акциям и облигациям частных железнодорожных обществ, непосредственно приобретая значительные пакеты этих ценных бумаг, тем самым обеспечивало интересы банковских монополий и заправил железнодорожного бизнеса. В железнодорожном деле все отчетливее в довоенные годы проявлялись государственно-монополистические тенденции.[18]

Эти тенденции совершенно определенно прокладывали себе дорогу и в крупной фабрично-заводской промышленности. Укрепление позиций финансового капитала и промышленных монополий еще в конце XIX в. сопровождалось все более настойчивыми попытками с их стороны обеспечить эффективное воздействие на правительственную экономическую политику и активнее использовать в своих интересах те или иные звенья государственного аппарата. Опираясь на свои крепнущие финансово-экономические силы, они стремились расширить базу для их дальнейшего наращивания, создавать наиболее благоприятные условия для проникновения во все поры хозяйственного организма страны, преодолевая традиционное казенное «попечительство» и вмешательство в народнохозяйственную жизнь, со-

вершенствование и развитие которых оставалось важнейшим направлением экономической политики царизма.[19] В связи с этим в России развивались те же процессы и явления, которые были характерными в это время для других капиталистических стран, в частности для Германии.

Качественно новый этап правительственного вмешательства в экономическую жизнь в интересах капиталистов был связан с развитием и укреплением финансового капитала и монополистических союзов. Еще до первой мировой войны в России получило известное распространение государственное регулирование в отдельных, особо опекаемых отраслях промышленности. Такое регулирование (ограничение производства и сбыта, установление квот, определение цен и пр.) начиналось с тех отраслей народного хозяйства, предприниматели которых имели старые традиционные связи с правительственными верхами (сахарное производство) или находились в особенно сильной зависимости от казны (железнодорожное дело) или казенных заказов (транспортное машиностроение, военное судостроение и пр.). Важнейшая стадия развития государственно-монополистического капитализма связана с первой мировой войной. Те или иные конкретные меры реального государственно-монополистического регулирования в военные годы разрабатывались и в значительной степени проводились монополистами, действовавшими в пределах компетенции различных ведомств. Монополистические союзы овладевали существенными звеньями государственного аппарата или фактически контролировали важнейшие стороны их деятельности. Значительное распространение в этих условиях получила такая форма государственного регулирования, при которой вмешательство правительства в хозяйственную жизнь осуществлялось через специальные государственные органы (Особые совещания по обороне, продовольствию, перевозкам и топливу; Комитет по делам металлургической промышленности; Комитет хлопкоснабжения; Льноджутовый комитет; Комитет по делам суконной промышленности; и др.). В деятельности новых органов имелось немало недостатков. Однако по сравнению со старыми ведомствами эти учреждения все же обладали существенными преимуществами. После Февральской революции представители буржуазной интеллигенции, связанные с Особым совещанием по топливу, признали, что созданные во время войны органы располагали «более широкими полномочиями» и отличались «более гибкой конструкцией» по сравнению со старыми казенно-бюрократическими органами мирного времени, оказавшимися «неспособными справиться с задачами, выдвинутыми войной».[20] Распорядительные и исполнительные функции вновь создаваемых государственных органов развивались с учетом интересов монополистов. Какая-то часть этих функций (особенно подготовительная работа, в значительной степени предопределявшая те или иные окончательные решения) выполнялась не-

посредственно в монополистических союзах и других предпринимательских организациях.

Несмотря на тормозящее воздействие самодержавного строя, в России все же прослеживается медленное и противоречивое движение вперед в направлении складывания системы государственно-монополистического капитализма. Она возникала беспланово, стихийно и хаотично. Однако стихийность создания подобных учреждений, отсутствие в этом деле единого плана нельзя признать особенностью России, ибо явление это наблюдалось даже в Германии.[21]

Более оформленные и зрелые черты государственно-монополистическое регулирование приобрело в важнейших отраслях народного хозяйства (металлургия, текстильная промышленность, сахарная промышленность и торговля и пр.). Общую картину дополняет, но принципиально не изменяет тот бесспорный факт, что в различных сферах экономической жизни все более возрастала роль крупнейших коммерческих банков-монополистов. У них в связи с этим расширялся учетно-регистрационный и распределительный аппарат.

Монополистические союзы, банковские монополии, система государственно-монополистического капитализма в предреволюционной России не достигали все же такой степени зрелости, которая была характерна для ведущих капиталистических стран. Однако создание в стране значительного промышленного потенциала, высокая степень централизации капитала, капиталистического обобществления труда и производства, олицетворяемая банками, монополистическими союзами и государственно-монополистическими органами, в которых наблюдалось интенсивное формирование разветвленного учетно-регистрационного и распределительного аппарата,— все это свидетельствовало о том, что к Октябрю 1917 г. в России сложились определенные материально-технические предпосылки для перехода к социализму. Следует при этом заметить, что процесс обобществления производства сам по себе еще не предопределял фатальной неизбежности победоносной социалистической революции. В советских исследованиях всегда подразумевалось, что обобществление дает лишь возможность приступить к осуществлению социалистических преобразований в экономике.

Объективные предпосылки социалистической революции в России не ограничивались лишь вызреванием определенных экономических факторов. Не менее важное значение имело развитие определенных социально-политических условий (соотношение и расстановка классов и политических групп, обострение классовых противоречий и пр.).

Европейские буржуазные революции XVIII — первой половины XIX в. ознаменовали смену феодализма капитализмом и утверждение политического господства буржуазии в ряде крупнейших стран. Однако революционные бури 1848—1849 гг. уже выдвинули рабочий класс некоторых государств на арену по-

литической борьбы. Это побуждало буржуазию, напуганную широким народным движением, к соглашательству и сотрудничеству с феодальной реакцией. Предательство либеральной буржуазии, непоследовательность и нерешительность лидеров мелкобуржуазной демократии, недостаточная подготовленность и организованность пролетариата явились важнейшими причинами поражения революций 1848—1849 гг. В ряде стран (Германия, Россия, Япония) господствующие классы в той или иной степени пытались решать насущные задачи исторического развития с помощью реформ, надеясь путем ограниченных буржуазных преобразований предотвратить народную революцию.[22]

Развитие капиталистических отношений в России сопровождалось радикальными переменами в общественной жизни. Они особенно отчетливо обнажились в период империализма. В 1900—1917 гг. в России наблюдались существенные сдвиги в социальной структуре населения. Происходила дальнейшая классовая поляризация, увеличивалась армия эксплуатируемых и угнетаемых, т. е. потенциальных противников капитализма. Накануне Великого Октября подавляющее большинство населения страны составляли рабочие и трудящиеся крестьяне. В 1913 г. к пролетариям и полупролетариям принадлежало 53.2 % населения. К ним примыкала беднейшая часть мелких хозяев, составлявших 25.3 % населения.[23] Во главе этих сил стоял революционный рабочий класс.

Численность российского пролетариата в связи с развитием капитализма в XX в. неуклонно увеличивалась. Если в конце XIX в. она составляла 10 млн. человек, то к 1913 г. достигла 18 млн. Наблюдалось также возрастание удельного веса рабочих крупного фабрично-заводского производства (около 4 млн. в 1917 г.), являвшихся наиболее организованной и сознательной частью пролетариата.[24] При этом особенно следует подчеркнуть, что роль пролетариата в освободительном движении была более значительной, чем его доля в общей численности населения России.

Своими решительными выступлениями против самодержавного строя рабочий класс обеспечивал себе роль гегемона в освободительном движении. Не упуская из поля зрения задач социалистической революции, готовясь к ней и мобилизуя на нее своих будущих союзников, рабочий класс благодаря своей организованности и сплоченности стал вождем революционного движения, выражая интересы самых широких народных масс. Это наглядно показали не только опыт революции 1905—1907 гг., но и развитие революционной борьбы в 1907—1917 гг. Массовые революционные стачки пролетариата перед первой мировой войной будили, просвещали и организовывали трудящихся (в первую очередь крестьянство) на борьбу против царизма, заставляли «леветь» и либеральную буржуазию. В годы войны только рабочий класс России продолжал последовательную и упорную борьбу против самодержавного строя. Он решительно

противостоял шовинизму, выразив свое отношение к империалистической бойне рядом антивоенных выступлений. Под руководством большевиков, преодолев спад стачечного движения в первые месяцы войны, рабочий класс все более целеустремленно поднимался на борьбу против войны и царизма. Он взял на себя решение общенациональных задач, осуществляя руководящую и организующую роль при свержении самодержавия в Феврале 1917 г.

Мобилизуя широкие слои трудящихся на решительную схватку с самодержавием, завоевав себе в упорной борьбе с контрреволюционным либерализмом руководящую роль в движении за свободу и демократию, российский пролетариат тем самым в значительной степени подготовил себя и к роли гегемона в назревшей социалистической революции.

Российская буржуазия, ставшая в конце XIX — начале XX в. хозяином экономической жизни страны, проявляла определенную заинтересованность в модернизации существующего строя. Однако она все определеннее закреплялась на антинародных, контрреволюционных позициях. Робкие проявления оппозиционных настроений все чаще заглушались страхом в связи с назреванием народной революции. Защиту от революционного народа буржуазия пыталась найти у того же самодержавия, активно сотрудничая с ним в подавлении массового движения трудящихся. Бесславной была и деятельность созданного после Февральской буржуазно-демократической революции Временного буржуазного правительства, в состав которого непосредственно входили представители крупного капитала. Проводя антинародную политику, стремясь продолжать империалистическую войну, несмотря на нарастающие и нестерпимые тяготы для народа, посягая на демократические завоевания масс, крупная буржуазия за 8 месяцев своего правления довела экономику страны до полной разрухи, реально угрожавшей трудящимся голодом.

Только рабочий класс, возглавив борьбу за демократию и за мир, за хлеб и за социалистическую революцию, был истинным выразителем их интересов.

К началу XX в. классовые противоречия в России, дополнявшиеся борьбой нерусской части населения против национального угнетения, все более усиливались и обострялись. Россия становилась узловым пунктом противоречий мирового империализма. Постепенно в стране складывались условия для перемещения в нее центра международного движения. Героическая борьба пролетариата в 1905—1907 гг. наглядно показала, что Россия стала таким центром.[25]

Успешность формирования в стране прочного союза пролетариата с различными слоями угнетенных и эксплуатируемых обусловливалась и близостью положения пролетариата и непролетарских масс трудового населения. Сам пролетариат повергался жесточайшей эксплуатации. Резкое понижение реальной за-

работной платы в годы войны, полуголодное существование, усиливающееся бесправие и различные лишения были той почвой, на которой развертывалась классовая борьба российского пролетариата.

Самым массовым союзником пролетариата на этапе буржуазно-демократической революции являлось трудящееся крестьянство, придавленное ярмом полукрепостнического угнетения, находившееся в крайне бедственном положении, еще более усугубившемся в годы войны. Поэтому решение аграрного вопроса и других задач буржуазно-демократической революции имело первоочередное значение. Своеобразие ее состояло в том, что она назревала в период империализма, когда в России все более обострялись противоречия, присущие капиталистическому обществу. В деревне это проявилось в том, что наряду с главным узлом противоречий (между помещиками — владельцами латифундий, с одной стороны, и крестьянством — с другой) все более ощутимой становилась и вторая социальная война — борьба крестьянской бедноты против деревенской буржуазии. Особенно важно подчеркнуть, что буржуазные по своей природе преобразования в деревне (национализация земли) Временное буржуазное правительство не хотело и не могло осуществить. Тем самым создавался дополнительный стимул для борьбы за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, которая, ликвидировав частную собственность на землю, наделив крестьян землей, как бы попутно разрешила важнейшую задачу буржуазно-демократической революции в стране. Пролетариат же в своей борьбе против власти капитала получил поддержку не только своего союзника — полупролетариата, но и более широких слоев трудящегося крестьянства. Возглавляемая пролетариатом борьба за социалистическую революцию все более переплеталась в России 1917 г. с различными потоками общедемократического движения, направлявшимися против власти Временного буржуазного правительства: борьбой широчайших народных масс за мир, крестьянства — за землю, угнетенных народов — за национальное освобождение. Объективные социально-экономические условия являлись важнейшим фактором, обеспечившим возможность завоевания пролетариатом в союзе с беднейшим крестьянством политической власти.

Однако даже самые благоприятные объективные условия не могли предопределить победу социалистической революции, если бы не удалось выявить закономерности и перспективы исторического развития, уяснить значение новых социально-экономических явлений, получивших бурное развитие в годы войны, не удалось убедить народные массы, что социалистическая революция стала непосредственной практической задачей. Поэтому огромное общественно-политическое и историческое значение имело вооружение рабочего класса и его авангарда — большевистской партии — научной революционной теорией. Эту задачу выполнил В. И. Ленин, творчески развивший великие

идеи К. Маркса и Ф. Энгельса применительно к новым историческим условиям эпохи империализма.

В начале XX в. в России вызревала революция. Но какой она приобретет характер? Какие главные политические силы будут вести борьбу? Какой класс будет ее гегемоном? Эти вопросы стали предметом острейших теоретических споров и ожесточенной политической борьбы. Теоретики российской социал-демократии меньшевистского толка при ответе на них стояли на догматических позициях. В стране назревала революция против самодержавия, т. е. буржуазная революция. Поэтому, полагали они, буржуазия — не только ведущая революционная сила, но и потенциальный вождь революции. После ее победы России предстоит еще длительное развитие по капиталистическому пути. Подобные взгляды, игнорировавшие реальные исторические условия, опирались на некоторые уже отжившие свое время положения. Поэтому невозможно переоценить значение диалектики ленинского решения вопроса о пролетариате как гегемоне буржуазно-демократической революции и о закономерной неизбежности перерастания в России буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую.[26]

Особую важность имело также выявление и обоснование закона усиления неравномерности развития капиталистических стран в эпоху империализма, утверждение вывода о возможности и неизбежности победы социалистической революции в немногих или даже в одной, отдельно взятой стране, о возможности разрыва единой цепи империалистических государств в ее наиболее слабом звене, каковым являлась дореволюционная Россия.[27]

Мобилизация трудящихся масс многонациональной России на борьбу с самодержавием и властью капитала была возможной лишь при революционно-демократическом решении национального вопроса. В. И. Ленин и большевистская партия разработали и последовательно осуществляли в этом деле революционно-демократическую программу, основывающуюся на признании равноправия народов, на провозглашении принципа самоопределения наций, вплоть до отделения. Эта программа, твердо проводившаяся в жизнь (признание самостоятельности Польши и Финляндии, утверждение принципа национальной автономии в рамках Российской Федерации, а затем создание Союза равноправных республик и пр.), позволила успешно решать как задачу завоевания свободы и обеспечения равенства всех народов, так и сплочения пролетариев различных национальностей в борьбе за социалистическую революцию и защиту ее завоеваний.

Ленинская теория социалистической революции открыла широкие перспективы для развития освободительного движения в России. Она дала выход для творческой энергии российского пролетариата, руководимого большевиками. Она подводила к выводу, что не следует ждать сигнала к социалистической революции от пролетариата более развитых капиталистических

стран, а необходимо целеустремленно и последовательно, используя объективные факторы, готовиться к штурму капитала в своей собственной стране. Вся повседневная деятельность ленинской партии до Октября 1917 г. (особенно в годы первой мировой войны) в конечном счете была нацелена на решение этой задачи, на подготовку социалистической революции в России.

[1] 20 лет Советской власти. М., 1937. С. 12; Развитие советской экономики. М., 1940. С. 10.

[2] См.: Хромов П. А. Экономическая история СССР. М.,1982. С.17—18; Маевский И. В. Экономика русской промышленности в условиях первой мировой войны.М., 1957. С. 9.

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 417.

[4] Там же. С. 201.

[5] McKay J. Pioneers For Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Industrialization, 1885—1913. Chicago, 1970. P.37; Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX в.—1908 г. М., 1984. С.16—67, 183—188.

[6] Хромов П. А. Экономическая история СССР. С.174—175.

[7] Хромов П. А. Экономическое развитие России в XIX—XX веках. М., 1950. С.385.

[8] ЦГИАМ. Ф.419. Оп.1. Д.2261. Л.5.

[9] Погребинский А. П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX—XX вв.). М., 1954. С.87.

[10] ЦГИАМ. Ф.419. Оп.1. Д.2261. Л.5.

[11] Известия общества заводчиков и фабрикантов Московского промышленного района. 1914. № 1. С.37—39.

[12] Обзор внешней торговли России по важнейшим Европейским и Азиатским границам за 1900 год. СПб., 1902. С.9; Обзор внешней торговли России по Европейским и Азиатским границам за 1913 год. СПб., 1914. Ч.1. С.6.

[13] Крупина Т. Д. К вопросу об особенностях монополизации промышленности России// Об особенностях империализма в России. М., 1963. С.202.

[14] Хромов П. А. Экономическое развитие России с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1967. С.441—443; Лившин Я. И. Монополии в экономике России; Экономические организации и политика монополистического капитала. М., 1961. С.95—97.

[15] Торгово-промышленный Юг. 1915 г. 13(67). Стб.10—11.

[16] См.: Бовыкин В. И. Формирование финансового капитала...

[17] Шацилло К. Ф. Финансовый капитал и развитие морской судостроительной промышленности России накануне первой мировой войны// Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1958. № 3. С.89; Бовыкин В. И. Банки и военная промышленность России накануне первой мировой войны// Исторические записки. 1958. Т.64. С.98—104, 117—121.

[18] Соловьева А. М. К вопросу о роли финансового капитала в железнодорожном строительстве России накануне первой мировой войны// Исторические записки. 1956. Т.55. С.175—177, 205 и др.

[19] Лаверычев В. Я. Государство и монополии в дореволюционной России. Проблемы вмешательства абсолютистского государства в экономическую жизнь и воздействия капиталистических монополий на государственный аппарат. М., 1982. С.167—173.

[20] ЦГАОР СССР. Ф.7731. Оп.1. Д.9. Л.1.

[21] Ратенау В. Новое хозяйство. М., 1923. С.69.

[22] Исторический опыт трех российских революций. Кн.1. Генеральная репетиция Великого Октября: Первая буржуазно-демократическая революция в России. М., 1985. С.30—33.

[23] См.: Корелин А. П., Тютюкин С. В. Социальные предпосылки Великого Октября// Вопросы истории. 1977. № 10. С.24.

[24] См.: Рабочий класс России. 1907 — Февраль 1917 г. М., 1982. С.39, 246.

[25] Рабочий класс в первой российской революции 1905—1907 гг. М., 1981. С.360—378.

[26] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.11. С.90, 120 и др.

[27] Там же. Т.26. С.354 и др.

И. Д. Ковальченко

АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Изучение аграрного строя в России в период от отмены в 1861 г. крепостного права и до 1917 г., т. е. в эпоху капитализма, особенно в начале XX в., принадлежит к числу наиболее актуальных проблем советской и зарубежной историографии. Именно это развитие и его противоречия оказывали сильнейшее воздействие на весь ход исторического развития страны. Можно утверждать, хотя это и противоречит господствующим в историографии представлениям, что без учета особенностей аграрного развития невозможно понять предпосылки трех российских революций (1905—1907 гг.; февральской 1917 г. и октябрьской 1917 г.), сконцентрированных на предельно кратком в историческом плане отрезке времени.

В данном случае нет возможности, да и необходимости, характеризовать итоги изучения советскими историками аграрного строя России в рассматриваемое время. Отметим лишь, что многие черты этого строя еще далеко не изучены должным образом, что, естественно, приводит к различным мнениям и вызывает споры. Дискуссии идут в основном вокруг вопроса о соотношении в аграрном развитии буржуазных и полукрепостнических отношений и возможностях и путях утверждения аграрного капитализма.

Наименее изученными являются типология буржуазной аграрной эволюции и связь типов этой эволюции и вообще буржуазного прогресса с пережитками крепостнических отношений. Анализу типов, или путей буржуазной аграрной эволюции и присущих ей противоречий, и посвящен настоящий доклад. Анализ ограничивается территорией Европейской России, поскольку, во-первых, социально-экономическое развитие Европейской России оказывало определяющее воздействие на всю страну и, во-вторых, только по Европейской России имеется достаточно цельный комплект конкретно-исторических данных.

Конкретно-фактической основой для решения указанной задачи послужили прежде всего данные сельскохозяйственной статистики, собранные Центральным статистическим комитетом и содержащиеся в различных публикациях и архивных фондах.[1]

Обработка и анализ использованных данных потребовали применения наряду с традиционными и математико-статистических методов. В плане методическом наибольший интерес здесь представляет попытка применения методов имитационно-прогностического моделирования.

* * *

Вопрос о путях буржуазной аграрной эволюции, как известно, был поставлен и широко освещен В. И. Лениным на основе конкретного и фундаментального изучения хода аграрного развития России и других стран. Всю совокупность путей буржуазной аграрной эволюции, как хорошо известно, В. И. Ленин сводил к двум основным. Суть их состояла в следующем. «Буржуазное развитие,— писал В. И. Ленин,— может идти, имея во главе крупные помещичьи хозяйства, постепенно становящиеся все более буржуазными... оно может идти также, имея во главе мелкие крестьянские хозяйства, которые революционным путем удаляют из общественного организма «нарост» крепостнических латифундий и свободно развиваются затем без них по пути капиталистического фермерства. Эти два пути объективно-возможного буржуазного развития мы назвали бы путем прусского и путем американского типа».[2]

Объективно-возможными были лишь два пути буржуазной аграрной эволюции (в их различных вариантах) в силу того, что формы организации сельскохозяйственного производства, предшествующие капитализму, исчерпывались крупным помещичьим (или рабовладельчески-плантационным, как было на юге США) и мелким крестьянским хозяйством, каждое из которых могло быть основой буржуазного прогресса. Естественно, что победить мог лишь один из этих путей. И хотя оба они представляли собой типы прогрессирующего аграрного развития, условия этого прогресса, особенно в период утверждения аграрного капитализма, были существенно различными. Развитие по прусскому пути характеризовалось максимальным сохранением «помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабальных) приемов эксплуатации». Американский путь обеспечивал «в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства... уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свободного крестьянского земледелия».[3]

Победа того или иного из двух путей определялась в плане экономическом соотношением в сельскохозяйственном производстве помещичьего и крестьянского хозяйств и их производственно-техническим уровнем, а в плане социально-политическом — расстановкой и активностью классовых и общественно-политических сил, отстаивающих тот или иной из путей.

Борьба двух путей буржуазно-аграрной эволюции могла иметь место везде, где соседствовали помещичье и крестьянское

хозяйства. Но практически-исторически, как известно, к началу XX в. почти везде в Европе и Северной Америке победил один из двух путей. Важнейшей исторической особенностью России было то, что острейшая борьба двух путей буржуазной аграрной эволюции, развернувшаяся со времени отмены крепостного права вплоть до 1917 г., так и не привела к победе того или иного из них. Это было обусловлено рядом обстоятельств.

Прежде всего следует указать на то, что в целом в Европейской России в течение всей эпохи капитализма господствующее положение в сельскохозяйственном производстве занимало крестьянское хозяйство. Так, в основной отрасли этого производства, т. е. в земледелии, в 50-х гг. XIX в. на долю помещиков приходилось 21.9 % всех посевов, а в 1916 г.—11.3 %.[4] Таким образом, роль помещичьего хозяйства в земледельческом производстве была не только незначительной, но и существенно сократилась в эпоху капитализма.

Важные изменения произошли и в соотношении на рынке крестьянского и помещичьего хлеба. Если, как показывают расчеты, в середине XIX в. помещики производили немногим более половины товарного хлеба, то в конце эпохи капитализма — лишь примерно пятую часть.[5]

Аналогичным было положение и в сфере скотоводства. Так, на долю частновладельческого (помещичьего по своим размерам) хозяйства приходилось лошадей в 1900 г.—15.3 %, а в 1916 г.—6.2 %, а всего скота соответственно по 17.9 % и 5.7 %.[6]

Господствующее положение крестьянского хозяйства в сельскохозяйственном производстве к моменту крестьянской реформы 1861 г. определялось особенностями аграрного развития России в эпоху феодализма. Важнейшая из них состояла в широком распространении системы государственного феодализма. В середине XIX в. в государственной деревне, не знавшей помещичьего хозяйства и гнета, сосредоточивалось примерно столько же крестьян, как и в деревне помещичьей. Поэтому крестьянское хозяйство все время было доминирующей формой сельскохозяйственного производства.

Другим существенным фактором, обусловившим ведущую роль крестьянского хозяйства, особенно специфику ведения помещичьего хозяйства, была крестьянская община с системой уравнительных земельных переделов и круговой порукой.

В районах распространения такой общины (великорусские, восточнобелорусские и украинсколевобережные губернии) при всей ограниченности возможностей к уравнительности тем не менее сдерживалось образование слоя крестьян, не имевших земли и своего хозяйства, поскольку каждый крестьянин имел право на надел и получал его. В силу этого помещики имели возможность пользоваться не только даровым трудом крепостных крестьян, но и их рабочим скотом, инвентарем и т. д. Тем самым не был накоплен опыт ведения хозяйства на основе собственной производственно-технической базы и эксплуатации

лишенного средств производства крестьянства, что затрудняло и замедляло превращение крепостнических помещичьих хозяйств в буржуазные. Таким образом, ко времени отмены крепостного права сложилась историческая ситуация, когда, с одной стороны, объективно и экономически наиболее широкую основу для последующего аграрного прогресса (буржуазного по своей сущности) создавало крестьянское хозяйство, а с другой — на ведущую роль в этом прогрессе, естественно, претендовало хозяйство господствующего класса помещиков-крепостников, опиравшегося на поддержку самодержавия.

Борьба за условия отмены крепостного права была объективно борьбой за тот или иной путь буржуазной аграрной эволюции. В ходе этой борьбы самодержавие, в лице наиболее прозорливых государственных и общественных деятелей, выдвинуло и в целом отстояло компромиссный вариант упразднения крепостничества, исходивший из учета объективных обстоятельств, а именно интересов и крестьян, и помещиков. Главное, чего добились реформаторы, состояло в том, что отделялось от помещичьего (хотя далеко не сразу и не во всем) и получило возможность для самостоятельного развития крестьянское хозяйство. Крестьяне получили не только личную свободу, но и земельный надел с правом его выкупа в собственность, преимущественно общинную. Тем самым создавались условия для формирования широкого слоя самостоятельных мелких производителей, которые в условиях быстрого развития городов, промышленности и вообще общественного разделения труда превращались в товаропроизводителей. Все это положительно сказалось на развитии крестьянского хозяйства и сельскохозяйственного производства. Так, чистые сборы зерновых культур и картофеля (в пересчете на зерно) в расчете на душу всего населения выросли в Европейской России в 1909—1913 гг. сравнительно с 70-ми гг. XIX в. с 340 до 450 кг (с 2.7 до 3.5 четвертей), т. е. почти на треть.

Однако этот прогресс сдерживается и тормозится мощным давлением на крестьян со стороны помещиков. Реформа 1861 г. не только сохранила привилегированное дворянско-помещичье землевладение, являвшееся основой экономической зависимости крестьян от помещиков, но и многие другие крепостнические пережитки (сословная неполноправность, власть помещиков над органами крестьянского самоуправления, телесные наказания и т. д.).

Обычно основное выражение помещичьего гнета исследователи, вслед за В. И. Лениным, усматривают в отработках. Безусловно, отработки — сильнейшее проявление помещичьего гнета, наиболее очевидное по своей экономической неадекватности (компенсация трудовых затрат крестьян была здесь примерно вдвое ниже, чем при свободной продаже рабочей силы) и рутинности организации помещичьего хозяйства. Однако при незначительном общем объеме помещичьего производства гнет

отработок не был столь тягостным для крестьян, как это представляется на первый взгляд, хотя отработки и сохранились до 1917 г.

Значительно более мощным прессом, ограничивавшим развитие крестьянского хозяйства, были те платежи, которые несло крестьянство за выкуп надельных и особенно покупку и аренду помещичьих земель. Известно, что к 1906 г. крестьяне выплатили 2.5 млрд. руб. выкупных платежей. С начала 60-х гг. XIX в. до 1910 г. они затратили 2 млрд. руб. на покупку частновладельческих земель. Кроме того, крестьяне арендовали у помещиков как минимум 20 млн. дес. земли. На это уходило ежегодно в конце XIX в. не менее 150 млн. руб., а в начале XX в. примерно 200—250 млн. руб. Следовательно, крестьяне за эпоху капитализма уплатили помещикам несколько миллиардов рублей за аренду земли. Грандиозность сумм, затрачиваемых крестьянами на выкуп, покупку и аренду земли, очевидна из того, что рыночная стоимость всего земельного фонда Европейской России составляла в начале XX в. 20 млрд. руб., а дворянских земель 4.3 млрд. руб.[7] Громадные ресурсы были изъяты из производственной сферы, ибо помещики, которым досталась подавляющая часть этих средств, тратили их чаще всего непроизводительно.

Однако помещики паразитировали не только на развитии крестьянского хозяйства. Они получали также огромные ссуды под залог земли в акционерных земельных банках и Дворянском государственном земельном банке. К началу 1915 г. этими банками было выдано 3545.1 млн. руб. ссуд под залог частновладельческих земель.[8]

Наконец, привилегированное помещичье землевладение создавало общую неблагоприятную экономическую конъюнктуру как для развития сельскохозяйственного производства, так и прогресса на основе буржуазных отношений народного хозяйства в целом. Тормозящая роль помещичьего землевладения и хозяйства приобрела наибольшую остроту в начале XX в. В это время развитие промышленного капитализма достигло высокого, монополистического уровня. На новый уровень вышло и развитие аграрного капитализма. В начале века происходило интенсивное формирование единого аграрного капиталистического рынка. Вслед за складыванием во второй половине XIX в. единого товарного рынка на основную сельскохозяйственную продукцию в начале XX в. в основном сложился единый рынок на средства производства и рабочую силу. Но для завершения формирования единого капиталистического аграрного рынка необходим был единый рынок на основное средство сельскохозяйственного проиводства — землю. Однако в силу ограниченности этого рынка (из свободного товарного оборота были исключены надельные крестьянские земли, составлявшие в Европейской России по земельной переписи 1905 г. 138.8 млн. дес. против 101.7 млн. дес. частновладельческих земель)[9] и господства на

нем привилегированного помещичьего землевладения в начале XX в. формирование этого рынка находилось лишь в самой начальной стадии.[10] С одной стороны, это препятствовало полному утверждению объективных законов рынка (законы стоимости, средней нормы прибыли, конкуренции) в сфере сельскохозяйственного производства. От этого страдало прежде всего крестьянство, ибо отсутствие единого земельного рынка приводило к тому, что в России арендные цены не соотносились с реальной стоимостью земли. Кроме учета цен на землю, аренда включала в себя еще и экономически необоснованный налог землевладельца на арендатора, опирающийся на монополию на рынке и привилегии помещичьего землевладения и нужду крестьян в земле. Этим и обусловливались огромные затраты крестьян на аренду земли.

С другой стороны, неразвитость земельного рынка, задерживая складывание единой средней нормы прибыли в сельском хозяйстве, исключала формирование единой средней нормы прибыли и в народном хозяйстве страны в целом. Тем самым ограничивался свободный перелив капиталов из одной сферы в другую, что является непременным условием успешного производственного прогресса на основе рыночной экономики.

Как видим, помещичье хозяйство, несмотря на свой незначительный вес в сельскохозяйственном производстве, оказывало огромное и негативное по своему характеру воздействие на развитие и крестьянского хозяйства, и аграрной сферы, и народного хозяйства страны в целом.

Однако, несмотря на огромные ресурсы, которые помещики извлекали из крестьянского хозяйства, и мощную экономическую и социально-политическую поддержку самодержавного государства, они не только не смогли увеличить свой вклад в развитие сельскохозяйственного производства, но и не достигли в целом производственно-технического превосходства над хозяйством крестьянским. В пореформенную эпоху и помещичье, и крестьянское хозяйства развивались по пути капитализма, и к началу XX в. буржуазные отношения играли ведущую роль.

В то же время, во-первых, уровень аграрного капитализма был низким и его развитие сочеталось с многочисленными полукрепостническими пережитками.[11] В крестьянском хозяйстве господствующее положение занимал мелкобуржуазный уклад. Основой этого хозяйства служил семейный труд. Собственно капиталистическое, фермерское хозяйство, базой которого в то время был наемный труд, играло незначительную роль.Важной особенностью буржуазного развития деревни было наличие многочисленного слоя беднейшего крестьянства и увеличение его численности при сокращении зажиточной прослойки в конце XIX — начале XX в. По данным военно-конских переписей в 1888 и 1891 гг. безлошадные и однолошадные дворы по губерниям Европейской России составляли 55.8 % всех дворов, а дворы с 4 и более лошадьми — 10.7 %. В 1912 г. это соотно-

шение соответственно равнялось 63.8 % и 6.4 %. Тем самым в деревне, с одной стороны, наличествовала широкая социальная основа для союза рабочего класса с беднейшим крестьянством, с другой — неустойчивое положение зажиточного крестьянства, приводившее в условиях растущего давления на деревню к его прямо-таки стремительному сокращению, ограничивало возможности для превращения зажиточных крестьян в буржуазных фермеров. Все это создавало обостряющуюся социальную напряженность в деревне.

Во-вторых, и в помещичьем хозяйстве господство буржуазных отношений сочеталось с сохранением привилегированного, феодального по своей природе землевладения, служившего основой для экономического и другого гнета крестьянства. В результате в стране сформировался новый социальный слой, представители которого выступали и как организаторы капиталистического сельскохозяйственного производства, и как носители полукрепостнических форм землевладения и кабальных форм эксплуатации крестьянства. Одни и те же лица одновременно были и капиталистами-аграриями и помещиками-полукрепостниками. Более того, длительное сохранение полуфеодальных форм земельной собственности привело к началу XX в. к ее сращиванию с собственностью буржуазной не только в среде дворянства и в аграрной сфере, но и у других сословий и в сферах предпринимательской деятельности. Так, примерно треть частновладельческих земель принадлежала не дворянам, а купцам, мещанам и крестьянам. Многие дворяне занимались предпринимательской деятельностью в области промышленности, банковском деле.[12] Бо́льшая часть принятых в залог частновладельческих земель и выданных под нее ссуд по данным 1915 г. приходилась на акционерные, т. е. буржуазные по своей сути, земельные банки.[13]

К началу XX в. ситуация в аграрной сфере была такова, что, с одной стороны, возможности для буржуазного аграрного прогресса, открытые реформой 1861 г., были исчерпаны, а с другой — ни один из двух путей этого прогресса не восторжествовал. Помещичьему хозяйству, несмотря на мощную поддержку самодержавия, не хватало для этого экономической мощи и социальной базы. Объективно-экономические предпосылки для торжества «крестьянского» капитализма были несравненно шире. Но успешное развитие крестьянского хозяйства сковывалось полукрепостническими пережитками, мощным давлением помещиков и самодержавия. Неизбежность, если можно так выразиться, прямого столкновения двух тенденций и схватки стоящих за ними социальных сил стала неизбежной. И такие схватки произошли. Их было две. Это — революция 1905—1907 гг. и столыпинская аграрная реформа.

В сфере социально-экономической революция 1905—1907 гг. была борьбой за расчистку пути для торжества буржуазно-демократического, крестьянского пути буржуазной аграрной эволюции.

Центральной здесь была задача ликвидации помещичьего землевладения и связанных с ним других феодальных пережитков.

Ход и исход революции хорошо известны. Первая буржуазно-демократическая революция в России потерпела поражение. Основная причина этого поражения, как представляется,— революция не была поддержана буржуазией. Более того, она в конечном счете заняла контрреволюционную позицию. Несомненно, здесь сыграл свою роль тот объективный факт, что нельзя было устранить основной феодальный пережиток, а именно помещичье землевладение (чего добивались все демократические силы), не затрагивая частную собственность вообще. Сращивание полуфеодальной и буржуазной собственности, обусловившее невозможность упразднения помещичьего землевладения без покушения на частную собственность в целом, было очевидно представителям господствующего класса. Так, в основных положениях по аграрному вопросу, принятых первым съездом уполномоченных дворянских обществ в мае 1906 г., говорилось: «Если право собственности на землю будет уничтожено, то это будет лишь первым шагом к уничтожению права собственности на все остальные виды имущества: на городские недвижимости, промышленные и фабричные предприятия, денежные капиталы и т. д., т. е. к социалистическому строю».[14] В данном случае представителям дворянства нельзя отказать в исторической проницательности.

Отбив натиск революционно-демократических сил, помещики и самодержавие, естественно, должны были нанести контрудар, имеющий своей целью обеспечение торжества буржуазно-помещичьего типа аграрного развития. На это и была направлена столыпинская аграрная реформа.

* * *

Основные идеи, положенные в основу столыпинской реформы, а именно необходимость ликвидации общины и вовлечение надельных земель в свободный рыночный оборот, высказывались задолго до Столыпина. Их, в частности, активно развивал еще до революции 1905—1907 гг. С. Ю. Витте.

Определяя суть реформы и выражая позицию правительства в своем выступлении в Думе (в ноябре 1907 г.), П. А. Столыпин говорил: «Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками — бунт погашается силой, а признание неприкосновенности частной собственности и, как последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление которых правительство считало и считает вопросами бытия русской державы».[15] В другой речи он подчеркивал, что, проводя реформу, правительство «ставило ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных».[16]

Социально-экономическую и общественно-политическую направленность реформы можно резюмировать словами наблюдавшего ее немецкого профессора Аугагена: «В широкие крестьянские массы,— писал он,— вгоняется клин путем создания сословия крепких крестьян-собственников. Уважая свою собственность, они создадут в среде самого крестьянства прочную почву для охраны крупного землевладения».[17]

Таким образом, очевидно, что основная цель реформы состояла в создании слоя гроссбауеров в результате раскола относительного единства и общности интересов крестьянского мира, фактически путем разорения широких масс крестьянства.

В этой связи представляются совершенно несостоятельными высказываемые в настоящее время в массовой печати заключения о том, что современные аграрные преобразования в нашей стране должны ориентироваться на опыт столыпинской реформы.

Главным путем достижения указанных целей были ликвидация крестьянской общины и создание широкого слоя личных крестьян-собственников, ведущих предпринимательское рыночное хозяйство и расширяющих его прежде всего за счет покупки бывших общинных надельных, а не только частновладельческих (прежде всего дворянских) земель, как было до реформы.

Посмотрим, в какой мере правительству удалось практически реализовать поставленные здесь цели. По сведениям губернаторов, которые далеко не были заинтересованы в преуменьшении успехов в проведении реформы и располагали наиболее обширными данными о положении дел в губерниях, к 1 января 1916 г. выделились из общины и укрепили землю в личную собственность 2.5 млн. дворохозяев (27 % всех общинных дворов), имевших 15.9 млн. дес. земли (14 % всех общинных земель). При этом уже с 1910 г. выход из общины резко падает.[18] Очевидно, что курс на ликвидацию общины потерпел провал, что подрывало возможность достижения основной цели реформы. При этом весьма важно, что из общины вышли отнюдь не только наиболее состоятельные крестьяне, стремившиеся вести предпринимательское хозяйство (на 27 % дворов, вышедших из общины, приходилось всего 14 % общинных надельных земель). Выход из общины превращал наделы в личные владения крестьян и предусматривал право сведения их воедино в виде «отрубов» или хуторов, что значительно расширяло свободу хозяйственной деятельности.

В 1907—1915 гг. на надельных землях крестьян было создано 1.265 тыс. хуторов и отрубов (10.3 % от общего числа всех крестьянских хозяйств), под которыми было занято 12.232 тыс. дес. земли (8.8 % всех крестьянских земель). Всего же с учетом хуторов и отрубов, созданных на землях Крестьянского банка и казны, участковым землевладением было охвачено 15.4 млн. дес. земли, что составляет 11 % от общей площади надельных

земель.[19] Очевидно, при таком низком удельном весе индивидуальное участковое хозяйство не могло оказать существенного воздействия на общее развитие сельскохозяйственного производства страны.

Расширить и укрепить слой личных собственников-крестьян правительство рассчитывало, кроме того, путем скупки ими надельной земли, поступившей в свободный товарооборот и путем содействия покупке крестьянами частновладельческих земель через Крестьянский поземельный банк. Итоги здесь были такими.

Всего в 1908—1915 гг. надельную землю полностью или частично продали 1.1 млн. дворов (9 % всех крестьянских дворов). Ими было продано 4 млн. дес. земли (2.8% всех надельных земель).[20] Значительно бо́льшую роль в расширении участкового крестьянского землевладения имели покупки крестьянами частновладельческих земель. В 1906—1916 гг. при содействии Крестьянского банка было приобретено 9.6 млн. дес.[21]

Однако и покупка земли через Крестьянский банк также не дала существенных сдвигов ни в насаждении предпринимательских крестьянских хозяйств, ни в развитии земельного рынка. Общие покупки крестьянами надельных и частновладельческих земель за время столыпинской реформы составляли лишь 10 % по отношению к надельным землям (4 млн. дес. надельных и 9.6 млн. дес. частновладельческих земель при 139 млн. дес. надельных земель).

Таким образом, самодержавие, с одной стороны, стремилось насадить в деревне слой самостоятельных крестьян-предпринимателей, а с другой — выдвигая на первый план интересы помещиков,— оно мало содействовало этому процессу. Ставка делалась на то, что распад общины приведет к концентрации состоятельными крестьянами в своих руках материальных, прежде всего земельных, ресурсов деревни.

Этой же цели, а также разрядке социального напряжения в деревне служила и политика переселения крестьян за пределы Европейской России. Итоги этого процесса хорошо известны. Напомним лишь, что в 1880—1895 гг. в восточные районы страны переселилось 461,7 тыс. человек, в 1896—1905 гг.— 1075.9 тыс. человек, а в 1906—1911 гг.—3078.9 тыс. Около пятой части (18.0 %) переселившихся в период 1896—1916 гг. вернулись обратно. При этом и переселенческое движение достигло своего максимума в 1907—1909 гг., после чего начался его спад.[22]

Таковы основные направления и итоги столыпинской аграрной реформы. Со всей очевидностью они свидетельствуют, что столыпинская аграрная реформа в целом провалилась еще до первой мировой войны. Поэтому безосновательны всякие утверждения о том, что для успеха реформы, а следовательно, и для торжества в России порядков, установившихся в Западной Европе, не хватило мирного времени.

* * *

Каково же было непосредственное воздействие столыпинской реформы на общий ход аграрного развития?

Конечные результаты воздействия столыпинской реформы на развитие сельскохозяйственного производства отражаются в его состоянии. Посмотрим, каким было состояние основной отрасли этого производства, а именно земледелия. Выше уже говорилось о его существенном прогрессе в конце XIX — начале XX в. Что же дала для этого прогресса столыпинская аграрная реформа? Обобщенным показателем успехов в развитии сельскохозяйственного производства являются данные об объеме производимой продукции (см. табл.1).

ТАБЛИЦА 1

Динамика сборов хлебов и картофеля в Европейской России*

Вид с.-х. продукции (валовые сборы, млн. четвертей в год)	1870-е гг.	1880-е гг.	1890-е гг.	1900—1905 гг.	1909—1913 гг.
Зерновые	243.4	284.2	335.5	381.2	395.5
Картофель	40.8	49.8	96.4	118.8	168.2
Всего с пересчетом картофеля на зерно	257.0	300.8	367.6	420.8	451.6
В % к предыдущему периоду		117.0	122.2	114.5	107.3
Среднегодовой прирост в %		1.70	2.22	2.41	1.46

* См.: Нифонтов А. С. Зерновое производство России во второй половине XIX века (данные за 70—90-е гг.); Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год 10-й.(данные по началу XX в.)

Подсчеты наши. Одна четверть равна примерно 0.13 т, или 130 кг.

Валовые сборы земледельческой продукции в 1909—1913 гг., т. е. в разгар столыпинской реформы, возросли сравнительно с началом века незначительно (всего на 7.3 %). Среднегодовой же прирост этих сборов заметно снизился (до 1.46 % против 2.41 %). Поэтому утверждения о росте сбора хлебов в период реформы в 2 раза[23] являются чистейшим вымыслом.

Столь же беспочвенны и утверждения о процветании сельскохозяйственного производства в период столыпинщины на том основании, что Россия экспортировала много хлеба. Да, действительно вывоз был большим. Так, в 1909—1913 гг. вывозилось в год 724.4 тыс. пудов (или примерно 90 млн. четвертей),[24] что составляло более пятой части сбора зерновых культур в это время. Но громадный вывоз был обусловлен не наличием излишков хлеба сравнительно с внутренней потребностью. Об этом говорит тот факт, что в России в начале XX в. сравнительно с ее основными конкурентами по экспорту хлебов сборы хлебов

в расчете на душу населения были в 2 раза меньше, чем в США, в 2.5 раза меньше, чем в Аргентине и в 3 раза меньше, чем в Канаде.[25]

Огромный вывоз, достигший в период реформы максимальных объемов, безусловно понижал потребление хлеба подавляющей частью крестьян, т. е. ухудшал их положение. Интенсивный экспорт хлеба был обусловлен тем, что его вывоз был основным источником поступления валюты. В тот же период 1909—1913 гг. экспорт хлеба давал ежегодно более 650 млн. руб. За 14 предвоенных лет экспорт дал 7.3 млрд. руб.[26] И хотя продавался хлеб, произведенный прежде всего крестьянством, представляется маловероятным, чтобы значительная часть этой огромной суммы валютных поступлений досталась крестьянству.

Наконец, о результатах главной цели реформы, а именно радикальном изменении социальной структуры деревни путем насаждения мощного слоя состоятельных индивидуальных собственников, ведущих предпринимательское рыночное хозяйство. Обобщенным показателем здесь могут быть сведения об изменении соотношения в деревне различных слоев крестьянства. В табл.2 указано соотношение этих слоев по данным об обеспеченности лошадьми. В целом процесс социального расслоения деревни характеризовался преимущественным выделением в деревне Нечерноземной и Среднечерноземной полосы пролетарских и полупролетарских слоев, а в Прибалтийском, особенно Южном, регионе — обуржуазившихся слоев деревни. При этом не обнаруживается расширения слоя зажиточного крестьянства под воздействием столыпинской реформы.

Однако соотношение дворов различной хозяйственной состоятельности не отражает их веса в экономике деревни. Применительно к земледельческому производству достаточно точное представление об этом весе дает распределение по группам хозяйств рабочего скота. Имеющиеся данные показывают, что доля зажиточных слоев в земледельческом производстве примерно равнялась принадлежащей им доле лошадей.[27] В целом по Европейской России эта доля сократилась с 38.1 % в 1888/1891 гг. до 32.2 % в 1899/1900 г. и 26 % в 1912 г. Земледелие в плане его социальной базы все в большей мере основывалось на середняцко-бедняцких слоях деревни. Столыпинская реформа не только не прервала эту тенденцию, но в начале XX в. она стала еще более яркой. Наиболее устойчивой роль состоятельного крестьянства в экономике деревни была в Степном районе. Кроме того, это был единственный район, где на долю зажиточного слоя деревни в течение всего рассматриваемого периода приходилось более половины производства в земледелии. Определенную роль в этом сыграла и столыпинская реформа. Но в целом зажиточные крестьяне не только не превратились в определяющую экономическую и социальную силу в деревне, как замышлялось, но их роль даже заметно умень-

ТАБЛИЦА 2

Соотношение различных слоев крестьянства в Европейской России*

Показатели	Губернии				Европейская Россия (47 губ.)
	Нечерноземные (23 губ.)	Среднечерноземные (15 губ.)	Степные (6 губ.)	Прибалтийские (3 губ.)	
		1888—1891 гг.			
Всего дворов, тыс.	4376.3	4163.8	1084.1	207.7	9831.9
Дворов, %:					
безлошадных	20.6	34.9	28.9	11.0	27.2
с 1 лошадью	36.6	23.0	16.4	33.8	28.6
с 2-мя	23.4	21.8	23.7	22.8	22.7
с 3-мя	11.4	10.2	10.0	16.1	10.8
с 4-мя и более	8.4	10.1	21.0	16.3	10.7
		1899—1900 гг.			
Всего дворов, тыс.	4957.6	4685.5	1216.2	26.1	11119.4
Дворов, %:					
безлошадных	23.9	36.6	25.2	17.9	29.3
с 1 лошадью	38.6	25.0	16.0	32.3	30.3
с 2-мя	21.4	22.3	24.0	20.4	22.0
с 3-мя	9.2	8.8	11.6	14.1	9.4
с 4-мя и более	6.9	7,3	23.2	15.3	9.0
		1912 г.			
Всего дворов, тыс.	5905.3	5507.2	1482.0	231.4	13125.9
Дворов, %:					
безлошадных	25.8	39.5	27.4	22.2	31.6
с 1 лошадью	41.9	25.9	16.1	33.8	32.2
с 2-мя	21.0	22.4	26.2	22.6	22.2
с 3-мя	6.9	7.4	10.6	11.5	7.6
с 4-мя и более	4.4	4.8	19.7	9.9	6.4

* Подсчитано по: Военно-конская перепись. 1882 г. (СПб., 1891); 1891 г. (СПб., 1894); 1899—1900 гг. (СПб., 1902); 1912 г. (СПб., 1913). Исключены из-за неполных данных Архангельская и Астраханская губернии и Область войска Донского.

шилась. Значит, еще до первой мировой войны в своем главном аспекте реформа не достигла цели. Ход проведения реформы в жизнь полностью подтверждает сделанное выше на основе анализа общих условий и тенденций аграрного развития заключение о невозможности победы в России буржуазно-консервативного, помещичьего типа аграрного капитализма не только в форме непосредственного господства помещичьего хозяйства, но и в форме союза помещиков и состоятельных индивидуальных земельных собственников-крестьян. Достаточно обширный слой последних предполагалось создать в результате ликвидации общины, передачи надельных земель в личную собственность и быстрой их концентрации в руках зажиточных крестьян. Но нежелание основной массы крестьян выходить из общины и общая малочисленность зажиточной прослойки в деревне сде-

лали невозможным утверждение и указанного варианта помещичьего капитализма.

Такое положение подтверждается еще одним аспектом анализа. Речь идет об имитации возможных изменений в социальной структуре деревни путем построения альтернативно-имитационной модели процесса. Суть этого моделирования состоит в выявлении хода развития при условиях, отличных от реально существовавших, но исторически допустимых. Подобные модели важны не тем, как нередко полагают, что они, рисуя иной ход процесса, могут быть основой для суждений о благоприятном или неблагоприятном ходе реального развития, а тем, что они позволяют более глубоко понять, почему реальный процесс был таким, а не иным.

Применительно к столыпинской реформе теоретически допустимы два варианта иного сравнительно с реальным ходом аграрного развития. Посмотрим, какова могла бы быть при этом социальная структура деревни.

В данном случае при моделировании был использован метод так называемых «марковских цепей». Суть его состоит в том, что по имеющимся данным о соотношении различных групп объектов, относящимся к двум или более временным моментам, рассчитывается возможное соотношение этих групп на следующем временном рубеже (в табл.3 приведены результаты соответствующих вычислений).[28]

ТАБЛИЦА 3

Имитационная модель соотношения типов крестьянских хозяйств в Европейской России (в %)

Показатели	Губернии				Европейская Россия
	Нечерноземные	Среднечерноземные	Степные	Прибалтийские	
Фактическая доля дворов в 1912 г.:					
Беднейшие	67.7	65.4	43.5	56.0	63.8
Средние	27.9	29.8	36.8	34.1	29.8
Зажиточные	4.4	4.8	19.7	9.9	6.4
Расчетная доля дворов в 1912.:					
Беднейшие	65.6	63.1	38.6	48.8	59.6
Средние	28.2	30.3	37.0	37.3	31.8
Зажиточные	6.2	6.3	24.4	13.9	8.6
Расчетная доля дворов в начале 1920-х гг.:					
Беднейшие	67.2	66.3	42.7	55.9	66.2
Средние	29.1	29.4	37.6	37.3	28.1
Зажиточные	3.7	4.3	19.7	6.8	5.5

* Доля дворов за 1888, 1900, 1912 гг. указана в табл. 2. К беднейшим отнесены безлошадные и однолошадные дворы, к средним—с 2-мя и 3-мя лошадьми, к зажиточным—с 4-мя и более.

В плане подтверждения бесперспективности утверждения в России под воздействием столыпинской реформы буржуазно-консервативного варианта аграрного развития результаты имитационного моделирования превосходят всякие ожидания.

Начнем с прогноза о возможном соотношении разных групп дворов в 1912 г. при допущении того, что аграрное развитие в 1900—1912 гг. протекало бы при таких же условиях, которые существовали в конце XIX в. и зафиксированы в данных о соотношении дворов в 1900 г. Прогноз показывает, что в этом случае в 1912 г. повсеместно (во всех регионах и Европейской России в целом) доля беднейших дворов была бы заметно меньше, а зажиточных значительно больше, чем было в действительности.

Это значит, что давление на деревню, а суть столыпинской реформы сводилась именно к этому, давало лишь негативные результаты в изменении социальной структуры деревни. Говоря шире, полученные результаты свидетельствуют о том, что именно свободное развитие крестьянского хозяйства, т. е. буржуазно-демократический путь аграрной эволюции, могло привести к наиболее благоприятным экономическим и социальным результатам.

Второй прогноз направлен на выявление того, какой могла бы быть социальная структура деревни в начале 20-х гг. сравнительно с 1912 г., если бы в это время в аграрном развитии сохранились условия 1900—1912 гг., т. е. если бы для реализации столыпинской реформы было больше мирного времени. Прогноз показывает, что и в подобной контрфактической ситуации, идеальной с позиций некоторых современных ученых, не удалось бы добиться достижения социальных целей, преследуемых реформой, а именно утверждения господства в деревне состоятельного слоя крестьян. Повсеместно расчетная доля зажиточных дворов оказалась значительно меньшей, чем эта доля была в 1912 г. Процесс осереднячивания и обеднения деревни мог стать еще большим, чем он был в 1912 г.

В целом рассматриваемый прогноз показывает несостоятельность суждений тех, кто полагает, что столыпинская реформа при иных условиях ее проведения могла бы обеспечить аграрный прогресс и тем самым предотвратить Октябрьскую революцию.

Таковы реальные итоги аграрного развития в период столыпинской реформы и его исчисленные альтернативные результаты.

* * *

Таким образом, проведенный анализ показывает, что столыпинская аграрная реформа в своем основном существе провалилась еще до первой мировой войны. А это значит, что ходом исторического развития была снята возможность победы «прус-

ского», буржуазно-помещичьего варианта аграрного капитализма. Оставалась вроде бы лишь возможность победы «американского», крестьянского типа аграрного капитализма. Однако и здесь ход исторического развития привел к ситуации, когда уже в силу социально-политических причин победа и этого типа становилась невозможной.

Для торжества крестьянского пути буржуазной аграрной эволюции необходимо было устранение крепостнических пережитков и прежде всего ликвидация помещичьего землевладения. Но ликвидировать в начале XX в. полуфеодальное помещичье землевладение, преимущественно дворянское по своей сословной принадлежности (примерно 70 % частновладельческих земель принадлежало дворянам), было невозможно, как указывалось, не покушаясь на буржуазную собственность вообще.

Невозможность ликвидации полукрепостнических пережитков на основе сохранения буржуазного строя стала особенно очевидной в годы первой мировой войны. Война гигантски ускорила развитие капитализма, окончательно и неразрывно слила это развитие с сохранением феодальных пережитков. Это и было причиной того, что Февральская революция 1917 г., при всем ее радикализме в сфере социально-политической, не привела к решению аграрного вопроса. Решить его, как и вообще преодолеть кризис, в котором оказалась страна в результате войны, было невозможно, «не покидая почвы буржуазных отношений».[29] Так ход исторического развития страны привел к необходимости всенародной революции под руководством пролетариата. Ликвидировав частную собственность и осуществив национализацию земли, т. е. решив буржуазно-демократическую задачу, революция вместе с тем открывала путь для движения к социализму.

Тем самым противоречие между настоятельной необходимостью ликвидации помещичьего землевладения, основного феодального пережитка и тормоза всего социально-экономического прогресса, и невозможностью решения этой задачи в буржуазных условиях было важнейшей, можно даже сказать основной, исторической предпосылкой социалистической революции в России.

Особенности аграрной эволюции обусловили и ряд других черт в историческом развитии страны. Одна из них состояла в том, что невозможность ликвидации помещичьего землевладения без покушения на буржуазную собственность ослабляла, а то и вообще подрывала социально-экономические основы для компромисса с буржуазными слоями общества при проведении послереволюционных преобразований. А без таких компромиссов не обходилась ни одна революция, ибо они облегчали формирование новых экономических, социальных и других систем и структур. В нашей стране эти преобразования в донэповский период приобретали максималистскую антибуржуазную направленность, усиливаемую верой в скорую победу мировой проле-

тарской революции. Этим была обусловлена и та жестокость борьбы, которая имела место в гражданской войне и была присуща обеим борющимся сторонам. Сейчас много пишут и говорят о безнравственности этой жестокости. Но ее, во-первых, нельзя приписывать только одной стороне. Во-вторых, нельзя сводить причины, порождавшие ее, только к разного рода субъективным факторам. Она, как видим, имела и свои более глубокие корни.

Социалистическая революция в России была неизбежностью, порожденной особенностями ее исторического, прежде всего аграрного, развития. Но произошла она в стране, которая хотя и достигла общего среднего уровня развития капитализма, но оставалась страной аграрной, с общим уровнем производственно-экономического развития, не создававшим необходимых предпосылок для генезиса социалистической системы хозяйства на естественно-исторической основе, т. е. путем внутренней эволюции общественно-экономических укладов при адекватных взаимосвязях между ними. Этот генезис протекал при господстве предельно централизованных и насильственных методов «первоначального поколения», которые имели широкое распространение в эпоху генезиса и других общественно-экономических формаций. Основным источником «первоначального накопления» была деревня. Начальная стадия генезиса социализма фактически продолжается у нас до сих пор. Только сейчас намечается переход на естественно-исторический путь этого генезиса в плане социально-экономическом и демократический — в сфере социально-политической.

С учетом указанного и должен решаться вопрос о том, с каким социализмом мы имеем дело. Думается, что правомерно утверждать, что реально завершается лишь начальный этап генезиса социализма. Сам же истинный социализм еще впереди и, видимо, не так близко, как хотелось бы.

Разумеется, указанные особенности в историческом развитии, вытекающие из его характера в эпоху капитализма, требуют специального исторического исследования. В данном случае мы лишь обращаем внимание на некоторые из них.

[1] Источниковедеская характеристика сельскохозяйственной статистики и других материалов о крестьянском и помещичьем хозяйствах дана в работе «Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма» (М., 1979. Гл.5—9).

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т.16. С.215—216.

[3] Там же. С. 216. См. также с.230, 406.

[4] См.: Ковальченко И. Д. Соотношение крестьянского и помещичьего хозяйства в земледельческом производстве капиталистической России //Проблемы социально-экономической истории России. М., 1971. С. 182.

[5] Там же. С. 188—190.

[6] Там же. С. 187.

[7] Проскурякова Н. А. Размещение и структура дворянского землевладения в конце XIX — начале XX века.//История СССР. 1973. № 1. С. 62.

[8] Материалы по истории аграрных отношений в России в конце XIX — начале XX в. Статистика долгосрочного кредита в России. М., 1980. С. 38—39.

[9] Проскурякова Н. А. Указ. соч. С. 59.

[10] См.: Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII — начало XX в. М., 1974. Гл. 8.

[11] См.: Ковальченко И. Д., Селунская Н. Б., Литваков Б. М. Социально-экономический строй помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1982; Ковальченко И. Д., Моисеенко Т. Л., Селунская Н. Б. Социально-экономический строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1988.

[12] Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861—1904. М., 1979.

[13] Материалы по истории аграрных отношений в России. Статистика долгосрочного кредита. М., 1980. С. 38—39.

[14] Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина: Сб. материалов. М., 1973. С. 81.

[15] Сборник речей Столыпина. СПб., 1912. С. 45—46.

[16] Там же. С. 75.

[17] Цит. по: Герасименко Г. А. Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики. Саратов, 1985.

[18] Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. С. 199—200.

[19] Першин П. Н. Участковое землепользование в России. М., 1922. с. 46—47.

[20] Дубровский С. М. Указ. соч. С. 361.

[21] Батуринский А. А. Аграрная политика царского правительства и крестьянский поземельный банк. М., 1925. С. 127—131.

[22] Дубровский С. М. Указ. соч. С. 390—391.

[23] См.: Огонек. 1989. № 45. С. 12.

[24] Лященко П. И. Русское зерновое хозяйство в системе мирового хозяйства. М., 1927. С. 311.

[25] Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. М., 1950. Т. 2. С. 380.

[26] Лященко П. И. Русское зерновое хозяйство. С. 312—313.

[27] См., напр.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 122—123.

[28] Соответствующая обработка материалов военно-конских переписей на ЭВМ была проведена в Московском университете Л. И. Бородкиным, которому автор выражает свою благодарность.

[29] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 37.

ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ

З а с е д а н и е 4 и ю н я по теме: *«Российское общество в начале XX в. Кризис самодержавной власти».*

Сопредседатели: А. Рибер (США), К. Ф. Шацилло (СССР)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

А. Рибер

Русская революция 1917 г. была единственным крупным социально-политическим переворотом в Европе с 1789 г. до конца XX в., когда были полностью уничтожены общественные институты и социальная опора старого режима. Сам этот факт предполагает, что государственная и социальная структуры царской России представляли особый, если не уникальный, путь исторического развития. Несколько работ, представленных на коллоквиуме, помогают раскрыть эти особенности. Задача моего комментария состоит в создании аналитического синтеза некоторых этих тем.

Основные характеристики России на период с 1861 по 1917 г. могут быть обобщены следующим образом.

1. Многоукладность различных социальных форм.
2. Неравномерное развитие капитализма.
3. Раздробленность и обособленность крупных социальных групп.
4. Неустойчивость и хрупкость государственного аппарата.

Рассмотрим эти пункты подробнее.

1. Русское общество накануне революции напоминало кунсткамеру докапиталистических, капиталистических и смешанных форм. Ленинский термин «многоукладность» — один из способов объяснения разнообразия и сложности социальной структуры России. По-моему, В. И. Бовыкин был совершенно прав, требуя более определенную и расширенную историческую формулировку. Чем можно объяснить сосуществование архаичных и новых социальных форм? Постараемся примирить выводы дореволюционных и послереволюционных школ историографии. Столетие назад В. И. Семевский уже провел различие между

двумя разрезами христианской жизни: бытовой и юридической. С помощью этой концепции попытаемся ответить на вопрос об особенностях российского общества.

Государство было намерено сохранить архаичные социальные формы, потому что они служили важным финансовым и административным целям.

Первая функция заключалась в сохранении порядка и обеспечении повинностей разных слоев населения. Государству не хватало ни денег, ни кадров на управление страной. Проще было использовать выборных глав сословия (предводитель дворянства, купеческий и крестьянский староста) вместо государственных чиновников, исполняющих волю государства.

Вторая функция: до реформ 60-х гг. XIX в. право на самоуправление было предоставлено только сословию. После реформы сохранились элементы сословности в местном управлении. Государство избегало разделения реальной власти с населением и действительного представительного самоуправления (и, как показывает В. А. Нардова, преуспело в этом). Городские думы продолжали оставаться как бы пассивным наблюдателем активизации либерального движения даже в 1902 г. Даже когда правительство было вынуждено изменить свою позицию, оно старалось сохранить элементы сословности. Например, уездная выборная система, выдвинутая Столыпиным в декабре 1906 г., предполагала систему курий, в основании которой лежал компромисс между сословным и имущественным цензами. (Представляет интерес сравнение с прусской системой курий, основанной исключительно на цензовом положении).

К этому времени, естественно, государство было озабочено и еще одной проблемой. Оно начало опасаться влияния капиталистических отношений на формирование настоящих социально-экономических классов. Самыми опасными из них стали бы буржуазия и рабочий класс. Сохранение сословной структуры послужило бы тормозом этим нежеланным тенденциям.

Но не только государство защищало сословную структуру. Дворянство признавало важность сословий в деле сохранения его статуса и привилегий. Купечество также поддерживало сословную структуру, потому что она выделяла их из массы мелких лавочников и ремесленников, которых они ставили на низшую социальную ступень. Даже среди крестьянства наблюдалось немалое стремление сохранить сословность, поскольку это означало сохранение общинных форм землевладения.

Кроме социальной структуры, мое расширенное определение многоукладности включает и другие аспекты, которые были исследованы в нескольких работах. Так, культурный, в частности религиозный, аспект до недавнего времени оставался малоизученным. Архаичные формы религиозной жизни России приводили к расколу на двух разных уровнях. Во-первых, был

конфликт среди элиты (это проиллюстрировано в работе Р. Уортмана), во-вторых, разрыв между официальным и народным элементами (отражено в работе Г. Фриза). Возрождение Николаем образа царя XVII в. подорвало его же позиции. Противоречивость освящения Серафима Саровского углубила восходящий к XVII в. разрыв между официальной церковью и народной религией. Глубокие различия в характере религиозности помешали монархии черпать из глубокого колодца набожности массы крестьянства, чтобы восстановить духовную поддержку трона.

В целом сохранение архаичных форм следовало из отсутствия в российской истории до 1917 г. великого преобразования, сравнимого с тем, что пережили все крупные европейские державы в прошлом веке. Тут мы рискуем оказаться чересчур схематичными. Но, в конце концов, это комментарий, цель которого — стимулировать дискуссию. В моем понимании, в Европе произошли 3 типа великих преобразований, не имеющих себе равных в России: 1) индустриальная революция, 2) политическая революция, подобная тем, что произошли во Франции, Бельгии и, в меньшей степени, в Центральной Европе в 1848 г., 3) движение национального освобождения или воссоединения Германии и Италии.

2. Русский капитализм развивался необычным, неравномерным путем, который привел к большому количеству социально-экономических анахронизмов. Работа Дж. Маккея напоминает, что индустриализация России создала своеобразные экономические регионы со своими особенностями. Также наблюдалось важное различие между воззрениями капиталистических предпринимателей в более динамичных секторах экономики, особенно тяжелой промышленности, и традиционных купцов, пытающихся сохранить патриархальные ценности. Русских капиталистов разобщало противоречие между великорусским центром и периферией, где большинство купечества было многонационально. Разногласия между капиталистическими собственниками разных регионов мешали возникновению общего политического фронта даже во время революционных кризисов, когда их материальные интересы оказывались под угрозой.

Тормозом сплочения капиталистического класса были сильные антикапиталистические взгляды, превалирующие в русском обществе. Как показывает работа В. С. Дякина, и среди правых, и даже среди либералов наблюдались опасения, что индустриализация уничтожает традиционные ценности и социальный уклад в деревне и порождает класс корыстных собственников, лишенных культуры.

В профессиональных кругах (среди врачей, инженеров, и в какой-то степени юристов) к русским купцам относились с

презрением и враждебностью. Нельзя недооценивать и этические воззрения, корни которых уходили глубоко в русскую систему образования и литературу, помогая формировать подобное отношение. Неудача крупных торговцев и промышленников в создании массовой базы защиты своих интересов связана с положением мещанства, мелкобуржуазных элементов. Они отличались от подобных социальных прослоек во Франции и Германии, которых тянуло к национализму, потом к фашизму. В революции 1905—1907 гг. большинство этих элементов были еще умеренными, но к 1917 г. они стали оплотом социалистической демократии, полностью порывая с имущими классами. Эффект влияния неравномерного развития капитализма на формирование и эволюцию рабочего класса также известен.

3. Социальные группы в дореволюционной России были раздроблены и отделены друг от друга глубокими социальными и психологическими различиями. Крупные группировки — землевладельческие дворяне, коммерческо-индустриальный класс, крестьянство, мещанство, духовенство, интеллигенция и бюрократия — начали распадаться на меньшие группы и формировать подкультуры. Общая система их ценностей только недавно начала привлекать внимание ученых. Этот феномен обособленности и раздробленности был особенно заметен среди крестьянства. С одной стороны, крестьянство было очень четко отделено от остального общества. Налицо существование законов, обычаев, народной религии, крестьянского быта, системы ценностей, не принимаемых другими социальными группами. С другой стороны, были признаки, указывавшие, что крестьянство — не однородная масса: региональные различия, а после столыпинских реформ — нарастающие социально-экономические различия.

То же произошло с дворянами. Среди них царило что-то напоминающее настроение осажденного лагеря. Однако само дворянство было расслоено. Советские историки, среди них А. П. Карелин и А. М. Анфимов, определили три социально-экономических слоя и многочисленные профессиональные различия среди дворянства. Политически дворянство после 1905 г. было разделено по меньшей мере на пять русских партий. В 1910 г. съезд «объединенного дворянства» признал, что региональные интересы не позволяют дворянам сформировать единую организацию, чтобы защищать свои экономические интересы.

В результате социальной раздробленности и обособленности было очень трудно поддерживать организованные политические партии, особенно центристские и правые, но также и левые. К 1914 г. октябристы и кадеты фактически прекратили существование как политические организации за пределами двух

столиц. Фракционизм был в полном разгаре и среди эсеров, и среди социал-демократов. Политическая жизнь России в последние годы монархии, особенно среди цензового общества, часто сводилась к маневрированию и заговорам маленьких группок при отсутствии связей с широкими слоями населения.

4. Неустойчивость и даже хрупкость государственного аппарата. Я имею в виду три момента: незаконченность процесса бюрократизации, отсутствие единых принципов управления и провал создания объединенного правительства. Профессионализация русской бюрократии протекала медленно. В отличие от большинства других европейских бюрократий русская модель демонстрировала противоречия между протежированием и профессионализмом вплоть до конца монархии. Предпочтение царя оставалось решающим фактором карьеры. Не могло быть реального прогресса без устранения этого противоречия, ибо вся бюрократическая структура могла быть нарушена фаворитом самодержца. Второй элемент неустойчивости заключался в неспособности России превратиться в правовое государство. В последние годы монархии существовало глубокое противоречие между властью царя, теоретически абсолютной, и фундаментальными законами империи. Накануне войны царь не только не изменил весь характер монархии, как показывает Р. Уортман, но он с ненавистью относился к Государственной думе и рассматривал возможность произвести переворот против институтов, им же лично одобренных, о чем пишут Б. В. Ананьич и Р. Ш. Ганелин. Самодержцы упорно противились идее единого правительства. Единственное исключение, подтверждающее правило, представлял краткий семилетний опыт столыпинского правительства.

Наконец, как показывает работа В. С. Дякина, правительству не хватало материальных ресурсов для проведения необходимых реформ в сельском хозяйстве. Дякин показывает, что Витте и Столыпин осознавали взаимоисключающие требования различных социальных и политических групп. Но они не могли решить эту внутренне противоречивую проблему.

В заключение хочу сказать: высокая степень социальной раздробленности и обособленности старорежимного общества и хрупкость государственного аппарата сделали его особенно восприимчивым к разложению в условиях внешнего кризиса и внутреннего напряжения. Рабочий класс был более сплоченной социальной силой. Несмотря на его внутренние разногласия, он смог сыграть решающую роль в конечном уничтожении старого строя и установлении нового. В той степени, в которой партия большевиков, несмотря на наличие в ней разных фракций, была более сплоченным политическим инструментом, она сумела выполнить свои революционные задачи.

К. Ф. Шацилло

Для конца XIX — начала XX в. была характерна острая социально-политическая напряженность, то, что профессор Л. Хаймсон называет нестабильностью. Исследование именно этого характерно для большинства докладов, даже если докладчики и не ставили себе целью специально анализировать возможность изменения социально-политических структур и институтов. Почему эта тема важна для советской историографии и для советской истории — тема реформы или революции? На протяжении десятилетий у нас считалось, что единственно возможный путь развития — путь революции. Реформы — всего-навсего побочный продукт революции и иначе рассматриваться не могут. Мы уже давно пережили это однобокое утверждение, но многие годы не могли говорить об этом вслух. Теперь впервые появилась возможность, это выражено в докладах, говорить о том, что не только реформы могут быть побочным продуктом революции, но и революция, в конце концов, может быть побочным продуктом реформ, если точнее — их отсутствия.

Первые доклады секции рассматривают проблему в общеимперском масштабе. Хочу обратить внимание не только на значение этой темы для историографии, но и на то, как живо перекликается она с проблемами сегодняшнего дня. Не секрет, что сейчас в нашей стране тоже существует политическая нестабильность, и тот же вопрос опять становится на повестку дня: как должны проводиться реформы, чтобы избежать социальных катаклизмов? Вторая группа докладов представляет проблемы земского и городского движения, третья — связана с несколько необычной для нас темой: церковь в системе государства. Мы, как правило, однозначно трактовали:«контрреволюционная роль». Между тем на церкви тоже отражались те коллизии, которые происходили в обществе, она тоже переживала кризис.

Общие выводы, которые делаются почти во всех докладах, таковы: если страна поставлена в условия, когда реформы проводить необходимо, то надо, во-первых, проводить их во-время, во-вторых, последовательно, в-третьих, не пятиться назад от реформ. В чем причина революции в России, отразившейся на судьбах многих стран Европы и Азии? В том, что последовательность проведения реформ была нарушена, и страна была загнана последним императором в революцию. Революция не была чьей-то злой волей, она не была также результатом действия узких сравнительно по численности революционных партий. Отказавшись от проведения реформы, царизм не оставлял для народов России иного выхода, кроме революции.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

В. С. Дякин

В докладе Б. В. Ананьича и Р. Ш. Ганелина поставлен очень важный вопрос: как сказывается на последующем развитии событий ситуация, когда реформы запоздали, не завершены, когда от них отказываются. Это один из центральных вопросов нашей дискуссии, поскольку это один из центральных вопросов русской истории. Мне кажется очень важным то обстоятельство, что в докладе указывается на имевшую место у нас переоценку значения революционных ситуаций и подчеркивается значение кризиса верхов. Хотел бы обратить внимание именно на то, что весь XIX в., начиная с Александра I, о чем говорится в докладе, это — период реформ, либо запоздавших, либо не доведенных до конца. Собственно, первая реакция власти и правящих кругов на ситуацию, которая требует реформы,— попробовать пойти назад. В этом смысле доклады проф. Уортмана и проф. Фриза очень интересны тем, что они показывают: в условиях, когда требуются реформы, требуется шаг вперед, правящие круги пытаются пойти назад, пытаются создать образ царя, опрокидывающийся в XVII в., пытаются опереться на православное сознание, которое уже переживает кризис. Это не исчерпывает всего содержания докладов, но в данном контексте это важно.

Если говорить о том, в каком соотношении находятся реформы и намерения носителей верховной власти, то мне кажется, что на протяжении всей истории XIX — начала XX в. мы отчетливо прослеживаем, что начало дается не общественными движениями, не общественным мнением — начало реформам, шагам в сторону реформ дается осознанием самой властью того, что больше уже по-старому править совершенно невозможно. Когда власть сама упирается в тупик, она начинает как-то шевелиться и тем самым дает общественному мнению (под общественным мнением я имею в виду цензовое общественное мнение) повод и возможность открыто приступить к обсуждению тех реформ, которые раньше обсуждались в очень узком кругу или в заграничных изданиях. Только тогда, когда власть сама начинает говорить, только тогда начинается обсуждение этих реформ в обществе, власть прислушивается, причем всегда только к тому консервативному спектру общественного мнения, который предлагает реформу не проводить или проводить как можно более узко. Движения масс, рабочих и в еще большей мере крестьянских, как правило, власть не замечает. Эти процессы власть замечает только на той стадии, когда реформами отделаться уже практически не удается. Так, власть начинает думать о реформах крестьянского землевладения перед 1905 г., когда это движение приобретает такой характер, что уже надо бросать в пасть крестьянству уступки одну за другой, но на них власть оказывается неспособна. Реформы не даются вовремя, не

даются до конца, тем самым и общество, и массы доводятся до состояния, когда они уже оказываются вынужденными идти на действия, выливающиеся в революцию.

Л. Г. Захарова

Я очень рада, что в докладе Б. В. Ананьича и Р. Ш. Ганелина сформулирован тезис о том, что преобразования в XIX в. в России не были результатом действий революционных сил, как у нас это долгое время утверждалось. Хочу лишь дополнить, что не вся наша литература, к ее чести, стояла на этой позиции. П. А. Зайончковский в давние времена уже эту идею проводил. В своих последних работах я тоже пытался раскрыть, под влиянием каких факторов проходили реформы. Великие реформы были вполне своевременны и являлись в первую очередь результатом взаимодействия России с европейскими государствами, которые, как говорил уже А. Рибер, пережили уже свои революции. И этот сравнительно-исторический анализ совершенно необходим для понимания реформ, которые начали у нас готовиться с середины 50-х гг. Но главный вопрос, о котором я сейчас хочу сказать, это взаимодействия не революции и реформы, а реформы и революции. Ведь великие реформы через два поколения привели к революциям. Так, может быть, в реформе 1861 г. было заложено реформаторами развитие революции? Конечно, нет. В реформе 1861 г. и других годов была заложена противоположная идея — мирного развития России по пути прогресса, по пути европеизации. Но эта реформа не получила нужного развития.

С самого начала реформ 1860-х гг. самодержавие стало калечить институт мировых посредников, главный механизм, который давал будущие реформы: судебную, земскую. Община, которая тоже должна была раскрываться, напротив, стала конопатиться, консервироваться. Процесс реформ самодержавие нарушало с самого же начала.

Почему эта идея очень важна и для понимания современных условий? Мы стоим перед проблемой: реформы или революция? После такого тяжелого пути нашей страны все предпочитают реформы. Если же опыт России показывает, что реформы все равно привели к революциям — это довольно мрачно и бесперспективно. Великие реформы могли не привести к революции, если бы власть иначе относилась к тем преобразованиям, которые были начаты.

Доклад Р. Уортмана очень интересный, свежий по материалу, показывает, как власть сделала все, чтобы прервать реформаторский процесс. Идею, которую Р. Уортман прекрасно раскрывает, идею единения «мужицкого царя» с народом, крестьянской массой, предчувствовал Ю. Ф. Самарин, который еще в 1862 г. с болью и ужасом писал одному из своих друзей: «Я боюсь, что в результате того развития, которое получают реформы, может

произойти соединение царя с народом буквально и все среднее между ними, а это среднее, срединное наше просвещение, все будет раздавлено, и тогда итог будет ужасен».

Л. Хаймсон

Я хотел бы вернуться к некоторым моментам выступления В. С. Дякина по поводу доклада Р. Ш. Ганелина и Б. В. Ананьича и его связи с докладом Р. Уортмана. Хотел бы поставить проблему так: в чем отличие кризиса власти начала века от прежних кризисов власти? Мне кажется, в том частично, что сам государь выступает против своего собственного государства. Можно расширить эту концепцию примером выступления царя против новых зарождающихся институтов государства и во время войны против всей его элиты, о чем говорит Ганелин: полнейший хаос накануне революции 1917 г., на котором базируются все заговоры.

Р. Уортман старается соединить эту концепцию с символом самого самодержавия и особенно с тем, что он описывает как феномен «традиционалистской» реакции во времена Николая II. Подчеркнем, что понятие «традиционалистская реакция» в западной историографии — это не просто утверждение традиции, а утверждение ее в очень извращенной, регрессивной форме. Р. Уортман датирует начало «традиционалистской»реакции временем Александра III, и он прав: в этот момент в символической концепции государства и царя, слитых со времени Петра Великого, происходит поляризация, я бы даже сказал, разделение между понятиями «государство» и «государь» и понятием «царь-батюшка». Но надо иметь в виду, что во время Александра III еще наблюдается некое равновесие между этими концепциями, а также линиями в политике тех кругов, которые представляли Витте и Победоносцев (в какой-то степени Толстой и Пазухин).

То, что происходит во время царствования Николая II, особенно накануне и во время войны, означает и символическое, и практическое наступление на концепцию государства, которое само изменилось с созданием Государственной думы. С одной стороны, происходит (даже если и в больной форме) развитие концепции национального государства и огосударствления нации («нация — государство»), с другой — заговор царя и его окружения против своего собственного государства. Как было уже замечено, яркий пример этого процесса появляется уже в 1913—1914 гг. в разговорах между царем и Н. А. Маклаковым об осуществлении государственного переворота, объявления осадного положения в Петербурге, разгона существующей Государственной думы и создания совещательной Государственной думы. Об этих разговорах не был уведомлен Председатель Совета министров, назначенный самим царем. Или возьмите как символическую иллюстрацию этого процесса приводимый Уортманом пример церемоний, на которых царская семья и их окру-

жение одеваются в одежды времен царя Александра Михайловича, как будто отрицая всю символику государственных реформ Петра Великого.

Еще один момент, касающийся доклада Р. Ш. Ганелина и Б. В. Ананьича. Я никогда не встречался с меньшевиком, который был сторонником конституционной монархии, кроме того, который был подвергнут критике в «Кратком курсе».

И. В. Алексеева

Почему меня, как и многих, видимо, заинтересовали именно эти доклады особенно доклад Р. Уортмана? У нас в последнее время происходит, главным образом в средствах массовой информации, идеализация и образа Николая II, и образа российского самодержавия. Это естественный процесс: маятник резко качнулся от полного негативизма и отрицания образа последнего императора (и вообще самодержавия российского), прошел полную амплитуду и стал на эту точку некоторой идеализации. Время, которое мы переживаем, сложное, неустойчивое, в такое время не надо забывать, что существует, во-первых, очень большое количество людей, которые тоскуют по сильной власти. Другой, может быть, более важный момент: с образом самодержавия и самодержавной власти начинают связывать почти все успехи Российского государства. Поэтому представляется крайне интересным общий вывод доклада Уортмана: Николай II, как никто другой, способствовал разрушению не только образа самодержавия, но и самодержавного строя, защитником и апологетом которого он постоянно пытался выступать.

Может быть, в докладе большее внимание уделено спокойным, сравнительно идиллическим периодам правления — периоду до первой русской революции и периоду, очень сложному, но по крайней мере мирному — 1909—1913 гг. Поэтому хотелось бы, чтобы более подробно был показан Николай II в критические периоды истории. Не буду говорить о первой русской революции, здесь присутствуют специалисты по этому периоду. Но что касается периода первой мировой войны, то в это критическое время Николай II напоминает мне всадника, который то предельно натягивает поводья, то совсем их отпускает, и страна во главе с самодержцем прыгает.

Основной порок Николая II проявился именно в этот критический период русской истории: он заключался в его характере, в той его черте, которая называется «неопределенность». Здесь много говорилось, что Николай II как бы шел назад, за петровскую эпоху. Видимо, основным в любви Николая II к XVII в. был характер самодержавия, который в России тогда существовал, но, может быть, верно и то, что шло от характера: излюбленным образом царя был «тишайший» Алексей Михайлович. Даже в русской истории Николай II выбирал бесконфликтные периоды, которые он любил более всего. Видимо, в

более или менее мирные периоды Николай II был еще мыслим как правитель огромной империи, а в более критические, когда ситуация усложнялась, он был просто-напросто нетерпим, он лишь усложнял тяжелое положение.

Н. Г. Думова

Очень интересны оба доклада — Б. В. Ананьича и Р. Ш. Ганелина и Р. Уортмана. Хотелось бы обратить внимание на ту часть доклада Уортмана, где речь идет об изменениях образа самодержца в период правления Николая II. В докладе говорится, что он стремился приблизиться к образцу монарха, каким он считал Алексея Михайловича, что он искал свой новый облик в близости с религией, это и влияло на изменение отношения к нему. Думаю, что это справедливо, но главным, на мой взгляд, в изменении отношения к Николаю II служили те вехи, когда рушилось к нему доверие; например, знаменитая Ходынка (после нее образ монарха предстал совершенно другим), все связанное с Распутиным и распутинщиной (это вызывало не просто разочарование, но презрение и острую ненависть со стороны масс). Об этом сейчас, когда происходит своеобразный «ренессанс» в отношении монархии и Романовых, мы забываем.

К вопросу о способности различных российских правительств к реформам и их проведению. Назывались разные причины: у одного государя это связано с характером, у другого — с какими-то обстоятельствами и т. д. Но если взглянуть более широко, не только обратясь назад, но и заглядывая несколько вперед, мне кажется, можно провести общую линию и сказать, что одной из важных причин неуспеха реформ в России являлась некомпетентность правительств. В чем состояла эта некомпетентность, почему она была — предстоит выяснить, но мне кажется, что не учитывать эту причину нельзя.

Т. Шанин

Меня смущает один элемент в докладах и выступлениях коллег. Они говорят о проблемах кризиса самодержавия в духе, который хорошо определил выступивший сейчас оратор, говоривший о некомпетентности самодержавия. Мне кажется, это можно принять, но постольку, поскольку мы думаем также о возможности, что мы здесь видим не некомпетентность, а что-то, что глубже, чем просто некомпетентность. Просто рассматривать вопрос о том, был ли царь лично некомпетентен (я лично считаю, что был), насколько он уходил в своем мышлении назад в XVII в. и т. д.,— недостаточно.

Надо сравнить Россию начала века не только с самой собой столетием раньше или столетием позже, но и со странами Третьего мира. Компетентно ли нынешнее правительство Бра-

зилии? Было ли компетентно ее правительство в течение последних 50 лет? Иногда да, иногда нет. Добились ли они глубокого изменения своего положения? Ответ: не добились. Там была военная диктатура, которая построила шоссе, но не добилась изменения социальных структур. Было и демократическое правительство, которое проводило реформы, были и усилия провести революцию. И там, и у вас надо думать не только о компетентности или некомпетентности правительства, а о социально-политических структурах стран Третьего мира и возможностях их изменений. Россия начала столетия была не просто отстающим эшелоном западного мира, дай которому еще лет двадцать, еще десяток реформ и все сдвинется и будет прекрасно (но только революция все спутала, как сегодня часто говорится). Возможно, это был первый серьезный пример особых кризисов стран Третьего мира, а не просто кризиса самодержавия — тип кризиса, вырваться из которого куда более трудно, чем просто создать более компетентное правительство. И решить такую проблему, как «вырваться», нельзя простым вопросом: реформа или революция. Есть вопросы, которые вырываются из дуальности: «реформа — революция«.

Д. Филд

Мне очень понравился доклад Р. Ш. Ганелина и В. Б. Ананьича, но я желал бы обратить внимание на один момент: в конце доклада четыре раза указывается на «феодальное мышление« Николая II и его окружения как на препятствие для реформ. Мы понимаем, что имелось в виду, но термин кажется неудачным. Он напоминает нам о тоске по прошлому и связи с поместным дворянством, которые были важной частью склада ума царя и его окружения (типа Горемыкина). Но отсутствуют в термине другие элементы, которые появились, например, в докладе Уортмана. Отсутствует все имперское, что было и в складе ума, и в политике этих лиц — элементы централизации, бюрократизации и милитаризации. Все эти компоненты мы должны свести воедино, чтобы указать на тот элемент, который очень удачно показан в докладе.

Б. Н. Миронов

Мы говорим, что революция — побочный продукт реформ, удачных или неудачных. Получается, что не проводить реформы — плохо, проводить, если судить по результатам реформ,— еще хуже. Посмотрим же на продукт революции, расширим временные рамки. Получается, продукт (результат) революции совсем неудачный, хуже, чем продукт реформ. Революция самая радикальная, о ней мечтали, к ней стремились, а продукт-то в общем невысокого качества. Все плохо в России: не проводить реформы — плохо, проводить — плохо, революция — тоже плохо.

Мне кажется, что взгляд на революцию как на побочный результат половинчатых реформ не объясняет основные проблемы России второй половины XIX — начала XX в., поскольку основная проблема состояла не в том, проводить реформы или их не проводить, а в том, что в российском обществе, кроме политических, социальных, были еще и важные культурные противоречия: в сущности имелись две культуры в одной стране. Причем эти культуры различались не по классовому признаку: была народная культура и была (в той или иной мере) культура европеизированных верхов. В ситуации, когда общество разломано не только в социальном, политическом, но и культурном отношении (совсем разные стереотипы, системы ценностей были, скажем, у крестьянства, у дворянства, у городских сословий), наверное, вообще никакая реформа не могла быть удачной: невозможно было бы удовлетворить все слои населения, невозможно было найти модус вивенди. В отличие от реформ, проводившихся на Западе, в России было невозможно найти какую-то среднюю линию. Возьмем проблему общины: уже в середине XIX в. прекрасно понимали, что русская передельная община в том виде, в котором она существовала, препятствует экономическому развитию. Понимало это правительство? Понимало. Но реформы не проводили. Мы осуждаем правительство, что оно, понимая это, не проводило радикальные реформы. Но предположим, в 60-е гг. правительство начало ломать общину. Что произошло бы? Каков был бы результат? В 1907—1913 гг. при ломке общины получились результаты, которые дают основание для вывода, что реформа провалилась, т. е. не оправдала ожиданий. Думаю, что в 60-е гг. было бы то же самое. Вероятно, та же судьба ожидала и другие радикальные реформы. Мне кажется, что вопрос о значении реформ в России должен быть поставлен более широко: с учетом культурологических моментов и результатов Октябрьской революции.

А. В. Георгиев

Я хотел бы затронуть тему, которая здесь не ставилась широко: о реформах, которые стали продуктом революции, конкретно — о столыпинских реформах. Долгое время господствовал взгляд, что эти реформы закончились полной неудачей. Но хотелось бы реально оценить, что же действительно было достигнуто при Столыпине.

Предварю свой анализ небольшим замечанием, которое связано с предыдущим выступлением, в плане двух культур, двух обществ в русском обществе. Я сказал бы, что было три культуры, три общества: 1) официальная бюрократическая Россия, которая жила совершенно замкнутыми представлениями, своим миром, 2) была Россия культурной интеллигенции, которая была далека от этого официального мира (если вы посмотрите дневники деятелей культуры начала XX в., вы обратите внима-

ние, как они были далеки от проблем политической жизни, волновавших официальную Россию) и наконец, 3) широкая народная культура, которая была отделена от первых двух глубокой пропастью.

Мне кажется, что Столыпин попытался в своей деятельности навести мостики между тремя этими культурами. Что-то ему удалось, а что-то нет. Что же удалось? Во-первых, при Столыпине происходит смещение центра государственного управления. Известна классическая формула: «царь царствует, а не управляет». Эту функцию царь и начинает играть при Столыпине, а собственно центр управления смещается к Совету министров. Приведу пример, наиболее близкий мне по проблематике (я занимаюсь проблемами внешней политики) — история Бьеркского соглашения, когда Николай II в результате личной дипломатии заключил этот договор, но из-за вмешательства бюрократии он был расторгнут.

Другой момент связан с взаимоотношениями с Думой. Здесь был достигнут значительный прогресс. Говорят о провале столыпинской политики бонапартизма. Можно говорить лишь о том, что период доброжелательности в сотрудничестве с Думой действительно закончился где-то в 1909 г., но попытки контактировать с Думой продолжались и дальше.

Последнее замечание связано с аграрной реформой. Ныне наблюдаются различные подходы: и признание реформы золотым веком русского крестьянства, чем грешит наша публицистика, и даже признание вредности реформы, как, скажем, утверждает И. Д. Ковальченко. Но я бы отметил, что 1913 г. у нас считается наилучшим с точки зрения сельскохозяйственного развития. Переселенческая же политика затронула колоссальные слои крестьян. Видимо, в оценке аграрной реформы мы должны учитывать эти обстоятельства и смотреть более трезво на вещи.

Б. Д. Гальперина

Не могу не выступить с краткой репликой по поводу последнего выступления. Оно касается отношения П. А. Столыпина к Думе. Конфликт правительства с Думой наблюдается постоянно, самое же яркое свидетельство отношения к ней Столыпина — разгон II Думы. О конфликте правительства с Думой свидетельствуют и многие источники. Игнорировать же их, как поступают и многие публицисты, и отдельные историки, недопустимо.

Ю. Б. Соловьев

У меня общий вопрос: была ли в России вообще почва для реформы ввиду того, что вся российская действительность была соткана из противоречий и антагонизмов. Можно ли было развязать гигантский, столетиями запутывавшийся гордиев

узел? Если можно — значит, реформы были возможны; если нельзя — значит, они были невозможны. Что собой представляла Россия, если ее образно сравнить с Западной Европой, с Америкой в плане рельефа, ландшафта?

В нашей стране есть Кавказ — место высоких гор, глубоких пропастей, резко отличное от среднерусской равнины, на которой живет русский народ, где нет особенных возвышенностей, контрастов, все более или менее гладко, спокойный тихий рельеф, «степь да степь кругом». В политическом плане Россия мне представляется именно Кавказом, а не Россией. Можно ли было замостить пропасти, перебросить мосты между враждующими сторонами? Это ведь были пропасти смертельной вражды, враг внутренний был гораздо хуже врага внешнего. «Я другой такой страны не знаю», где пораженчество было не лозунгом одиночек, но стремлением множеств, желавших сначала свести счеты с внутренним супостатом, а потом уже думать о внешнем. Можно ли было превратить врага в союзника, хотя бы в партнера, хотя бы в того, чье присутствие можно было терпеть, выносить. Могли бы враги примириться, побрататься, забыть старое и уставить общий лад? Мог ли барин побрататься с мужиком, а мужик принять барина за своего? Без этого ничего получиться не могло, нельзя было развязать гордиев узел, он мог быть только разрублен — как и полагается гордиеву узлу.

Вообще, не были ли старое и новое в жизни страны слишком далеки друг от друга? В России было очень много старого, и оно было очень сильно. Было и новое, крепнущее, усиливающееся, но они были так далеки друг от друга, что им было не сжиться, не срастись, не образовать одно целое. Они были по разные стороны баррикады. Будем называть вещи своими именами: Россия — страна перманентной гражданской войны, которая принимала тысячу разных форм, становясь то горячее, то холоднее, то внешне почти замирая, уходя в подполье. Но и подпольная — она велась всегда. Враги оставались врагами, даже когда они по временам забывали, кто они такие друг для друга.

А. Рибер

В России было три уровня религиозной жизни, «три православия», о чем говорится в докладе Фриза — религия царской семьи, религиозная жизнь народа, официальный православный Синод, сектантство, староверы. Православие — это пестрая культура, которая имеет много вариантов, и как можно объяснить этот феномен особого религиозного противоречия в России?

А. Каппелер

Тему религии, по-моему, следовало бы связать с вопросом национального самосознания. В докладах русское национальное сознание иногда упоминается: попытка создать национальный

миф о московской Руси (Р. Уортман), канонизация Гермогена, имевшая национальный оттенок (Г. Фриз). Вопрос русского национализма один из актуальных вопросов для начала XX в. Пример других европейских государств учил, что правительства с успехом пользовались национализмом, чтобы преодолеть кризис власти и интегрировать население вокруг режима. Почему царизму не удалось это сделать?

Во-первых, в многонациональном государстве ни православие, ни русский национализм не могли интегрировать все население. Во-вторых, как показывал опыт революций 1848 г., национализм имел известный демократический потенциал, и царизм опасался подобного развития событий. В-третьих, русская нация еще не окончательно оформилась, была атомизирована.

В. С. Дякин

У нас действительно мало занимались проблемами церкви, и нам трудно участвовать в обсуждении докладов профессоров Фриза и Уортмана. Этим отчасти объясняется упорное «перетягивание каната» в сторону тех проблем, которые нам более знакомы. Доклады профессоров Уортмана и Фриза представляют очень большой интерес, в частности, потому, что показывают те стороны проблемы, которыми мы не занимались. В этом смысле мы должны подхватить эстафету и попытаться делать то, что они проделали, и, пользуясь тем, что мы ближе к источникам, может быть, и догнать их в работе.

Хочется отметить: то, что представлено на обсуждение, дает очень много для понимания царствования Николая именно потому, что мы из докладов (в особенности из доклада Г. Фриза) обнаруживаем конфликт, которого мы, честно говоря, просто-напросто и не видели, во всяком случае большинство из нас. Конфликт между официальной церковью и тем, как ставились вопросы веры, православия в царском окружении, в светских верхах. Думаю (я тоже не специалист, это только гипотеза, вызванная тем, что мне приходилось заниматься светскими верхами), что в значительной мере дело объясняется обстановкой всеобщей неуверенности, полной потери старых критериев и идеалов, которая уже не давала возможности держаться за каноны официальной церкви, тем более что процесс недовольства ими шел и внутри самой церкви. В результате и внутри церкви назревает определенное движение против существующих канонов. В то же время эти каноны не удовлетворяют потребность верхов в определенном успокоении. Отсюда существовавшая не только в окружении царя, но и вообще распространенная тяга к мистицизму, поиски тех элементов мистического в православии, которые были ближе к народной вере. Отсюда вытекало и сугубо внешнее сближение веры Николая и Александры и народной веры. В действительности, на мой взгляд, такого сближения не было, искусственно создавался имидж — подчер-

кивалась близость тех элементов православного исповедания, которые были у Николая и Александры Федоровны, и народного исповедания. Искусственность эта, мне кажется, очень хорошо показана в докладе Фриза.

Что касается тесной связи вопроса веры с национальными проблемами, то профессор Каппелер сам и ответил, почему это в России оказывалось невозможным. В многонациональной стране действительно оказывалось невозможным сплотить всех вокруг трона под флагом православия, когда существует очень большое иноверческое население. Не случайно даже в крайне правом движении возникает течение, получающее название «империализм», когда делаются попытки создать идеологию имперскую, основанную на определенном сближении с верхами наиболее, как тогда говорилось, «культурных наций».

В. И. Бовыкин

Неожиданно, но очень удачно вписывается вопрос о взаимоотношениях религии и политики в обсуждаемую проблему кризиса верхов. Неожиданно, потому что действительно этому вопросу уделялось мало внимания, хотя кое-что делалось. Но затруднение с обсуждением очень интересного доклада профессора Г. Фриза объясняется, на мой взгляд, не столько неподготовленностью аудитории, сколько тем, что этот доклад в общем-то не дискуссионен, так как он образцово решает поставленную задачу. Задача четко сформулирована, определены параметры ее решения, по этим параметрам собран весьма убедительный фактический материал. Но, решив свою задачу, доклад побуждает выйти за ее пределы, обратиться к некоторым другим сторонам проблемы.

Представляется, что кризис церкви имеет более ранние корни, в частности он проявился достаточно ярко в период революции 1905 г. Это показал П. Н. Зырянов, автор чрезвычайно интересной книги о русской православной церкви в тот период. Вместе с тем, как только что говорил профессор Дякин, в России — стране многонациональной и мультирелигиозной — государственная поддержка лишь православия в сложных условиях революционного брожения оказалась недостаточной. Отсюда кризис отношений верхов с религией, те затруднения, которые испытывало правительство в своей религиозной политике. Оно уже не могло опираться только на православие. Было бы хорошо продолжить изучение этой стороны кризиса верхов путем эмпирических исследований того типа, образец которого нам преподал профессор Фриз.

К. Ф. Шацилло

В конце этого года будут изданы дневники Николая II. Я всегда считал, что мы недооцениваем в своих исследованиях роль личности в истории, но когда мне пришлось дважды прочитать дневники Николая и увидеть воочию, чтó это был за

человек, то я понял, что мы просто грешны самым серьезным образом, когда столько говорим об общих закономерностях, не учитывая роль личности, тем более такой личности, как самодержец. Еще Герцен говорил, что при самодержавном строе самодержец и есть сам строй. Так вот, настроения самодержца были не последним фактором в ходе исторических событий. Когда читаешь его дневники, просто диву даешься, насколько этот человек был оторван от реальной жизни. Игра в XVII в. не ограничивалась балами, куда являлись в нарядах бояр. В 1913 г., к 300-летию дома Романовых, были заготовлены сотни тысяч комплектов военного обмундирования, которое было создано в стиле XVII в. (в этой форме потом воевали буденовцы, красноармейцы в годы гражданской войны).

Эта игра, совершенно оторванная от реальной жизни, характерна и в религиозной политике Николая, и в его конфликтах с ортодоксальной церковью. Ведь что значит канонизировать святого по желанию царя? В докладе Г. Фриза приводится очень яркий пример, когда лично Николай приказал, вопреки иерархам церкви, канонизировать, и канонизировали. Это значит для искренне верующих создать такой прецедент, когда ни царя, ни церкви — ничего нет, все разваливается. Как раз этим и интересны оба доклада: и доклад, посвященный заигрыванию, грубо говоря, Николая с XVII в., и доклад, посвященный тому, как непосредственно вмешивался Николай в дела церкви, как дело дошло до Распутина и распутинщины. Ни один атеист не мог нанести большего удара по православной религии, чем факты личного вмешательства Николая в дела церкви. И, естественно, нельзя было укреплять монархию, империю за счет провозглашения приоритета одной какой-то религии. Если в XVII в. именно это помогло воссоединиться с Украиной, потому что Польша была католическая, а Украина — православная, то в XX в. стремление насадить одну какую-то религию, дать ей приоритет, неизбежно вело к сепаратизму.

Очень актуальны доклады Р. Уортмана и Г. Фриза и в том смысле, что они опять-таки перекликаются с сегодняшним днем: как можно укреплять многонациональное государство за счет требования приоритетов одной нации? За счет утверждения, что малые нации (пустил это выражение в ход весьма ученый муж, математик) виноваты, в них все зло — ведь это так перекликается с многочисленными высказываниями в дневнике Николая о том, отчего разваливается Россия, откуда возник ее кризис? От двух причин: во-первых, это злоехидная, безгосударственная интеллигенция, которая не хочет поддерживать государя, во-вторых — инородцы, и прежде всего — поляки и евреи, в них все зло. Искоренить бы их, и все было бы нормально. История церкви весьма актуальна, но мы ее по-настоящему не изучали. Что в самой церкви происходило, какие процессы, как кризис политической власти выразился и в церковных делах — впервые мы смогли членораздельно прочитать в докладах. Я

полагаю, что журнал «История СССР» опубликует оба эти доклада, потому что к чести американских коллег и в упрек нам мы в изучении этих вопросов еще отстаем.

Б. Бонвеч

Хочу сделать маленькое замечание о докладе Г. Фриза. Мне кажется, что у всех нас есть впечатление безвыходности ситуации в России перед первой мировой войной. Доклад Фриза содержит попытку подкрепить это представление, он на примере трех канонизаций рисует картину возрастающего разрыва между государством и церковью, а также между религиозностью народа и религиозностью верхов. Я думаю, что этот вывод превышает предел возможного. Противоречия между государством и церковью как институтом есть всегда и везде, это нормально, и картина возрастающего кризиса из примеров Фриза для меня не вытекает. Разрыв между религиозностью народа, царя и верхов всегда и везде существует. Религиозность верхов всегда не то же самое, что религиозность низов, и только это вытекает из доклада Фриза, а не безвыходность политической ситуации в России.

Я думаю, что сейчас в советской историографии происходят изменения. Раньше утверждалось, что ситуация в России была безвыходной. Был спор между Аврехом и Дякиным о реформоспособности государства, причем Аврех утверждал, что правительство, и особенно Столыпин, не хотело реформ из страха перед революцией. Дякин же давал другую картину: противодействие правых, в Думе например, но не только в Думе, было слишком сильно для Столыпина. И это принципиальная разница в споре о реформо-способности этой системы. Мне кажется, что Столыпин выступал как реформатор, имея хорошие планы реорганизации, например, местного управления. Не только противодействие правых, дворянства было причиной его неудач, но и безграмотность дворянства, которое не было в состоянии управлять как образованный, современный администратор, потому что у него не хватало подготовки.

Л. Хаймсон

У меня по докладу Ф. Вчисло один вопрос к нему и одно замечание. Вопрос следующий: в чем проявляется преемственность или перелом концепций местных реформ, начиная с отмены крепостного права до Столыпина? Особенно интересно сопоставление проектов кахановской комиссии и Столыпина. Я бы попросил Вчисло подчеркнуть более определенно элементы, которые ему кажутся преемственными, и элементы, которые кажутся переломными. Может быть, также следовало бы попросить Вчисло пояснить: если бы местные реформы проводились при Витте, а не при Столыпине, какую разницу в их проведении можно было бы себе представить?

И одно замечание. Вчисло подчеркивает противоречия в политике Столыпина. Мне кажется, наиболее очевидные противоречия — это противоречия между средствами и конечной целью. Цели мы можем считать действительно достаточно широкими, включающими громадное расширение частной крестьянской собственности, развитие классового общества на месте сословного и прочее. Это широкие реформы, но парадокс в том, что Столыпину приходится ради их осуществления пройти через разгон II Государственной думы, переворот 3 июня 1907 г., который дал власть тем, кто начал сопротивляться реформе (это прекрасно показал Дякин): главным образом помещикам, крупным землевладельцам, которые окончательно привели к полному провалу этих реформ еще до конца политической деятельности Столыпина.

Заседание 5 июня. Продолжение дискуссии по теме: «Российское общество в начале XX в. *Кризис самодержавной власти*».

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ

А. Рибера

Продолжаем дискуссию о государственной власти, ее отношениях с различными группами и институтами русского общества. Мы начинаем обсуждать 3-ю часть первой темы: местное самоуправление. Доклады Ф. Вчисло и В. А. Нардовой обращают наше внимание на еще одну сторону столыпинских реформ. Обыкновенно историки концентрировались на аграрной реформе, на отношениях между центральной властью и политическими партиями. Это, конечно, очень плодотворный подход к столыпинским реформам. Но у нас сегодня другая повестка дня: какими были политические отношения между местными самоуправлениями и центральной властью. Прошу обратить внимание именно на этот вопрос, потому что мы еще будем иметь возможность обсудить столыпинские реформы с точки зрения аграрной политики государства и отношения между политическими партиями и государством.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

В. Я. Лаверычев

Мы обсуждаем вопрос о земском и городском самоуправлении, о месте этих институтов в общественной и политической жизни России. В принципе этот вопрос в существующих исторических исследованиях решен достаточно убедительно и правильно, хотя если проблему увязывать с вопросами, которые мы обсуждали ранее (реформы, кризис верхов), то многие стороны общественно-политической жизни России еще нуждаются в самом тщательном изучении.

Я бы еще раз обратил внимание на ограниченность самоуправления земского и, в особенности, городского. Реальные их возможности были крайне узки, особенно в сфере общественно-политической. Ограниченность эта была связана с тем, что они, особенно городское самоуправление, представляли узкий круг населения. Кроме того, ограниченность была связана и с тем, что даже их практическая деятельность, весьма широко развернувшаяся до конца XIX в. в сфере образования, медицины

и т. п., все-таки была всегда скована административным вмешательством губернаторов и генерал-губернаторов.

Пожалуй, наиболее характерны в этом отношении судьба и деятельность Московской городской думы, которая в какой-то степени является эталоном для нашей оценки уровня развития буржуазно-либерального движения в России конца XIX — начала XX в. Стоит только вспомнить факт отставки с поста московского городского головы Б. Н. Чичерина, как наглядно вырисовывается и степень активности, и степень политическо-общественной ограниченности представителей этого движения. Выступление с сугубо верноподданических позиций было оценено в верхах отрицательно, и по требованию царя Чичерин вынужден был уйти в отставку. И либералов, задававших тон Московской городской думе, хватило лишь на то, чтобы бунтовать на коленях в течение нескольких месяцев, когда они блокировали выборы нового московского городского головы.

Мы очень много пишем об известной «Беседе». Она, бесспорно, заслуживает внимания. Но мы ничего не знаем, что здесь по существу был плагиат, ибо термин «Беседы» появился раньше. До «Беседы» земско-либеральных деятелей собирали и проводили «беседы» правых губернских предводителей дворянства в Москве, их созывал П. Н. Трубецкой, московский губернский предводитель дворянства.

Мне кажется, ограниченность земского либерального движения и является одной из главных причин неспособности царского правительства осуществить реформу. Вчера Л. Г. Захарова говорила, что с самого начала предполагалось, что реформы 60—70-х гг. получат дальнейшее развитие. Такие предположения инициаторами реформ высказывались, но они были весьма далеки от реальности. Даже то, что Александр II предполагал осуществить в начале 1881 г., было очень далеко от конституции (хотя мы в кавычках иногда обозначаем проект Лорис-Меликова как конституцию). Мне думается, заслуживают большего внимания те оценки, которые говорят о том, что это, скорее, была борьба за власть между группой Лорис-Меликова и других с Победоносцевым и теми, кто позже оказался у руля государственного управления. По существу реформы, предполагавшиеся Лорис-Меликовым, были настолько ограничены, что не меняли хода дела.

В стране в целом назревала тенденция модернизации тех идей, которые утвердились еще в начале XIX в., т. е. идей, основанных на обновленной трактовке известной триады: православие — самодержавие — народность. Выразители этих идей Катков, Победоносцев и другие дают как бы ее новое прочтение. На деле здесь была попытка использовать элементы патриархальности в российской жизни. В течение почти 20 лет жизнь страны была заморожена на основе этих идей. И нужно прямо отметить, что буржуазно-либеральное движение до конца XIX в.

по существу реально ничего не смогло противопоставить этим идеям. Их крах обнаружится в конце XIX в. С ним связан, по-моему, и кризис официальной религии. Не случайно, что и Победоносцев к концу XIX в. обнаруживает сдвиги в сторону большей либерализации в религиозных вопросах.

Заключая свое выступление, отмечу, что выявление причин, которые не позволили осуществить в России до революции сколько-нибудь существенные социально-политические реформы, является нашей важнейшей задачей, здесь нужны немалые специальные конкретно-исторические исследования.

В. С. Дякин

Я хотел бы вернуться к докладу Ф. Вчисло. Представляется, что в докладе очень удачно увязаны цели общей политики правительства с задачами, стоящими перед ним в области местного самоуправления. Это обстоятельство мне представляется крайне важным, потому что те задачи, которые должно было решать правительство в стране в целом: и аграрная реформа, и налаживание взаимоотношений между буржуазией и дворянством,— уже не могли решаться только на центральном уровне, они требовали решения на местах.

Безусловно, земство и по контингенту избирателей, и по правам, которые оно имело, и по идеологии тех, кто в земстве присутствовал, было ограниченным. Тем не менее на протяжении как раз начала XX в., в особенности после 1907 г., роль земства в стране, и в частности в решении общегосударственных задач, весьма возросла. Правительство передавало часть функций на местах земствам, поняв невозможность справиться силами своего административного аппарата с такими проблемами, как агрономия, начальное образование, дорожное строительство и т. д. Оно также начинает осуществлять дотации из государственного бюджета в земский бюджет и частично снимает ограничения в развитии земского бюджета путем самообложения.

Хотелось бы отметить еще один момент: после революции земства оказываются в руках правооктябристского (в основном) блока. Тем не менее чем ближе к периоду первой мировой войны, тем больше эти правооктябристские земства, абсолютно лояльные по отношению к власти, начинают применять методы, подобные тем, что использовались перед 1905 г. земско-либеральной оппозицией, требовать такого же расширения своих прав, какого уже требовало либеральное земство. Это требование как объективная необходимость должно было возникнуть независимо от партийного состава земства.

То же самое мы видим и на примере городских самоуправлений, т. е. мы наблюдаем развитие процесса, при котором все больше и больше происходит отчуждение между центральной властью и теми классами, которые представлены в местных

самоуправлениях, которые по идее должны были бы находиться с этой властью в союзе.

В. Г. Чернуха

Доклады В. А. Нардовой и Ф. Вчисло дают анализ еще одной причины революционного взрыва — отношений правительства и общества. Доклады, по-моему, очень важны для понимания этого процесса, ибо в конце концов весь вопрос сводится, если дойти до его корней, к следующему: правительство для общества или общество для правительства? В России он решался однозначно на протяжении веков, решался и решается бесспорно: общество для правительства. И чем очевиднее становилось, что именно общество должно диктовать политику, тем упорнее сопротивлялась этому власть.

Доклад Вчисло важен еще с одной точки зрения: мне показалось поначалу, что мы не взяли для этой конференции важную тему — о бюрократии. Без этой темы не может быть понят кризис самодержавия, это была опора верховной власти, опора очень сильная, хотя профессор Рибер говорил о ее уязвимости и хрупкости. Изучение бюрократии — дело необыкновенно трудное, это совершенно особая психология, особый менталитет. Люди, которые переходят из гражданского общества в бюрократию, и наоборот, резким образом меняются. Тем не менее ставить эти вопросы необходимо. Вы вспомните того же Лорис-Меликова, человека в политике совершенно случайного, очень короткое время бывшего у власти и отравленного ею навеки,— он остаток жизни прожил в ожидании, что его в конце концов призовут. Нам кажется совершенно очевидным, что политика самодержавия идет против естественного движения жизни, поэтому необходимо изучать психологию верховной власти, психологию бюрократии, те мотивы, которыми она руководствовалась.

Л. Хаймсон

Опасно рассматривать отдельных реформаторов вне общего процесса реформ. Необходимо проанализировать существовавшие концепции взаимоотношений государства и общественности, центрального аппарата и органов самоуправления, взаимоотношений верхов и низов общества как в городе, так и в деревне.

Что касается доклада В. А. Нардовой, который мне кажется очень интересным, у меня один вопрос по поводу динамики политизации, радикализации городских дум. Насколько тут отражается процесс политизации самой крупной буржуазии до 1905 г. и насколько катализатором остаются, главным образом с одной стороны, либеральное дворянство и, с другой стороны, профессиональная интеллигенция? Насколько широко среди ку-

печества действительно происходят те процессы, которые она описывает?

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ДОКЛАДЧИКОВ:

Б. В. Ананьич

Одна из задач нашей встречи — попытка ответить на вопрос, почему в 1917 г. в России произошла революция? Не что дала русская революция стране и миру, вопрос, который поставил Б. Н. Миронов, это вопрос иной, он может быть предметом специальной дискуссии, а именно, почему произошла в России революция? Мне кажется, что вся работа нашей секции была посвящена проблеме кризиса власти и доклады оказались очень тесно связанными между собой. Все-таки что произошло? Русское самодержавие пало на баррикадах или оно потеряло поддержку почти всех слоев общества и рухнуло, не выдержав экстремальных условий первой мировой войны? Насколько далеко зашел кризис власти в 1917 г.?

В моем представлении кризис власти в России возникает еще в конце царствования Александра I. Завершается рост империи, и правительство оказывается перед необходимостью трансформации тех политических структур, которые существовали в России, так как империя достигает известной критической массы. Появляются и внешние причины, требующие этой трансформации, происходят перемены в европейских странах под влиянием Французской революции, и Россия должна была с этими переменами считаться. Речь шла прежде всего о создании в России объединенного правительства, введении представительства в любой форме и о конституции. С этого времени общество начинает бредить конституцией, а Россия начинает отставать, в том числе экономически, что становится очень важным фактором кризиса. Хотя, мне кажется, Россия все-таки не превращается в страну Третьего мира, дело даже не только в экономике, но и в той политической роли, которую Россия продолжала играть в Европе и на всем протяжении XIX столетия. Проведение реформ Сперанского должно было бы приостановить кризис, но реформы не состоялись, процесс затянулся, и кризис начал углубляться. Это явление нельзя представлять в виде какой-то кривой, постоянно идущей вниз. Думаю, это зигзагообразный процесс со взлетами и падениями. Конечно, реформы 60-х гг.— это взлет, а попятное движение 80-х гг.— падение, способствовавшее еще большему углублению кризиса.

Профессор Л. Хаймсон поставил вопрос о том, почему он углубляется. Думаю, причина состоит в следующем. С одной стороны, возрастает необходимость реформаторства, с другой — возрастают нежелание и неспособность правительства к реформаторству, два встречных противоречивых процесса. Что озна-

чает последовательное реформаторство? Б. Н. Миронов отмечал, что мы относимся отрицательно к укреплению общины в 60-е гг. и к ее ломке в период столыпинской реформы. Миронов считает, что с нашей точки зрения худо и то, и другое. Это верно. Отношение к общине как раз пример реформаторства непоследовательного. Последовательное реформаторство, в моем представлении, это создание благоприятных условий для естественных процессов. В 60-е гг. надо было дать русскому крестьянству выбирать возможность работать в общине или не в общине, как оно бы этого хотело, т. е. создать условия для естественного процесса. Вместо этого укрепляли общину в 80-е гг., а потом ломали ее, искусственное укрепление сменилось насильственным реформаторством, которое явилось результатом процесса искусственного укрепления.

Все доклады нашей секции отражают в какой-то степени кризис власти, это их объединяет. Под этим углом можно рассматривать и доклады Г. Фриза и Р. Уортмана, я их совсем не воспринимал как доклады, посвященные религиозной проблематике, они отражают кризис в сфере идеологии, культуры. То же можно сказать о докладах В. А. Нардовой и Ф. Вчисло, они отражают кризис в сфере местного управления, кризис в политике П. А. Столыпина, оказавшегося не в состоянии завершить реформы 60-х гг.

Кризис власти, отрыв власти от общества, распад общества, о котором говорил А. Рибер, это вопрос об ответственности режима, уходящего с политической сцены, ответственности за то, что он сделал и в каком состоянии оставил страну. Самодержавие своей политикой всячески способствовало популярности и успеху самых левых, крайних направлений в русском обществе, и в этом смысле оно подготовило русскую революцию. Чрезвычайно важно говорить о кризисе власти сегодня, потому что в историографии жива и другая давняя традиция, согласно которой в России все было хорошо, шли нормальные процессы государственного развития, и только неудачная война, которой воспользовались крайние левые силы, и погубила это благополучие. Тема продолжает дебатироваться и сейчас. Мой молодой друг, американский исследователь Э. Вернер, написавший очень хорошую книгу о Николае II, выступал с публичными лекциями в очень большой аудитории и встретил немалый интерес, но вместе с тем столкнулся с оппозицией неомонархистов. Он получил пачку записок, одна из них была следующего содержания: «Если Вам не нравится Николай II, то зачем Вы им занимаетесь? Поезжайте домой и занимайтесь своей любимой демократией».

Хотел бы попутно ответить на замечания моего доброго и ироничного оппонента Д. Филда, который говорил о нецелесообразности употребления термина «феодальное мышление». Я думаю, что Николаю оно все-таки было свойственно. Так, ему казалось, что он может управлять биржевыми процессами,

может переместить биржевой центр из Лондона в Нью-Йорк, у него была такая идея. Это были признаки именно феодального мышления, т. е. непонимания тех реалий, которые имели место в России.

Р. Ш. Ганелин

В прениях по нашему докладу был поставлен вопрос о революции 1917 г. Сам термин «революция 1917 г.», по-моему,— новейшая историческая аберрация; думаю, что она в какой-то мере следствие того, что в литературе 70-х гг. в борьбе со стихийностью Февральской революции, при подтягивании ее к Октябрьской, Февраль как-то оттеснили на задний план и лишили главной его черты — стихийности. Она признавалась, но как нечто вспомогательное. А дело это совсем непростое, теория стихийности Февральской революции прежде всего упирается в то, что рухнула система, рухнула не от воздействия ЦК большевиков, не под влиянием интриг жидомасонов, а вот рухнула — и все. К этому, собственно, мы и вели дело в своем докладе — показать, что это был процесс, стихийный — не стихийный, но во всяком случае произошедший в значительной степени самопроизвольно.

Если говорить об историографической традиции в освещении стихийности, то дело обстоит гораздо сложнее, чем это изображалось в 70-х гг. В начале в советской литературе 20-х гг. появились темы военного заговора, предшествовавшего февральскому перевороту. Это насторожило группу лидирующих историков во главе с Я. А. Яковлевым, и от заговорщического действа быстро перешли к теории стихийности, которой придавалось вполне добропорядочное значение. Затем в печальные недавние времена стихийность была сочтена недостаточной, и «массы» были превращены в «массы во главе с большевиками». Нынешнее возрождение теории жидомасонского происхождения Февральской революции является не прямым, но косвенным следствием всей системы историографических манипуляций, которую эта несчастная тема пережила. Это я говорю к тому, что нуждается в дальнейшем изучении природа Февраля, когда строй рухнул, как сказал бы Сталин, «под грузом собственных ошибок».

Не стану об этом больше распространяться, а остановлюсь на замечаниях, которые нам были сделаны. Л. С. Хаймсон поставил под сомнение фразу, вероятно слишком острую и неосторожную, о том, что меньшевики считали нормальной стадию буржуазной монархии. Конечно, лозунга конституционной монархии у меньшевиков не было. Если это вытекает из нашего текста, то это ошибка. Но я хотел бы обратить внимание на политическую практику 1905 г., на поддержку меньшевиками кадетского лозунга об ответственном министерстве уже в первой Думе. Да и сам лозунг борьбы за Думу

как орган власти в сущности носил легалистский характер. Я, впрочем, не склонен абсолютизировать эту позицию как чисто меньшевистскую и хотел бы напомнить, что и Ленин по отношению к Земскому собору занимал позицию отнюдь не огульно отрицательную. По отношению к 1917 г. я хотел бы напомнить о первой мартовской ночи, о переговорах Исполкома с думским комитетом, в котором таинственное превращение претерпел лозунг демократической республики. На мартовском совещании Советов Ю. М. Стеклов вынул бумагу, с которой, как он говорил, он и Н. Н. Суханов пошли к цензовикам, т. е., условно говоря, протокол решения Исполкома. В нем «демократической республики» не было, было «непредрешение» формы правления. Я не хочу сказать, что это было уступкой лозунгу конституционной монархии, но П. Н. Милюков, с которым они вели переговоры, именно так это и трактовал.

Р. Уортман.

Я думаю, что замечание в докладе Р. Ш. Ганелина и Б. В. Ананьича о феодальном мышлении очень кстати. Оно показывает, какую громадную роль играл Николай II в кризисе этого периода. Это очень важно, потому что даже непоследовательное реформаторство, с его точки зрения, было рядом уступок, и Николай ждал времени, которое, как он верил, наступит скоро, и тогда он все это уничтожит.

Замечания по моему докладу касаются нескольких тем. Во-первых, некомпетентность царя. Это большой вопрос. Николай II был, кажется, тупой человек, много исторических трудов показывают его колоссальную тупость, некомпетентность. Но вопрос не в этом. И. В. Алексеева объясняет это неопределенностью решений, это так. Но он, кажется, ошибался почти всегда, когда можно было спасти старый режим. Почему он был некомпетентен? Николай II был некомпетентен не потому, что был глуп — свидетельства современников указывают, что он был неглупый человек. Другое объяснение: он был слабый человек, императрица очень на него влияла. Она, конечно, на него влияла, но всегда в том направлении, которое он сам выбирал,— это было частью его личности, делать вид, что он делает то, что хотят другие. На самом деле Николай был очень упрямый, очень целеустремленный человек, в его поступках, когда это не был вопрос уступок, была большая последовательность.

Почему? Я в докладе частично стараюсь объяснить это. С моей точки зрения, он вообще оторвался от мира реальности ради своего мифа. Это был миф, в котором был полный отказ от политики. Это была какая-то утопия, мечта о прошлом, о «мирном» XVII в., но не о настоящем XVII в., потому что в действительности, конечно, это было очень бурное столетие. Он видел «мирный» период после Смутного времени, когда восста-

новилась монархия. С его точки зрения, все, что произошло в политической жизни России, было случайно. А революция пройдет, как прошло Смутное время. Что заметно в Николае — это колоссальная самоуверенность. Этого не было у Александра II, этого не было у Александра III, этого не было даже у Николая I. Последний царь не ждал революции. Он боялся революции, но в нем была уверенность в своем положении и какая-то замкнутость от мира.

Вопрос проф. Думовой о событиях, которые влияли на общественное мнение и отчуждали общество и народ от царя. Я согласен с этим, просто я пишу не о таких группах. Я пишу о людях, которые поддерживали царя и верили в миф. Это кружки во дворце, в этой атмосфере царь рос, там не обращали особенного внимания на отчуждение от страны. Все бурные периоды, о которых говорила И. В. Алексеева, не освещены мною потому, что тогда не было подобных представлений: это было просто невозможно. Николай в эти периоды считал, что борьба неизбежно кончится победой. Поражение революции 1905 г. для него было доказательством его правоты. Празднование 300-летия царского дома для Николая не было случайностью, в 1913 г., как в 1613 г., в XX в., как в веке XVII — это признак начала восстановления монархии. Вот образ мышления, типичный для Николая. Нам это трудно понять. Но он думал не как кадет, он думал не как меньшевик, он думал не как мы, не как современные русские националисты.

Б. Н. Миронов во время перерыва задавал несколько очень интересных вопросов. Я постараюсь кратко ответить на них. Во-первых, он спросил об источниках мифа. Этот вопрос требует отдельного доклада, источники, конечно, в неославянофильстве. Консервативные взгляды передавал Николаю II отец. То, что для Александра III было теорией государства, для Николая II было уже верой его жизни, он в этой вере не сомневался. Кроме того, был, я думаю, русский аналог среднеевропейского национализма. Влияние идеологии объединенной Германии на русское государственное мышление требует изучения. Об этом, кстати, говорил А. Каппелер. В России это происходило иначе, чем в Германии, где религия не могла быть основой националистического единства, потому что часть населения была католической, часть протестантской, а в России думали, что православие может быть основой единства. Но как показала жизнь, это тоже было неверно.

Другой вопрос Б. Н. Миронова — о психологических корнях мышления Николая. Думаю, что в Николае существовал механизм психологической защиты самый простой — отказ от действительности. Причины были связаны с ужасами, которые он видел с детства: боязнь отца, боязнь людей, недоверие к собственным чиновникам. Этот механизм психологической защиты действовал и по отношению к психической болезни императрицы. Николай не показывал вида, что она больна. Но были

такие странности, которые он не мог понимать и поэтому он отказывался понимать и видеть действительность.

Г. Фриз

Как Вы знаете, тема церкви и религии мало затрагивается в историографии, до некоторой степени я хотел заполнить этот пробел. Может быть, это нескромно, но я хотел бы сделать еще две вещи. Во-первых, рассмотреть, как попытки создать атмосферу показного благочестия с целью усилить интегрирующую роль церкви на практике приводили к обратным результатам. Далее, в методологическом плане, применить новый подход, дать новую концепцию того, чем мы должны заниматься. В наших исследованиях до сих пор существует однобокость: мы занимаемся или управлением, или управляемыми, а исследования об их взаимосвязи вообще отсутствуют. Связь между государством и управляемой церковью — посреднический элемент — это культура, и следовало бы больше внимания уделять политической культуре и меньше политическим институтам, к настоящему времени наиболее изученным.

Было задано несколько вопросов. Отвечая на первый, замечу, что верхи в целом не понимали того, что канонизации были неудачными. Второй вопрос: как в таком случае можно измерить воздействие канонизацией? Это самый уязвимый пункт исследования. Можно указать на некоторые косвенные признаки. Так, в 1914—1915 гг. даже ставился вопрос: а будет ли достаточно внушительным присутствие народа на церемонии канонизации? Это должен был быть очень пышный и всенародный праздник, не только о мощах шла речь, а о восприятии народа.

Третий вопрос: можно ли вообще провести успешную канонизацию в России? Такая канонизация должна отвечать определенным условиям, и в данном случае их не было. Главное, это разнородность тех сил, которые провели такие канонизации по разным мотивам. Если канонизация Серафима Саровского была инициативой царя, то канонизация Гермогена была вопреки желанию царя. Канонизация Иоанна Максимовича состоялась вопреки церкви, по инициативе разных сил. Неуспех канонизаций отражал несовпадение интересов официальной иерархии, внеинституционной народной религии и правящей династии.

Четвертый вопрос (проф. Каппелера) насчет рождающегося разрыва между церковью и государством. Я об этом не писал, поскольку частично вопрос был уже затронут в литературе. Надо иметь в виду, что если в середине XIX в. речь шла о сотрудничестве, то уже в начале XX в. у церковников были совершенно другие задачи. Речь шла о власти, о создании патриархии, о самостоятельности церкви. Существовала еще масса вопросов, в первую очередь школьный, бракоразводный, вопрос о веротерпимости. С точки зрения церкви, с начала XX в. речь шла не о том, как провести законы, а как их затормозить, как их

саботировать. Это расхождение интересов выражается в неготовности церкви к сотрудничеству либо с правительством, либо с Думой. Я бы сказал, что активизация ведомственной политики в деятельности церкви в общем-то отражает кризис власти не только в том смысле, о котором мы говорили, но и в смысле конституционной способности государя или правителя играть посредническую роль.

Пятый вопрос (проф. Хаймсона) о реакции церкви. Если крупные и довольно самостоятельные фигуры, как Филарет, в середине XIX в. в общем-то были готовы либо молчать, либо сотрудничать, то в начале XX в. перед первой революцией церковь начала искать свои устои, свои основы, и для церкви Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости был как кровавое воскресенье. После этого закона расхождение углублялось по всем фронтам.

В. А. Нардова

Большое внимание в дискуссии было уделено вопросу о соотношении реформ и революции. Шла речь о том, что не только революция порождает реформы, но и несвоевременность, непоследовательность реформ в конечном счете способны привести к революционному взрыву. Мне думается, что материал доклада, посвященного реформам городского самоуправления, является подтверждением этого тезиса. В самом деле, реформа 1870 г.— прогрессивный акт, но при этом в нее изначально были заложены органические пороки, вызванные стремлением приспособить создаваемые органы самоуправления к самодержавному строю. Это в конечном счете отразилось и на всей последующей деятельности органов самоуправления. Позднее, в полемике Витте и Горемыкина, речь как раз шла о том, что оппозиционные выступления, конфликтные ситуации между органами самоуправления и губернской властью или правительством были вызваны отсутствием четко определенной сферы их компетенции, отсутствием уставов. Но при выработке городового положения 1870 г. царское правительство не решилось пойти на законодательное разграничение полномочий.

Реформа городского самоуправления 1892 г. Проф. Хаймсон правильно подметил, что при всей непоследовательности политики царского правительства было бы неверно говорить об отсутствии преемственности. В частности, он подчеркивает связь материалов кахановской комиссии с последующим законодательством царской России. Хочу сказать, что в папке подготовительных материалов городового положения 1892 г. находятся и материалы кахановской комиссии. Более того, в документах по реформе 1903 г., касавшейся Петербурга, материалы кахановской комиссии не только присутствуют, но и в какой-то мере используются. Начало XX в., урбанизация, осложнение городского хозяйства делают очевидным, что городовое положе-

ние 1892 г. в той форме, в какой оно действовало, тормозит развитие городского хозяйства. Реформа городового положения назрела, но тем не менее правящие круги идут в 1903 г. лишь на частичную реформу, касающуюся петербургского городского самоуправления. При обсуждении этого вопроса министр внутренних дел признает, что действительно в некотором отношении городовое положение 1892 г. оказалось даже менее удовлетворительным, чем положение 1870 г., но, говорится в документах, в городах меньшего масштаба оно все-таки работает. И реформа 1903 г. была сведена только к преобразованию петербургского городского общественного управления.

Один этот пример, чтобы не входить в какие-то детали, показывает, что правительство не было последовательным, не угадывало момента, когда проведение того или иного законодательного акта становилось жизненной необходимостью. Так, непроведение нового городового положения было одной из причин, которые побуждали городские думы от чисто деловой оппозиции встать на путь прямого противостояния правящим кругам. Совершенно прав проф. В. Я. Лаверычев, говоривший, что в 80-е гг. оппозиция городского самоуправления — это оппозиция на коленях. Я не затрагивала этих вопросов, так как считала необходимым обратить основное внимание на самый конец XIX — начало XX в. Но я в своем докладе подводила к тому, что эта оппозиционность, возникшая, подчеркиваю, на деловой основе, уже в начале XX в. принимает более решительные формы, и ранее пассивное самоуправление примыкает к земскому либеральному движению, слияние с которым происходит уже в годы революции.

Вопрос проф. Хаймсона относительно того, кто же был катализатором — либеральная интеллигенция, дворянство или буржуазия? Документы из фондов департамента полиции позволили мне сделать вывод, что в большинстве дум, прежде всего дум более мелких и средних городов, именно либеральная интеллигенция и дворянство способствовали более решительному повороту на оппозиционный путь. Проф. Хаймсон совершенно прав, но я говорила о первом политическом выступлении перед революцией Московской думы (адрес 30 ноября 1904 г.), а Московская дума по своему составу была в основном буржуазной.

Ф. Вчисло

Я хотел бы заметить, что попытки Лорис-Меликова в сфере местных учреждений направлены на то, чтобы довести до конца реформы 60-х гг. В этом смысле была преемственность не только между Столыпиным и Кахановым, но и работой государственных деятелей времени великих реформ: архивные дела и воспоминания, освещающие столыпинские местные реформы, наполнены ссылками на события 50-летия, прошедшего со вре-

мени реформ, на проблемы и противоречия, созданные ими. Как правильно заметила Л. Г. Захарова, государственные деятели эпохи реформ, может быть, слишком туманно, но предвидели процесс экономического и гражданского развития, и когда кахановская комиссия, или МВД при Столыпине возвращались к проблеме местных реформ, это было не попыткой выбраться из тупика, будто бы созданного великими реформами, а возвращением к прежнему ходу процесса развития.

Когда мы рассматриваем вопрос о преемственности, следует понимать, что самодержавие было в конце концов бюрократической формой управления, оно олицетворялось не только личностью царя, но и бюрократией. Понимание бюрократией преемственности настоящего и будущего коренилось в архивах, т. е. в прецедентах, в опыте прошлого. Мне кажется, реформаторские группы в бюрократии действовали более сознательно, чем мы сейчас думаем.

Еще несколько заметок о преемственности. Столыпинские проекты подтвердили в большей степени, чем кахановские, усиление бюрократической власти на местах. Прежде всего это показал проект уездного начальника, который был бы коронным чиновником и представителем центрального правительства на местах. За 25 лет до того кахановская комиссия предлагала, чтобы уездное земство выбирало этого начальника. Мне кажется, это объясняется тем, что не было должного количества трудоспособных чиновников, чтобы думать о правительственном назначении этих начальников. А в начале XX в. такое количество было. Эти проблемы, проблемы профессионализации, мы до сих пор недостаточно исследовали, хотя и есть исследование Р. Уортмана о судебной реформе или работа П. А. Зайончковского о правительственном аппарате. Больше того, мы лишь предполагаем некомпетентность русского чиновничества, бюрократии, но надо по-серьезному исследовать эти вопросы.

Разница между Столыпиным и Кахановым была и в том, что в столыпинских проектах предполагалось более последовательное устранение сословных признаков и большее расширение слоев населения, участвовавших в местном самоуправлении. Этот аспект столыпинских местных реформ относится к вопросу о сословиях и классах, о характере социального развития России в конце XIX и начале XX в. Вопрос это действительно спорный, как показал, например, доклад Д. Филда. Столыпин имел свое понятие о характере социального и гражданского развития в России. Правильно ли он понял этот процесс — другой вопрос. Но исходя из своей точки зрения, Столыпин пытался реформировать управление на местах. Такая реформа была его целью, его мечтой. Как я старался показать в докладе, в современном Столыпину обществе, может быть, не было достаточных средств для ее достижения.

Хочу сказать несколько слов об обществе, о его характере. Как уже отметил проф. Фриз, надо исследовать также вопрос о

партикуляризме, о политической культуре, о характере общества и о влиянии общества на реформаторское действие правительства и при Столыпине, и, может быть, позже.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

К. Ф. Шацилло

Через всю историю России в XX в. проходит основная проблема — революция или реформа? И мы решили поступить по мудрому совету Родена. На вопрос, как он делает свои шедевры, он ответил: «Беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее». Всякое исследование по сути дела к этому и сводится: выбирается какая-то одна проблема из сложных, взаимосвязанных проблем, существующих в жизни, и производится отсечение всего лишнего. Чем мы руководствовались, когда выбрали три основные группы проблем докладов? Не тем, что это совершенно самостоятельные, не связанные с другими проблемами группы. Выделение было чисто условным: вы видите, что неизбежно мы затрагивали и проблемы столыпинской реформы, и национальные вопросы, и целый ряд других. Но думаю, что если бы мы не ввели такого ограничения, в значительной мере искусственного, если бы не пытались последовательно проводить эту линию, то у нас действительно получилась бы, как сказал проф. Рибер, каша. И во второй секции, и в третьей неизбежно будет возвращение к тому, о чем говорилось в первой. Но мне кажется, что занятия первого дня прошли очень плодотворно, в какой-то мере и в результате того, что мы довольно жестко придерживались не только регламента, но и этой искусственно вычлененной группы вопросов.

А. Рибер

Мой коллега более красноречив, чем я, и уже высказал, как мы рады, что первая секция прошла удачно. Меня поразила одна вещь в дискуссии: хотя мы концентрировались на эпохе конца XIX — начала XX в., мы не могли не увидеть, что была очень длинная традиция реформ. Как заметил проф. Ананьич, и корни кризиса, и проекты реформ проявляются при Александре I. Я думаю, это очень плодотворный подход к вопросу. Как нам напомнила проф. Чернуха, кризис государства — это кризис бюрократии, и его надо изучать очень подробно. Ф. Вчисло тоже отметил постоянную борьбу внутри бюрократии, внутри правительства, справедливо указав, что мы еще не понимаем все стороны этой борьбы: кто были противники реформ, кто — реформаторы. Можно еще много сказать о нашем заседании, но я тоже очень доволен результатом, и я благодарю моих коллег за терпение и за то, что вы приняли наши, надеюсь, не очень строгие правила, которые показали, что мы можем контролировать дискуссию.

Заседание 5 июня по теме: *«Общественные движения и революционный процесс в России в начале XX в.»*

Сопредседатели: У. Розенберг (США), Р. Ш. Ганелин (СССР)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

У. Розенберг

Мы должны обсудить разные темы, некоторые из которых мы уже затронули. С моей точки зрения, у нас три главные темы. Первая — отношения между различными социальными группами и режимом. Вторая — динамика социальных групп, особенно рабочих и крестьян, а также разных национальностей. Третья тема — вопрос о концепции истории, о социальных формациях, о вопросах развития, о вопросах альтернативы и т. д. Доклад С. И. Потолова очень интересен, в нем показывается, как Министерство торговли и промышленности осуществляло свои проекты организации примирительных учреждений из рабочих и предпринимателей для улаживания трудовых конфликтов. Это очень важный вопрос отношений государства и рабочих. Затем вопрос о динамике рабочего движения, доклад Ю. И. Кирьянова и И. М. Пушкаревой. Потом вопрос о крестьянстве, доклад Ю. Б. Соловьева, и дополнительный доклад Т. Шанина. Затем доклад о национальном вопросе и потом дискуссия о концепции социальной идентификации по докладу проф. Филда.

Р. Ш. Ганелин

Проф. Розенберг все исчерпывающе охарактеризовал. Я взял на себя труд посмотреть два доклада — Ю. Б. Соловьева о крестьянстве, дворянстве и самодержавии и Н. В. Юхневой о национальной структуре городского населения. Буквально два-три слова о каждом.

Доклад Ю. Б. Соловьева показывает, как далеко мы ушли от времен, когда самый подступ к теме об отношениях между крестьянством и самодержавием мог бы показаться чуть ли не богохульством. У меня были под руками материалы советско-итальянского симпозиума 1968 г. Там А.Я. Аврех, П. В. Волобуев, И. Ф. Гиндин и Н. И. Павленко несколько иначе заговорили об абсолютизме, его социальной основе, заговорили о том, что крестьянство в глазах ревнителей абсолютистского образа правления представлялось массовой социальной опорой. М. В. Нечкина сразу же отреагировала: «Существует Карамзин, существует

Погодин, берите официальные документы, перелистайте их и обратите внимание, что они утверждают как раз то, что вы говорите, что идеология крестьянства, конечно, царистская. Царь-батюшка является попечителем, страдателем за народ, ревнителем интересов народа, и существуют царские манифесты, которые начинались с призвания: боже, благослови меня на царские дела для народа. Пусть вас потревожит это совпадение, все-таки неприятная близость». Строгость этого предупреждения соответствовала значению того первого прорыва канонической схемы, который был совершен. В докладе Ю. Б. Соловьева мы видим, как далеко мы ушли от тех времен.

Национальный вопрос в работе нашей конференции. Вся тяжесть этой нагрузки легла на плечи Н. В. Юхневой как докладчика. Мне хотелось бы, не останавливаясь на характеристике этого доклада (он очень точно и профессионально сделан), призвать всех, кто сочтет возможным принять участие в прениях, показать, учитывались ли царизмом в его политике национальный состав империи и социальная дислокация национальностей или не учитывались. Мне представляется, такое направление прений было бы чрезвычайно интересным развитием доклада.

У. Розенберг

Начнем с докладов С. И. Потолова и И. М. Пушкаревой и Ю. И. Кирьянова. В докладе С. И. Потолова есть важная идея о возможности либерально-реформистского курса в политике правительства, возможности изменения отношений между рабочими и предпринимателями. Если мы сравним его с другим докладом, там другая точка зрения, согласно которой перед революцией рабочие боролись за улучшение экономического положения. Но в годы мировой войны акцент изменился, упор делался не на улучшении положения рабочих, а на обеспечении прожиточного минимума, и достижение этой цели виделось через прекращение войны и демократизацию страны. Следовательно, наблюдаются фундаментальные изменения в рабочем движении.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Т. М. Китанина

Доклад И. М. Пушкаревой и Ю. И. Кирьянова, содержащий значительный, в том числе статистический материал, построен в сравнительном плане и позволяет тем самым представить динамичную картину рабочего движения. Такое построение плодотворно для сопоставления ряда параметров, таких как интенсивность, масштабы, формы рабочих выступлений, взаимодей-

ствие экономических, политических и социальных факторов, их влияние на активность движения; оно дает возможность проследить усиление политизации рабочего движения (на что обращает внимание и С. И. Потолов).

Но мне бы хотелось остановиться на вопросе, затронутом в докладе, но, по-видимому, в силу ограниченности объема, не получившем развития. Чем все-таки объяснить, что российская буржуазия не сумела стать политическим лидером, способным повести за собой рабочий класс? Обращает на себя внимание поразительно прямолинейная позиция российской промышленной буржуазии, определившей курс на бескомпромиссное подавление рабочих выступлений, в отличие от политики лавирования, снимавшего напряжение, от законотворчества, свойственного буржуазии западноевропейских стран (законы 30—40 гг. XIX в. в Англии и 40—50 гг.— во Франции). Эта позиция не противоречила ряду патерналистских актов по отношению к рабочему классу, вызванных заинтересованностью в обеспечении цикла воспроизводства капитала. Не противоречила она и привносимым либеральной буржуазией элементам просветительства в отношении к рабочим. Сама система взаимоотношений между трудом и капиталом вела к их противостоянию.

В то же время использование буржуазией целого ряда привилегий, оберегаемых самодержавной властью, применение широкого арсенала средств подавления, порой, скорее, крепостнического, чем капиталистического характера, явились логическим следствием не только особенностей генеалогии и эволюции буржуазии, но, что особенно важно, следствием ее известной экономической слабости, вызванной отчасти болезнью стремительного роста. Если бы (даже в 1913 г.) положить на одну чашу весов капиталы русской промышленной буржуазии, а на другую — русского купечества, уверяю вас, что вторая чаша опустилась бы ниже. Именно в этом заключалась и причина ее политической индифферентности, и причина неизменной поддержки ею карательного аппарата государственной власти, когда любые проявления социального протеста (особенно массового рабочего движения) подавлялись самодержавным режимом. Политическая и организационная слабость российской буржуазии, мне кажется, явилась одной из основных причин её поражения в борьбе за государственную власть в 1917 г.

Л. Хаймсон

Я бы хотел сконцентрироваться на докладе С. И. Потолова и начать с того, что сказал Р. Ш. Ганелин: насколько уже модулированная картина у нас получается из этого доклада. Хотел бы обратить внимание на следующее: всегда подчеркивалась борьба между Министерством финансов (затем Министерством торговли и промышленности) и Министерством внутрен-

них дел. Мне кажется, доклад дает возможность увидеть те противоречия, которые проявились внутри этих ведомств.

Одним из многих положительных аспектов доклада С. И. Потолова является то, что он подчеркивает, что МВД руководствовалось патриархально-попечительским отношением к рабочему сословию, его чиновники были далеко не всегда на стороне промышленников и против рабочих. Несмотря на это, мы наблюдаем картину полного подавления рабочего движения. И тут мне кажется, С. И. Потолов прав: дело было не в отрицательном отношении к рабочим, а в психологической неспособности адаптироваться к существованию свободной организации любой общественной группы, в особенности рабочего класса, но также и предпринимателей. Отрицались любые явления, которые были бы не под контролем политической власти. По отношению к организациям рабочих эти настроения усугублялись попытками революционных организаций радикализировать рабочее движение.

Политика же Министерства торговли и промышленности, как показывает С. И. Потолов, заключалась не только в попытках примирения предпринимателей с рабочими, но и в более либеральной концепции отношений предпринимателей и рабочих: свобода, до какой-то степени, экономических стачек и даже организация профсоюзов. В то же время мы в практической деятельности Министерства замечаем моменты, когда оно не могло противостоять давлению предпринимателей. Отношение Министерства торговли и промышленности к предпринимателю было также отношением попечительства, хотя и другого рода. Следствием были противоречия, проявлявшиеся не только в известных примерах (зубатовщина, гапоновщина). Так, во время Ленских событий поведение фабричных инспекторов отмечено сочувствием к рабочим. Результатов эти симпатии не принесли из-за давления на Министерство торговли и промышленности, в частности на министра С. И. Тимашева, предпринимателей, контролировавших правление Ленского общества.

Другой пример, весьма любопытный, касается уже Министерства внутренних дел. Это — начало забастовочного движения в Костромской губернии в 1912 г. Оно начинается как скромное экономическое движение рабочих. Губернатор симпатизирует рабочим, он хочет, чтобы движение осталось в русле экономической борьбы и не было бы подавлено. Но ему не дают возможности это делать. Местные революционеры, студенты и другие, раздают листовки бастующим рабочим. Одновременно и местное жандармское управление начинает эксплуатировать несуществующие политические моменты, чтобы отчитаться в МВД и в конце концов подавить это экономическое движение. История кончается тем, что эти экономические забастовки, несмотря на усилия губернатора, подавлены. Губернатора увольняют, и сразу же расширяется жандармское управление, умножается его агентура. Но, как отмечает С. И. Потолов, в конце концов получается бумеранг: сотни агентов не могут предотв-

ратить массовое забастовочное движение весны 1914 г., которое во многих отношениях заметнее, чем забастовочное движение в Петербурге. Оно продолжится еще полтора месяца после начала мировой войны.

Б. Бонвеч

Мы привыкли говорить о «рабочем классе в России». Думаю, что пришло время переосмыслить это понятие. Следует подчеркнуть разницу между рабочими в Петрограде, металлистами и рабочими на Урале, горняками, учитывать национальные отличия и т. д. Не думаю, что мы можем говорить о едином рабочем классе в России, если мы анализируем поведение рабочих перед мировой войной и во время войны. Где были центры стачечного движения? Центр был в Петербурге, самой авангардной частью рабочих были металлисты, такая же картина оказывается во время войны. Если мы наблюдаем стачечное движение во время войны, мы видим (Ю. И. Кирьянов знает лучше меня), что на юге ничего не было, на Урале тоже ничего не было, стачечное движение России происходило в Петербурге. Думаю, что говорить перед Февральской революцией о поведении рабочего класса в России в целом ошибочно.

Д. Филд

У меня один вопрос и одно замечание по поводу доклада Ю. И. Кирьянова и И. Н. Пушкаревой. Вопрос следующий: в докладе среди показателей мы находим число поджогов в городах в 6 губерниях, я прошу, чтобы докладчики пояснили значение этого показателя. Попутно отмечу, что, хотя количество листовок имеет значение, имел бы большее значение общий их тираж.

Мое замечание касается влияния разных политических партий накануне Февральской революции. Мне кажется, что в докладе значение большевиков преувеличивается. В отличие от литературы периода застоя в докладе признается роль меньшевиков и даже есть добрые слова про анархистов. Но картина, которой кончается доклад, не вполне соответствует положению в больших городах России в феврале 1917 г., судя по составу, например, Советов в Петрограде и Москве (большевики до лета 1917 г. играли в них второстепенную роль). Хотя диапазон доклада довольно широк, но в нем тем не менее значение большевиков в рабочем движении преувеличивается.

Е. Р. Ольховский

Мне бы хотелось поддержать мысли, которые уже прозвучали. С одной стороны, рабочий класс, конечно, не был единым, не видеть этого нельзя, загонять весь рабочий класс искусст-

венно под шапку большевизма невозможно. С другой стороны, и правительственные учреждения, как говорил проф. Хаймсон, не едины в своих воззрениях (очень многое объясняется личностями). Разве можно говорить, что директор Департамента полиции Ратаев проводил ту же самую политику, что и Зубатов? Лопухин — это отдельная статья, после революции руководители политического сыска — люди другой физиономии, с другим чувствованием и другим восприятием. Этого мы, к сожалению, очень часто не учитываем. Кроме того, мы как-то пóходя очень часто мажем единой краской и говорим: зубатовщина, а потом гапоновщина. Это вещи абсолютно разные. По большому счету зубатовщина не привилась к рабочему движению в массовых масштабах, если не считать еврейской независимой партии и того, что было в западных губерниях. А гапоновщина — это большое социальное явление, до сих пор не исследованное психологически. Хотелось бы, чтобы мы к этому подходили более дифференцированно.

Реплика сопредседателя У. Розенберга

Мне кажется, следует переменить тему и начать дискуссию о крестьянах с доклада Ю. Б. Соловьева. Кроме того, у нас есть устный доклад Т. Шанина, считающего, что превращение крестьянина-общинника в крестьянина-собственника потребовало бы общей демократизации всей жизни в России, что в свою очередь потребовало бы целой революции. Это, по-моему, очень интересная тема доклада, о которой, я думаю, мы можем много говорить.

К. Ф. Шацилло

Мне кажется, что в очень интересном докладе Ю. Б. Соловьева произошло определенное временнóе смещение. Он исходит из того, что Николай и его ближайшее окружение и после революции не без основания продолжали верить, что крестьянство — опора трона. То, что так было до революции, сомнению не подлежит. Но революция должна была убедить правящую элиту, что это совсем не так. Ведь, кажется, каждое шестое поместье было сожжено, и полагать, что крестьяне по-прежнему искренне верят в царя-батюшку и любят его, можно было только при двух обстоятельствах. Во-первых, в результате сознательной политики, которую проводил «Союз русского народа» и прочие крайние правые организации, присылавшие кипы телеграмм о вере и любви народа к царю. Во-вторых, налицо совершенно странная аберрация, когда все происходящее в годы революции было начисто забыто и у царя укрепилась вера, что простой народ его любит и никакого другого строя не приемлет. Этот психологический момент тоже нужно учитывать. Не только критически мыслящий, но элементарно умеющий анализиро-

вать обстановку человек смог бы понять, что крестьянство свою позицию четко проявило в революции 1905—1907 гг., и продолжать наивно верить в то, что оно может быть опорой для строя без каких-либо серьезных изменений жизни, мог только такой одержимый человек, каким был самодержец.

В. С. Дякин

У нас с Ю. Б. Соловьевым давние споры, и я, конечно, не предполагаю, что мы их сегодня закончим. Но мне представляется, что Ю. Б. Соловьев нарисовал идиллическую картину отношения дворянства к крестьянству, его стремление к единению с крестьянством. Нельзя вычеркнуть 1905—1906 гг., когда власть была близка к тому, чтобы пойти на принудительное отчуждение если не в прямой форме, то в форме добровольного выкупа для фонда Крестьянского банка, который производился бы под давлением и по ценам, которые дворянство для себя считало неприемлемыми. Отзвуки этих событий прослеживаются на позиции поместного дворянства, которое не хочет простить этого правительству. И когда оно говорит о единении с крестьянством, оно имеет в виду создание союза земельных собственников. Это не стремление к союзу с крестьянством вообще, а именно стремление к союзу с крестьянами-собственниками, которые составляли небольшую часть крестьянства.

Ряд утопических проектов действительно существовал — крайние правые, потеряв представление о том, что происходит в стране, думали, что еще возможно как-то снова установить единство с крестьянством как сословием в целом. Но наиболее трезвые дворянские деятели, в том числе правого лагеря, эти взгляды опровергали. Конечно, наблюдались новые моменты в политике дворянства, ощущавшего растущую изоляцию в стране. В этом Ю. Б. Соловьев совершенно прав. Но называть это курсом на сближение с крестьянством все-таки слишком сильно.

Л. Хаймсон

С. Ю. Витте и П. А. Столыпин изображаются часто как одинокие герои, их политика не рассматривается с точки зрения длительной эволюции реформаторских течений внутри бюрократии, скажем, по отношению к проблемам общины и сельского общества. Даже если и нет последовательности в политике (конечно, ее нет из-за разных политических конъюнктур, из-за личностей разных государей), можно все-таки заметить известную преемственность в разных реформаторских попытках.

Что касается дворянства, мне кажется, следовало бы подчеркнуть существенные перемены в настроении, особенно политического руководства дворянством в 1905 г. и после, между земским либеральным движением и процессом реакции после 1905 г. Ю. Б. Соловьев упоминал совещание по делам сельского

хозяйства 1902 г. В этот момент мы замечаем не только эволюцию в отношении С. Ю. Витте к общине, но и эволюцию отношения землевладельцев к общине. В среде провинциальных и уездных комитетов дворянства уже появляются сильные настроения против общины как регрессивного фактора в сельском хозяйстве. Даже в этом отношении у нас есть основание исследовать два течения: развитие правительственной политики и эволюцию общественного мнения в среде самих помещиков.

Т. Шанин (устный доклад)

Перед вами нет письменного доклада, я не собирался говорить, но Л. Хаймсон уговорил меня, чтобы вопрос о крестьянстве не остался незатронутым в наших дебатах. Письменное обоснование тех взглядов, которые я буду выражать, можно найти в моей последней книжке по 1905—1907 гг.

Я хочу говорить о трех вопросах: 1) что произошло в 1905—1907 гг. с точки зрения крестьянского движения? 2) что это означает с точки зрения социальной структуры крестьянства? и 3) кто возглавил крестьянство в этот период?

1. Существуют мифы, которые мы только теперь начинаем преодолевать. Один из них: был бунт, разгром, бешеная злость крестьянства к помещикам. Второй миф — это не был просто разгром, была цель — захват земель. Третий миф — этим занимались главным образом бедняки, есть корреляция бедности с силой крестьянского движения. Думаю, что все эти точки зрения неправильны, и это довольно легко можно доказать, если присмотреться к фактическому материалу. В самом деле это довольно странный бунт, странная, как тогда говорили, пугачевщина, когда имения выжигаются по решению села, часто по решению мирского собрания, когда это делается в большинстве случаев необыкновенно организованно и без человеческих жертв. Часто открывают амбары и делят хлеб в точности по количеству душ. Высокая организация крестьянского движения этого периода, на мой взгляд, доказывает то, что сама мысль о крестьянском «бунте» принципиально неправильна.

Второй миф — о захвате земли. Захвата земли в прямом значении этого слова почти что не было. На съезде Крестьянского союза один делегат из Вятской губернии сказал: «Для нас земля неважна, но важно что-то другое». Это не значит, что они не присоединились к крестьянскому движению. Наоборот, движение в Вятской губернии было одним из самых мощных. Речь там шла о бесправии, о произволе. В десятках наказов крестьян отовсюду повторялось: борьба против произвола, против бесправия, а это вопросы не земельные, это вопросы отношений крестьянства с государством, а не с помещиком, хотя, конечно, был и ясный, и важный момент борьбы с дворянством из-за земли.

Еще одно соображение. Борьбу ведут середняки (если определять это термином, который употребляют советские коллеги),

в большинстве случаев состав руководства можно также определить как середняков, иногда как кулаков, но почти что никогда это не бедняки. Что это значит? Это объясняется в большой мере тем, чтó происходило в тех местах, где крестьянство практически переняло власть. В этих районах довольно ясно определялось, чего крестьяне хотели, за что крестьяне боролись: определилась способность крестьян руководить местной властью и добиваться этого консенсусом, а не приказом; была ясна цель крестьянства (и это также определилось довольно точно в десятках наказов) — земля крестьянам, земля — трудящимся. Но в той же мере всегда повторялось требование выбора чиновников (из крестьян) в местные органы власти. В той же мере, в которой требовали земли, требовали всеобщей грамотности, бесплатных школ. Всегда также повторялись требования политической амнистии: «чтобы не арестовывали наших», «чтобы не арестовывали» вообще, чтобы власть вела себя приличнее. Если рассмотреть этот период детальнее — выявляется картина большой способности крестьянства к самоорганизации. Требования крестьянства политичны, но не в рамках общенациональной политики. Власть на местах в руках крестьянства, земля в руках тех, кто производит. Что же это значит с точки зрения будущего развития России?

2. В тот период предполагалось, что будущее крестьянства всей Европы, включая русское, это поляризация крестьянства на тех, кто станет будущими капиталистами в сельском хозяйстве, и тех, кто станет будущими сельскохозяйственными рабочими, т. е. сельский капитализм будет выглядеть примерно так, как капитализм индустриальный. Мне кажется, что некоторые из коллег, советские коллеги особенно, часто остаются на уровне этих взглядов начала столетия. А надо взглянуть на то, что произошло в действительности с сельским хозяйством Западной Европы.

Сегодня в большинстве своем это хозяйство, построенное на семейных началах: куда больше машин, куда больше технологии, но «заводов хлеба» нет. Как и почему это произошло (вопреки предсказаниям теоретиков начала века и у нас, и у вас)? Это произошло потому, что в условиях индустриализации бедные отошли в город и стали городскими рабочими. Богатые тоже отошли в город и осталась средняя группа. Эта средняя группа, конечно, вышла на более высокий уровень технологического обеспечения, глубже связалась с рынком, с кредитами и т. д. Это нельзя, конечно, назвать дифференциацией крестьянства, на Западе произошло что-то другое.

Возможно то, что происходило в России, было началом этого процесса, процесса индустриализации русского крестьянства. Процесс этот проходил сравнительно медленно, потому что индустриализация проходила медленно, но он начинался. Поэтому, на мой взгляд, не случайно, что той силой, которая повела борьбу в крестьянских районах, было среднее крестьянство. Си-

ла, которая чувствовала за собой будущее в этих районах,— среднее крестьянство, поэтому они боролись за местную власть, за землю, за способность вести дела так, как они понимают, а они считали, что понимают все куда лучше, чем начальство или кто-либо еще.

3. Кто же руководил крестьянством в 1905—1907 гг.? Два ответа давались на этот вопрос во время революции правыми и левыми. Правые в основном заявляли, что интеллигенция, так сказать, «подзудила на революцию» крестьян, а слева, марксистами, утверждалось, что руководителем был пролетариат. Я думаю, что оба взгляда совершенно бездоказательны, если хорошо присмотреться к фактам, хотя появление этих взглядов, конечно, не случайно. Интеллигенция существовала в селах, это факт. Когда крестьяне хотели советоваться с кем-то о возможности изменений в стране, они очень часто выходили на местного учителя, просили, чтобы он для них написал наказ. «Сознательные крестьяне» (самоопределение того периода) были довольно близки к местной интеллигенции. Но нет никаких доказательств, что эта местная интеллигенция сумела организовать крестьян на борьбу, доказать же обратное очень просто. Эти элементы, или во всяком случае их радикальная часть, были арестованы и высланы из сельских районов к середине 1906 г. Крестьянское же движение усилилось летом 1906 г., в отсутствие этих радикальных групп интеллигенции.

Утверждение, что «пролетариат вел крестьянство»,— это какое-то идейное усилие вписать крестьян в то теоретическое мышление, в которое они не очень вписываются. Я назвал свою первую книжку «Неудобный класс». Крестьяне — неудобный класс, они плохо вписываются в идеологию движений, в теоретическое мышление людей, с которыми они не очень близко связаны. Советские коллеги 50 лет силились обосновать и показать пролетарское и большевистское влияние на крестьянство. Им не удалось найти ни одного большевика, который руководил большой крестьянской организацией в 1905—1907 гг. (если бы он был, его бы нашли, в этом нет сомнений). Им не удалось найти ни одного места, где действительно пролетарская организация повела крестьянство. Им не удалось показать, почему после разгрома рабочего движения волна крестьянского движения усилилась, а не ослабла в 1906 г. Поэтому я думаю, что тезис о «руководящей роли пролетариата» есть одна из тех передержек, от которых надо со временем освободиться.

Р. Ш. Ганелин

Я совсем не хочу вступать с профессором Шаниным в дискуссию, но хотел только сказать, что существовали все-таки большевики, которые очень напряженно действовали в крестьянстве и даже за это арестовывались. Дело в том, что существовала причудливая форма выражения общественного мнения,

повлекшая за собой появление такого специфического вида источника, как петиции. Профессор Шанин знает, что 18 февраля 1905 г. петиции были легализованы, до того они считались незаконными и всякое их написание и подписание считалось уголовно наказуемым актом. С 18 февраля до 6 августа 1905 г. действовал указ о петициях, на основании которого около тысячи документов, почему-то не затрагивавшихся исследователями, отложились в фонде Совета министров. Петиции носили внешне верноподданнический характер, таков был формуляр, на основании указа они составлялись в совершенно лояльных или лоялистических терминах. Тем не менее в Новгородской губернии группа народных учителей во главе с большевиком Куштырским постоянно составляла петиции на несколько губерний, их даже потом арестовали.

Вопрос о революционной идеологии крестьянства изучен действительно слабо, не поставлен в связь с общей проблемой развития революционной идеологии. Если судить опять по корпусу петиций, дальше мои изыскания не простирались, крестьянское место в этой петиционной кампании было чрезвычайно определенным. Важно, что крестьяне поддерживали общедемократические петиционные требования и в отличие от петиций, исходивших из других социальных слоев, чрезвычайно активно продвигали требования социально-экономического характера. Я хочу, возражая профессору Шанину, тем не менее признать, что он в основном прав, потому что, скажем, в той же петиционной кампании не участвовали рабочие организации,— для сколько-нибудь революционной идеологической организации участие в такого рода предприятии считалось вроде бы непристойным. Однако петиционная деятельность в крестьянской среде была формой работы большевиков, очень рано отпочковавшихся от социал-демократов, от меньшевиков.

Л. Г. Захарова

Хочу выступить по докладу Т. Шанина. Я счастлива, что услышала то понимание роли и направления развития крестьянских семейных хозяйств, которые стали играть большую роль и не обязательно отражали развитие капитализма в Европе и в России. Этот тезис я слышу впервые, но сама имела подобные наблюдения. Начать хочу с высказывания К. Д. Кавелина, одного из тех, кто создавал законодательство 1861 г., который прекрасно знал концепцию и цели реформ. В 1881 г. он писал: то, о чем мы мечтали и что нам казалось нереальным, воплощается в жизнь. Крестьянское, мелкое хозяйство будет основой аграрного строя в России, дворянство постепенно отойдет, оно уже теряет позиции. Далее: мы (Россия) уже занесли ногу в будущее и стоим на пороге новой мировой истории.

Встает вопрос (ведь была концепция): что же они создавали? Они отлично знали, по какому пути шла Европа. Многое при-

кладывали, заимствовали, но вырабатывали свою модель и свой путь. И этот путь, заложенный реформами 1861 г., никто не называл капиталистическим или буржуазным. Я сейчас не говорю о том, что потом получилось, это вопрос другой. Но то, что вкладывалось в законодательство, это тоже вопрос очень важный. Кавелин до смерти (он умер в 1885 г.) считал, что в России создается аграрный строй из мелкого семейного крестьянского хозяйства в таких огромных масштабах, каких не знала ни одна другая страна. Переживший его П. П. Семенов-Тянь-Шанский считал, что столыпинские реформы завершают путь, который они начали в 1861 г. На рубеже XIX—XX вв. он писал, что аграрный строй, который они закладывали в реформах 60-х гг., будет только российским путем развития, он видел аналогичные процессы, например, в Индии. Я не хочу абсолютизировать эти высказывания, но они требуют внимания.

Мне кажется, что огромная роль мелкого крестьянского хозяйства, которая закладывалась в реформах (не только в аграрном строе, но и в новой гражданственности, которую создавали реформаторы 60-х гг., вводя крестьян в земство, суд присяжных, волостные учреждения), весь строй, созданный реформами 60-х гг., во многом объясняют появление А. В. Чаянова и его учения, которое признано во всем мире.

Н. В. Юхнева (устный доклад)

Мой доклад посвящен городскому населению России в конце XIX в. и его этническому районированию. Многонациональность Российской империи — фактор, который играл и продолжает играть существенную роль в ее судьбе. Изучение национальной проблематики может иногда самым неожиданным образом осветить те или иные аспекты не только собственно имперской, но также и социальной и политической истории России XX в. В круг внимания историков обычно попадают правительственная политика по национальным вопросам, национальные движения, иногда общественное мнение. Но из поля зрения и политиков, и политологов, и историков ускользают глубинные пласты этнических процессов. В изучение этой проблематики значительный вклад внесли этнографы, но до недавнего времени их приоритетные интересы были связаны с сельским населением.

Между тем в плане этническом город представляет особый интерес. С одной стороны, потому, что роль городского населения в политической истории всегда была значительна и со временем все возрастает, и с другой — потому, что города всегда были средоточием активных этнических контактов. Здесь встречаются, взаимодействуют представители разных этносов, носители многих языков, религий и культур. Все это исторически формировалось в особую этническую городскую среду, намного более динамичную, чем в окружающей сельской местности.

В последнее время в рамках отечественной этнографии формируется новое для нее направление — урбано-этнография.

Хочу предложить вашему вниманию краткое изложение исследования, сделанного мною в рамках исторической урбаноэтнографии: районирование Европейской России по национальному составу населения городов по данным первой всеобщей переписи населения Российской империи. Социально-этническое районирование и картографирование городского населения необходимы из-за частого несовпадения этнического состава городов и окружающей сельской местности. В 50 губерниях Европейской России и 10 губерниях Польши проживало 14 млн. человек в городах. 90 % горожан принадлежало к 4 национальностям: 7.8 млн. русских, 2.5 млн. евреев, 1.4 млн. поляков, 1.1 млн. украинцев. 5 групп численностью от 100 до 500 тыс. каждая составляли еще 8 %, в порядке убывания — немцы, латыши, татары, белорусы, эстонцы. Разница между этническим составом всего населения городов отражала различия в урбанизированности народа. У 5 народов уровень урбанизации был выше среднего, составлявшего 14 %. Горожане составляли 51 % евреев, 24 % немцев, 18 % поляков и по 16 % русских и латышей.

Вся территория Европейской России и Польши делится на два примерно одинаковых по численности городского населения региона: Восточный — с преимущественно русским городским населением, и Западный — с национально-смешанным городским населением. Восточный регион состоит из ареалов, различающихся по доле русских. Западный делится на ареалы в зависимости от того, какая национальная группа является численно доминирующей. Поскольку в городе проживало не по 2, а по 3 и более разных групп, доминирующей считаем группу, составлявшую свыше 40 % населения.

Восточный, или русский, регион — 31 губерния, 6 млн. 858 тыс. человек городского населения. Охватывает основную этническую территорию русского народа. Состоит из 4 ареалов: Центральный ареал — 21 губерния, русских среди горожан более 90 %. На всей этой территории русским городам соответствует русское же сельское окружение. Северо-Западный ареал: Псковская, Смоленская, Петербургская губернии, доля русских в городском населении 84—87 %. Наиболее многочисленная нерусская группа в городах — евреи, ареал граничит с основной территорией их расселения. Юго-Западный ареал: Курская, Воронежская губернии, Область Войска Донского (русско-украинское пограничье). Доля русских в городах 80—86 %, вторая по численности группа — украинцы. Восточный ареал: Среднее и Южное Поволжье. Здесь русские были относительно поздними мигрантами на этнической территории древних и последующих насельников. Поэтому их доля в городах самая низкая во всем Восточном регионе — 74—84 %. В большинстве городов, кроме русских, есть многочисленное татарское население.

Западный, или национально-смешанный, регион — 29 губерний, 7 млн. 334 тыс. человек. По численности населения Восточный и Западный регионы сопоставимы, по площади Западный значительно меньше, здесь велика плотность населения.

Внизу на карте размещается русский ареал: 3 субареала и 2 городских микроареала. Сюда входит Новороссийский субареал, с Херсонской и Екатеринославской губерниями, материковая часть Таврической. До присоединения к России этот край имел малочисленное население. С конца XVII в. он стал объектом земледельческой колонизации, а к концу XIX в. достиг высокого уровня урбанизации. В 5 крупнейших городах Новороссии русские были численно доминирующей группой. Второе место занимали евреи. Крымский субареал отличался высоким уровнем этнической мозаичности. Города Киев и Харьков мы рассматривали в составе русского ареала, хотя они отделены от него территориально. В Киеве русские составляли более половины, в Харькове — почти две трети населения, украинцы — около четверти населения. Выделение этих двух городов объясняется тем, что они очень сильно отличались от окружающего сельского населения, от положения в губернии.

Украинский ареал — губернии Полтавская, Черниговская и Харьковская, без города Харькова. Доля украинцев среди жителей городов от 57 до 80 %. Этнический состав остальной части горожан определяется пересекающей этот ареал чертой еврейской оседлости. В Полтавской, Черниговской губерниях, входивших в черту, около четверти горожан составляли евреи, в городах Харьковской губернии евреев практически не было. Украинскими по преимуществу были все малые и средние города, население больших городов было более смешанным.

Еврейский ареал делится на четыре субареала. Белорусский субареал: во всех городах как больших, так и малых евреи составляли абсолютное большинство — 52—59 %. В нескольких городах на Западе было много поляков, а в городах собственно белорусских — белорусов. В больших городах заметные группы составляли русские. Литовский субареал: Ковенская, Виленская, а также Сувалкская губернии, хотя последняя административно относилась к группе польских губерний. В трех губернских центрах сосуществовали примерно 3 равновеликих этнокультурных компонента: еврейский, польский и русский. В большинстве малых городов доля евреев была выше, чем в больших, остальное население было белорусским — в восточной части Виленской губернии, и литовским — в Ковенской губернии и в литовских частях Сувалкской и Виленской губерний, также иногда в русско-польских.

Правобережный украинский ареал: губернии Волынская, Подольская, Киевская. В большинстве крупных городов преобладали евреи. В малых городах доминирующей национальностью, примерно поровну, выступали евреи и украинцы. И Бессарабский смешанный субареал: евреи преобладали в Кишиневе, но

в нем было много также русских и молдаван. Среди остальных городов: в 4 доминировали евреи, в 2 — украинцы, в 2 — молдаване, в одном — болгары, в целом для городского населения Бессарабии была характерна этническая мозаичность.

Польские губернии, это смешанный ареал (я называю его польско-еврейский смешанный ареал). Особенностью его было сосуществование в подавляющем большинстве городов двух почти равных по численности этнических групп — поляков и евреев. По их соотношению мы выделяем два субареала — западный, где доля поляков была в городском населении больше, чем евреев, примерно половина поляков и треть евреев, и восточный — где соотношение было обратное. Два ареала различались тем еще, что в западном в городах были значительные группы немцев, и в некоторых — русских, а в восточном ареале немцев практически не было.

Латышский и эстонский ареалы Прибалтики. В латышском ареале малые города были более чем наполовину латышскими, остальное население было немецким. Эстонский ареал: малые города имели ярко выраженный эстонский облик, эстонцев до 80 %, и большие города имели эстонцев до 2/3.

Подвожу итоги. Предложенное районирование основано исключительно на статистических материалах, и доминирование здесь обозначает только численное преобладание этнической группы, но отнюдь не ее господствующее в политическом или культурном смысле положение. Необходимо продолжение исследования, предметом дальнейшего изучения должны стать система связи, иерархия, взаимовлияние культур соседствующих этносов.

А. Каппелер (устный доклад)

Проблемы революционной ситуации в России в начале XX в. обычно обсуждаются историками без учета национального вопроса. Этот пробел является особенно серьезным сегодня ввиду большой роли национальных факторов в теперешней революционной ситуации в СССР. Мне кажется, что структуру и динамику развития Российского государства и общества нельзя понять без подробного анализа национального вопроса.

Я при этом не хочу утверждать, что русские революции в начале XX в. были преимущественно национальными революциями, но они имели национальные аспекты, так же как и другие европейские революции, особенно революция 1848 г. Я не думаю, что национальный вопрос можно обсуждать отдельно от социальных, политических и экономических проблем, но в то же время мне кажется, что при изучении национального вопроса нельзя ограничиться лишь выше названными аспектами.

Национальный вопрос является не только делом буржуазии, как раньше утверждала советская историография. В националь-

но-освободительных движениях против социального, политического, культурного и экономического угнетения часто участвуют также и другие классы и слои общества. Из-за тесной связи с социальными и другими проблемами трудно определить относительное значение национального элемента среди факторов революционной ситуации в России в начале XX в.

Мне хочется сделать 4 кратких замечания по этому вопросу.

1. Общеизвестно, что Российская империя была многонациональной, где русские составляли только 40—45 % населения. Многие исследования посвящены отдельным этническим группам и регионам, но обобщающих и сравнительных работ существует мало. Особенно важным представляется мне изучение этно-социальной структуры всей империи и ее отдельных частей. Всеобщая перепись населения 1897 г. и многочисленные местные переписи дают интересный, но пока еще мало использованный материал для таких исследований. Работы в этом направлении помогли бы проследить разделение труда между отдельными этническими группами, а также выявить социальные и экономические предпосылки этнических антагонизмов и национальных движений.

2. Традиция вооруженных движений против царизма имела важный национальный аспект, недостаточно исследованный до сих пор. С середины XVII до конца XIX в. народные восстания в России исходили из окраин с преимущественно нерусским населением. Это верно уже для восстаний Разина и Пугачева, в которых с самого начала соединились казаки и нерусские этносы Поволжья и Приуралья против Центра. Лишь в последних фазах восстания волнения охватили и русских крестьян.

Для XIX в. достаточно указать на восстания в Польше, на 30-летнюю освободительную войну горцев Кавказа или на восстание народов Средней Азии в 1916 г., явившееся наиболее крупным выступлением в период между первой и второй русскими революциями. Все эти народные восстания, конечно, не были революциями, но они сыграли важную роль в процессе дестабилизации самодержавия и Российской империи. Мне кажется, что российские власти уже привыкли к тому, что «бунты» со времен Разина начинались «инородцами» и возникали на периферии империи.

3. Первая русская революция 1905 г. началась не на периферии, а в столице Российской империи, быстро перекинувшись затем на национальные окраины. Самые яркие примеры представляют Закавказье, Польша и Прибалтика, где и сегодня национальные движения особенно сильны, что, конечно, не является случайностью. Забастовки в Баку и крестьянское движение в Грузии начались даже до «кровавого воскресенья», а гражданская война во время первой революции была как раз на Кавказе особенно жестокой. В Польше революционное движение распространялось быстрее,чем в России. Переплетение социальных и национальных проблем привело уже весной 1905 г. к

всеобщей забастовке и баррикадным боям. Сочетание социальных и национальных элементов наблюдается также и в восстаниях эстонских и латвийских крестьян и сельхозрабочих против балто-немецких помещиков. Во время первой русской революции почти все народы Российской империи были втянуты в общественное движение. Поэтому революцию 1905—1907 гг. можно назвать «весной народов». Этот аспект революции, который имеет значение и как предпосылка национальных движений 1917 г., до сих пор недостаточно исследован.

4. В среде русских, так же как и у многих других народов Российской империи, существовало национальное движение, не будучи, однако, однозначным. С традиционной идеологией государственного патриотизма и этно-религиозного русского самосознания в последние десятилетия самодержавия конкурировал новый русский национализм. Национальные идеи и движение русских с самого начала делились на несколько течений. Реакционное национальное движение отчасти (но не всегда) шло вместе с царизмом, который пытался использовать его как инструмент для наводки моста между низами и верхами. Наиболее крайнее выражение этот вид национализма нашел в еврейских погромах. Демократическо-конституционное течение русского национализма пыталось соединить оппозиционные силы общества и русский народ против самодержавия. Все эти виды национализма исследованы, к сожалению, пока еще очень слабо.

Мы мало знаем о степени успеха старых и новых идеологий у широких масс населения. Какое влияние имел русский национализм на рабочих? Неужели все рабочие были твердыми интернационалистами? Мы знаем, что русские рабочие играли заметную роль в еврейских погромах на Юге, где забастовки и демонстрации часто переходили в погромы. Какую роль играл антисемитизм в различных слоях русского общества?

Формирование русской нации, продвигавшееся вначале медленно, пошло перед первой мировой войной быстрыми темпами. Как этот процесс был связан с революционным движением? Почему он не имел успеха? Много вопросов — мало ответов.

Подведу краткие итоги. Нельзя изучать историю Российской империи как историю русского национального государства, как это сделал крупнейший русский историк Ключевский. Этнические и национальные проблемы являются неотъемлемой частью русской истории и одним из важнейших, постоянно действовавших факторов исторического развития России.

Национальные движения представляют важные элементы революционного процесса в России в начале XX в. Национальный вопрос надо изучать в тесной связи с социальными, культурными и экономическими проблемами. Только тогда можно решить сложный вопрос об относительном весе национальных и социальных факторов в революционном движении.

Короче, я призываю обратить усиленное внимание на изучение истории национальных движений, русских и нерусских.

Только тогда нам удастся полностью понять проблемы России того времени.

У. Розенберг (сопредседатель)

У нас еще один доклад, доклад профессора Д. Филда о социальной идентификации. По-моему, это очень интересный доклад. Мы говорили о рабочем классе, мы говорили о крестьянстве, о крестьянском вопросе, об отношении между социальными группами и т. д. Но есть новое, по-моему очень интересное направление в историографии, в основном западной, разрабатывающее концепцию социальных групп и социальной идентификации. Есть разные аспекты идеи идентификации: проблемы сословий, классов, занятий, профессий, культурного облика. При этом обнаруживаются важные парадоксы и противоречия: нееврейские евреи, некрестьянские крестьяне, нерабочие рабочие.

Ю. Б. Соловьев

Я бы хотел сделать несколько замечаний о докладе нашего английского коллеги проф. Шанина о трех разрушенных мифах. Мне кажется, что, может быть, от одних мифов мы перейдем к другим. Мне почувствовалась идеализация крестьянства. Не является ли наш уважаемый коллега в этом случае неонародником в своем преклонении перед крестьянством, нет ли идеализации его сознательности, его организованности и его, я бы сказал, умеренности?

На основании каких фактов у меня появляются некоторые сомнения? П. А. Столыпин в письмах к жене в 1905 г., будучи саратовским губернатором, упоминает несколько раз о том, что в губернии бушует не странная пугачевщина, а пугачевщина самая настоящая. Еще летом 1905 г. он пишет, что прибыл в уезд, где только что разгромлены два поместья. Как они разгромлены? Они сравнены с землей так, что пахать можно, ничего не осталось. Самое страшное началось осенью, после провозглашения Манифеста 17 октября, когда вся губерния запылала. Как крестьяне поступают? Они, пишет Столыпин, ничего не грабят, ничего не берут, но уничтожают все подчистую, ломают мебель, разбивают фарфор, уничтожают дома, сравнивают все с землей. Он в ужасе пишет, что ничего не может поделать.

Вы говорите об организованности крестьянства, а не надо ли это сопоставить с существованием крестьянского мира, общины? Тут не надо было особенно организовываться, уже существовала старая крестьянская организация с определенными правилами. Крестьяне выступали как некая общность, и это, между прочим, мешало им перейти на тот фермерский путь, о котором Вы говорите. Мне кажется, Вы очень упрощаете проблему пе-

рехода на фермерский путь хозяйства. Как общине перейти в фермерство? Вы думаете, что надо было сделать только один шаг, а мне кажется, что нужно пройти десять тысяч шагов. А были сделаны тем же Столыпиным только первые шаги на пути перехода от общинного хозяйствования к фермерскому. Это же огромной сложности задача. Она приводила в ужас современников, считавших, что только община помогает голодающему крестьянству выжить. Об этом писал еще К. П. Победоносцев. Эта проблема оставалась и дальше. В 1909 г. на V съезде объединенного дворянства обсуждался глубочайший по мысли доклад В. И. Гурко (это был настоящий автор столыпинской политики, Гурко ее разработал, он подталкивал Столыпина на путь столыпинской политики). Он говорил: нельзя форсировать роспуск общины, иначе эта голодная масса бросится в города и разнесет их вдребезги (то же самое, что у Победоносцева, при огромном различии между ними), все погибнет, это очень опасная политика. С общиной очень трудно делать легкие пируэты.

Вы говорите, что революция кончилась в 1905 г., а крестьянское движение набрало наибольший размах в 1906 г. Это одна из имеющихся иллюзий. Нас учили, что пика революция достигла в декабре 1905 г. в связи с восстанием в Москве, а потом она покатилась вниз. А я потом с удивлением увидел, что она никуда не покатилась особенно вниз, она набрала наибольший размах. Мне пришлось познакомиться с фондом перлюстраций Департамента полиции, где описывается, как она «покатилась вниз». Да все государство трепетало и дрожало. Ни царь, ни окружение трона не знали, переживут они лето 1906 г. или не переживут. Они были на краю бездны, так они сами считали (мы можем понимать иначе, это другое дело). Так что крестьянство в этом смысле никого не опережало, оно входило в общую картину страшного лета 1906 г., которое, уверяю, ничем не отличалось от страшной осени 1905 г.

Т. М. Китанина

Я вновь хочу вернуть ваше внимание к докладу проф. Шанина. В русском крестьянстве заключались какие-то необыкновенные силы, придававшие ему возможность самовыражения, самоорганизации. Представляется, что столыпинская аграрная реформа, которая делала ставку не на кулака, как у нас принято считать, а на сильного, крепкого середняка, открыла простор этим силам, дала им возможность быстрее реализоваться. Интересно, что после столыпинской реформы появляются совершенно необычные формы крестьянских объединений. Известно, что реформа дала толчок развитию кооперации. Вместе с тем возникают неожиданные формы объединений типа колхозов, но не тех, хорошо известных нам советских колхозов, ориентированных на уничтожение крепкого хозяйства. В годы мировой

войны (это прослеживается по документам) возникают коллективные хозяйства с обобществлением средств производства, в том числе и земли, там, где остро ощущалась нехватка рабочей силы, где в результате вызванных войной демографических явлений, колоссальных потерь возникала необходимость поддержать хозяйства, главным образом беднейшие. В районах экономической бедности и создавались новые объединения с целью оказания помощи несостоятельным хозяйствам. Из беседы с проф. Шаниным я узнала, что ему известны подобные случаи, имевшие место в Поволжье еще до мировой войны. Это наводит на мысль о том, что наши замечательные аграрники-теоретики А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев, А. С. Минин при создании своих теорий, очевидно, опирались на уже имевшийся крестьянский опыт.

А. С. Минин, профессор сельскохозяйственного института в Воронеже, еще в 1910 г. предложил создавать объединения типа колхозов именно там, где крестьянские хозяйства были экономически наиболее слабыми (эта точка зрения не получила распространения). Теория А. С. Минина предполагала поднять запущенные, беднейшие хозяйства до уровня средних путем обобществления средств производства. Думается, что когда мы говорим о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве, русском и американском, мы проходим мимо тех особых форм, которые рождала сама жизнь, которые могли появиться только под влиянием развития внутренних сил российского крестьянства, получивших некоторую возможность практического выхода после столыпинской аграрной реформы. Возможно, эти необычные формы рождались и потому, как говорил Ю. Б. Соловьев, что переход к новой системе хозяйствования был для крестьян чрезвычайно тяжел.

Л. Хаймсон

Я бы хотел сказать несколько слов по поводу доклада по национальному вопросу в связи с проблемой рабочего движения. Замечания А. Каппелера мне кажутся чрезвычайно важными. Важны его наблюдения о взаимосвязи национальных, социальных, экономических аспектов в динамике революционного движения вообще и особенно революционного движения на окраинах.

Я вынужден выступить сейчас, потому что следует ответить на те соображения по динамике рабочего движения, которые были выражены здесь. Если мы посмотрим на динамику рабочего движения в 1905 г., она абсолютно отличается от динамики кануна мировой войны и времени войны. В 1905—1906 гг. невозможно говорить об исключительной концентрации стачечного движения в Петербурге, среди металлистов и т. п. Это было общее явление, очень интенсивное на окраинах, в Польше, в Прибалтике, в Грузии, и в больших городах, и в маленьких. Если вы

посмотрите материалы по Костромской, Владимирской губерниям (есть данные фабричной инспекции), то они удивляют размахом движения, его интенсивностью. Накануне войны действительно происходит процесс концентрации стачечного движения в Петербурге и среди металлистов. Но тут надо иметь в виду не только характер самого рабочего класса и рабочего движения, но разницу в характере социальных и политических конъюнктур: относительная стабильность власти, характер оппозиционного движения среди других групп общества и т. п.

Теперь о докладе Д. Филда. Действительно, существует проблема взаимосвязи сословных и классовых отношений в конце XIX—начале XX в., с одной стороны, процесса разложения сословных отношений, с другой — процесса формирования классов. В результате — полнейший хаос в социальных отношениях и полнейший хаос в процессе самоидентификации отдельных индивидуумов и групп, особенно в городах. Проблема осложняется тем, что самоопределение групп, особенно в низах, не проявляется автоматически с переменой их собственного социального положения и условий бытия и проч. В этом хаосе можно первоначально проследить влияние извне, со стороны правительства в определении сословных отношений, а затем заметно и влияние интеллигенции. Поэтому рабочий может чувствовать себя «членом рабочего класса» или «крестьянином», или бог знает кем. Бывают ситуации, когда рабочий не ощущает себя рабочим, а нерабочий чувствует себя рабочим.

Но несмотря на все оговорки, высказанные по поводу промышленных рабочих, тех слоев, которые действительно составляют рабочий класс и которые действительно отличались по своим нравам и обычаям, несмотря на все это, я думаю, что серьезные исследователи проблемы должны заметить в 1905—1917 гг. процесс консолидации рабочего класса, даже в смысле его самосознания. Во всяком случае это относится к рабочим, включенным в политический процесс. Тут, думаю, наиболее доказательным является отношение рабочих к своим рабочим депутатам и выборщикам. Для избрания представителей РСДРП в Государственную думу нужна была консолидация рабочих, чтобы другие выборщики не избрали иных депутатов от рабочей курии. Насколько я знаю, дисциплина среди выборщиков от рабочих абсолютно соблюдалась, за исключением выборов в избирательном собрании Петербургской губернии в 1912 г.

Б. Бонвеч

У меня маленький вопрос к советским коллегам: что Вы имеете в виду, говоря о «русском городе», город в административном смысле слова или город в социологическом смысле слова? Мы все представляем, что кроме города в административном смысле существовали так называемые рабочие или промышленные селения, и, если включаете эти селения в понятие

«город», картина меняется. Тогда русский город «передвигается», если вы принимаете во внимание этот социологический город на Урале и в Центральном промышленном районе, национальный состав этих «городов» меняет картину.

Маленькое замечание по поводу доклада Т. Шанина. Я благодарю его за очень живой доклад, согласен со многим, что сказал коллега Шанин. Только одно замечание: думаю, особенность русского села (не только перед первой революцией, но даже перед мировой войной) была в том, что бедняк не покидал села, но оставался там. И это весьма отличается от ситуации на Западе.

Заседание 6 июня. Продолжение дискуссии по теме: *«Общественные движения и революционный процесс в России в начале XX в.»*

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

А. Рибер

Краткие замечания по национальному вопросу. Очень благодарен Н. В. Юхневой и А. Каппелеру за ценные выступления по этому важному предмету, который часто затрагивают обе стороны. Национальный вопрос играл заметную роль в кризисе самодержавия еще со времен Александра I , если не раньше. Между способностью государственного строя к изменению своей структуры и имперской экспансией существует тесная связь. Российская империя не похожа на западноевропейские империалистические державы, она была многонациональной империей, в которой метрополия была окружена на периферии этно-территориальными блоками. Это концепция известного американского ученого У. Латемора. Лояльность нерусских народов, живущих на границе, была по многим причинам весьма сомнительна. Во-первых, национальности сохранили после завоевания и соединения с русской империей старые культурные и экономические связи с этническими собратьями за границей. Во-вторых, великие и невеликие державы, расположенные по ту сторону границы, всегда были готовы использовать слабости Российской империи, чтобы распространить свое влияние в этих зонах. Много раз в русской истории проявлялась органическая связь между войной и кризисом государственного порядка: Смутное время, восстание башкир и Мазепа при Петре I, Крымская война, Русско-японская война, гражданская война. Несмотря на постоянные угрозы, вызываемые национальным вопросом, царское правительство не искало последовательной и удачной национальной политики. Наоборот, до 1881 г. правительство проводило много национальных политик, в зависимости от региона и исторических обстоятельств. После 1881 г. государство краткое время проводило очень неудачную политику русификации. Плоды этой политики опадали, как гнилые фрукты, в 1905 г. и в 1917 г.

Б. Н. Миронов

Проф. Шанин попытался в своем докладе разрушить миф о неполноценности крестьянства, сложившийся в советской историографии. Этот миф укоренился у нас в сознании, начиная от профессоров и кончая студентами. Он вошел и в сознание наших публицистов. Мы часто слышим предупреждение в нашей прессе, что нас ожидает бунт «бессмысленный и беспощадный», если правительство не примет «срочных мер». Проф. Шанин предла-

гает другую альтернативу, показывает, что события прошлого могли иметь другие результаты. Привычное представление о крестьянском бунте как бессмысленном не соответствует действительности. Источники говорят, что разрушения помещичьих усадеб происходили по решению сельских сходов вполне сознательно и обдуманно. Если мы вникнем в представления крестьянства, то это был символический акт: сжигая усадьбы, крестьянство полагало, что совершает некий сакральный ритуал, ради того чтобы помещик никогда не вернулся. Если вникнуть в мотивацию, в то, что двигало крестьянством, которое разрушало, сжигало усадьбу и распахивало место, на котором она стояла, может быть это не так бессмысленно, как кажется с первого взгляда.

Далее проф. Шанин говорит, что движение за конфискацию помещичьих земель отсутствовало. По его представлениям, крестьянство хотело не отобрать землю у помещиков, а отдать землю трудящимся, т. е. законным, государственным, правовым способом решить этот вопрос. С первого взгляда, концепция проф. Шанина полностью отрицает ту концепцию, которая в настоящее время доминирует в литературе. Если же мы в нее вникнем детальнее, то увидим, что здесь нет полного отрицания, а, скорее, есть отход от традиции на полшага, на полтона: бунт, но сознательный, землю не конфисковать у помещиков, а на законном основании изъять, но отдать трудящимся.

Последний миф, который Т. Шанин разрушает: неспособность крестьянства к самостоятельному движению, к самостоятельной мысли. Проф. Шанин, наоборот, считает, что у крестьянства было достаточно способности к самоорганизации, к тому чтобы принимать самостоятельные решения. Правда, и здесь опять-таки имеется существенная оговорка, которая показывает, что проф. Шанин не отрицает то, что ранее говорилось. Он считает, что способность к самоуправлению, к самоорганизации не распространялась дальше села, общины.

Как все это можно оценить? Россия такая большая страна, что все, о чем говорил проф. Шанин, и все, о чем говорили другие историки, которые занимаются проблемой крестьянского движения, это все было в 1905—1907 гг., и вопрос состоит в том, чтобы узнать, что же доминировало, что преобладало. К сожалению, историки еще не провели работы, которая могла бы вывести доминирующую тенденцию. Если же подходить импрессионистически, то можно найти факты, подтверждающие любую концепцию. В заключение хочу сказать, что большая работа, которую проделал проф. Шанин, очень полезна. Мы привыкли к старой концепции. Нужны свежие идеи, и предложенный доклад будет стимулировать наши поиски. Мы будем проверять и совершенствовать нашу концепцию и превращать миф в научное знание.

21 Заказ № 3277

Б. В. Ананьич

Я бы хотел коснуться проблемы «утконосов» в русской революции, которая была поставлена Д. Филдом. Он кончает свой доклад замечанием, что судьба подарила историкам России и немалую долю утконосов. Это призыв учитывать всю сложность процессов, происходивших в ходе революции, учитывать непростое лицо русской революции, призыв правильно определить не только тех «утконосов», которых нам подарила судьба, «утконосов» божественного происхождения, но и «утконосов», созданных нами, в нашем историографическом инкубаторе.

Думается, что одна из важных задач нашей конференции состоит в том, чтобы вернуть русской революции подлинное лицо, отчасти закрашенное в результате позднейших реставраций. В этом смысле чрезвычайно важны историографические экскурсы и с нашей стороны, и со стороны американских коллег. Историографический экскурс, которым начинается очень интересная статья проф. Филда, для русского читателя в какой-то степени зашифрован. Сложная ситуация в современной американской историографии (споры вокруг состава, сословного характера русского общества) должна быть разъяснена русскому читателю. По-моему, в этом споре в известной мере правы все участники дискуссии, потому что, с одной стороны, русское общество было разделено на податные и неподатные сословия, существовала строгая система сословной регламентации. С другой стороны, формальная сословная принадлежность часто ничего не означала, не соответствовала реальному положению вещей: встречаются, например, банкиры, которые по сословному положению значатся крестьянами.

Думаю, что эта сложность и противоречивость в какой-то степени отражают тот спор, о котором только что говорил Б. Н. Миронов, спор между проф. Шаниным и П. А. Столыпиным, которого образно представлял здесь вчера Ю. Б. Соловьев. Действительно, лицо русской революции, с одной стороны — это разграбление и пожары, жестокость толпы, а с другой — появление в 1905 г. такой организации, как Крестьянский союз, организации, еще достаточно не изученной.

Говоря об аграрном вопросе, я хочу вернуться ко вчерашней дискуссии и сделать замечание относительно фермерских хозяйств и индивидуального семейного предпринимательства в сельском хозяйстве. При оценке этого явления, мне кажется, следует учитывать правительственную политику, продиктованную не только экономическими соображениями: Крестьянский и Дворянский банки регулировали продажу земли; правительство, в частности в эпоху Плеве, не собиралось создавать русского фермера, умышленно препятствовало его созданию, видело в нем конкурента дворянскому землевладению,

Я хотел бы еще подчеркнуть: мы стали заниматься важными психологическими аспектами революции, у нас появляются до-

клады (я имел в виду доклад и проф. Энгельштейн) на психологические темы, доклады по истории церкви, которые дают возможность шире показать влияние революции на общество, на различные его слои, на проблему общественной возбудимости, перемен в обществе, связанных с процессом революции.

Д. Сур

Я буду обсуждать доклад Ю. И. Кирьянова и И. М. Пушкаревой. Чтобы не выйти за пределы своей компетенции, я буду говорить только о рабочем классе до 1910 г. Первая часть доклада — интересное и загадочное сочетание критических интерпретаций традиционных взглядов о причинах нарастающего протеста среди рабочих за десятилетие до революции 1905 г., с одной стороны, а с другой — декларация передовой роли рабочих в русском освободительном движении. Автор как бы не знает, каким образом рабочие стали активными, однако уверен в том, что они возглавляли революционное движение. Эти две позиции не противоположны друг другу, но их взаимоотношения сложны и требуют обсуждения.

Начнем с критического толкования причин революционности рабочего движения. Во-первых, автор сомневается в достоверности скудных данных о забастовках до первой русской революции. Во-вторых, он считает, что нельзя найти прямое соотношение между материальным обеспечением и вспышками забастовок и демонстраций: самые обеспеченные рабочие могли быть самыми активными забастовщиками. В-третьих, автор полагает, что социал-демократы играли решающую роль в рабочем движении, что они действовали более активно и имели больше сторонников среди рабочих, чем другие партии. Но добавляет, что они не всегда шли во главе рабочих, ссылаясь на активизацию рабочих гапоновским движением.

Во всех этих утверждениях я более или менее согласен с автором и считаю их признаком новой деидеологизированной интерпретации русского рабочего движения. Мои разногласия с автором состоят не в этих заключениях, а в обосновании, на котором они базируются. Я нахожу, что большее количество источников, использованных автором, отражает взгляды большевиков. Этот подход не вызывает доверия человека, не разделяющего эти взгляды. Надо добавить, что автор иногда цитирует очень интересные строки Ленина, в одном случае он даже расходится с Лениным. Я не против признания заслуг Ленина в интерпретации рабочего вопроса этого периода, но существовали и другие взгляды, поэтому некорректно пользоваться исключительно ленинскими источниками.

Есть еще одна проблема, касающаяся метода доказательств. Чтобы подкрепить сомнительные данные о забастовках, автор вычислил число выпущенных листовок и прокламаций, главным образом социал-демократических. Это якобы показывает рост протеста сре-

ди рабочих. Но количество выпущенных листовок не дает надежного указания на то, как часто и сколь долго рабочие бастовали.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ДОКЛАДЧИКОВ:

И. М. Пушкарева

Мои рассуждения связаны с ответом на вопрос о роли большевиков и РСДРП в развитии революции. Чтобы «взвесить» эту роль, необходимо прежде всего разобраться в массовом движении, яркая вспышка которого в Петрограде 1917 г. заставила рухнуть царский трон. (Отвечаю по второй части доклада. Если у меня будет время, отвечу и на вопросы, которые поставил проф. Сур). Конечно, наш метод исследования массового рабочего движения грешит многими недостатками. Мы слабо связываем два важнейших фактора в анализе этого массового движения: политическую ориентацию масс, которая нами лишь декларируется, но практически исследуется очень слабо, и ситуационные факторы, которые, наоборот, исследуются очень основательно. Это — внутреннее и международное положение, поведение политических партий и т. д. Говоря о политической ориентации, следует учитывать степень свободы проявления массовых движений, остроту социально-политических противостояний, характеристические черты индивидуумов и инерционный механизм воздействия традиций.

Какое место в политической ориентации масс занимали большевики? Ясно, что не они организовали революцию. Это доказал еще Э. Н. Бурджалов, об этом никто уже не пишет. Речь идет о том, насколько РСДРП могла подготовить массы к революции. Безусловно, РСДРП давно «работала на революцию», а большевики это делали более решительно, более энергично, в этом было их отличие от многих других политических партий. Листовки, которые составлялись организациями большевиков, в годы войны больше импонировали массам по тем самым причинам, о которых указано в докладе С. В. Тютюкина и В. В. Шелохаева. Во всяком случае массы под влиянием большевистской пропаганды более энергично требовали у правительства хлеба, мира, свободы. Решительные действия масс мало импонируют нам с позиций сегодняшнего дня потому, что в результате революционного насилия в Феврале 1917 г., и особенно позднее, рушилось культурное достояние страны. Но историю нельзя улучшить или ухудшить. Можно только констатировать, что массы, поднятые на борьбу, решили проблему — реформа или революция, и что революция явилась результатом высочайшей степени остроты социально-политического противостояния.

Историки чаще всего оперируют широкими социологическими категориями, которые не позволяют правильно оценить

обстановку: рабочий класс, буржуазия, самодержавие. Очень хорошо сказала проф. Чернуха, что, говоря о самодержавии, мы, собственно, не выделяли бюрократию, разбирали одного Николая II. Поэтому я очень приветствую доклад проф. Филда о многогранности социальных слоев общества. Мне кажется, это очень плодотворное направление в исследовании истории. К сожалению, на коллоквиуме была мало затронута тема — роль рабочего класса в революционной ситуации, и совершенно обойдена проблема изменений в промышленной структуре в России в годы войны и их влияния на стачечное движение.

С. И. Потолов

Меня давно занимает вопрос, насколько реальной была в России альтернатива революционному движению, имелись ли перспективы у традиционного для западноевропейских стран тред-юнионизма, реформистского направления в рабочем движении. В этом отношении роль внешнего фактора, позиции центральной и местной власти, с одной стороны, промышленной буржуазии — с другой, особенно существенна.

В рабочем движении в России конца XIX — начала XX в. политическая, антиправительственная направленность не только соседствовала с обычными экономическими формами борьбы, но (в отдельные периоды) преобладала, превращаясь в важнейший фактор общедемократического революционного движения, особенно накануне и во время всех трех российских революций. Жизнь всегда сложна и противоречива, мы можем привести сколько угодно конкретных случаев заботы отдельных предпринимателей о рабочих, либерального отношения к ним тех или иных чиновников разного ранга; многочисленные статистические выкладки о материальном положении рабочих не впрямую объясняют характер стачечных выступлений. Но одно совершенно очевидно, на этом я бы хотел специально остановиться: в условиях самодержавной России всегда отсутствовали достаточные политические условия для свободного самодеятельного развития основных классов российского общества вообще, для рабочего класса в особенности.

Это создавало обстановку перманентного социального кризиса, особенно в начале XX в. До 1905 г. под запретом была всякая рабочая самодеятельность, любые рабочие организации, стачечное движение преследовалось законом в уголовном порядке. Но результатом этой политики как раз и была неизбежная политизация рабочего движения. Оно, экономическое по своей сути, будучи под запретом, сталкиваясь с полицией, войсками, превращалось в антиправительственное, антисамодержавное по своей объективной сущности.

Неестественность такого положения понимали и чиновники, и наиболее дальновидные представители делового мира, но

они никогда не составляли большинства ни правительственного аппарата, ни класса буржуазии, а, главное, всякая политическая самодеятельность вступала в противоречие с самодержавной властью, которая не хотела трансформиро- ваться. Из тех, кто понимал необходимость политических свобод для рабочего класса, я хотел бы особенно выделить фабричную инспекцию. Отсюда исходили различные проекты, как осуществленные, так и большей частью неосущест- вленные. Собственно, и Зубатов в извращенной форме понимал необходимость какой-то легализации рабочего движения, но все это натыкалось на стену непонимания со стороны центральной власти.

В этом смысле судьбоносный для страны период — первая русская революция. Перед Россией открывались разные пути, и она вступила бы на путь демократического развития, если бы процессы, происходившие в 1905—1906 гг., были продолжены. Как раз в этот период была предпринята попытка разработать действительно буржуазное законодательство по рабочему вопросу, осуществить то, чего рабочий класс в сущности добился явочным путем, что было завоевано в первой русской революции и в значительной степени сохранялось и после. Свобода стачек, возможность создания профсоюзов — это все достигалось сначала явочным путем, потом уже в ограниченной форме закреплялось законодательно. Законодательство вырабатывалось довольно широкое, но оно (и в этом — трагедия российского развития, и это касается не только рабочего класса) потом свертывалось, ограничивалось. В этом сказывалась близорукость власти, находившейся в целом под влиянием наиболее консервативных сил, которые не допускали поступательного развития страны. То же самое происходило и в предпринимательских кругах: на словах выступая за свободу рабочих организаций, промышленники на деле препятствовали деятельности профсоюзов на предприятиях, поэтому тред-юнионистская политика всячески свертывалась.

Я называю это политикой «социального бумеранга»: после краткого спада рабочего движения в 1908—1911 гг. наступает революционный подъем, и он в 1912—1914 гг. имел политический, антисамодержавный характер. Это развитие революционного процесса было прервано с началом мировой войны и с огромной силой возобновилось в 1917 г. Получается парадокс: у революции был один из самых надежных союзников — сам Николай II, самодержавие, потому что политика, которая проводилась и в отношении рабочего класса, и в отношении других классов, неизбежно приводила к обострению социального кризиса и революционизированию российского общества.

Д. Филд

По поводу моего доклада не было возражений, молчание означает согласие, согласие соседствует с одобрением, а одобрение мне, конечно, приятно.

Я желал бы сказать два слова по поводу обмена мнениями между проф. Шаниным и проф. Мироновым, он относится и к теме моего доклада. Б. Н. Миронов указал на резонность разгрома дворянских усадеб. Он указал, что целью этого действия крестьянских обществ было очистить окрестности от нежелательных соседей, смести с лица земли все следы дворянского землевладения, чтобы оно в этот район больше не вернулось. Я с таким пониманием согласен, но очень часто при этом мы находим и элементы ритуала, ритуала того типа, с которым нас ознакомил проф. Уортман. Например, часто крестьяне, действуя целым обществом, крушили мебель, рояли и другие принадлежности некрестьянской культуры в усадьбе. Они намеренно разбивали все окна, зеркала, вырубали паркет, причем все это до поджога, который в любом случае уничтожил бы все это. Мы имеем дело, на мой взгляд, с торжественным демонстративным действием, торжественным отрицанием и некрестьянской культуры, и всех ее элементов в деревне.

Т. Шанин

Я бы хотел начать с вопроса о мифах. Употребляя термин «миф», я, конечно, не подразумевал факторы, вовсе не существующие, а хотел лишь указать, что они не были решающим элементом событий.

Но, говоря о мифах, я хочу добавить четвертый, который, на мой взгляд, ясно выразился в выступлениях некоторых советских коллег. Есть какое-то искусственное противопоставление фермерского хозяйства общине. Или ушел из общины, тогда фермерство есть, или не ушел из общины, и тогда фермерства нет. Это уж, извините, коллеги, полное недоразумение. Кооперативы, которые производили масло в Западной Сибири в начале столетия, которые выходили на рынки всей Западной Европы, которые создали мощное денежное хозяйство, заводы, выдерживавшие конкуренцию, что это, если не фермерское хозяйство? Ясно, что общинное хозяйство само по себе не есть противоположность фермерству, а фермерство не есть противоположность общинному хозяйству. Из этого не следует, что общинное хозяйство действовало бы всегда. Оно отмирало и, на мой взгляд, исчезло бы со временем. Но само по себе общинное хозяйство фермерства не задерживало.

Теперь два небольших добавочных вопроса. Один — воздействие большевиков на крестьянство. Я сказал, что нет ни одного крестьянского вожака-большевика в этот период. На что мне ответили, что были большевики, которые раздавали в селах

листовки в этот период. Но я говорил о крестьянских вожаках. Были крестьянские вожаки-меньшевики. Спилка — на Украине. Но ни я, ни коллеги не нашли ни одного крестьянского вожака-большевика. Несмотря на то что страна ваша богата многими формами, не было ни одного случая.

Хотел бы внести небольшую поправку в то, что говорил Д. Филд. Я вполне согласен, что было символическое в разрушении, была символика ритуала и т. д. Но это не было ритуалом борьбы против всего некрестьянского. Если бы это было так, где разрушение домов учителей, где разгром школ?

Следующий вопрос, который поднял проф. Соловьев: о погромах имений. Саратовская губерния — губерния особая, с традициями разинщины и пугачевщины. Но и в Саратовской губернии не погиб ни один помещик. Их могли уничтожить, половина бы погибла, если бы крестьяне этого хотели, если бы это была новая пугачевщина. Крестьяне, имея в своей власти большинство дворян, не притронулись пальцем ни к одному. Так происходило по всей России. Это было бескровное выступление, кровь полилась, только когда карательные экспедиции пошли в дело. Бескровность эта не связана с тем, что русское крестьянство не жестоко (гражданская война показала, сколь жестоки села). Это связано не с мягкостью характера, а с формой и организацией крестьянского движения.

Четвертый пункт, о самоорганизации крестьянства. Здесь кто-то сказал, что в этом проявлялись огромное богатство и необыкновенность русского крестьянства. С этим, извините, не согласен. Если вы посмотрите на мексиканское крестьянство, вы увидите, что там была та же мера организации. Если вы посмотрите сегодня на крестьянское движение Индии, там та же форма организации. Если посмотреть на так называемый «зеленый интернационал» 1920-х гг., тоже у каждой партии свои формы самоорганизации. Осознание общих интересов группой людей, совместно проживающих и взаимодействующих, создает меру способности к самоорганизации. В какой мере самоорганизация может перейти на национальный уровень? В России этого не произошло. Но в Польше, Чехословакии в условиях легальности крестьянского движения — а это важно — за жизнь одного поколения были созданы крестьянские партии.

И последнее, о чем я хочу сказать, это вопрос о неонародниках, который поднял проф. Соловьев. Неонародник ли я? Это зависит от того, что считать народничеством. Если народничество — это вера в необыкновенность крестьянства, то этого я никогда не чувствовал и не чувствую. Если это вера в то, что крестьянство будет во все времена, что будущее должно быть таким же, как и прошлое, то я этого не считаю и никогда не считал. Если же это вера в то, что русское народничество создало теоретические ценности, значимые и для сегодняшнего дня, то я так считаю. Думаю также, что изучение теории на-

родничества, как особой формы русского социализма, которое в русской литературе было начато В. Хоросом, должно развиваться дальше. Если же народничеством называть взгляды таких людей, как А. В. Чаянов, которому, конечно, тоже «пришпилили» это,— за честь почту быть в такой компании.

Ю. Б. Соловьев

Хочу поддержать мысль, которую высказал проф. Шанин: нам надо избавляться от мифов и стереотипов, которые мешают понять вещи в их реальной сложности. Некоторые вещи, на первый взгляд, понятны и само собой разумеются, но при ближайшем рассмотрении оказываются не столь понятными. Критика в мой адрес отчасти основывается на этих, как бы самоочевидных фактах.

К. Ф. Шацилло высказал мысль о том, что это была какая-то глупость со стороны царя, что он продолжал верить в крестьянство как опору режима. Но надо иметь в виду, что после петергофских совещаний в июле 1905 г. крестьянству обеспечивалось гарантированное представительство в Думе, считалось, что о крестьянский консерватизм разобьются волны красноречия всех этих адвокатов, поджигателей, подстрекателей и т. д. Крестьянство, как каменная стена, выдержит, отразит, власть вполне может положиться на крестьянство.

В. С. Дякин тоже выражал сомнения в том, что была тенденция, попытка сближения самодержавия, дворянства с крестьянством. На русской политической сцене были, мне кажется, три главные фигуры: самодержавие, дворянство и крестьянство. Вопрос, который решает все в нашей истории, отчего зависела судьба страны, режима, заключался в том, а можно ли было самодержавию, дворянству и крестьянству как-то состыковаться? Могли ли самодержавие и дворянство как-то договориться, найти пути к крестьянству? А что это значит? Это означает найти пути к 100 млн. человек. Это огромная гигантская сила, это великий Гулливер, они были как бы лиллипутами в сравнении с этой гигантской фигурой. Вы помните, как Гулливер попал к лиллипутам. Они его напоили, а когда он пробудился, он был связан этими маленькими существами, не мог двинуться с места. С лиллипутами у него были непростые отношения, он мог их раздавить, но делал для них то, что им было нужно.

Ведь крестьянское движение в Саратовской губернии было не так организовано, как представляет себе проф. Шанин. По губернии путешествовали какие-то организаторы, в числе десятков человек, которые поднимали крестьянство, и потом они уже шли на штурм поместий. Столыпин пишет, что он был, как на войне. Там действительно была война, нам не надо изображать эту войну как мирную. Столыпин рассказывал о невероятном ожесточении, озверении крестьян, когда помещики буквально хватали жен, детей, выскакивали из своих домов, неслись на ближайшую станцию и садились в ближайший поезд. А дальше он говорит: а ведь крестьяне царелюбивы. Разнося в пух и прах

дворянство, помещиков, сравнивая поместья с землей, уничтожая исторические усадьбы, крестьяне были царелюбивы! Удивительное сочетание: дворяне враги, с ними не может быть ничего общего, а царь — это наш батюшка. Авторитет царя высок, даже в это время, среди этих масс.

Поверьте Столыпину, ведь он на этом потом строил политику. Он считал, что еще не все пропало, потому что царь любим народом. Как это могло быть? Массы, которые вроде должны понимать, что царь это глава помещичьего государства, как же они могут отделять главу от всего этого государства? Нам понятно, что было смешно, нелепо это делать. А вот они так делали. Тоже не по глупости, между прочим. На чем держалось самодержавие? После реформы 1861 г. оно нажило огромный политический капитал. Даже декабристы, эти народные заступники, все же хотели освободить крестьянина без земли, для них было несомненно, что это их земля, не крестьянская, а дворянская, помещичья земля. Но в 1861 г. победила та точка зрения, что надо освободить крестьян с землей. Мы этот факт не оцениваем как следует, но крестьянин понял, что у него есть земля, родилось даже убеждение, что раз ему дали землю, значит та земля, которая у помещика, тоже крестьянская. А к концу века, когда настала крестьянская теснота (в России был невероятно высокий уровень рождаемости), у крестьянина была уже железная вера, что раз царь дал половину помещичьей земли крестьянам, то он по справедливости, по правде (ведь он же любит свой народ) и ту половину, которая еще у помещиков, тоже отдаст крестьянам. Это была вера великорусского крестьянства, авторитет царя после реформы 1861 г. оставался непоколебимым, наоборот, с ним связывалась надежда на то, что земельный вопрос будет решен по правде, по справедливости, мирно.

З а с е д а н и е 6 и ю н я по теме: *«Политические партии в России в начале XX в.»*

Сопредседатели: В. Н. Гинев (СССР), Т. Эммонс (США)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В. Н. Гинева

Мы переходим к следующей теме нашей конференции, у нас много докладов. Мы посоветовались с моим коллегой, сопредседателем и решили, что нужно разделить эту тему на 2 части. Первая часть — это тема «Интеллигенция и рабочие», потом будет тема «Политические партии», к ним будет примыкать доклад проф. Хаймсона.

По обязанности я должен сделать несколько кратких замечаний по поводу докладов проф. Шеррер и проф. Энгельштейн, с тем чтобы дать некоторую основу для дискуссии. Доклад проф. Шеррер — «Социал-демократическая интеллигенция и рабочие». На мой взгляд, это часть более общей темы «Революционная интеллигенция и народ», которая началась примерно с середины XIX в. Тема, по-моему, имеет две временные стадии развития и два смысловых аспекта: когда только начиналось сближение интеллигенции с народом, в том числе с рабочими, когда революционная интеллигенция шла в народ, в рабочие кварталы, а благодарная часть распропагандированного народа была ей за это признательна. Потом, когда рабочее движение набирает силы и приобретает какую-то степень самостоятельности, возникают некоторые противоречия между сознательными рабочими и интеллектуальным диктатом со стороны интеллигенции. Но как возникает это противоречие? С одной стороны, спонтанно, в некоторой степени стихийно. С другой стороны, оно бывает инспирировано самими же интеллигентами для того, чтобы возбудить часть рабочих. Один элемент отмечен в докладе проф. Шеррер, но мне кажется, что там не совсем выделена спонтанная часть. Чего же в конце-концов было больше и что было более важным? Мне не совсем ясно, почему отношения между социал-демократической интеллигенцией и рабочими имели для российской интеллигенции большее значение, чем для социал-демократии западных стран?

Вопросы отношений социал-демократической интеллигенции и рядовых рабочих отмечаются и в докладе В. В. Шелохаева и С. В. Тютюкина. Сейчас нас это тоже может интересовать, потому что и в современной жизни тоже возникают некоторые противоречия. Между интеллигенцией, которая руководит в но-

вых Советах народных депутатов, и частью рабочих, которые этим бывают недовольны, присутствует элемент использования этого недовольства одной частью интеллигенции против другой.

Есть еще доклад, который вообще стоит особняком — доклад проф. Энгельштейн «Половой вопрос и политический кризис профессиональной интеллигенции после революции 1905 г.». Если для советской аудитории была несколько необычайной постановка темы о церкви, то тем более необычна, неожиданна эта тема. Но, может быть, значимость отношений между социал-демократической интеллигенцией и рабочими меркнет перед важностью полового вопроса, падения нравов в связи с поражением революции, угрозой распространения венерических заболеваний? Автор доказывает связь между ослаблением духовных революционных устремлений и разочарованием в борьбе, стремлением уйти в мир чувственных удовольствий. Видимо, такая связь действительно есть. Но что же спасет Россию? Где же выход? То ли медицинское просвещение, то ли новый революционный подъем, или, может быть (цитирую докладчика), «принятие индивидуалистического западного идеала свободного рынка»?

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Б. Н. Миронов

Хотел бы остановиться на докладе проф. Энгельштейн. На первый взгляд кажется, что вопрос половых извращений, вопрос занятия онанизмом — чисто медицинский и не имеет значения для понимания социальных отношений. Оказывается, как прекрасно показано в докладе, отношение русской интеллигенции к этим проблемам имеет значение и для понимания социальных вопросов, и для понимания умонастроения интеллигенции. Российская профессиональная интеллигенция начала XX в.: врачи, социологи, педагоги — имели западную ориентацию в своей профессиональной сфере. Когда же дело касалось их системы ценностей, они, несмотря на свой европеизм, оказывались вполне русскими традиционными людьми. Так, они возражали против онанизма по той причине, что молодой человек, который этим занимается, не может участвовать в социальной борьбе, он сублимирует свою энергию, и это ужасно: вместо того, чтобы служить обществу, просвещать народ, возвращать ему свой долг, вместо этого он занимается мастурбацией. Интеллигенция наша, как будто бы западной ориентации, предлагает методы лечения социальных болезней вполне в русском духе: контролировать, регулировать, управлять, запрещать и т. д. Мы видим здесь ментальность вполне русскую, вполне народную, близкую к крестьянской. Отсюда напрашивается вывод, что русская интеллигенция начала XX в. была в сущности народнической по системе ценностей, по своим

социальным ориентациям. Это имеет большое значение и для понимания происхождения революции, и для понимания послереволюционного будущего страны.

Хотел бы задать автору вопрос. Известно, что именно в моменты, когда традиционное общество, старый режим приходят в состояние кризиса, «возникает», становится очень существенным и половой вопрос. Вот сейчас в Советском Союзе мы сталкиваемся с такой ситуацией. Мне хотелось бы знать, тот «разврат», т. е. сексуальные отклонения, о которых говорила профессиональная интеллигенция,— что они с вашей точки зрения отражали: состояние кризиса, в котором общество находилось? Недовольство патриархальными стандартами быта? Стремление к индивидуализму, т. е. проявление, утверждение ценностей личностных над общественными, государственными? Или это была вынужденная сублимация нереализованной социальной энергии?

Л. Хаймсон

Я бы хотел сказать несколько слов по поводу доклада Ю. Шеррер и развить ту тему, которую предложил нам председатель — по поводу спонтанных и неспонтанных элементов. Тема, конечно, богатейшая, и я надеюсь, что в будущем мы сможем организовать какой-то отдельный семинар и поставить этот вопрос. Я бы только хотел сделать некоторые выводы по поводу самосознания рабочих.

Если мы рассматриваем поведение наиболее грамотных рабочих времени петербургского «Союза борьбы», нам видно, что в этот период кружковщины и у печатников, и у металлистов существует некий идеал для самоопределения: они — часть «рабочей интеллигенции». Такие рабочие составляли большинство и народнических, и социал-демократических петербургских кружков этого периода. Следует также вспомнить, что, когда происходят первые массовые забастовки среди текстильщиков в 1897 г., и рабочие-металлисты, и печатники, несмотря на давление «Союза борьбы», на них не реагируют. Действительно, имелись не только социально-экономические различия, но и умственные барьеры между развитыми рабочими и «серыми» чернорабочими. Была такая грань, пропасть, что мы не замечаем никаких элементов солидарности между этими слоями петербургского рабочего класса. Тут действительно проблема самоопределения: определяешь ли ты себя представителем «рабочей интеллигенции» или «рабочим».

Что же происходит накануне войны? У печатников остается идеал «рабочей интеллигенции», у металлистов же в этот период появляется новое самоопределение как «членов рабочего класса». Пропасть внутри металлических предприятий между квалифицированными рабочими и чернорабочими не исчезает, но во всяком случае уменьшается. Это отражается, конечно, на пол-

итической борьбе. Если мы посмотрим на источники этого, думаю, что тут происходят процессы, которые касаются не только влияния интеллигенции, различий в политических течениях, особенно меньшевиков и большевиков, но и перемен в производственном процессе, происходивших внутри металлических предприятий, появлением новых кадров рабочего класса, процессами урбанизации и т. п.

Нужно отметить еще одно явление кануна мировой войны: появление антиинтеллигентских настроений среди рабочих, находившихся под влиянием и большевиков, и меньшевиков. Так, рабочие-меньшевики объясняют усиление влияния большевиков в профсоюзах воздействием интеллигенции. Вообще они считают, что раскол в РСДРП — результат влияния интеллигенции, которая не имеет отношения к собственно рабочему движению. В то же время большевики (в частности, в Союзе металлистов) развивают концепцию «единого рабочего класса», противостоящего цензовому обществу, включая и интеллигенцию, и изгоняют рабочую интеллигенцию из правления Союза металлистов.

Е. Р. Ольховский

Прежде всего и больше всего я хотел бы сказать о докладе коллеги Ю. Шеррер. Думаю, что в этом докладе кое-что прописано пунктиром, некоторые фактические неточности требуют просто исправлений. Отмечу сюжеты, которые, как мне кажется, требуют не исправления, а дальнейшего прописывания, и тогда действительно они будут более весомы в контексте того, о чем говорил В. Н. Гинев. Коллега Шеррер, говоря об отношении Плеханова и Аксельрода к социалистической рабочей интеллигенции, почему-то оставила в стороне главную работу на эту тему — книгу Аксельрода 1889 г.: «Задачи рабочей интеллигенции». Представляется не очень точным утверждение, что впервые только в 1880-х гг. интеллигенция попыталась внести свой вклад в пробуждение сознания рабочих. Я больше согласен с тем, о чем говорил профессор Гинев. Если Вы обратитесь к журналу «Библиотека для чтения» 1863 г., то увидите статьи Воскобойникова на эту тему. Вы довольно определенно говорите о том, что впервые, (начиная с 1894 г.,) стали создаваться чисто рабочие кружки, в которых интеллигенция была устранена. Как же быть с кружками 70-х гг., где была точно такая идеология? Было бы небезынтересно, если бы Вы всерьез отнеслись к тому, что Богданов пропагандировал на тульском заводе в 1892—1893 гг., какой он там создал для рабочих философский университет. Это очень созвучно с тем, что Вы показываете, но уже на 12—13 лет раньше.

Мне кажется, что возможности расширения и уточнения этого доклада очень велики. Очень импонирует мысль проф. Хаймсона о том, что по этим проблемам неплохо бы органи-

зовать и специальный семинар. Что же касается мысли проф. Хаймсона о том, что между «серыми» рабочими и печатниками и металлистами в 90-х гг. была абсолютная пропасть, то, полагаю, это серьезная проблема, но не абсолютная. Можно на эту тему поспорить с фактами в руках.

Н. Г. Думова

Я вышла для того, чтобы сказать несколько слов по поводу доклада Ю. Шеррер. Я, конечно, не являюсь специалистом в этой проблематике и потому не могу так скрупулезно исследовать текст доклада, как это сделал предыдущий оратор. Хотела бы только подчеркнуть актуальность проблемы, которая рассмотрена в докладе. Во-первых, в нем показано, как в спорах и дискуссиях рождалась та теория, которая привела уже в советские годы к созданию системы пролетарской культуры, та теория, которая оказалась во многом губительной для русской культурной традиции. Разрушение культуры вместе с теми политическими и социальными процессами, которые происходили в стране, привело если не к уничтожению, то к значительному перерождению интеллигенции, к появлению того огромного слоя полуобразованных, самодовольных людей, которых, как это показала Ю. Шеррер, предвидел и предсказывал Троцкий, впоследствии сам внесший немалую лепту в разрушение культурной традиции.

Доклад показывает, что в теоретических построениях Богданова и его сторонников была своя логика, свои убедительные аргументы, однако, когда теоретические изыскания перешли в стадию практического эксперимента, они оказали губительное воздействие на культурный процесс. История Пролеткульта — это наглядное свидетельство того, как страшна для культуры подмена ее свободного развития искусственными, насильственно насаждаемыми схемами, даже если их авторами являются такие чистые в своих побуждениях, самоотверженные люди, каким был Богданов.

Вторая интересная проблема в докладе Шеррер — тема народа и интеллигенции. В. Н. Гинев говорил, что это важно в плане противопоставления революционной интеллигенции и пролетариата. Думаю, вопрос стоит шире: противопоставление интеллигенции и народа — это та проблема, которая существовала в России с давних времен. Ее в свое время исследовал П. Н. Милюков в «Очерках истории русской культуры». Прошло много времени, Россия совершенно изменилась, интеллигенция также, но проблема жива, и стоит она сегодня очень остро. Я хотела бы призвать и американских коллег, и наших ученых к изучению этой большой проблемы: чем же все-таки обусловливается эта извечная традиция противопоставления интеллигенции и народа в России?

В. И. Бовыкин

У меня два замечания, скорее, не по докладам, а по поводу докладов. Первое замечание относительно доклада проф. Шеррер. Проблема, которая в этом докладе поставлена и в какой-то мере рассмотрена, очень интересна и важна. Но я хотел бы сказать, что аспект идеологический и политический, который составляет содержание как доклада, так и его обсуждения, мне представляется недостаточным. Очень важен для анализа отношений рабочих и интеллигенции производственный аспект, а именно: способность рабочих взять на себя управление производством. Те трагические экономические последствия, которые были связаны с введением рабочего контроля на производстве, мне думается, указывают на значение этого аспекта.

Второе замечание касается доклада С. В. Тютюкина и В. В. Шелохаева. Это очень интересный доклад, с моей точки зрения, исключительно тонко выполненный, учитывая современное состояние проблемы. Но, читая его, я поймал себя на мысли, что в нем не хватает чего-то очень важного. Чего же? Проблемы взаимоотношений рабочего класса и крестьянства в плане анализа известной доктрины (которая, с моей точки зрения, сыграла роковую роль) о способности рабочего класса и его партии выражать интересы крестьян. История социал-демократии в первую русскую революцию в этом смысле очень интересна и поучительна.

Д. Филд

В своем докладе Л. Энгельштейн поставила вопрос о развитии взглядов профессиональной интеллигенции, в первую очередь врачей и социологов, в связи с подъемом и спадом первой русской революции. Это очень интересный и плодотворный подход. Б. Н. Миронов пошел еще дальше и указал, как в ходе развития научные теории и мнения в области полового вопроса обрусели и проявились коренные тенденции русского национального характера. Но мы должны иметь в виду, что в докладе речь идет главным образом именно о профессиональной интеллигенции, о слое ученых и практиков, которые были на уровне своей профессии в мировом масштабе. Чтобы убедительно доказать влияние политических и социальных событий в России или даже русского национального характера на развитие их мнений, надо учитывать развитие за соответствующий период таких взглядов у социологов и врачей в Западной Европе и Америке. Только при таком сравнительном анализе можно будет с уверенностью указать, насколько эти интеллигенты проявили именно коренные русские черты.

В. Я. Лаверычев

Я позволю себе сделать лишь одну реплику по вопросу, связанному с Пролеткультом. У Н. Г. Думовой прозвучала

мысль: Пролеткульт главный виновник того разрушения старой культуры, которая наблюдалась в первые годы Советской власти. Правда, говорилось, что здесь и Троцкий руку приложил. Но помимо Троцкого было немало других деятелей, которые активно в этом деле вели разрушительную работу. Мне думается, Пролеткульт менее, чем кто-либо другой, виновен. Я недавно читал первые номера журнала «Пролетарская культура» и должен признаться, для меня оказалось неожиданностью то, что идеи А. Богданова, Ф. Калинина и других излагались далеко не так вульгарно, как мы себе представляли. Мне кажется, вопрос о Пролеткульте требует рассмотрения уже с новых позиций.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ДОКЛАДЧИКОВ:

Л. Энгельштейн

Недавно по телевидению было сказано, что в Советском Союзе секса нет. Речь, конечно, идет не о физиологическом акте, но о совокупности представлений и символов, словом, о культурном языке, связанном с эротической жизнью человека. Секс в этом смысле является творчеством культуры, а не биологии. Он, таким образом, и является предметом исторического исследования, научной интерпретации. Можно сказать, что и в русской историографии секса тоже нет, но, хотя этот предмет отсутствует в русской историографии, он присутствует в русской истории.

В XIX в., как здесь всем известно, сексуальная тематика занимала немалое место в мышлении русской интеллигенции. Б. Н. Миронов хочет знать, по какому принципу я отбирала тех или иных авторов как выразителей мнения профессиональной интеллигенции. Я просматривала все профессиональные журналы, труды ученых совещаний, как можно больше монографий по этой теме. Эти люди прекрасно понимали, что переход от патриархальной сельской жизни к обществу нового буржуазно-капиталистического типа не исчерпывается изменениями учреждений. Процесс общественного преобразования происходит на всех уровнях социального строя от политической вершины до внутренней психической жизни человека. С появления повести Толстого «Крейцерова соната» в 1890 г. оживилась дискуссия о сексуальности как символе и симптоме состояния общественного здоровья. Она достигла апогея в связи с революцией 1905 г. и, безусловно, после спада общественного движения. В художественной, научной и публицистической литературе после революции 1905 г. говорилось, что нравственный порядок разрушается, политическая деятельность и идеализм заменяются сексуальной распущенностью.

Кризис русского общества в глазах профессиональной интеллигенции состоял частично в том, что старый патриархаль-

ный режим в политическом и домашнем смысле этого термина больше не обладал авторитетом ни в общественной, ни в личной жизни. Обсуждение так называемого полового вопроса было попыткой понять недавние изменения в русской общественной культуре, связанные с разрастающейся городской жизнью и с политической мобилизацией широких слоев населения. Представляя ту активную часть общества, которая сопротивлялась полицейскому режиму, профессиональная интеллигенция вырабатывала новые приемы восстановления общественного порядка на научных, по ее мнению, просвещенных началах. В этом заново устроенном мире, как они его представляли, их собственное научное знание играло бы центральную роль в регулировании личных и общественных отношений.

Здесь мы видим зачатки буржуазной системы социального контроля, как она существовала на Западе, т. е. здесь, вопреки русскому складу ума или менталитету, видна их европейская направленность. Свою роль они трактовали двояко: с одной стороны, эти научные эксперты хотели воспитывать мужчин, способных управлять страной, постольку-поскольку те способны были регулировать свои собственные желания. Они не должны были быть ни жертвами рыночных отношений, т. е. клиентами проституции, ни домашними деспотами, но уверенными в себе ответственными личностями, как в интимной сфере, так и на публичной сцене. По отношению же к низшим классам профессиональная интеллигенция хотела заменить правительственную и полицейско-административную опеку научно-общественной.

Взгляды этих кругов на проституцию изменились в новой политической обстановке. Когда они участвовали в общественном движении, они рассматривали проституцию, скорее, как явление социальное. После революции 1905 г., отойдя от радикальной деятельности, они стали усваивать теории о биологической основе проституции, уже известные русским ученым, но до тех пор принятые немногими. Эти деятели медицины и общественной гигиены только после 1905 г. признали, что простой народ мог отличаться неисправимыми нравственными недостатками, в том числе непослушным сексуальным поведением, до некоторой степени считающимся признаком развития личности.

Вплоть до первой мировой войны секс был предметом оживленного обсуждения. Перестали открыто говорить о сексе только после революции 1917 г., хотя и не сразу. Но в 20-х гг. интимная жизнь, так сказать, была воспрещена или стала невозможной вместе с рыночными отношениями и другими сладостями полупредпринимательского общества того времени. Сегодня речь вновь идет о сексуальной распущенности в школе, о проституции, о нравственных недостатках молодежи. Словом, возможность или невозможность говорить о сексе, общественный интерес к этому предмету имеет свои политические и социальные основания.

Ю. Шеррер

Очень жалею, что мой друг и коллега Р. Зелник из университета Беркли не принимает участия в конференции. Первоначальный наш план состоял в том, чтобы Зелник написал об отношениях между рабочими и интеллигенцией в начальный период истории социал-демократии в России, а я занималась бы периодом после революции 1905 г. Зелник отлично знает позиции и поведение рабочих относительно интеллигенции. Мой подход совершенно другой: я смотрю на проблему, скорее, с точки зрения интеллигенции, чем с точки зрения рабочих. Я не имела в своем распоряжении достаточно документов самих рабочих, чтобы описывать их отношения с интеллигенцией. Объект моего изучения — разные теории и представления интеллигенции о ее отношениях с рабочими. Напомню, как важна эта тема в контексте истории русской социал-демократии с самого начала ее существования. Вся история русской социал-демократии характеризуется взаимным притяжением и взаимным конфликтом между рабочими и интеллигенцией.

Надо упомянуть и проблему (мне кажется, неразработанную ни советской, ни западной историографией) о наличии подобного конфликта в европейской социал-демократии. Специфичность русской социал-демократии, по-моему, проявилась в новой ситуации после поражения революции 1905 г., в отступлении рабочего движения и в бегстве интеллигенции из партии. Анализ этой ситуации был одной из причин раскола внутри большевистской фракции и появления альтернативных моделей рабочей интеллигенции и собственной рабочей пролетарской культуры Богданова и Ленина. Аналогию левые большевики искали во Французской революции. Их аргументация: русский пролетариат в условиях капитализма должен развивать пролетарскую культуру так же, как французские энциклопедисты, т. е. французская буржуазия, развивали во Франции до революции, в условиях феодализма новое сознание нового класса. Создание собственной пролетарской культуры до социальной и политической революции считалось единственным способом, чтобы рабочие осознали себя классом, а не вливались в класс буржуазной интеллигенции в тот момент, когда они получали образование от интеллигенции.

Я благодарна за замечания проф. Ольховского. Я знаю, конечно, о существовании кружка Богданова в Туле, но в этот период Богданов был еще близок к народничеству. Однако опыт этого кружка уже показал ему, что рабочим нужна их собственная, а не буржуазная культура, если они хотят реализовать свои цели, а не цели буржуазной интеллигенции. Что касается осознания рабочими фракционных споров, то в венской «Правде» Троцкого есть много писем рабочих из местных организаций в России, которые не хотят иметь ничего общего с фракционными спорами. Первоначально они хотели формировать свою

собственную «рабочую интеллигенцию», потом, с 1910 г., преобладает желание быть «рабочими».

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

Т. Эммонс

Вначале я хотел бы сделать несколько замечаний не столько в отношении отдельных докладов, сколько в отношении общей проблематики изучения политических партий в дореволюционной России. Думаю, у моего коллеги проф. Гинева тоже будут замечания.

Я, может быть, ломлюсь в открытую дверь, поскольку приготовил эти замечания на основе имеющейся литературы, но так как сегодня идет процесс коренного пересмотра методологии изучения политических партий, я в интересах ускорения этого процесса все-таки выскажу несколько замечаний. Хочу изложить их в форме кратких тезисов.

Первый пункт. Надо освободить изучение политических партий от концепции двух лагерей. Хотя победа в советской исторической науке концепции «трех лагерей» — революционного, реформистского и реакционного — над теорией «двух лагерей» — революционного и реакционного — в свое время представляла определенный прогрессивный сдвиг, проявившийся в серьезном изучении так называемых непролетарских партий, советская историография тем не менее оставалась до последнего времени в плену «двухлагерной» концепции: только одна партия служила Истории с большой буквы, а все остальные с ней боролись. Если историческая наука хочет стать самостоятельной и по-настоящему плодотворной, она должна расстаться с идеей, что главная ее задача состоит (как твердилось в течение многих лет в передовых статьях ноябрьских выпусков журнала «Вопросы истории») в доказательстве закономерности и неизбежности Октябрьской революции, т. е. в обосновании исторической легитимности нового режима.

Второй пункт. Соответственно придется избавиться от господствовавшей до последнего времени концепции, будто бы одни большевики имели право называть себя пролетарской партией, а все остальные, включая другие социал-демократические течения,— нет. Судя по докладу профессоров Тютюкина и Шелохаева, этот процесс уже начался.

Третий пункт. Существующая традиция связана с раскладыванием партий по вульгарно-социологическим признакам, якобы раскрывающим их классовую суть. Большевики — «пролетарская» партия; меньшевики — «мелкобуржуазная«; социальная основа кадетов (цитирую по недавно вышедшему сборнику «Политические партии в России в период революции 1905—1907 гг. Количественный анализ») — либеральная интеллигенция, либе-

ральные помещики и буржуазная интеллигенция с примесью средней и мелкой буржуазии; октябристы — крупная и средняя торгово-промышленная буржуазия, крупные землевладельцы и высшие слои цензовой или деловой интеллигенции. Как видно, употребляются смешанные, даже тавтологические понятия идеологического, классового, имущественного и профессионального характера. Это привычное навязывание партиям социальных ярлыков мешает детальному анализу. Как, исходя из этих ярлыков, объяснить, например, что (по данным названного сборника) 49 из 66 членов ЦК Союза 17 октября были дворянами с высшим образованием, а в кадетском ЦК 45 из 54.

Четвертый пункт. Необходим анализ возрастных структур, примеры такого анализа есть у Ленина. Этот анализ должен быть комплексным, учитывающим не каждую партию в отдельности, а все партии в их взаимосвязи.

Пятый пункт. Нельзя упускать тот факт, что понятие «партия» в России охватывает различные по своим замыслам и целям организации: от революционных организаций, ищущих поддержку каких-то классов для революционных действий; партий, организованных для участия в парламентских выборах; и вплоть до контрреволюционных организаций. К тому же некоторые партии занимали промежуточные, нестабильные позиции. Кадеты, например, имеют свои корни в революционности главным образом через «Союз освобождения». Иная динамика наблюдается среди эсеров и среди социал-демократов. Без учета этого момента, мне кажется, нельзя сопоставлять данные о численности разных организаций.

Шестой пункт. Пора преодолеть лозунговые формулировки, вроде «крах» (всегда «неизбежный») или «банкротство» (всегда «полное») в отношении всех «непролетарских» партий. Ведь среди этих партий были те, которые искали пути демократического развития страны. Историкам нужно тщательно изучать объективные и субъективные пределы этих поисков, чтобы понять, как они потерпели поражение. Особенный интерес здесь представляет проблема политической психологии средних и низших интеллигентских слоев, служащих государственных, общественных и частных учреждений, среди которых все партии искали приверженцев и без поддержки которых ни одна партия не могла достичь своих целей.

В. Н. Гинев

Я понимаю свою задачу буквально: в нашей программе сказано, что задача сопредседателей — кратко резюмировать доклады. Это имеет две цели: с одной стороны, выявить дискуссионные вопросы, с другой — помочь сориентироваться в докладах тем из присутствующих, кто не имел возможности их прочитать. Но сначала несколько слов о последнем замечании проф. Эммонса. Советские историки были разными. Одни дей-

ствительно считали, что все партии, кроме большевиков, потерпели крах. Но была часть историков, которых заставляли в заглавиях их работ употреблять слова «крах», «банкротство». Они были вынуждены это делать, чтобы иметь возможность публиковаться, хотя если вчитаться в содержание работ, то оно будет богаче, чем просто «крах», «банкротство» и т. д.

Все 4 доклада, которые будут обсуждаться, объединяет то, что их авторов не мучил вопрос: реформа или революция более подходила для России? Они все понимали революцию как некую историческую данность и из этого исходили в своих докладах.

В докладе проф. Хаймсона главная тема для дискуссии — это постановка вопроса о соотношении элементов стихийности и сознательности в Февральской революции. Если понимать сознательность в том смысле, что революцию готовили большевики, то, конечно, проф. Хаймсон это отвергает, и с ним в данный момент все советские историки согласятся. Другое дело, что некоторые из них понимают эту подготовку не непосредственно, а более широко во временно́м плане — весь предшествующий период, может быть даже с начала XX в. Но сознательность, как понимает ее проф. Хаймсон, у меня вызывает некоторое сомнение. Не думаю, что рабочие 25 и 26 февраля перешли через Неву и пошли на Невский проспект, сознавая, что делают революцию.

Интересна постановка вопроса о причинах двоевластия. Оно, по мнению проф. Хаймсона, являлось неизбежным, и еще за год — два до Февраля формировались отдельные его элементы: это было не предательство со стороны эсеров и меньшевиков, а реальный учет сил. Автор возражает против преувеличения роли большевистских организаций в революционном процессе, поскольку, по его мнению, это часто были псевдоорганизации. Здесь возникает источниковедческий вопрос, как относиться к документам этих организаций, если они были лишь обозначены на бумаге или существовали в качестве узкого руководящего кружка.

И, наконец, вопрос об альтернативности развития событий в 1917 г. Автор, с одной стороны, признает плодотворность постановки вопроса об альтернативности, но полагает, что некоторые события от Февраля к Октябрю вряд ли имели такую альтернативность в реальной жизни, например двоевластие. С этим, наверное, можно согласиться. Меньше можно согласиться с мыслью о неизбежности первого коалиционного правительства в мае 1917 г. У меньшевиков и эсеров были большие колебания — вступать или не вступать в правительство. Для них эта альтернативность была практической, а не только теоретической, как для историков. Другое дело, что альтернативен вопрос об однородном социалистическом правительстве в октябрьские дни.

Доклад о либералах и революции Н. Г. Думовой и К. Ф. Шацилло. В нем говорится, что для российского либерализма XIX в. были характерны отход от контактов с революционным движе-

нием и взгляд на революционеров как на врагов. Это, может быть, слишком абсолютизировано, потому что и народники 70-х гг., и народовольцы начала 80-х в какой-то степени искали контактов с либералами, в какой-то степени и либералы шли на эти контакты. Далее говорится, что после окрика Николая II о том, что нужно оставить бессмысленные мечтания, либеральная интеллигенция активизировалась и организовала общественное мнение для давления на царя. Но в свете проходящей здесь дискуссии уже можно поставить вопрос о роли этой кампании давления на правительство: было оно бесплодным изначально или имело какой-то смысл?

Затем проблемы радикализации либерального движения. Причины радикализации видятся в докладе в обострении социально-экономического положения страны и в усилении революционного движения. Появляются левое и правое крыло у кадетов. Авторам следовало бы дать историческую оценку этих направлений, а не ограничиваться констатацией. Почему-то левое и правое крыло либералов исчезают в докладе после Февраля 1917 г. Констатируется, что кадеты выступали активно против социализма и социалистической революции. Но очень бегло затрагивается вопрос о том, почему они оказались не в состоянии развивать либерально-демократический процесс в 1917 г. и какова была в этом роль правого и левого крыла.

Доклад проф. Колесниченко о народничестве. Это единственный чисто историографический доклад на данной конференции. Автор критикует советских историков за их уклон в сторону «разоблачений» неонароднического социализма, его утопичности и даже реакционности и говорит о том, что нужна более позитивная оценка их вклада в революционный процесс. Она считает, что необходимо не ограничиваться анализом неонароднических программ, а переходить к конкретным исследованиям практической работы эсеров в деревне, ставит вопрос об исследованиях социальной базы эсеров. Следует также, по ее мнению, конкретно сопоставить аграрную программу большевиков и эсеров в 1905—1907 гг.

Наконец, доклад о РСДРП в 1905—1907 гг. Он, я думаю, вызовет наиболее положительные отзывы. Доклад действительно характеризуется новым критическим подходом к роли РСДРП, в том числе и к роли большевиков (и в национальном, и в аграрном вопросах, и в вопросе об отношении большевиков к Советам, профсоюзам, к вопросам внутрипартийного строительства). Осуждается бытовавшее до сих пор изучение меньшевистской части РСДРП только как оппонентов большевиков. Более объективно дается в докладе позиция меньшевиков в революции 1905—1907 гг., есть признание позитивных черт в их тактике, признание их революционности, хотя и менее последовательной, чем революционность большевиков. Авторы тем не менее приходят к выводу, что в целом большевики занимали в революции более правильную позицию, нежели меньшевики, и больше

делали для ее победы. Возможно, это будет оспариваться нашими западными коллегами. Доклад интересный, новаторский для советской историографии, но все же, на мой взгляд, нужно поставить вопрос: действительно ли, как утверждают авторы, разногласия между большевиками и меньшевиками в революции 1905—1907 гг. были только тактическими и организационными? Речь ведь шла о разной позиции в определении движущих сил революции, в определении союзников рабочего класса, можно ли эти разногласия считать только тактическими? Наконец, не совсем ясен тезис о невозможности соглашения между либералами и революционерами в 1905—1907 гг., с одной стороны, из-за остроты социальных разногласий, социальной обстановки в стране, с другой — из-за взаимонедоверия. Но в 1917 г. такое соглашение оказалось возможным (при участии некоторых революционеров или, может быть, революционеров, ставших реформистами), хотя социальная напряженность была не меньшей, если не большей. Можно приветствовать и отказ авторов от безусловно негативной оценки работ западных коллег, и их призыв к объединению и совместному творчеству.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Р. Ш. Ганелин

Хочу сказать несколько слов о докладе Л. С. Хаймсона. Мне представляется, этот доклад чрезвычайно интересен тем, что дает то, что можно было бы назвать последним словом современной науки, как советской, так и западной, в оценке проблемы стихийности и сознательности в Февральской революции. Это какое-то фатальное для исследователей историческое явление, пережившее драматические этапы эволюции отношения к нему и историков, и общества. Происхождение теории стихийности у Л. Хаймсона представлено в новом свете, в свете исторической традиции социал-демократии по отношению к стихийности и сознательности революционного процесса. Вот этот переход вымпела того или иного отношения к стихийности от меньшевиков к большевикам и от большевиков к меньшевикам для меня представляется чрезвычайно новым и интересным.

Но у меня есть два замечания. Вы, когда продолжаете прослеживать развитие этой теории стихийности, доходите до сталинского периода и относите к 30-м годам навязанное преобладание сознательности, организованности и т. п. Может быть, здесь нужна несколько бóльшая осторожность. Как мне представляется, собственно сталинский период историографии Февральской революции характеризовался просто нигилистическим к ней отношением. Она была «буржуазной», о ней в учебных пособиях почти не говорилось, она растворялась на стыке между

доoктябрьской историей и историей советского периода. То, о чем вы говорите,— массированное «преобладание» сознательности, организованности, пожалуй, возобладало в период попыток ресталинизации 70-х годов на почве усиленного внимания к теории гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции.

В. Н. Гинев уже отметил чрезвычайно важное для нас источниковедческое наблюдение проф. Хаймсона, основанное на очень значительной осведомленности в истории революционной агитационной литературы. К этому я хотел бы добавить только то, что по отношению к Февральской революции и другой вид источников, которыми мы располагаем — донесения охранных отделений — требует тоже очень деликатного к себе отношения. Нередко в этих донесениях содержатся сведения об очень решительных мерах, предлагавшихся, например, ПК большевиков. На деле же они предлагались провокаторами. Поэтому пристальный источниковедческий анализ всего комплекса документов, начатый Л. Хаймсоном, чрезвычайно важен и плодотворен.

У меня есть еще одно замечание. Проф. Хаймсон проводит профессиональный анализ рабочих колонн, шедших через Неву в город, подсчитывая среди них процент металлистов, сознательно шедших в революцию. Думаю, что в этих колоннах, хлынувших в центр через все возможные препятствия, профессиональный, классовый элемент не был выражен так четко, как нам бы хотелось. Кроме того, обстоятельный доклад Л. С. Хаймсона посвящен только рабочим, солдат в нем нет. Я не считаю безрезультатной ту колоссальную работу, которую провел автор. Действительно, состав революционной массы, определяемый по различным признакам, это важнейший компонент революционного процесса, но опосредствование связей между этим составом и ходом революционных событий было более многоступенчатым, более сложным, чем нам бы этого хотелось.

В. Ю. Черняев

Работы Л. С. Хаймсона и его учеников всегда интересны как восходящее направление американской историографии социальных процессов и революционного движения в России. В центре внимания доклада — рабочие, и, как и во всей нашей дискуссии, из поля зрения, к сожалению, выпала армия. Но именно она играла решающую роль в свержении царизма. Упрощением было бы рассматривать Февральское восстание Петроградского гарнизона лишь как результат прямого воздействия рабочих, будь то большевики или меньшевики. У солдат имелись на то свои собственные причины. Столичную гвардию возмущало намерение царских властей использовать ее в полицейских целях. Другая причина — жажда мира, нежелание солдат-фронтовиков возвращаться в окопы. Не случайно первой восстала 4-я рота лейб-гвардии Павловского полка: четвертые роты запасных ба-

тальонов формировались из раненых фронтовиков, они хлебнули окопной жизни, имели боевой опыт и награды за храбрость. И первое, чего добились солдаты гарнизона в результате восстания,— постановления, зафиксированного правительством и Советом, о своем невыводе из столицы.

В докладе затронут вопрос о стихийности Февральской революции. Но и позднее партии не владели ситуацией, преобладала стихийность. Тому свидетельство политические кризисы 1917 г.: Апрельский, Июньский и Июльский. Красива и заманчива в докладе проф. Хаймсона идея о корнях коалиционного правительства во взаимоотношениях Центрального Военно-промышленного комитета и его рабочей группы на почве оборончества. Но эти корни, наверное, еще глубже в российском политическом масонстве. Согласен и со сложностью альтернативного подхода, с опасностью заблудиться, когда прошлое видится развилкой путей. Однако этот подход связан с отвержением сталинистского видения истории как столбовой дороги, где все заранее предсказано, намечено, запрограммировано.

Л. Хаймсон

Мне хотелось бы выступить по поводу доклада С. В. Тютюкина и В. В. Шелохаева. Во-первых, я бы хотел сказать, что это для нас действительно свежий воздух, и это показывает, насколько реально сейчас происходит процесс пересмотра, перестройки в советской исторической науке, потому что этот вопрос наиболее деликатный в изучении всех политических партий. Этот доклад открывает возможность настоящего диалога и сотрудничества даже в изучении истории РСДРП.

Теперь я прокомментирую главные тезисы доклада.

Первый пункт, по которому авторы отличают меньшевиков от большевиков,— то, что меньшевики гораздо больше детерминисты, а большевики более волюнтаристы и в этом смысле более радикальны. Авторы заметили, насколько позиция меньшевиков в 1905 г. радикализируется. Они замечают концепцию перманентной революции Парвуса и Троцкого, но надо отметить, что тут участвовали и Дан, и Мартынов, которые абсолютно поддерживали концепцию непрерывной революции вплоть до социалистической. Они ожидали, что этот процесс будет успешен, потому что он даст толчок социалистической революции на Западе. Даже Мартов, который был более пессимистически настроен в этом отношении, считал, что если буржуазия не пойдет до предела требований буржуазной революции, до демократической республики, то пролетариату и демократии придется взять в свои руки продолжение революционного процесса. От этой задачи, данной историей, они не могут отказаться. Только революция в Западной Европе, в капиталистическом мире, может избавить от исторической трагедии. Я отмечаю это, чтобы подчеркнуть, насколько мнение, будто меньшевики

всегда умеренны и умеренность отличает их от большевиков, не совсем правильно.

Второй момент. Конечно, докладчики абсолютно правы, в 1905 г. между большевистскими комитетчиками и меньшевиками действительно наблюдаются различия в отношении к понятиям сознательности и стихийности. В этот момент меньшевики придают гораздо большее значение концепции самоорганизации пролетариата, использованию легальных возможностей для развития рабочего движения, начиная с комиссии Шидловского. Меньшевики придерживаются концепции революции как процесса создания новых революционных политических институтов явочным порядком, большевики ориентируются исключительно на вооруженное восстание. Накануне первой мировой войны, как напоминал Р. Ш. Ганелин, позиции меняются. Меньшевики критикуют стихийность в рабочем движении, большевистскую поддержку стихийного движения; вообще использование этих концепций в дальнейшем зависит от политической конъюнктуры. Поэтому я бы опять хотел вернуться к идее относительности этих концепций.

Еще один момент. В докладе В. В. Шелохаева подчеркивается, что меньшевистская и большевистская партии в каком-то смысле выкристаллизовались лишь в 1917 г. К этому следует добавить, что все время происходят переходы от большевиков к меньшевикам, от меньшевиков к большевикам. Вообще сама концепция партии, состоящей только из большевиков и меньшевиков, мне кажется искаженной. Есть целый ряд меняющихся фракций: большевики-примиренцы, меньшевики-партийцы, межрайонцы и проч. Надо также учитывать западноевропейскую ориентацию меньшевиков, она проявлялась, например, в постоянной тенденции к созданию массовой партии. Эта тенденция связана и со страхом меньшевиков перед «азиатчиной» в русской культуре и государстве. Отсюда и их проект муниципализации земли, они опасались, что национализация земли может усилить тенденции развития восточного деспотизма.

Ю. Б. Соловьев

Мне кажется удивительным, что сегодня мы занимаемся только левым флангом, а было бы хорошо узнать, как шла классовая организация всего русского общества, а не только его левой оконечности. Мы представляем в какой-то мере состояние буржуазии, дворянства, крестьянства, рабочего класса. А как шла их классовая организация? Как же обстояло дело у правых? Мне бы даже хотелось задать семантический вопрос: мы говорим о партиях. Что же мы подразумеваем под этим словом? Какое значение оно имеет в российской действительности? Мне кажется, что мы называем партией любое образование и сбиваем себя этим с толку.

Особенно это характерно для советских ученых: мы привыкли понимать под партией ту организацию огромной силы, организованности, почти армейскую организацию, с которой знакомы по жизненному опыту, и невольно переносим это представление в прошлое. А мне хотелось обратить внимание на то, что образование классово-партийного механизма чрезвычайно сложный процесс. Мне кажется, в русской действительности были классы, но их классовая, их партийная организация была еще в зачаточном состоянии. Мы думаем, когда говорим: кадеты, октябристы, правые, что это и есть настоящие партии, а это зачастую какие-то кружки, группочки, их никак нельзя назвать партией.

Мне понравилась работа американского историка Р. Эдельмана о националистской партии. Он, в частности, делает верные наблюдения, что в России существовали особого рода протопартии, то, из чего в дальнейшем могли появиться правильно организованные партии европейского образца. Занимаясь дворянством, я увидел, что оно очень туго шло на партийную организацию. Видимо, оно не продвинулось дальше создания организации объединенного дворянства. Строгая партийная дисциплина, а партия без дисциплины уже не партия, была неприемлема для дворянства как такового. Когда мы говорим об октябристах, как о дворянской партии, о правых, мне кажется, что сам-то класс был далек от этих партий. Там были те, кто назывался дворянами, но не было сцепки с классом, классового партийного механизма не образовалось. Мы не можем считать тех дворян, которые входили в эти партии, действительно представителями класса.

А. П. Корелин

История общественного движения в традиционном понимании несколько сужает спектр исследуемых явлений. У нас много исследований по рабочему движению, по либеральному движению. Мне кажется, стоит обратить внимание на такой вид общественного движения, как кооперативный. К началу мировой войны российская кооперация представляла довольно крупную силу. Это примерно 36—38 тыс. кооперативных учреждений, оборот которых составлял далеко за миллиард рублей. Особенно мощной была кредитная кооперация, насчитывавшая около 11 тыс. кооперативов, баланс которых был около 1 миллиарда. Кредитная кооперация набирала силу не только как социально-экономическое явление, но и как общественно-политическое движение. Прошел целый ряд кооперативных съездов. На них выносились резолюции, казалось бы, безобидные: требования всероссийского кооперативного законодательства, явочного порядка открытия кооперативов, независимости от государственных органов. Но наряду с этими пунктами на съездах ставились и чисто политические вопросы, часто —

революционные. Во главе кооперативного движения были известные деятели кадетской партии, энесы, эсеры. Во главе рабочей кооперации в ряде мест были социал-демократы, т. е. политические партии обратили внимание на эту мощную силу и пытались ее использовать.

Интересный эпизод, характеризующий переход этих организаций к политической деятельности, связан с историей Московского общества сельского хозяйства. Примерно в 1903—1904 гг. на смену консервативному помещичьему элементу, возглавлявшему это общество, олицетворяемому князем А. Г. Шербатовым, приходят люди оппозиционного и даже революционного настроения, в частности, его председателем стал И. И. Петрункевич, в Совет вошел Д. И. Шаховской. С начала 1905 г. общество оказалось причастным к проведению Всероссийских крестьянских съездов, где принимались радикальные, даже революционные требования. Я привожу эти сведения, чтобы заинтересовать исследователей, так как предполагаю заняться этим явлением и ищу себе единомышленников.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ДОКЛАДЧИКОВ:

С. В. Тютюкин

Для тех, кто занимается историей российской социал-демократии, российской революции, важен и плодотворен самый дух этого коллоквиума, который стимулирует сотрудничество историков разных стран и, главное, стимулирует подход к любой проблеме русской истории начала XX в. в широком общеисторическом контексте.

До недавнего времени история российской социал-демократии, которой посвящен наш доклад, сводилась к истории большевизма, причем эта последняя ставилась в совершенно особое, «экстерриториальное» положение по сравнению с другими частями исторического процесса. Только теперь мы начинаем оценивать деятельность всех политических партий дооктябрьской России по более или менее единым критериям, понимать всю относительность противопоставления большевизма и меньшевизма, видеть не только сильные, но и слабые стороны большевиков.

Хочу оговориться, что предложенный нами доклад — это лишь маленький фрагмент той исторической панорамы, которую представляет собой история российской социал-демократии в период революции 1905—1907 гг. Так, мы сознательно не включили в него весь комплекс идеологических вопросов, т. е. то, что до недавнего времени носило традиционное название «идейной борьбы большевиков и меньшевиков». И тем не менее количество сюжетов, затронутых в докладе, оказалось немалым, а потому рассмотреть их удалось лишь кратко и схематично.

Особенно это характерно для советских ученых: мы привыкли понимать под партией ту организацию огромной силы, организованности, почти армейскую организацию, с которой знакомы по жизненному опыту, и невольно переносим это представление в прошлое. А мне хотелось обратить внимание на то, что образование классово-партийного механизма чрезвычайно сложный процесс. Мне кажется, в русской действительности были классы, но их классовая, их партийная организация была еще в зачаточном состоянии. Мы думаем, когда говорим: кадеты, октябристы, правые, что это и есть настоящие партии, а это зачастую какие-то кружки, группочки, их никак нельзя назвать партией.

Мне понравилась работа американского историка Р. Эдельмана о националистской партии. Он, в частности, делает верные наблюдения, что в России существовали особого рода протопартии, то, из чего в дальнейшем могли появиться правильно организованные партии европейского образца. Занимаясь дворянством, я увидел, что оно очень туго шло на партийную организацию. Видимо, оно не продвинулось дальше создания организации объединенного дворянства. Строгая партийная дисциплина, а партия без дисциплины уже не партия, была неприемлема для дворянства как такового. Когда мы говорим об октябристах, как о дворянской партии, о правых, мне кажется, что сам-то класс был далек от этих партий. Там были те, кто назывался дворянами, но не было сцепки с классом, классового партийного механизма не образовалось. Мы не можем считать тех дворян, которые входили в эти партии, действительно представителями класса.

А. П. Корелин

История общественного движения в традиционном понимании несколько сужает спектр исследуемых явлений. У нас много исследований по рабочему движению, по либеральному движению. Мне кажется, стоит обратить внимание на такой вид общественного движения, как кооперативный. К началу мировой войны российская кооперация представляла довольно крупную силу. Это примерно 36—38 тыс. кооперативных учреждений, оборот которых составлял далеко за миллиард рублей. Особенно мощной была кредитная кооперация, насчитывавшая около 11 тыс. кооперативов, баланс которых был около 1 миллиарда. Кредитная кооперация набирала силу не только как социально-экономическое явление, но и как общественно-политическое движение. Прошел целый ряд кооперативных съездов. На них выносились резолюции, казалось бы, безобидные: требования всероссийского кооперативного законодательства, явочного порядка открытия кооперативов, независимости от государственных органов. Но наряду с этими пунктами на съездах ставились и чисто политические вопросы, часто —

революционные. Во главе кооперативного движения были известные деятели кадетской партии, энесы, эсеры. Во главе рабочей кооперации в ряде мест были социал-демократы, т. е. политические партии обратили внимание на эту мощную силу и пытались ее использовать.

Интересный эпизод, характеризующий переход этих организаций к политической деятельности, связан с историей Московского общества сельского хозяйства. Примерно в 1903—1904 гг. на смену консервативному помещичьему элементу, возглавлявшему это общество, олицетворяемому князем А. Г. Щербатовым, приходят люди оппозиционного и даже революционного настроения, в частности, его председателем стал И. И. Петрункевич, в Совет вошел Д. И. Шаховской. С начала 1905 г. общество оказалось причастным к проведению Всероссийских крестьянских съездов, где принимались радикальные, даже революционные требования. Я привожу эти сведения, чтобы заинтересовать исследователей, так как предполагаю заняться этим явлением и ищу себе единомышленников.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ДОКЛАДЧИКОВ:

С. В. Тютюкин

Для тех, кто занимается историей российской социал-демократии, российской революции, важен и плодотворен самый дух этого коллоквиума, который стимулирует сотрудничество историков разных стран и, главное, стимулирует подход к любой проблеме русской истории начала XX в. в широком общеисторическом контексте.

До недавнего времени история российской социал-демократии, которой посвящен наш доклад, сводилась к истории большевизма, причем эта последняя ставилась в совершенно особое, «экстерриториальное» положение по сравнению с другими частями исторического процесса. Только теперь мы начинаем оценивать деятельность всех политических партий доктябрьской России по более или менее единым критериям, понимать всю относительность противопоставления большевизма и меньшевизма, видеть не только сильные, но и слабые стороны большевиков.

Хочу оговориться, что предложенный нами доклад — это лишь маленький фрагмент той исторической панорамы, которую представляет собой история российской социал-демократии в период революции 1905—1907 гг. Так, мы сознательно не включили в него весь комплекс идеологических вопросов, т. е. то, что до недавнего времени носило традиционное название «идейной борьбы большевиков и меньшевиков». И тем не менее количество сюжетов, затронутых в докладе, оказалось немалым, а потому рассмотреть их удалось лишь кратко и схематично.

Мы с удовлетворением отмечаем, что доклад на столь острую тему не вызвал серьезных возражений со стороны американских и советских коллег. Хотелось бы сказать несколько слов по вопросу, поставленному проф. Бовыкиным. Речь идет о возможности представительства социал-демократией интересов крестьянства как особого класса-сословия российского общества. Нельзя не отметить, что у русских марксистов изначально, в значительной мере потому, что русский марксизм рождался в борьбе с народничеством, и как его антитеза возникла своего рода подозрительность по отношению к крестьянству, убеждение в том, что крестьянство автоматически всегда рождает из своей среды капитализм, причем мелко крестьянское хозяйство обязательно обречено на гибель. С этим был связан и взгляд на крестьянство как на неразвитую, отсталую силу, не способную к самоорганизации, самовоспитанию и самовыражению, как на силу, которую обязательно кто-то должен вести. В такой точке зрения, конечно, была доля истины, но она, безусловно, грешила большой недооценкой тех творческих потенций и моральных ценностей, которые всегда были у российского крестьянства.

В. И Бовыкин в целом прав: выступая в 1905—1907 гг. с претензией на выражение интересов не только рабочего класса, но и крестьянства, РСДРП (и большевики, и меньшевики — хотя по-разному и в разной степени) в какой-то мере пыталась навязать крестьянству свое ви́дение аграрного вопроса и путей его решения. Не в этом ли крылись причины известной невосприимчивости крестьянства к аграрной программе РСДРП? Так, программа «муниципализации» земли, имевшая и сильные, и слабые стороны, крестьянством не понималась, а потому и не принималась. С национализацией земли дело обстояло сложнее. Ведь совершенно очевидно, что она представляла собой достаточно последовательный и радикальный план экспроприации помещичьих латифундий и коренной ломки всех сословных перегородок в системе землевладения. Кроме того, большевики прямо связывали программу национализации земли с полной демократизацией государственного и общественного строя страны. Облегчила бы национализация земли и будущие социалистические преобразования в деревне. Все это бесспорно.

Но В. И. Ленин, как известно, ставил знак равенства между большевистской платформой национализации земли, с одной стороны, и интересами и чаяниями крестьянства — с другой. Между тем большевики в отличие от эсеров проходили мимо общинных уравнительных традиций крестьян, что не могло не сказываться на отношении последних к большевикам. Кроме того, крестьянство хотело бы иметь какие-то гарантии, что по-настоящему распоряжаться землей будет оно само. В программе большевиков при всей ее демократической направленности таких гарантий было явно недостаточно.

Еще один вопрос. Мы не касались в своем докладе роли Троцкого в революции 1905—1907 гг. Традиционно считалось, что троцкизм — это лишь разновидность меньшевизма. Сейчас историки выражают сомнение, был ли в 1905—1907 гг. троцкизм как особое течение и особая доктрина вообще, кроме того, факты неопровержимо свидетельствуют, что в общем и целом Троцкий в это время был ближе к большевикам, чем к меньшевикам. Поэтому правильнее было бы рассматривать его как внефракционного социал-демократа.

Отвечая на вопрос В. Н. Гинева о возможности сотрудничества социал-демократов и либералов в период революции 1905—1907 гг., хотелось бы заметить, что потенциально такая возможность, конечно, не исключалась. Больше того, мы можем привести немало фактов, когда на протяжении революции, в частности в ходе выборов во II Государственную думу, наряду с «левым блоком» существовали и избира тельные соглашения между РСДРП и кадетами. Однако преувеличивать роль этих моментов у нас все же нет оснований. Причина здесь кроется и в остроте социальных конфликтов, в тех представлениях друг о друге, которые складывались у либералов и народных масс. И когда мы в докладе говорили о взаимном неприятии и подозрительности, существовавших у либералов и социал-демократов, то для этого есть достаточно веские основания, хотя абсолютизировать эту неприязнь мы тоже не склонны.

Сейчас идет очень сложный процесс переосмысления российской истории. Мы возвращаемся к первоисточникам, о которых очень часто забывали, ибо был долгий период, когда ссылка на авторитет Маркса или Ленина значила порой гораздо больше, чем целая сотня документов. Начавшаяся работа потребует еще много времени, и не нужно ждать чудодейственных результатов сегодня или завтра. Но работа эта началась, и, если этот процесс не будет искусственно приостановлен, результаты ее рано или поздно станут нашим общим достоянием. Важно лишь не заменять одни мифы другими и критически сопоставлять различные точки зрения. Так, мы пришли сейчас к признанию больших заслуг зарубежной историографии, но и в ней тоже не всегда можно найти истину в последней инстанции. Всем нам нужно больше информации друг о друге, больше открытости и доверия. Настоящий коллоквиум убедительно продемонстрировал, что начало сближению положено, и главное — не сойти с этого пути.

Реплика сопредседателя В. Н. Гинева

Сейчас идет практическая работа по подготовке серии книг по различным партиям. Это будут большие книги, каждая по 30—35 п. л., и примерно на 2/3 авторский текст и на 1/3 документы этих партий.

В.В. Шелохаев

Когда мы говорим о революции и реформе, нужно учитывать различный уровень этих понятий. Так, мы не говорили о типологии революции, в том числе и о революциях сверху. Это важнейшая проблема, которая синхронно встает в ряде стран. А в странах «второго эшелона» процессы проходят сильно деформированно. Реформы тоже бывают различные: и системные, и структурные реформы.

Мы также акцентировали внимание только на этих двух вершинах, может сложиться представление, что общество находится в перманентном состоянии революции или реформ. Что происходит в промежутках между этими процессами?

Мы мало говорили о концепциях общественного развития. Я имею в виду не только марксистскую концепцию, но и другие концепции общественного развития.

После таких замечаний мне хотелось бы остановиться на одном вопросе доклада. Мне лично очень понравилось выступление проф. Хаймсона — не потому, что он нас хвалил, а потому что мы идем в одном направлении познания истины. Само понятие «меньшевики» неоднопланово: «меньшевики в эмиграции», «меньшевики-лидеры», «меньшевики в России» и «меньшевики внизу» объединяются одним понятием, но на самом деле это очень различные явления. Разногласия, конфликты между меньшевиками и большевиками также были разногласиями различных уровней. Если мы берем разногласия в эмиграции и между лидерами — один уровень, те процессы, которые происходят в низовых организациях,— другой. Фактический материал убеждает: подавляющее большинство социал-демократических организаций в России были объединенными.

О либералах. В вводном слове проф. Рибер высказал мысль о том, что уровень организации, численность либеральных организаций накануне войны и в период войны практически были очень низкими. Эта точка зрения существует и в нашей историографии, особенно в исследованиях покойного проф. Авреха. Но изучение показывает, что динамика численности и состава кадетских, социал-демократических, неонароднических, черносотенных организаций после революции 1905—1907 гг., накануне войны и в период войны примерно одинакова. Я попытался установить динамику количества организаций на протяжении всего существования кадетской партии. В 1917 г. кадетские организации возрождаются в тех же местах, что и в 1905 г. В 1905—1907 гг. в России было 360 кадетских организаций, 370 организаций возрождается в 1917 г.

Выступление уважаемого мной проф. Эммонса меня, откровенно говоря, поразило жесткой непримиримостью в отношении к советским историкам. Сформулированные им шесть пунктов, мне кажется, отражают не сегодняшний день историографии. Проф. Эммонс знает существовавшую у нас ситуацию, и жест-

кость его формулировок для меня не совсем понятна. Процесс исследования либеральных партий не так прост. Сейчас было бы неплохо совместными усилиями и зарубежных коллег, и советских историков больше уделить внимания изучению либеральной альтернативы общественного развития России в начале XX в. Прежде всего, какие цели, какие средства предлагались либеральными партиями? Это особенно важно увидеть в условиях формирования у нас многопартийной системы. Здесь много говорилось о национальных вопросах. Поразительно видеть, как лидеры либерализма, крупнейшие специалисты-теоретики по национальному вопросу — Кокошкин, Милюков и другие, видя пробуждение национального самосознания окраин, ни на йоту не отступают от лозунга единой и неделимой России.

Можно назвать еще массу примеров, которые показывают, почему не состоялась либеральная альтернатива. Конечно, существуют трудности с осознанием процессов, которые шли от февраля к Октябрю. И понять их нельзя без изучения политических концепций всех либералов, неонародников, социал-демократов в их столкновении и борении.

Реплика сопредседателя Т. Эммонса

Хочу сказать пару слов о замечаниях проф. Шелохаева. Прошу прощения, что я вас разочаровал жесткостью формулировок, но я оговорил, что ломлюсь в открытые двери и констатирую ситуацию в историографии на основе имеющихся публикаций. Я понимаю, что они уже не отражают современность, но мои замечания можно воспринять в духе названия статьи известного писателя: «От какого наследства мы отказываемся?»

К. Ф. Шацилло

Очень приятно вести полемику с оппонентами, которые четко формулируют свои возражения. В этом отношении оба сопредседателя необычайно удобные оппоненты. Я позволю себе по пунктам и отвечать им.

О теории двух лагерей. Вряд ли есть теория, которая нанесла бы столько вреда науке, сколько она. Она практически привела к тому, что перестали изучать либерализм и так называемые «мелкобуржуазные партии». Хотел бы напомнить, что и два патриарха в изучении либерализма — Е. Д. Черменский и А. Я. Аврех, на словах признавая концепцию трех лагерей, фактически все же приходили к тому, что лагерей два. Но сейчас я не знаю исследователя, который продолжал бы, хоть косвенно, утверждать своими работами существование двух лагерей в России. Так что три лагеря — правительственный, либеральный, революционный — это сейчас утвердившееся общепризнанное положение. В частности, мы в докладе и хотели объяснить отношение либералов к

революции, четко памятуя о том, что был и третий лагерь, который во многом определял поведение либералов.

Тут я хочу ответить на одно возражение В. Н. Гинева, оспорившего наш тезис о том, что в XIX в. либералы не контактировали с революционерами. Я все же остаюсь при этом мнении. Так получилось потому, что царизм все-таки давал реформы, они отваживали либералов от контактов с революционерами, надежды возлагались либералами на то, что реформистский путь приведет к преобразованию страны в желанную для них конституционную монархию. В XX в. тактика либералов изменилась именно под влиянием того, что правительственный лагерь занял неприступную позицию: никаких реформ. Это привело либералов к известным контактам с революционерами и в ходе мировой войны.

Положение, выдвинутое проф. Эммонсом, о том, что надо избавиться от представления, будто только большевики выражали интересы пролетариата, а все остальные не выражали этих интересов, я полностью разделяю. Историки бывают разные, но в лучших работах давно уже признано, что отнюдь не одни большевики выражали интересы трудящихся. С чем я все-таки не могу согласиться, это с утверждением, что партия не выражает интересы определенных классов. Говоря о современной Англии или Америке, трудно сказать, интересы какого класса выражают республиканцы, лейбористы, консерваторы. Это, вероятно, удел высокоразвитых обществ, когда разница между реально существующими классами, их интересами не такая кричащая, какая была в России начала XX в., где партии выражали в конечном итоге определенные классовые интересы.

Теперь о том, что руководят партией всегда интеллигенты, что следует учитывать возрастной состав руководителей. Эта мысль проф. Эммонса мне очень импонирует. Действительно, те, кто родились в 60-е гг. и получили высшее образование, по каким бы партиям они ни бродили, находили свое место в жизни. А вот родившиеся в 70-е гг., изгнанные за участие в революционном движении из университетов, оказались изгоями, не могли найти место в жизни, что им оставалось делать? Становились профессиональными революционерами, тут определенную возрастную закономерность отрицать нельзя. А то, что интеллигенты были идеологами во всех партиях — от самых правых до самых левых,— с этим нельзя спорить.

Полностью согласен с тем, что партии различны по своему составу, по своим целям, по своим организациям. Вот белый свет, его можно разложить на семь составных частей. Но указать точку, где один цвет радуги переходит в другой, невозможно. Точно так же и с партиями. Есть много промежуточных партий, которые — то в либеральном, то в революционном лагере. Одни партии четко организованы наподобие «ордена меченосцев», используя образное выражение «корифея всех наук и вождя всех народов». Другие же вообще не функционируют в период между

выборами. Но при всем разнообразии организационных структур партий, их стратегии и тактики мы все-таки можем говорить о том, что были классовые партии, учитывая, конечно, их специфику и своеобразие.

Теперь относительно возражения против часто употребляемых советскими историками выражений типа «крах», «полное банкротство». А как быть, если действительно либерализм в России потерпел полное банкротство? Замечание В. Н. Гинева сводилось к тому, что оценка левого и правого крыла в либерализме не дана в докладе. Этот упрек в известной мере справедлив, но мы писали тезисы, а не полный текст доклада.

Еще одно замечание. Над всеми нами вплоть до последнего времени тяготела железная формула: правовое государство — это злоехидная выдумка либералов, на деле же неизбежна диктатура пролетариата. Сейчас мы возвратились к признанию того, что без правового государства человечество нормально жить не может. Как будто бы либералы правы, восторжествовало их положение. А как быть с положением Ленина о том, что без диктатуры пролетариата нельзя сделать революцию и победить в гражданской войне? Ведь он тоже был прав!? Вопрос в России стоял так: поскольку правящие круги не давали реформ, вгоняли страну в революцию, единственным способом победить в революции, а потом в гражданской войне, была диктатура пролетариата. Но, добившись этой диктатуры, надо уметь своевременно от нее отказаться, перейти к правовому государству. Великая трагедия нашего народа в том, что отход от «диктатуры пролетариата» произошел поздно. Сейчас перед нами открывается в сфере науки полная возможность проанализировать все перипетии, связанные с идеологией либералов. Думаю, что задача историков — стереть это белое пятно, разобраться в идеологии различных течений либерализма.

Л. Хаймсон

Начну с вопроса председательствующего: действовали те рабочие, которые 24—26 февраля пошли на Невский проспект, сознательно? У меня в этом нет сомнений: они стремились свершить революцию. Невский проспект, как вы прекрасно знаете, с XIX в. был не только местом, где находились власть и богатство, но со времени выступления Плеханова на Казанской площади он был символом революционного движения. С 1912-го до июля 1914 г. рабочие Выборгского района не стараются пробить себе дорогу на Невский. Они ведут борьбу на собственной территории, в пределах Выборгского района. Только в разгар всеобщей забастовки в Петербурге в июле 1914 г. мы наблюдаем какие-то попытки рабочих Выборгского района прорваться в центр столицы. Во время войны, даже в условиях 1915—1916 гг., когда рабочие Выборгского района действительно были ядром революционного движения внутри рабочего клас-

революции, четко памятуя о том, что был и третий лагерь, который во многом определял поведение либералов.

Тут я хочу ответить на одно возражение В. Н. Гинева, оспорившего наш тезис о том, что в XIX в. либералы не контактировали с революционерами. Я все же остаюсь при этом мнении. Так получилось потому, что царизм все-таки давал реформы, они отваживали либералов от контактов с революционерами, надежды возлагались либералами на то, что реформистский путь приведет к преобразованию страны в желанную для них конституционную монархию. В XX в. тактика либералов изменилась именно под влиянием того, что правительственный лагерь занял неприступную позицию: никаких реформ. Это привело либералов к известным контактам с революционерами и в ходе мировой войны.

Положение, выдвинутое проф. Эммонсом, о том, что надо избавиться от представления, будто только большевики выражали интересы пролетариата, а все остальные не выражали этих интересов, я полностью разделяю. Историки бывают разные, но в лучших работах давно уже признано, что отнюдь не одни большевики выражали интересы трудящихся. С чем я все-таки не могу согласиться, это с утверждением, что партия не выражает интересы определенных классов. Говоря о современной Англии или Америке, трудно сказать, интересы какого класса выражают республиканцы, лейбористы, консерваторы. Это, вероятно, удел высокоразвитых обществ, когда разница между реально существующими классами, их интересами не такая кричащая, какая была в России начала XX в., где партии выражали в конечном итоге определенные классовые интересы.

Теперь о том, что руководят партией всегда интеллигенты, что следует учитывать возрастной состав руководителей. Эта мысль проф. Эммонса мне очень импонирует. Действительно, те, кто родились в 60-е гг. и получили высшее образование, по каким бы партиям они ни бродили, находили свое место в жизни. А вот родившиеся в 70-е гг., изгнанные за участие в революционном движении из университетов, оказались изгоями, не могли найти место в жизни, что им оставалось делать? Становились профессиональными революционерами, тут определенную возрастную закономерность отрицать нельзя. А то, что интеллигенты были идеологами во всех партиях — от самых правых до самых левых,— с этим нельзя спорить.

Полностью согласен с тем, что партии различны по своему составу, по своим целям, по своим организациям. Вот белый свет, его можно разложить на семь составных частей. Но указать точку, где один цвет радуги переходит в другой, невозможно. Точно так же и с партиями. Есть много промежуточных партий, которые — то в либеральном, то в революционном лагере. Одни партии четко организованы наподобие «ордена меченосцев», используя образное выражение «корифея всех наук и вождя всех народов». Другие же вообще не функционируют в период между

выборами. Но при всем разнообразии организационных структур партий, их стратегии и тактики мы все-таки можем говорить о том, что были классовые партии, учитывая, конечно, их специфику и своеобразие.

Теперь относительно возражения против часто употребляемых советскими историками выражений типа «крах», «полное банкротство». А как быть, если действительно либерализм в России потерпел полное банкротство? Замечание В. Н. Гинева сводилось к тому, что оценка левого и правого крыла в либерализме не дана в докладе. Этот упрек в известной мере справедлив, но мы писали тезисы, а не полный текст доклада.

Еще одно замечание. Над всеми нами вплоть до последнего времени тяготела железная формула: правовое государство — это злоехидная выдумка либералов, на деле же неизбежна диктатура пролетариата. Сейчас мы возвратились к признанию того, что без правового государства человечество нормально жить не может. Как будто бы либералы правы, восторжествовало их положение. А как быть с положением Ленина о том, что без диктатуры пролетариата нельзя сделать революцию и победить в гражданской войне? Ведь он тоже был прав!? Вопрос в России стоял так: поскольку правящие круги не давали реформ, вгоняли страну в революцию, единственным способом победить в революции, а потом в гражданской войне, была диктатура пролетариата. Но, добившись этой диктатуры, надо уметь своевременно от нее отказаться, перейти к правовому государству. Великая трагедия нашего народа в том, что отход от «диктатуры пролетариата» произошел поздно. Сейчас перед нами открывается в сфере науки полная возможность проанализировать все перипетии, связанные с идеологией либералов. Думаю, что задача историков — стереть это белое пятно, разобраться в идеологии различных течений либерализма.

Л. Хаймсон

Начну с вопроса председательствующего: действовали те рабочие, которые 24—26 февраля пошли на Невский проспект, сознательно? У меня в этом нет сомнений: они стремились свершить революцию. Невский проспект, как вы прекрасно знаете, с XIX в. был не только местом, где находились власть и богатство, но со времени выступления Плеханова на Казанской площади он был символом революционного движения. С 1912-го до июля 1914 г. рабочие Выборгского района не стараются пробить себе дорогу на Невский. Они ведут борьбу на собственной территории, в пределах Выборгского района. Только в разгар всеобщей забастовки в Петербурге в июле 1914 г. мы наблюдаем какие-то попытки рабочих Выборгского района прорваться в центр столицы. Во время войны, даже в условиях 1915—1916 гг., когда рабочие Выборгского района действительно были ядром революционного движения внутри рабочего клас-

са, они не делают такой попытки до февральских дней. Я убежден, что они это делают в феврале совершенно сознательно.

Другой вопрос. Февральская революция в узком смысле этого слова, как я это уже сказал, является спонтанным движением. Это не значит, что предшествующая агитация социал-демократов и т. п. не имеет какого-то влияния на настроения и мировоззрение этих рабочих. Но так как у вас провели резкую грань между сознательностью и стихийностью, частично целью моего доклада было проследить, как эти концепции развиваются. Что характерно для сталинского периода? (Здесь я отвечаю на вопрос Р. Ш. Ганелина). Это концепция, что сознательность и субъективность — собственность партии большевиков, ее подпольных централизованных организаций. Такие понятия исключали возможность настоящего изучения истории рабочего класса и развития его менталитета. Ближайшая задача при теперешних условиях — восстановить историю рабочего класса России как самостоятельного субъекта своей собственной истории.

Что касается вопроса альтернативности, я концентрировал внимание на предпосылках двоевластия. Я старался показать, что двоевластие имеет свои корни, с одной стороны, в истории Центрального военно-промышленного комитета (главным образом его рабочей группы) и, с другой — в самом настроении рабочих во время войны. Что касается коалиционного Временного правительства, то меньшевики согласились на него очень неохотно. При обсуждении этого вопроса Чхеидзе предсказывал, что меньшевики, участвуя во Временном правительстве, потеряют доверие рабочего класса. Они в конце концов согласились на этот шаг только потому, что Львов ультимативно предупредил, что в противном случае им придется полностью взять власть в свои руки. А это казалось меньшевикам нереальным, не совпадало с их представлениями о политической действительности. Но в этот момент почти все радикальные группы России, включая громадное большинство большевиков, не могли представить себе такой вариант. Только Ленин в «Апрельских тезисах» и в выступлениях на съезде Советов высказал готовность взять всю власть. Но когда он впервые так высказался, даже его товарищи думали, что он ничего не понимает в положении России, что он сошел с ума. Что касается альтернативы в октябре, я думаю, что достаточно ясно высказал свою точку зрения.

Заседание 7 июня по теме: ***«Социально-экономическое развитие России в начале XX в. и революционный процесс»***

Сопредседатели: П. Гетрелл (Великобритания), А. П. Корелин (СССР)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

А. П. Корелин

Экономическая проблематика изучается у нас изолированно от общественно-политического движения. Между тем мы знаем, что характер и направленность любого общественного движения, в том числе рабочего движения, нельзя сколько-нибудь полно представить себе без анализа социально-экономических факторов. Все это хорошо известно, и тем не менее ситуация меняется крайне медленно. Многие представленные доклады как раз показывают, как из анализа экономической жизни страны вытекают тесно с ним связанные социально-политические проблемы, определяющие расстановку сил на политической арене, формы и методы борьбы за достижение определенных целей.

В докладе проф. Маккея поставлены важные проблемы экономического, точнее, промышленного развития России начала XX в., роли в нем государства, экономической политики правительства и частной инициативы, что воплощалось в отраслевых и региональных различиях российской буржуазии. Последнее обстоятельство сыграло немаловажную роль в процессе формирования политического облика предпринимательского класса, уровня его организации, политического самосознания. Правда, этот аспект лишь намечен в докладе. Большое внимание уделяется проблемам насаждения промышленности сверху, а также другим вариантам развития в результате спонтанного органического развития промышленного капитализма снизу. Проблема эта была поставлена в свое время И. Ф. Гиндиным. Докладчик сумел найти новые краски, новые дополнительные материалы.

В докладе проф. Шепелева прослеживается взаимосвязь развития промышленности и состояния рабочего законодательства. Последнее стало важным фактором в системе отношений правительства и предпринимательских кругов. Самодержавие не смогло отрешиться ни от практики всестороннего административного регулирования торгово-промышленной деятельности, тормозившего в конечном итоге развитие промышленности, ни от формализма в рабочем вопросе. Предпринимательские круги в свою очередь стремились отвергнуть экономические требования рабочих, желали перевести конфликт в сферу требований свободы труда и капитала. Был ли это сознательный расчет на

новую буржуазную систему отношений в рабочем вопросе, или демагогический демарш — еще до конца не ясно. Следовало бы, видимо, исследовать сперва проблемы рентабельности и прибыльности всей российской промышленности и проанализировать экономическую обоснованность требований рабочих в свете перспектив экономического развития страны и рентабельности российских предприятий.

Проф. Дякин через призму кредитной политики самодержавия анализирует проблему выбора курса экономического развития России. Исследование имеет экономическую направленность, но вместе с тем отражает важный аспект борьбы поместного дворянства и различных ведомств, раскрывает сложную картину взаимоотношений в этих сферах. Важным представляется анализ попыток сбалансировать развитие народного хозяйства. На мой взгляд, именно несбалансированность экономики была одной из причин неудач столыпинских реформ, реформистских усилий самодержавия вообще.

В докладе проф. Лаверычева социально-экономическое развитие и революционное движение в России в начале XX в. рассматриваются как процесс неуклонного вызревания материально-организационных и социально-политических предпосылок социалистической революции. Автор рассматривает Россию как среднеразвитую капиталистическую страну с крайне контрастной социально-экономической структурой. Нарастание социальной напряженности и революционный взрыв рассматриватюся автором как сугубо закономерный и безальтернативный процесс. По-моему, это тоже тема для обсуждения.

Наконец, В. И. Бовыкин эту тему рассматривает через призму анализа советской историографии, начиная с 20-х годов. Автор — активный участник и сравнительно недавних, и продолжающихся дискуссий, излагает и свою версию хода исторического процесса, и отражение ее в историографии. В докладе много спорного, хотя бы в определении эмпирического и априорного подходов в изучении отечественной истории. На мой взгляд, в чистом виде эти методы существовать не могут. Не согласился бы я и с трактовкой проблемы многоукладности. Однако я бы хотел, чтобы мы не слишком углублялись в чисто историографические проблемы, они нас могут увести в сторону от проблем исторических. В своей характеристике социально-экономического развития России начала XX в. автор исходит из положения о переходном состоянии российского общества, о сосуществовании в нем двух общественно-экономических укладов, о несоответствии политической надстройки экономическому базису. Это усиливало нестабильность общества, открывало возможности разнообразных классовых комбинаций.

Хотелось бы, чтобы затронутые в докладах экономические проблемы обсуждались именно в преломлении их через призму влияния их на общественно-политические процессы.

У нас 5 докладов по истории экономики, экономической политике. Не буду говорить об историографии, на которую обращает внимание В. И. Бовыкин: этими вопросами занимаются прежде всего советские исследователи. Хотел бы изложить свою собственную, хотя и предварительную, концепцию развития экономики России, подчеркнув влияние на экономику трех факторов: 1) человеческого, 2) учреждений разного рода (не только правительства и финансовых учреждений, но и семьи, и школы) и 3) географической среды. Чтобы понять связь между этими факторами, нам еще нужны понятия «технология», «капитал», «культура». Я имею в виду не только культуру рабочих, крестьянства, но и культуру предпринимателей. Я начал с этого, так как иногда встречается мнение, что история экономики России — это только история влияния правительства на экономику. Да и само понятие «правительство» скрывает разные тенденции, разную политику, об этом говорится плодотворно и тонко в докладах проф. Дякина и проф. Шепелева. На человеческий фактор я обратил внимание для того, чтобы подчеркнуть значение человека-производителя, человека-предпринимателя, как говорит проф. Маккей и представители так называемых социальных историков (например, английских историков Томпсона, Хобсбома и др.). Я упомянул влияние географической среды, потому что надо видеть и региональные вопросы развития экономики, и экологические аспекты.

Теперь подробнее о человеческом факторе. Мы мало знаем об отношении рабочих, крестьянства, технического персонала к труду, о том, как отношение к труду влияет на производство. Мы больше знаем об отношении предпринимателей к рабочим, изложенном в докладе проф. Шепелева.

Второй фактор. В начале XX в. в России наблюдался большой прирост населения. Это порождало проблемы. Поскольку прирост населения был в основном в деревне, возникает вопрос об учреждениях в деревне, в основном об общине. Попытка правительства разрушить общину не удалась. Почему? Первая причина: для крестьян это была попытка явного вмешательства сверху в их жизнь. Вторая причина: община была, как показали современники-этнографы и сегодняшние социологи, глубоко укоренившимся в деревне учреждением. В-третьих, почти всем крестьянам было выгодно жить в общине для защиты от риска при колебаниях урожая. Таким образом, значение общины как фактора экономического развития сохраняется. Сохраняется и значение государственных предприятий в промышленности, особенно в металлообрабатывающей. В то же время происходят изменения в учреждениях, и не только в учреждениях политических. Мы наблюдаем рост влияния частных коммерческих банков, других финансовых учреждений, развитие кооперации. Это, по-моему, дало импульс экономическому росту в России,

особенно после застоя на рубеже столетий. Неправильно обращать внимание только на развитие крупной, цензовой промышленности. Наблюдался также рост мелкой промышленности, обусловленный возможностью наверняка получить прибыль, которая не всегда была в крупном производстве.

Третий фактор — сильно изменилась среда. Во-первых, переселение до войны изменило сибирскую деревню, городскую жизнь и провинциальную. Еще продолжается аграрный кризис, особенно в Центральном черноземном районе, где наблюдались истощение почвы, отсутствие органических удобрений. Обо всем этом правильно сказал в своем докладе проф. Дякин. Но я хочу подчеркнуть, что среда изменилась не только до войны, сильное влияние на нее имела именно война: перемещения солдат, беженцев, военнопленных влияли на жизнь города, на транспорт, на уровень заболеваемости. Возникла нехватка рабочих рук в помещичьих имениях после мобилизации. По мнению же крестьян, постоянное неиспользование земли было позорным. Люди связывали свое положение (разорение среды, потеря родственников, недостаток хлеба, упадок покупательной способности рубля) с политикой самодержавия.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

К. Ф. Шацилло

Я остался одним из немногих живых лиц, кто знает, как готовилась Свердловская сессия 1969 г. и издавался сборник «Вопросы истории капиталистической России. Проблемы многоукладности». Ушли из жизни И. Ф. Гиндин, Л. М. Иванов, В. В. Адамов, К. Н. Тарновский. Доклады, представленные на коллоквиуме, мне очень понравились. Понравился и доклад В. И. Бовыкина — остротой постановки вопроса, бойцовским духом. Такое четкое определение своей позиции всегда хорошо для полемики. С этого вступления, которое несколько нарушает призыв нашего сопредседателя не обращаться к историографическим вопросам, мне бы и хотелось начать.

С большинством докладов, написанных для сегодняшней секции, я согласен. По докладу Дж. Маккея мне бы хотелось сделать одно замечание. Говоря о крупной промышленности, он выделяет только два ее типа: во-первых, те предприятия, что развивались на естественной основе, без вмешательства государства — прежде всего текстильную промышленность Центра; во-вторых, горнодобывающую и металлообрабатывающую отрасли промышленности, которые развивались с большой поддержкой правительства. Но уважаемый коллега совершенно не упоминает о казенных заводах. Они играли весьма значительную роль даже не столько по числу, сколько по тому значению, которое имеет военная промышленность для такого государства, как Россия.

Это совершенно особый вид народного хозяйства, который существовал не на капиталистической основе, а целиком за счет государственных средств. Это был «кусок» феодализма, введенный Петром I и сохранивший почти без изменения особенности своего хозяйства до октября 1917 г. Никакие законы политэкономии на этих предприятиях не действовали.

Далее мне бы хотелось перейти к многоукладности, этому многострадальному вопросу, который уже более 20 лет никак не может быть (по совершенно непонятным мне причинам) разрешен. Председатель призывал дать определение, что такое многоукладность. Этого не было сделано на сессии в 1969 г., не было сделано в книжке, изданной по ее итогам. В этом В. И. Бовыкин абсолютно прав. Я думаю, определение не было дано потому, что советские гуманитарии в то время еще не освоили системный подход. Полагаю, что использование этого подхода даст ответы на многие вопросы. Мне кажется, если рассматривать любое народное хозяйство как единую систему, то однородные в социально-экономическом отношении элементы этой системы и будут укладами. Это могут быть или реликты прежних формаций, или зародыши будущих, или элементы, вообще не связанные с формацией. Совокупность всех этих элементов и взаимоотношений между ними и есть то понятие многоукладности, которое было запрещено употреблять.

В. И. Бовыкин указывает, что М. А. Суслов говорил о многоукладности. Не только Суслов, но и такие «великие» теоретики, как Брежнев, как руководитель Компартии Узбекистана Рашидов, употребляли термин «многоукладность». Говорили о многоукладности и настоящие ученые. В философии этот термин употреблялся, его использовали социологи и экономисты при изучении стран Третьего мира. Но историкам СССР этот термин инкриминировался как идея, «подброшенная оттуда», из-за кордона злоумышленниками (я пользуюсь словами покойного академика А. Л. Нарочницкого).

Прав В. И. Бовыкин и в другом. Действительно, к концу 50-х гг. в экономической истории обнаружился определенный сбой, пробел, наметились трудности. К 60-м гг. некоторые исследователи экономики поняли, что одних монополий недостаточно для того, чтобы объяснить всю сложность исторических процессов, исторические судьбы народов России начала XX в. (я вообще твердо верю в то, что нельзя в истории найти философский камень, который превращает недрагоценные металлы в золото, а в науке объясняет все проблемы, снимает все вопросы). Обнаружили, что нельзя объяснить монополиями многое, происходившее в нашей стране, и в частности Октябрьскую революцию. Обнаружили, что такой марксист, как В. И. Ленин, глубинное противоречие, вызвавшее и объяснившее первую революцию, определял так: «...самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм!», т. е. он искал объяснение

революции не в традиционном для марксизма несоответствии базиса и надстройки, а внутри базиса.

В. И. Бовыкин говорит, что многоукладность — не ленинский термин. Нет, термин этот ленинский. Ленин назвал 5 укладов, не то чтобы ввел это понятие, но не стеснялся его употреблять. И никакого отступления от марксизма ни на сессии в Свердловске, ни в сборнике не было. Однако последовала реакция, сходная с реакцией грибоедовского полковника Скалозуба, обещавшего инакомыслящим дать «в Вольтеры» фельдфебеля. К сожалению, такие фельдфебели в науке у нас существовали и даже командовали вплоть до перестройки. Они-то и определяли, что верно, что неверно, как думать — как не думать, как шагать, по какой тропке, а как не шагать.

Печальны были последствия для участников сессии по многоукладности: в Москве под прямым давлением Отдела науки ЦК ВАК не утвердил докторскую диссертацию К. Н. Тарновского, в Свердловске поступили, как всегда в провинции поступают, еще строже — одного из инициаторов этой сесии В. В. Адамова стали наказывать по партийной линии, сняли с кафедры, оставили преподавателем, но не потому, что он раскаялся в своих «ошибках», а за то, что он на костылях ходил, ногу под Ленинградом во время войны потерял. Научный совет, проводивший сессию в Свердловске, прикрыли, сектор истории СССР периода империализма, отказавшийся осудить изданный сборник, расформировали.

Я не могу забыть кампании по бесконечному объяснению нам, историкам экономики, в чем мы «ошибались». Во всех без исключения исторических журналах появились зубодробительные отзывы на сборник, которые оканчивались приблизительно так: многоукладность — это тупиковое направление в науке, оно отрицает марксизм, а посему никакой многоукладности не должно быть. Ответить на нелепые обвинения никому, разумеется, не дали.

Доклад В. И. Бовыкина интересен своим полемическим задором, но лично меня никак не удовлетворяет. Не могу понять, почему до сих пор мы не можем признать, что дискуссия по многоукладности была задушена волевым административным методом. Почему сейчас, в 90-х гг. XX в., мы считаем, что в экономике нашей страны существуют многие уклады, и все их собираемся развивать. Почему в 1918 г. Ленин перечислял 5 укладов и говорил: «многоукладность», а применительно к России начала XX в. мы можем говорить, по мнению В. И. Бовыкина, только о 2-х укладах: капиталистическом и феодальном?

Б. Н. Миронов

Я бы хотел остановиться только на докладах проф. Дякина и проф. Маккея. Я с большим интересом читал доклад В. С. Дякина. Думаю, что в этом докладе он установил рекорд, он может

попасть в книгу Гиннеса, потому что на 40 страницах текста у него нет ни одной цифры. Он пишет доклад по экономической истории, по экономической политике, о выборе экономического пути и не приводит ни единой цифры. Кстати, мне кажется это очень сложным, нужно очень большую изобретательность проявить, чтобы писать по экономической истории без статистических данных.

Когда я прочел доклад, у меня возникли некоторые вопросы. Например: прав ли был Витте в своей экономической политике, какая экономическая политика для России в это время была, возможно, более оптимальна? Бурное развитие России в конце XIX — начале XX в.— это влияние государственного вмешательства или это результат объективного, стихийного развития России по пути капитализма? В какой последовательности было рациональнее осуществлять государственное вмешательство: с промышленности ли начинать, или с сельского хозяйства? Я не нашел ответа на эти вопросы. В. С. Дякин в своем докладе уклоняется вообще от всяких оценок. Мне кажется, в данном случае методику, которая используется при анализе внутренней политики вообще, применить в чистом виде к анализу экономической политики невозможно, т. е. возможно, но она дает не вполне удовлетворительные результаты.

Думаю, что в данном случае, при анализе было бы кстати применить построение контрфактических моделей, которое дает экономическую оценку разных вариантов политики. Сами авторы экономической политики не давали финансового экономического подтверждения своей политики, рекомендации были на уровне логики, здравого смысла. В. С. Дякин здесь в общем-то идет в русле традиций, но я думаю, что на данном этапе этого недостаточно, тем более что аналогичные проблемы, которые решала Россия в то время, стоят и сейчас: с чего начать возрождение экономики — с сельского хозяйства или с промышленности? Такая же проблема стояла и во многих других европейских странах и, как мы говорим, странах Третьего мира. Почему бы не посмотреть, как решались эти проблемы. Мне кажется, что настоящее состояние науки требует, чтобы мы отошли от традиционного описательного объяснения экономической политики и стали активно применять то, что в эконометрике, клиометрии получило уже широкое распространение.

Но вот то, что сделал В. С. Дякин, очень убедительно показывает один порок экономической политики. По-моему, этот порок был и до сих пор остается, и состоит он в том, что в экономическую политику всегда примешивается идеология. А экономика — это такая вещь, что нужно поступать рационально, прагматично, тогда только она будет развиваться; если же будет примешиваться идеология, какие-то иррациональные соображения, тогда нечего требовать от экономики, чтобы она была эффективной и приносила прибыль. Так вот, политика России всегда была иррациональной, и эта традиция до сих пор

у нас сохраняется, и мы не можем ее никак преодолеть. Вот это, по-моему, доказано очень хорошо.

Теперь я перехожу к докладу Дж. Маккея, в котором я встречаю то, что мне хотелось бы увидеть в тексте по экономической истории. Автор предлагает пересмотр некоторых точек зрения. Так, в частности, он считает, что в современной историографии преувеличивается особый характер экономического развития России и недооценивается роль рынка. Мне кажется, это очень правильно. Дальше автор показывает своеобразие экономического развития отдельных районов и отраслей и объясняет, что правительство понимало своеобразие развития в каждой отрасли и применяло к ним различную экономическую политику. И здесь не просто декларации, по возможности автор все обосновывает: если есть тезис, то есть и его подтверждение статистической информацией или ссылкой на эту информацию, где она находится. Мне кажется, что это тот путь, по которому должна развиваться наша экономическая историография.

Я хотел бы здесь еще напомнить, что несколько лет назад вышла статья в Израиле, представляющая первую попытку применения контрфактического моделирования для экономического развития России. Автор ставит вопрос: как бы развивалась Россия без железных дорог в конце XIX — начале XX в. (К сожалению, этой статьи нет в библиотеках Советского Союза). Этот опыт мне представляется продуктивным и полезным.

Несколько слов о выступлении П. Гетрелла. Мне кажется, что он предлагает нам новый подход, новые рамки исследования. Есть такой классический подход к анализу экономического развития — подход с точки зрения 3 факторов производства, которыми традиционно выступают труд, земля, капитал. Проф. Гетрелл нам предлагает иной набор факторов, включая в него человеческий фактор: личность, учреждения и географическая среда. То, что он предлагает для России, для того периода, о котором мы говорим, это очень плодотворно. Мне кажется, что вообще при анализе экономического (и не только экономического) развитии страны мы географический фактор и личность очень мало учитываем, учреждения в большей степени, но также недостаточно. Проф. Гетрелл правильно обращает наше внимание на то, что учет предлагаемых им трех факторов производства в совокупности может дать адекватное объяснение экономического развития.

В связи с человеческим фактором вернусь к докладу Дж. Маккея, который, как настоящий американец, не мог обойти молчанием предпринимательство, потому что в Америке считается: экономический прогресс связан преимущественно с личностью предпринимателей. Поэтому вполне естественно, что у Дж. Маккея и доклад назван: «Предпринимательство и развитие экономики». Правда, он в основном говорит об иностранных предпринимателях, но это неважно, потому что почти половина вложений в российской промышленности делалась за счет заграничных инвестиций. Доклад Дж. Маккея свидетельствует о том, что нам, советским ист-

орикам, нужно больше обратить внимание на предпринимательство, на роль личностного фактора в экономическом развитии России. Дж. Маккей очень убедительно показывает, что в тех отраслях, где вмешательство государства наименьшее, как легкая промышленность, там успехи были бо́льшими, чем в тяжелой промышленности. В целом я думаю, что в предложенных нам докладах намечаются новые подходы, которые будут способствовать изучению экономической истории.

В. И. Бовыкин

Я хотел бы выступить по двум докладам — В. С. Дякина и Дж. Маккея. Мне представляется, что сравнение этих докладов очень интересно и показательно. У меня довольно много замечаний и по тому, и по другому докладам, но я думаю, что конкретные вопросы мы сможем выяснить в личных беседах. Поразительно, что два доклада как бы диаметрально противоположны, они по-разному оценивают процесс экономического развития России. Представляется, причины этого не только в различиях концепции историков, но также и в том, каким комплексом источников каждый из историков пользовался при рассмотрении данной темы.

Для Дж. Маккея история экономического развития — это история предпринимательства. И он базирует свое наблюдение на материалах, которые оставили о своей деятельности банки, промышленные компании. Это одно ви́дение процесса экономического развития. В. С. Дякин тот же процесс освещает через его ви́дение с позиций бюрократических верхов самодержавия. Это то понимание, о котором П. Гетрелл сказал, что есть тенденция освещать историю экономического развития как историю экономической политики. В бюрократических кругах царской России были глубоко убеждены, что если бы они не собирались на совещания, не подписывали бумаги, не принимали никаких рекомендаций, то жизнь бы остановилась. И В. С. Дякин с полной серьезностью рассматривает проекты прямого государственного финансирования и организации сельскохозяйственного производства и др. Видимо, не случайно и почти полное отсутствие цифр, на которое уже обращалось внимание, потому что в этих бюрократических играх, бесконечных совещаниях, соперничестве ведомств и т. п. цифры имели в общем-то второстепенный характер.

Например, считалось, и В. С. Дякин повторяет это, ссылаясь на материалы, что никак не удавалось наладить обеспечение земледелия ссудным капиталом. Если бы какие-то цифры сопровождали это заключение, то никто бы ему не поверил, потому что с 1893 г. половину прироста ценных бумаг составляли ипотечные бумаги, т. е. ссудный капитал, который направлялся именно в сельское хозяйство.

Таким образом, два историка, которые смотрят на один и тот же объект с разных позиций, видят его по-разному. В этой связи я хотел бы коснуться вопроса об историографии, который был

затронут в выступлениях наших председателей. И я считаю, что факты — это основа для суждений. Но историю пишут историки, и каждый пишет свою историю. И мы убедились, что идея возможности создания единственно верной истории потерпела крах. Монополии на историю, на ее понимание не может быть. Поэтому, рассматривая историю, рассматривая факты, их интерпретацию, мы не можем отстраниться и от историка.

Б. В. Ананьич

Я хочу поставить нашим докладчикам несколько вопросов, которые меня интересуют и ответить на которые я сам затрудняюсь. Первый вопрос: русская индустриализация, которую проводили в 90-е гг., проходила ли она все-таки за счет крестьянства и за счет ограбления деревни? Можно ли определенно ответить на этот вопрос, опираясь на документы и цифры?

Второй вопрос, которого я хотел коснуться, это изучение предпринимательства. Мне кажется, доклад Дж. Маккея действительно очень интересен, потому что он возвращает нас к этой важной теме, и я думаю, что нет разницы в подходе к ней советских историков и историков, которые работают на Западе. К сожалению, в нашей историографии эта тема совершенно не получила освещения, а без понимания уровня предпринимательства, культуры предпринимательства в России трудно оценивать и уровень экономического развития в России, и уровень развития русской буржуазии, и ее специфику. Думаю, что и американской историографии в известной мере тоже можно сделать упрек в том, что эта тема развивалась медленно и недостаточно. Есть целый ряд работ (например, проф. А. Кохана, А. Рибера, Т. Оуэна, Р. Рузы), но все-таки сделано, мне кажется, мало. Тема предпринимательства сложна, и, в частности, совершенно не затрагивается в литературе тема крестьянского предпринимательства в России.

Мне кажется, что в России не было достаточной свободы предпринимательства, что это одна из отрицательных сторон развития русской экономики, и здесь экономику от политики оторвать невозможно. В этом смысле, кстати, доклады и В. С. Дякина, и Д. Маккея я рассматриваю как дополняющие друг друга. Почему не было свободного предпринимательства? Этому мешала религиозная и национальная политика правительства, этому мешали контроль над банками и учредительством, государственное вмешательство, которое дошло в конце концов до того, что, как писал И. Х. Озеров накануне первой мировой войны, иногда русскому человеку было выгоднее завести новое дело не в России, а за ее пределами. И наконец, государственный сектор, о котором говорил К. Ф. Шацилло. Мне кажется, что одна из трагедий развития русской экономики состоит в том, что не было рационального соотношения между государственным и частным началами, начало государственное чрезвычайно преобладало и тормозило развитие частного сектора.

Теперь еще один вопрос о выборе пути: можно ли, употребляя любимый термин проф. Эммонса, говорить, что в результате провала или банкротства политики индустриализации правящие круги были вынуждены вступить на иной путь, или это связано все-таки с каким-то рациональным осмыслением особенностей экономической ситуации в России?

Д. Филд

Хотя наши сопредседатели не поощряют обсуждение историографии, нельзя обойти молчанием доклад проф. Бовыкина. В. И. Бовыкин предлагает нам пышный букет, но в этом букете есть немного сорных трав. В частности, он упрекает своих противников в том, что они предъявляют политические обвинения вместо научных аргументов. К сожалению, докладчика можно упрекнуть в том же. Его беспокоит тот факт, что П. В. Волобуев и другие историки обращаются к массовому читателю на исторические темы. Я читатель не массовый, а узкий, я знаком с этими статьями, но я думаю, что мы все признаем, что в условиях перестройки перед историками стоят не только новые возможности, но и новые формы гражданского долга. И когда публицисты и журналисты и политические деятели всех мастей вторгаются на поприще истории, вопрос о том, что должен делать ученый-историк, является по крайней мере открытым.

В. И. Бовыкин обвиняет своих противников в цитатничестве, но в этом виноваты очень многие из собравшихся сегодня. Цитатничество было условием существования интеллектуальной культуры известного времени. «На том берегу» мы скоро узнали, как надо читать труды своих советских коллег, довольно быстро пробегая первые и последние страницы, где находились цитаты, без которых они не могли обойтись.

Наконец, В. И. Бовыкин использует для подкрепления своей концепции труды И. Д. Ковальченко и его школы по аграрной истории. Я очень уважаю И. Д. Ковальченко, я публиковал его труды и труды его школы на английском языке, но есть и другая традиция во главе с А. М. Анфимовым. Работы последнего, ранние труды в особенности, отличают тщательная обработка источников и свобода от предвзятых концепций. Как сказал предыдущий оратор, есть много путей к историческому познанию, и, мне кажется, мы должны признать достоинства трудов и И. Д. Ковальченко, и А. М. Анфимова, и В. И. Бовыкина.

Реплика сопредседателя А. П. Корелина

Должен сделать коррективы к своему заявлению. Я вовсе не призываю избегать историографических сюжетов при освещении проблем и тем более не призывал к игнорированию историографического доклада В. И. Бовыкина. Суть заявления сводилась, во-первых, к тому, чтобы избежать личностных моментов, изб-

ежать освещения околонаучных аспектов проблемы. Вы сами знаете, сколько было наносного в историографии обсуждаемых сегодня проблем. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эти сюжеты отсутствовали. И второе. Все-таки у нас даже при сегодняшнем обсуждении проявляется изоляция экономической проблематики от общественно-политической, а тема в нашей секции сформулирована именно с расчетом на комплексное обсуждение проблемы. Поэтому я призываю объединить два эти аспекта.

Л. Хаймсон

Только несколько слов как раз по тому вопросу, о котором говорил А. П. Корелин. Взаимосвязь прошлого и настоящего, современного и традиционного, экономических и социально-экономических проблем может быть далеко не прямой и принимать почти уникальные и даже парадоксальные формы. Возьму как пример отношение Петербургского и Московского обществ фабрикантов и заводчиков к рабочему вопросу накануне войны. Лицо Петербургского общества меняется по сравнению с тем, что было в начале века. Стали заметнее синдикаты, наметилась ориентация части фирм на внутренний рынок, происходит слияние иностранных фирм, особенно владевших самыми передовыми предприятиями. Но я бы отметил два момента. Во-первых, обращаясь к примеру Запада в рабочем вопросе, очень важному для петербургских предпринимателей, они не учитывают опыт либеральной политики. Из немецкого опыта они берут локауты, которые широко использовались перед войной для подавления рабочего движения. Во-вторых, хотя их экономическая зависимость от правительства уменьшилась, но психологическая, социальная и политическая зависимость сохранилась.

В то же время в Московском обществе, в котором было много старообрядцев, сильны традиции патриархальных отношений. Но накануне войны, и даже в 1905 г. Московское общество проявило более либеральное отношение к рабочему вопросу. Я не буду говорить о Коновалове, поскольку неясно, в какой мере он типичен для этой среды. Но вот пример: накануне мировой войны возникает переписка между Московским и Петербургским обществами. Московские предприниматели предлагали сделать 1 мая официальным праздником, чтобы он перестал быть политическим выступлением. Они ссылались на то, что 1 мая — старый русский праздник, конец великого поста. Петербургское общество даже не ответило на это предложение.

Б. Б. Дубенцов

Мне представляется, что, рассматривая концепцию многоукладности в историографическом аспекте, мы не должны забывать следующее. В развитие того, что уже говорил К. Ф. Шацилло, скажу, что постановка вопроса о многоукладности противостоит

стремлению свести объяснение готовности России к социалистической революции и причин этой революции к наличию высших форм монополистических объединений. Новизна и значение подходов, выработанных прежде всего И. Ф. Гиндиным и К. Н. Тарновским, как мне представляется, состояли именно в раскрытии взаимосвязей между различными хозяйственными сферами в российской экономике второй половины XIX — начала XX в. На этой основе были выявлены экономические предпосылки неспособности российской буржуазии выполнить роль лидера в революции. Только с этих позиций становилось ясно, почему России было недостаточно Февральской, а потребовалась еще и Октябрьская революция.

Они — эти позиции — дают понимание и вопроса об «искусственности» российской крупной промышленности. Мне представляется, что надо говорить и о росте ее снизу, спонтанном, автономном и естественном росте, и о «насаждении капитализма сверху» в том смысле, что царизм стимулировал развитие тяжелой промышленности, производство средств производства. Ему требовались стратегические, не всегда экономически оправданные железные дороги, и притом безотлагательно. Это в свою очередь вызвало форсированную поддержку развития тяжелой промышленности еще до того, как сельское хозяйство и легкая промышленность предъявили достаточный спрос на ее продукцию. В этом, я бы сказал, нарушении органической последовательности в развитии народного хозяйства в целом и состояла существенная особенность России. Думается, мы должны говорить о типе экономического развития России во второй половине XIX в. как о великодержавном и к тому же реализовывавшемся при отсутствии свободы становления капиталистических отношений в сельскохозяйственной сфере. В результате сложилась ситуация, когда монополии, образовавшиеся прежде всего в тяжелой промышленности и рано сросшиеся с банками, получили такую огромную экономическую силу, что могли оказывать влияние на прогресс сельского хозяйства. И влияние это, как показано в ряде работ, было отрицательным. Здесь я напомню только работы Ю. Л. Райского, одного из авторов свердловского сборника, который, хотя и не подвергался персональной критике, но в итоге не сумел опубликовать свою замечательную докторскую диссертацию.

Т. М. Китанина

Проф. Маккей напомнил нам о проблеме, интерес к которой был пробужден трудами И. Ф. Гиндина. Это проблема взаимоотношения двух факторов: государственного стимулирования и связанного со свободными рыночными отношениями автономного развития. Позвольте мне коснуться, во-первых, вопроса, затронутого главным образом Б. В. Ананьичем,— о взаимоотношениях государственного и частного секторов экономики. Надо было бы показать социальную природу самого процесса. В России, как и

во всех странах позднего развития капитализма, роль государственных институтов в экономической жизни была чрезвычайно велика. Государство широко применяло принудительные меры стимулирования промышленности, приняв на себя отчасти функции третьего сословия, в том числе промышленно-учредительские. Однако правительственная поддержка носила сугубо избирательный характер, исключая из привилегий крестьянскую и чисто купеческую промышленность. Именно промышленники-крестьяне и купцы, как и те слои населения, о которых упоминает проф. Маккей,— староверы, предприниматели-евреи и другие,— закладывали основы экономически независимого движения.

Второе. Поддержка государственных предприятий стимулировала развитие сопутствующих оборонной отрасли производств, это удерживало российскую экономику на уровне известной конкурентоспособности. Но с развитием капитали- стических отношений и включением России в мировую экономическую систему искусственно поддерживаемая конкурентоспособность стала давать сбой. Удовлетворить растущие потребности и промышленности, и товарного сельского хозяйства могло лишь свободное частное предпринимательство. И государство оказалось вынужденным идти на уступки за счет сужения фронта прямого вмешательства в производственную сферу, уступая место методам, вызывавшим перераспределение национального дохода, т. е. государственному кредитованию, налоговым льготам и т. д. В конечном счете оно подрывало систему, утверждавшуюся десятилетиями, собственными усилиями.

Третье. Противоречия между двумя типами делового предпринимательства постепенно сглаживались под влиянием изменений в экономике.

Я хотела также сказать два слова о докладе В. И. Бовыкина. Я также была участником сессии 1969 г. и очень болезненно воспринимаю критику многоукладности, но мне кажется, что в докладе Бовыкина содержится ряд моментов, на которые сторонникам многоукладности нужно обратить внимание. Он наводит нас на размышления и, я думаю, показывает, что нам нужно еще очень глубоко продумать целый ряд теоретических вопросов, связанных с этой большой проблемой.

И. П. Лейберов

Я бы хотел несколько слов сказать по докладу Л. Хаймсона. Когда мы изучаем социально-экономические проблемы России, то не можем обойти и проблему влияния самих столиц — Петербурга и Москвы — на формирование основных напра- влений социально-экономической жизни тогдашней России. Л. Хаймсон выступал, мне кажется, очень удачно сегодня с сравнительным анализом деятельности Петроградского и Московского обществ заводчиков и фабрикантов. В то же время столицы давали определенный темп и характер всей политической и культурной жизни

России. Мне кажется, что Л. Хаймсон весьма проблемно и оригинально строит анализ революционной ситуации и характера самой Февральской революции, он прекрасно знаком с советской историографией, ее выводами.

Но в то же время, так же как Р. Ш. Ганелину и В. Ю. Черняеву, мне кажется, что рано говорить о том, что дискуссия о стихийности, спонтанности трех российских революций, включая прежде всего Февральскую революцию, уже закончена. Советская историография имеет определенный положительный потенциал в разработке этих проблем. Еще в 1970—1972 гг. группа советских авторов пыталась даже выделить в восьмидневной революции три периода: чисто стихийный взрыв 23—24 февраля; далее появление серьезных элементов организованности, сознательности 25—26 февраля, когда была попытка организации Совета рабочих депутатов на Выборгской стороне и начали выходить из подполья профсоюзы и партийные комитеты. С 27 февраля включение в революционное движение огромной неорганизованной солдатско-крестьянской массы придало огромный импульс самой революции, которая приняла вооруженный характер, и произошел новый взрыв стихийности.

Насколько политические партии были готовы к этому политическому взрыву? В письме А. Г. Шляпникова от 11 февраля 1917 г., направленном в заграничный ЦК партии, т. е. В. И. Ленину, говорится о том, насколько меньшевики и эсеры пытались овладеть стихийным движением масс. Страна была накануне революционного взрыва, это понимали и жандармерия, и охранка, и тогдашние российские политические партии. Об этом же говорит анализ листовок и большевиков, и межрайонцев, и левых эсеров, и меньшевиков, и интернационалистов.

И, наконец, вопрос, когда же началась революция: 23 февраля или 27 февраля? Я считаю, что прав Л. Хаймсон, который дату начала революции определяет 23 февраля. Без 4-дневной раскачки со стороны пролетарских масс, без участия солдат в расправах по приказу военно-полицейских властей не был бы подготовлен взрыв 26—27 февраля.

Удачна мысль Л. Хаймсона насчет социального эксперимента двоевластия в форме взаимоотношений рабочей группы (группы К. А. Гвоздева) и всего Центрального военно-промышленного комитета. Но я хотел бы напомнить Л. Хаймсону, что как первый эксперимент такого двоевластия надо рассматривать события ноября—декабря 1905 г., когда с созданием Петербургского и Московского Советов самодержавные власти оказались в крайне колеблющемся состоянии, примерно в 49 центрах России тогда тоже параллельно возникали другие органы власти.

Б. Бонвеч

Несколько слов о выступлении коллеги Миронова. Я думаю, что история заключается не в одних цифрах. Если говоришь о

политике, о принципе экономической политики, тут дело не в цифрах. В докладе коллеги Дякина они есть, но я не знаю, удачны ли они и не дают ли неверную картину развития сельского хозяйства России. Думаю, что сельское хозяйство в России было лучше, чем мы себе представляем.

Относительно вопроса Б. В. Ананьича об оценке системы Витте. Думаю, что общее представление, будто система Витте путем косвенных и прямых налогов извлекала из крестьянства (или из аграрного сектора) средства, чтобы поддержать индустриальное развитие России, неправильно. Скорее, можно говорить о том, что система Витте, направленная на такое развитие, недостаточно поддержала аграрный сектор.

Несколько слов об общей характеристике российской экономики до войны. Мы с коллегой Бовыкиным лично говорили о его докладе. Я не сторонник многоукладников, но думаю, что их подход к разъяснению состояния экономики России и ее связи с социальной сферой, с поведением рабочих и крестьян был более удачен, чем концепция государственно-монополистического капитализма, как ее представляет коллега Лаверычев и, несмотря на оговорки, коллега Бовыкин. По-моему, задача не только советских историков, но и наша — разъяснить реальную связь многообразных форм хозяйствования в России. Дело не в том, что была самая развитая промышленность и самое отсталое сельское хозяйство — в обеих областях были самые разные формы. Проф. Гетрелл отметил, что ремесла и кустарная промышленность исчезли из поля зрения историков, между тем они процветали и во время спада, по крайней мере относительно. Это прояснит многое в поведении рабочих не только фабричной промышленности, но и крестьянской. Крестьяне шли с места на место, чтобы найти лучшие условия, лучше зарабатывать, шли тысячи километров, чтобы найти эти возможности, и поэтому не существовала такая большая разница между промышленной и аграрной сферой. Повторяю: наша задача, если мы хотим объяснить своеобразие российского развития, состоит именно в том, чтобы выяснить эту взаимосвязь и значение этих отсталых форм производства именно в России.

Т. Шанин

Не случайно западные ученые возвращаются так часто к докладу проф. Бовыкина по вопросу о многоукладности. Причина ясна, потому что это не только вопрос его взглядов, но и вопрос разгрома наших советских коллег, который произошел в 60-е гг. и на который мы, западные ученые, смотрели с гневом и ужасом. И этот ужас и этот гнев остались у нас. Мы счастливы чувствовать, что это ушло в прошлое, мы счастливы, потому что вместе с вами нам было мучительно видеть то, что происходило. И, конечно, не случайно, что мы возвращаемся к этому, не случайно, что, когда,

как нам кажется, даже какая-то часть этого осадка остается в воздухе, мы напрягаемся и готовы идти в бой.

Я рад, что споры принимают совершенно другую форму, но хотел бы упомянуть об одной детали, хотя она может показаться формальностью. В докладе проф. Бовыкина есть вещи, с которыми я согласен, есть и то, с чем я не согласен, но покоробило меня вот что: кавычки вокруг слова концепция. «Концепция» в кавычках, «многоукладность» в кавычках. По понятиям западных ученых, если мы скажем «концепция Бовыкина» — это обидно, это неуважительно, и так говорить не надо. Наш общий язык — это не только язык взаимопонимания и язык теории, но также язык взаимоуважения разных взглядов на один и тот же вопрос.

По вопросу многоукладности мой предшественник уже сказал главное, с этим я согласен, поэтому не стану повторять о важности понимания богатства форм. Но я бы хотел поднять вопрос, в чем, на мой взгляд, состоит трудность признания богатства форм как орудия нашего анализа. Думаю, что это связано с мышлением, в котором уклады выстраиваются в одну линию и оцениваются как в разной степени прогрессивные. Нужен переход к пониманию параллельности форм. Когда проф. Бовыкин сказал здесь, что формула многоукладности не может объяснить произошедший в России поворот, то я бы сказал, что капитализм, как его употребляет Ленин, такая же магическая формула, как многоукладность. Если капитализм — это то, что определил Маркс: система, в которой создается прибавочная стоимость при употреблении рабочей силы, которой платят зарплату за это, то, конечно, три четверти экономики большинства стран в период, о котором мы говорим, капиталистическими не были. Говоря о сегодняшнем дне, я высоко оцениваю достижения последних лет и советских, и западных коллег в области «неформальной экономики». Они в последние 10—15 лет особенно серьезно изучали вопросы всех форм семейной экономики, которые, скажем, так важны в Италии сегодняшнего дня и которые не есть капитализм. Это явления, которые развиваются параллельно капитализму и без понимания которых нельзя понять то, что происходит у нас и что у вас.

С этой точки зрения я бы предложил в вопросах спора об одноукладности, двуукладности или пятиукладности подумать о возможности снять их не продолжением старого спора, а продвижением к комплексным моделям, где неординарность экономических форм является самой главной их характеристикой.

Реплика сопредседателя А. П. Корелина

Я только должен пояснить, что понятие «многоукладность» включает в себя не линейность расположения укладов и не их параллельность, а как раз то, о чем говорил проф. Шанин,— систему, комплексную систему.

А. А. Фурсенко

Хочу начать выступление с доклада В. С. Дякина. Мне очень импонирует его подход, в частности, в той части, которая меня прежде всего интересует и касается политики Витте. Недавно на советско-японском симпозиуме мы обсуждали проблему: в какой степени программа Витте способствовала развитию сельского хозяйства и не была ли его программа индустриализации построена в какой-то степени за счет сельского хозяйства, не было ли такого положения, что Витте закрывал глаза на положение в сельском хозяйстве. Я думаю, что та позиция, которая изложена в докладе В. С. Дякина, адекватно отражает суть программы Витте в области сельского хозяйства.

Затем мне хотелось бы сказать о докладе проф. Маккея, который работает над теми же сюжетами, которыми и мне приходилось заниматься. Я думаю, что это один из самых интересных на Западе исследователей данной проблемы. Но вместе с тем некоторые его положения вызывают вопросы и даже возражения. Проф. Маккей говорит о том, что государство тормозило строительство линии нефтепровода через Кавказ и ограничивало доступ иностранных потребителей к русскому керосину, что оно облагало налогами потребление отечественного керосина и что эти действия плохо согласуются с тезисом о руководящей роли государства в индустриализации, о чем он писал в одном из своих исследований. Можно, однако, привести и другие примеры, когда государство весьма способствовало индустриализации именно в нефтяной промышленности. Ведь вы прекрасно знаете, что не было никакого однолинейного решения вопроса. Во всяком случае в конце 90-х — начале 900-х гг., я думаю, государство очень способствовало индустриализации и развитию этой отрасли промышленности, в частности, привлечением иностранных капиталов через банки.

Еще одно замечание, касающееся темпов экономического роста в предвоенный период истории Российской империи. Совершенно справедливо говорится, что они были относительно высокими, но здесь у меня некоторый протест вызывает то, что поставлены в один ряд США, Япония и Россия. Россию с Японией мы на недавнем коллоквиуме сравнивали и пришли к единому мнению относительно того, в чем было расхождение, а в чем сходство. Я думаю, что проф. Маккей мог бы поставить США за скобки, потому что в тот период США росли несопоставимо по сравнению и с Японией, и с Россией. Все-таки страна, которая встала на первое место по промышленному производству в мире и обогнала Англию, занимала совершенно особое положение. И нельзя, мне кажется, это рассматривать так, как рассматривает П. Грегори, т. е. сравнивая количество, объемы произведенного на душу населения. Здесь были совсем другие параметры, которые нужно учитывать.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ДОКЛАДЧИКОВ:

В. С. Дякин

Выступления показали, что, видимо, не всем оказалась понятна цель моего доклада. Я делал доклад не по истории экономики, а по истории экономической политики. Я поставил перед собой тот самый вопрос, который задал мне Б. Н. Миронов, а была ли, собственно, альтернатива политике Витте, возможно ли было более оптимальное развитие, чем то, которое было в России? Но я хотел решить этот вопрос не с помощью математических моделей, основанных на предположении, что в России не будет железных дорог, или еще каких-нибудь иных предположениях, а на основе анализа той конкретной российской действительности, которая была, и того соотношения сил в правящих кругах, которые эту экономическую политику определяли. Поэтому естественно, что у меня в докладе не так много цифр, а внимание сосредоточено именно на мнениях тех бюрократических кругов, которые собирались проводить ту или иную политику. Это и было моей целью, и это не случайное какое-то упущение.

Я пришел к выводу, что то направление политики, которое мы видели в действительности, определялось и соображениями экономическими, необходимостью развития как промышленности, так и сельского хозяйства (причем сложность заключалась в том, что баланс развития сельского хозяйства и промышленности оказывался невозможным), и соображениями социально-политическими (ибо при существовавших условиях продуктивно вкладывать средства в сельское хозяйство было невозможно). Дворянские хозяйства в основном велись отсталыми методами и расходовали ипотечные займы на потребительские цели. На пути интенсификации крестьянского хозяйства стояли до столыпинской реформы слишком большие преграды. Как это ни печально для сельского хозяйства, Витте в конечном итоге оказывался прав, говоря, что нет уверенности в том, что вложенные средства пойдут на интенсификацию хозяйства, а не будут растрачены попусту.

Что касается следующего периода, я старался показать, что начались поиски средств, которые могли бы быть истрачены на интенсификацию сельского хозяйства. Поиски эти были весьма сложными в той финансовой ситуации, в которой находилась Россия. В. И. Бовыкин говорит, что если бы я привел цифры, то убедился бы в том, что я неправ, ибо половина ценных бумаг, выпускаемых в России, уходила на ипотечные бумаги. Действительно, это так. Но ипотечные займы расходовались не на сельское хозяйство, и поэтому, если В. И. Бовыкин считает, что это вложение в сельское хозяйство, то я ему могу только посочувствовать. Требовалось изыскать средства, которые шли бы непосредственно в мелиоративный кредит, в краткосрочный сельскохозяйственный кредит, и это сверх тех средств, которые практически изымались из сельского хозяйства кредитом ипотечным, сверх тех средств,

которые шли на государственные нужды. И найти еще какие-то возможности получения займов было невозможно без государственной гарантии. Речь идет не о государственных капиталовложениях в сельское хозяйство, хотя они тоже были — вкладывались средства в землеустройство, межевание, в агрономическую помощь. Но главное заключалось в том, что без государственной гарантии частный ссудный капитал в сельское хозяйство не шел, ибо уровень доходности сельского хозяйства был еще слишком низким.

С моей точки зрения, столыпинская реформа еще не успела открыть каналы развития сельского хозяйства по пути интенсификации, потому что первые годы перестройки всегда оказываются болезненными, годами ломки, и тот подъем сельского хозяйства, который наблюдается в 1909—1913 гг., в большей мере зависел от конъюнктуры на мировом рынке, от роста хлебных цен, от урожая; столыпинская реформа только начинала действовать, но тут началась война, и дальнейшее было прервано.

Что касается упрека Б. Н. Миронова в том, что у меня мало таблиц, то действительно, это не было моей целью, а кроме того, зачем я буду приводить какие-то объяснения, да еще цифровые объяснения того, что такое аграрный кризис, в каком положении находилось на рубеже века сельское хозяйство, когда об этом имеется огромная литература, и тот, кто хотел бы это знать, может это прочитать.

Более существен вопрос, который поставил Б. В. Ананьич: все-таки в чем заключалась причина изменений в подходе к экономическому курсу, в том ли, что исчерпала себя политика Витте, или в том, что стали более реально осмысливать действительность? Здесь сыграли роль оба фактора: в какой-то мере политика индустриализации Витте себя уже исчерпала, ибо она уже дала определенный результат. Даже противники Витте это признавали. Кроме того, она уже не могла впредь быть столь результативной, как в 90-е гг. А другая сторона дела заключается в том, что революция 1905—1907 гг. потребовала полностью переключить все финансовые усилия государства на решение аграрного вопроса. И это был, конечно, более реалистичный подход.

Дж. Маккей

Я хотел бы сказать несколько слов о замечании Б. В. Ананьича относительно ограничений свободного предпринимательства в России и последствий этих ограничений. Конечно, эти ограничения существовали. Например, возьмем законодательство относительно акционерных компаний, которое до революции требовало, чтобы каждая компания получила разрешение не только для того, чтобы основаться, но даже чтобы увеличить размер капитала. Эта сложная, старомодная система, которая умерла много лет раньше в других европейских странах, ограничивала свободу и инициативу предпринимателей. Это только один пример, и было бы нетрудно

составить длинный список государственных и общественных ограничений свободы и эффективности предпринимательства. Я думаю, что если бы была полная свобода предпринимательства, развитие России, вероятно, шло бы более высокими темпами. Но надо отметить, что я не настаиваю категорически на последнем выводе, потому что он подразумевает ответ на гипотетический вопрос. Трудно себе представлять свободный режим предпринимательства без более свободного режима для других общественных групп, именно для промышленных рабочих и крестьян. По-моему, большая свобода вообще создала бы совершенно другой путь развития для России до первой мировой войны.

Как я писал в докладе, я хотел подчеркнуть очень значительную силу частного предпринимательства в конкретном историческом развитии последнего периода Российской империи. Довольно быстрый экономический рост являлся одним из показателей силы предпринимателей, и мне кажется, что сделанное мною краткое сравнение с другими странами помогает нашему пониманию этого.

Одна из причин силы предпринимателей заключалась в том, что Россия была важной частью международной экономики и что в большой степени Россия использовала иностранных предпринимателей. Таким образом, Россия «заимствовала» значительную часть своего предпринимательства из-за границы, и это компенсировало его нехватку на родине. Но надо тоже подчеркнуть, что в России были свои собственные деловые группы, которые выступали с энергией и успехом, хотя они действовали в условиях серьезных ограничений и без полной свободы предпринимательства. Мне кажется, что можно указать несколько важных параллелей с сельским хозяйством, где было тоже много недостатков и препятствий для нормального развития, которые были отчасти проанализированы на нашем коллоквиуме. Но тем не менее там было тоже много видов предпринимательства, которые реагировали на ситуацию на рынке, кормили страну и даже обеспечивали России до войны самый большой в мире вывоз зерна на международный рынок. Да, в сельском хозяйстве тоже было много препятствий для развития, но были и замечательные достижения, как и в промышленности.

Уважаемый коллега Фурсенко! Эти нефтяные войны очень сложны, я согласен с Вами. Я бы хотел только сказать о капиталах, которые государство искало на Западе, и не только в конце 90-х—начале 900-х гг. Верно то, что государство искало иностранные капиталы, что государство помогало иностранному капиталу: но тем не менее были и иностранные (и русские) акционерные компании, которые также были динамичными действующими лицами в процессе быстрого роста этой отрасли.

Л. Е. Шепелев

Тема избранного мною доклада, как видно, не привлекла внимания. Между тем, определяя эту тему, я имел в виду, что

вопрос соотношения промышленного развития, условий труда и экономического положения рабочего класса есть то перекрестие, где экономика переходит в проблему социальную и базисную и где базисные явления прямо и непосредственно влияют на экономику. Здесь был поднят весьма существенный вопрос об источниках финансирования промышленного развития в России. Важное значение имел иностранный капитал. Конечно, в значительной степени это было сделано за счет крестьянства, но также вообще за счет покупателей промышленной продукции, за счет всего населения. Наконец, промышленность развивалась за счет собственных накоплений. И здесь возникала обычная проблема распределения прибавочной стоимости: сколько из нее можно отдать рабочим, сколько нужно для дальнейшего развития самой промышленности (что в будущем необходимо для рабочего класса). Конечно, конкретный рабочий не мог осознать, что он должен отказаться от части заработной платы для того, чтобы через 10 лет возникла еще одна фабрика. Но мы, историки, должны понимать, что дилемма отчасти была именно такой.

Вот еще на что я хотел бы обратить внимание. Занимаясь и историей рабочего класса, и экономикой, мы должны выйти за пределы той проблематики, которая для нас стала обычной, и коснуться по крайней мере еще трех больших проблем, не разобравшись в которых, будет трудно двигаться вперед. Первое: вопрос об особенностях экономического и политического развития супердержав — государств с громадной территорией, с многомиллионным и многонациональным населением. Эти особенности всегда были в сфере внимания государственных деятелей, руководивших экономической политикой в России. Второй узел проблем — это политические, имперские устремления России, которые висели на шее российской экономики тяжелым грузом. Наконец, третья группа проблем. Мы еще не разобрались в том, в каких специфических условиях оказывались государства, позже других стран вступившие на путь и капиталистического развития, и соперничества на мировом рынке. У них не существовало возможности догнать своих соперников без интенсивной и жестокой эксплуатации и не без помощи государственного аппарата.

В. И. Бовыкин

Я ехал сюда вести дискуссию. В частности, со сторонниками «концепции» многоукладности, в которой усматриваю опасность для научного изучения истории предреволюционной России. Думаю, что это не совсем домашний спор, так как упомянутая «концепция» получила отклик и в зарубежной историографии.

Д. Филд сказал, что в содержащемся в моем докладе историографическом букете есть сорные травы. Как известно, с точки зрения специалиста по сельскому хозяйству, самые лучшие полевые цветы — всего лишь сорняки. Но мне тоже многие из собранных мною цветов не нравятся. К сожалению, они выросли

на нашей историографической ниве. Относительно замечания Т. Шанина поясню, что, по-моему, идея многоукладности лишь гипотеза, которую еще нужно теоретически и фактически обосновать, чтобы превратить в научную концепцию. Я отнюдь не отрицаю ее права на существование, но уже более 20 лет спрашиваю: что такое многоукладность? Какие уклады имеются в виду? И более 20 лет не могу получить ответа.

И сейчас научная дискуссия не получается. Сторонники «концепции» многоукладности оперируют двумя аргументами: первый — эта «концепция» принадлежит Ленину; второй — она является жертвой преследований. Оба они не соответствуют действительности. И ни тот, ни другой не являются научным доказательством истинности «концепции« многоукладности. Первый имеет целью придать ей императивный характер. Второй переводит научный спор в морально-этическую плоскость. Против «концепции« многоукладности вроде бы нельзя выступать, так как ее критика предосудительна. А если я с ней не согласен? И выражаю это несогласие с 1969 г. Мне уже не раз приходилось указывать на то, что утверждения, будто «концепция» многоукладности не проявила себя, так как была задушена, не соответствуют фактам. Чего, например, стоит утверждение, что критика этой «концепции» якобы затруднила изучение экономической политики царизма. Ведь работы Шепелева, Китаниной, Дякина, коллективный труд «Кризис самодержавия», на одну треть посвященный экономической политике, свидетельствуют, что разработка этой темы и публикация ее результатов получили размах лишь с середины 70-х гг.

«Концепция» многоукладности была выдвинута как «новое направление» в изучении социально-экономических предпосылок Октябрьской революции и противопоставлена тому («старому») направлению, которое видело специфику экономического и политического развития России в конце XIX — начале XX в. во взаимодействии двух укладов: капитализма и остатков крепостничества в аграрном строе и политической надстройке (в том самом экономическом и социальном дуализме, который отмечается у меня в докладе). В чем была новизна «концепции» многоукладности? Что она открыла? Свойственной России сложности и пестроты социальных отношений никто никогда не отрицал, поскольку они порождались взаимодействием упомянутых двух укладов. Какие новые уклады, игравшие важную роль в процессе назревания революционного взрыва 1917 г., выявило «новое направление»? Родовой строй на Чукотке или в Киргизии? Его остатки были и в других местах. Но не они определяли расстановку общественных сил в Февральской и Октябрьской революции. «Концепция» многоукладности научно неплодотворна, потому что не определяет исходные понятия, задачи и направления изучения проблемы.

В той пестроте, которая характерна для российской экономической, социальной и политической действительности, мы обязаны

зыявить структуру, иначе мы не ученые, потому что первая задача науки — это классификация, систематизация. Сказать, что Россия была многоукладна — значит вообще ничего не сказать. Поэтому, мне представляется, что возрождение «концепции» многоукладности на данном этапе нашей науки вредно. Раньше говорили: Октябрьская революция произошла из-за того, что Россия была полуколонией, потому что здесь был военно-феодальный империализм. Ни то, ни другое толком никто объяснить не мог. Теперь говорят: нет, все это произошло из-за многоукладности, т. е. мы заменяем одну априорную схему на другую, освобождая себя от серьезного научного анализа того, что в действительности происходило. Мне представляется, что это возрождение того же самого, что уже было раньше.

Д. Филд отметил здесь, что западные историки уже привыкли к тому, что в наших работах сначала идут цитаты, потом авторский текст, а в заключение опять цитаты. Вы к этому привыкли, а мы хотим отвыкнуть. Поэтому пафос моего доклада и был направлен на то, чтобы отказаться от априорных формул и изучать историческую действительность такой, какой она была.

В заключение я хотел бы отметить, что у нас умудрялись изучать историю рабочего класса, не изучая историю промышленности, экономики. К сожалению, и на данной конференции на экономику оказался распространен «остаточный принцип» (о котором мы сейчас так много говорим), и времени ей было уделено недостаточно. Если нам удастся продолжить работу над нашим проектом, то одной из основных проблем его должна стать проблема взаимосвязи между экономикой, социальными структурами и революционным процессом.

В. Я. Лаверычев

В. И. Бовыкин своим остродискуссионным докладом принял удар на себя и поставил те вопросы, которые должны были быть в нашем обсуждении. К сожалению, они прошли как-то боком. И я на части этих вопросов хотел бы остановиться.

А. П. Корелин высказал вначале сожаление, что в докладах слабо открывается альтернативность исторического процесса. Я считаю понятие «альтернативность» применительно к историческим сюжетам таким же штампом, к которым относится и многоукладность. Понятие альтернативности очень важно для объяснения перспектив развития. Что касается исследования прошлого, то здесь я целиком разделяю соображения, которые высказал Л. С. Хаймсон.

Теперь вопрос о многоукладности. Мне думается, это понятие относится к числу тех терминов, игра в которые опять-таки уводит от разрешения исследовательских проблем. Я здесь согласен целиком с В. И. Бовыкиным. К сожалению, абсолютизация терминов была нашей болезнью. Откровенно говоря, я до сих пор не могу понять, почему эта теория получила такое ра-

спространение? Ведь о том, что существуют в России различные уклады, было хорошо известно. Я никак не мог понять суть этой теории. Немного прояснил этот вопрос К. Ф. Шацилло, заявив, что с Октябрьской революцией получается неувязка. Нельзя объяснить ее только монополистическим капиталом. Но я не помню, чтобы в самые тяжелые времена все сводилось к монополистическому капиталу, никогда не забывали крестьян. Я за понятие уклада, но нельзя забывать, что между укладами нет непроходимой грани. Прав В. И. Бовыкин, когда говорит, что сторонникам теории многоукладности еще надо доказать, что это работающая теория. Я в своем докладе ни слова не упомянул о многоукладности. И никто не возразил, что отсутствие этого термина не дает возможности понять развитие революционного движения в России. Мне кажется, что это тоже есть известный показатель того, насколько искусственна эта теория.

Заключительное заседание 7 июня

Сопредседатели: Л. Хаймсон (США), В. С. Дякин (СССР)

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

Л. Хаймсон

Я думаю, все увидели, что те проблемы, которыми озабочено советское общество вообще, и интеллигенция в особенности, отразились на нашем коллоквиуме.

Здесь надо отметить два момента. Во-первых, стремление более широко раскрыть историческое прошлое, установить линии преемственности прошлого и современных событий, а также их различие, и тем самым определить размеры влияния прошлого на современность. Во-вторых, неизбежную тенденцию смотреть на события прошлого, исходя из современности. Отчасти в этом сказывается раскрепощение истории от командной системы. Но это и результат стремления каждого поколения историков проецировать на прошлое собственный опыт. При существующем в советском обществе чувстве нестабильности это проявилось особенно ярко.

И в ходе нашего коллоквиума мы, несмотря на его название, больше занимались вопросами революции и реформы, чем проблематикой революционных процессов самих по себе. Это отражает нашу общую заботу, так как в прошлом провал реформ привел к революции. Отсюда, в частности, интерес к противоречивому характеру реформ, в особенности к противоречиям между целями реформ и средствами, которыми их собирались осуществить.

Показателен интерес на коллоквиуме к роли личностей государственных деятелей, особенно Николая II, Витте, Столыпина. Сейчас в советском обществе происходит сотворение такого исторического прошлого страны, которого никогда не было. Так, широко распространяется мнение, что если бы не смерть Столыпина, история могла бы пойти по другому руслу.

Такие настроения сказываются и в концепции альтернативности истории. Свое отношение к этой концепции я уже высказал. Она полезна, чтобы освободиться от примитивных концепций, концентрирующих внимание лишь на особых законах экономического развития и людях, которые якобы эти законы поняли, т. е. чтобы восстановить изучение истории во всех ее аспектах. Но она может быть опасна, если будет уводить от изучения того, что действительно произошло, к умственным спекуляциям по поводу истории.

Нам очень повезло с атмосферой нашего коллоквиума. Почти полностью исчезло ощущение, что советские и западные историки принадлежат к двум лагерям. Его давно уже не было в частных разговорах, но оно сохранялось на официальных заседаниях. Показательно, что и у советских, и у западных историков почти исчезло выражение «мы считаем», а появилось — «я думаю», «мне кажется». Это позволяет общаться в очень дружественной атмосфере.

Мы далеко продвинулись и в сопоставлении наших взглядов на конкретные явления. Это было особенно заметно при обсуждении доклада С. В. Тютюкина и В. В. Шелохаева о большевизме и меньшевизме — до сих пор это была очень деликатная тема. Мне также очень импонировало, как вы реагировали на доклады Р. Уортмана и Г. Фриза и даже на доклад Л. Энгельштейн.

Но нам надо продвинуться дальше в сопоставлении аналитических концепций развития России и западных стран. Что было в русской истории специфично? У советских историков даже больше, чем у западных, проявилась тенденция не признавать своеобразие русского исторического процесса. Это связано с влиянием марксизма на историческую науку, а также с другими причинами. В результате мы сталкиваемся с трудностями при употреблении определенных концептуальных понятий. Широко применяются термины буржуазия, рабочий класс и вообще понятие «класс», но не всегда понятно, в каком значении его употребляют.

Ведь здесь важны и объективные, и субъективные моменты. Кем люди себя осознают? Что значит: кадеты — буржуазная партия? Или меньшевики и эсеры — мелкобуржуазные партии? Здесь частично сказывается, по-моему, непризнание до сих пор в полном смысле этого слова роли интеллигенции. Это очень широкое понятие, которым пользовались в процессе самоопределения и дворяне, и крестьяне, и рабочие. И то, что это самоопределение теряет свою привлекательность для представителей образованных низов перед 1917 г. и особенно в 1917 г., очень точно характеризует происходящие в это время перемены.

Нам следует заняться проблематикой взаимосвязи более длительных и кратковременных процессов в экономическом, социальном и политическом развитии, т. е. изучением взаимодействия структур, конъюнктур и событий. Точно так же на психологическом уровне нам надо обратить внимание на то, что изменения ментальности идут очень медленно, перемены настроений проявляются гораздо быстрее, еще быстрее бывают перемены в действиях под влиянием событий. Можно предположить, что существует определенное совпадение темпов изменений структур и ментальности, конъюнктур и настроений, событий и действий. Вместо концепции обязательных исторических законов можно рассматривать динамику исторических событий как результат взаимодействия этих более медленных и более быстрых объективных и субъективных процессов исторических перемен. При и-

зучении стачечного движения, например, надо признать роль структурных процессов внутри рабочего класса — процессов урбанизации и перемен в организации производства и во взаимоотношениях рабочих и нанимателей на предприятиях. Только так мы сможем объяснить решающую роль, которую рабочие металлисты Выборгской стороны играли в забастовочном движении накануне и особенно в период войны. Надо также учитывать разный характер политической и экономической конъюнктуры в разные годы и в связи с этим влияние на это рабочее движение кризиса верхов. Мне кажется несомненным, что динамика оппозиционного движения внутри цензового общества влияет на интенсивность стачечной волны, но надо признать и обратное влияние. При этом я, конечно, не оспариваю роль большевиков и других радикальных партий и самого Ленина. Несмотря на мой интерес к процессам длительного характера, у меня нет сомнений, что определенные лица играют значительную роль в историческом сценарии. И мне трудно, например, представить себе сценарий революционных процессов в XX в. без личности Николая II и Ленина.

В. С. Дякин

Было очень приятно, что мы практически говорили на одном языке. Существовали какие-то разногласия, но они существуют всегда, а в общем мы говорили друг с другом, не ощущая барьера. И это, по-моему, самый важный итог коллоквиума, независимо от его научных итогов.

Как мне показалось, ход нашей дискуссии выявил необходимость дальнейшего и более углубленного изучения ряда проблем. Один круг проблем — проблемы рабочего и революционного движения, о нем уже говорилось, и поэтому я не буду говорить на эту тему. Второй круг — проблемы, связанные с судьбой реформ в России. Мы в общем останавливаемся на констатации того, что та или иная реформа не удалась. Мы не выясняем того, что сегодня принято называть механизмом торможения. Почему реформа не удалась не только в том смысле, какие к этому были общие экономические и социальные проблемы, но и как конкретно в органах центральной власти, еще в большей мере в органах местной власти, проходило сопротивление реформам. Мы это видим сегодня, мы это видим и на примере русской истории конца XIX—начала XX в. То, что прокламируется центральной властью, затем саботируется на более низких уровнях. Мне кажется, что изучение этого явления было бы небесполезным.

Наше — советских историков — молчание во время обсуждения очень интересного доклада профессора Филда — это не только результат, как он сам говорил, нашего с ним согласия, но и свидетельство нашей неподготовленности к обсуждению этих вопросов. Это — признак того, что нам надо более углубленно

заняться изучением вопросов стратификации общества и самоосознания различных слоев. Мы действительно злоупотребляли общими понятиями: «буржуазия», «дворянство» «интеллигенция», «рабочий класс», не давая более частных определений и не исследуя, как те люди, о которых мы пишем, сами себя воспринимали, как понимали свою роль в обществе и задачи, стоявшие перед ними. На конференции уже говорилось, что мы провалились в вопросах изучения многих культурных проблем, и в частности проблем церкви. Нехорошо, когда за нашими пределами занимаются вопросами нашей истории глубже и целеустремленнее, чем это делаем мы сами. Это в какой-то мере стыдно, тем более что материалы лежат у нас, а мы эти более выгодные условия не используем.

Сейчас, когда возникла возможность больше оказывать влияния на те процессы в исторической науке, которые идут у вас и у нас, крайне желательно публиковать наши работы у вас и ваши работы у нас. Если бы это оказалось возможным — и в виде журнальных статей, и в виде переводов ваших книг у нас и издания их для читателя более широкого, чем тот, кто может свободно читать по-английски специальную литературу. Это было бы весьма желательно и ускорило бы процесс усвоения нами каких-то общих понятий, которые помогли бы нам создать не единую концепцию — такой концепции, даст бог, никогда и не будет, потому что не надо, чтобы история прекращала свое течение,— но для того, чтобы нам было легче находить общий язык при объяснении конкретных ситуаций.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Т. Шанин

В течение последних двадцати лет проходил процесс насыщения западной историографии социологическим мышлением, социологическими категориями, и то, что Л. Хаймсон сегодня говорил, в большой мере базировалось на мощном социологическом аппарате. В Советском Союзе этот процесс не происходил потому, что у вас была определенная догматическая структура, философская, можно сказать метафизическая, которая определялась сверху и которую принимали за данное. Эта структура, я думаю, в данную минуту начинает распадаться, и одним из путей сближения между вами и нами в работе над русской историей будет процесс, так сказать, социологизации работы русских историков. С этой точки зрения важно изучение не только фактов и методологии в узком значении этого слова, но также того, как мы подходим к проблематике истории с точки зрения нашего научного языка.

Еще одна проблема, о которой Л. Хаймсон уже сказал, но *оставил сказанное нерасшифрованным,— это вопрос истории*

менталитета, т. е. истории коллективной психологии. Что это значит с точки зрения понимания истории как, так сказать, единого потока, в котором присутствуют разные элементы? Процессы в экономической и социальной истории, в истории менталитетов, идут с разной скоростью. Для исследователей, занимающихся разными аспектами истории, существуют разные временнiые точки отсчета. Но все эти аспекты связаны друг с другом. Их надо рассматривать и отдельно, и в прямой связи друг с другом. Это тоже стоит где-то на пограничье социологии и истории.

Еще один элемент социологизации исторической науки, это, конечно, ввод сравнительного анализа. Нельзя понять историю России по материалам, связанным только с Россией, но чтобы понять Россию, надо работать с материалами разных стран, так же как нельзя понять историю Англии без понимания истории разных стран. Профессор Дякин сказал, что у вас здесь больше возможностей работать над историей России, а получается так, что вас иногда обходят западные ученые. Мне кажется, что хотя у вас здесь больше материалов в архивах, но историю России иногда лучше изучать не в России, а в других странах, потому что там есть выход на материалы, связанные с историей других стран. И с этой точки зрения я очень надеюсь, что движение советских коллег к нам будет продолжаться и углубляться. Думаю, что с точки зрения взаимопомощи между учеными нельзя придумать ничего лучшего, чем взаимосвязь в самом личном значении этого слова. Очень важно, чтобы приезжали ваши молодые коллеги, а не только те, которые уже вышли в профессора.

И последнее, о чем я хотел сказать, это вопрос, с кем сравнивать. Есть трафарет сравнения Советского Союза с западными странами. В свое время это не делалось, потому что конечно, Советский Союз был самым прогрессивным государством. Теперь он не самое прогрессивное государство — и поэтому это делается больше. Но я думаю, что в этой сравнительной работе обязательно надо ввести материалы Третьего мира. Без двойного сравнения — с одной стороны, в сторону западного мира, с другой — в сторону Третьего мира — процесс сравнения не пройдет так, как он должен пройти. Против такого способа сравнения будет очень много, так сказать, эмоциональных барьеров. Но здесь дело не в том, кто в списке стран важен и кто не важен. Быть европейцем — это не признак какого-то превосходства. Те проблемы, которые встают при изучении ваших реформ, мне понятны именно как человеку, который работал над Третьим миром половину своей жизни. С проблематикой Третьего мира больше, чем с другими, соприкасаются такие вопросы, как государственная экономика, о которой нам говорили, что ее влияние никак не определишь просто количественно, то же самое — проблематика крестьянства, проблематика дислокации разных экономических структур и т. д. Существуют десятки проблем, где есть возможность провести

сравнение с Третьим миром, и я думаю, что это сравнение нужно провести.

К. Ф. Шацилло

Я оптимист несколько больше, чем профессор Шанин. Он относит сближение наших точек зрения на будущее, когда мы еще чем-то дополним исторические исследования: социологическими, сравнительно-историческими и т. п. Я думаю, что прошедшая сессия очень удачна и тем, что показала определенные положительные результаты уже на сегодняшний день. Во-первых, мы выслушали ряд интересных докладов на темы, которыми мы не занимаемся. Это, бесспорно, станет толчком для советских исследователей в изучении забытых и слабо изученных проблем. Во-вторых, лично я ощутил большое удовлетворение и гордость за историческую науку, лишний раз убедившись, что это действительно наука. Мы придерживаемся разных методологических точек зрения, разных методических подходов, но я не встретил докладов, которые были бы несовместимы и антагонистичны. Более того, меня поразило, что, используя разные методы, разную проблематику, мы в общем приходили к одним и тем же выводам, которые касаются генерального процесса в развитии истории России начала XX в.

И одно замечание, я бы сказал, несколько интимного характера. Я очень переживал, готовясь к сегодняшнему выступлению по вопросу о многоукладности. Дело в том, что я — первый ученик В. И. Бовыкина. Тема моей кандидатской диссертации очень близко совпадала с генеральным направлением всех его исследований. Но я думаю, что плох тот учитель, который тиражирует бесконечно себя в своих учениках. Наступает когда-то такой период, когда ученик сам становится на ноги и начинает думать немножко иначе, чем его учитель. И я вижу в докладе Валерия Ивановича предмет для критики не в том, что он взял «концепцию» многоукладности в кавычки. Я не согласен с тем, что есть вообще концепция многоукладности.

Думаю, что слово концепция было совершенно сознательно выдумано как ярлык для того, чтобы приклеить его и противопоставить концепцию многоукладности концепции марксизма, сказать, что вы своей многоукладностью хотите заменить формацию, а стало быть, совершить определенное идеологическое преступление, вы отрекаетесь от марксизма и переходите на чуждые идеологические позиции. Смею вас уверить, что ничего подобного ни у организаторов конференции 1969 г., ни у членов редколлегии изданного сборника и в мыслях не было.

Многоукладность — это значит, что каждый исследователь имеет право выбрать свою дорогу, свой, грубо говоря, уклад для исследования, чтобы не сводить все к цитате, наизусть выученной советскими историками и, наверное, известной и многим из зарубежных коллег. Я имею в виду слова Ленина о том, что

государственно-монополистический капитализм есть та ступенька исторической лестницы, между которой и ступенькой, именуемой социализмом, никаких других промежуточных ступеней нет. Вот наша наука в 50-е гг. и была направлена на то, чтобы найти эту ступеньку государственно-монополистического капитализма в России и сделать на этом основании вывод: раз есть государственно-монополистический капитализм, Октябрьская революция неизбежна, и — вперед, к социализму. И это делалось, несмотря на то, что потом, после Октябрьской революции, Ленин говорил и иное.

Я также считал и считаю, что проблема многоукладности имеет и второе значение. Кроме того, что каждый имеет право выбрать свою тропку, свою дорогу в науке, памятуй, что это отнюдь не единственное из происходившего в стране. Что ты должен учитывать: есть и много других укладов. Сколько их, какова их роль и взаимовлияние — это дело конкретного исследования. Как взаимоотносятся они между собой — опять-таки дело конкретного исследователя. Но ты памятуй, что нет в науке волшебного ключика, которым все тайны, все секреты откроешь и все объяснишь. Это было бы слишком просто. И поэтому я не считаю, что есть концепция многоукладности, но я твердо уверен в том, что есть многоукладность, что нет запретных укладов, которые нельзя изучать.

В. И. Бовыкин

Я думаю, вы убедились, что мне как научному руководителю везло на упрямых учеников. И я рад, когда мои ученики имеют собственное мнение, если оно обосновано. Но я вышел говорить не об этом. Наш коллоквиум представляет собой заключительный этап выполнения научного проекта, который ведет начало от коллоквиума в Париже в 1982 г. Жаль, что Л. Хаймсон не сказал об этом, потому что мне кажется, что у этого проекта была своя логика. Ведь он начинался как раз со сравнительного анализа. Коллоквиум в Париже был посвящен сравнительному изучению стачечного движения рабочих в разных странах. Следующий коллоквиум в Италии рассмотрел проблему влияния первой мировой войны на рабочее движение в Европе и в США. На третьем коллоквиуме в Австрии обсуждался вопрос о социальных антагонистах рабочего класса — тоже в сравнительном плане на материале разных стран. В значительной мере благодаря тому, что душой этого проекта был Л. Хаймсон, постепенно все больше вырисовывалась русская тема, и совершенно не случайно, что заключительным коллоквиумом стал наш коллоквиум в Ленинграде.

Этот коллоквиум выявил целый пласт интереснейших проблем, связанных с массовым сознанием. В частности, занимаясь проблемой взаимосвязи экономического развития и революционного движения, я лишний раз убедился в том, что тот механизм формирования социального сознания, через который на процессы рабочего движения воздействуют и экономическое развитие, и различного рода субъективные факторы, остается еще

непознанным. Мне кажется, что это подтвердила и наша конференция. Поэтому было бы хорошо, если бы мы поставили в качестве одной из основных тем следующего проекта тему: экономическое развитие и социальное сознание.

С. И. Потолов

Дорогие коллеги! Время нашей совместной работы пролетело незаметно, и уже настала пора прощаться. Хотелось бы надеяться, что все участники ленинградского коллоквиума, особенно наши зарубежные и московские гости уедут из Ленинграда с чувством удовлетворения от проделанной работы. А она весьма и весьма значительна, о чем здесь уже говорили, и результатом ее должна быть подготовленная книга материалов коллоквиума.

Ценность подобных встреч не только в том, чтобы выступить с докладом, а в тесном общении и обмене мнениями с коллегами, и мы старались все делать, чтобы такая возможность и во время коллоквиума, и в свободное время у его участников была.

Наш коллоквиум — заключительный в международной программе, которая разрабатывалась при самом деятельном участии профессора Леопольда Хаймсона и таких ведущих научных учреждений в области исторической науки, как Институт им. А. Гарримана при Колумбийском университете и Дом наук о человеке в Париже, а также Отделение истории АН СССР, Институт истории СССР и его Ленинградское отделение.

И здесь я считаю необходимым воздать должное энергии и усилиям проф. Л. Хаймсона, который был душой международного сотрудничества историков рабочего класса и России: напомню, что еще в 1972 г. усилиями Л. Хаймсона была подготовлена встреча американских и советских историков, но она была сорвана из-за действия отдельных руководителей Отдела науки ЦК КПСС, воспрепятствовавших поездке советской делегации во главе с директором Института истории СССР профессором П. В. Волобуевым. Трудности и помехи были и в последующие годы, включая и время действия нынешней программы.

Сегодня, к счастью, времена изменились, и наш коллоквиум встречал поддержку Отделения истории и его руководителя академика-секретаря И. Д. Ковальченко, Национального комитета историков СССР в лице академика С. Л. Тихвинского и профессора А. О. Чубарьяна, Ленинградского научного центра, московских коллег из Института истории СССР. Нам помогали многочисленные сотрудники Ленинградского отделения Института истории СССР, всех служб гостиницы «Советская», где проводился коллоквиум и жили его участники. Всем им низкий поклон и самая сердечная благодарность от участников коллоквиума.

И, заканчивая свое выступление, хочу сказать: до новых встреч, дорогие друзья и коллеги! Больших вам успехов в научной работе, доброго здоровья и счастья!

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

докладчиков и участников дискуссии на Международном коллоквиуме в Ленинграде (4—7 июня 1990 г.)

Ирина В. Алексеева	Российский гос. педагогический университет	СССР, Ленинград*
Борис В. Ананьич	Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР (ЛОИИ)	СССР, Ленинград
Валерий И. Бовыкин	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Берндт Бонвеч	Бохумский университет	ФРГ, Бохум
Фрэнсис В. Вчисло	Вандербильтский университет	США, Нэшвилл
Зива Галили	Рутгерский университет	США, Нью-Брунсвик
Белла Д. Гальперина	Центральный гос. исторический архив СССР	СССР, Ленинград
Рафаил Ш. Ганелин	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Анатолий В. Георгиев	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Владимир Н. Гинев	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Питер Гетрелл	Манчестерский университет	Великобритания, Манчестер
Борис Б. Дубенцов	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Наталья Г. Думова	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Валентин С. Дякин	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Лариса Г. Захарова	Московский гос. университет им. М. В. Ломоносова	СССР, Москва
Андреас Каппелер	Кёльнский университет	ФРГ, Кёльн
Юрий И. Кирьянов	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Таисия М. Китанина	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Иван Д. Ковальченко	Московский гос. университет им. М. В. Ломоносова	СССР, Москва
Диана А. Колесниченко	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Авенир П. Корелин	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Владимир Я. Лаверычев	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Игорь П. Лейберов	Высшая профсоюзная школа культуры	СССР, Ленинград
Джон Маккей	Иллинойский университет	США, Урбана

Борис Н. Миронов	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Валерия А. Нардова	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Евгений Р. Ольховский	Сельскохозяйственный институт	СССР, Ленинград
Сергей И. Потолов	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Ирина М. Пушкарева	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Альфред Рибер	Пенсильванский университет	США, Филадельфия
Уильям Розенберг	Мичиганский университет	США, Эн Арбор
Юрий Б. Соловьев	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Джеральд Д. Сур	Университет штата Северная Каролина	США, Роли
Станислав В. Тютюкин	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Ричард Уортман	Колумбийский университет	США, Нью-Йорк
Дэниел Филд	Сиракузский университет	США, Нью-Йорк
Грегори Фриз	Брандейский университет	США, Бостон
Александр А. Фурсенко	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Леопольд Хаймсон	Колумбийский университет	США, Нью-Йорк
Манфред Хильдермайер	Гёттингенский университет	ФРГ, Гёттинген
Валентина Г. Чернуха	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Владимир Ю. Черняев	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Теодор Шанин	Манчестерский университет	Великобритания, Манчестер
Корнелий Ф. Шацилло	Институт истории СССР АН СССР	СССР, Москва
Валентин В. Шелохаев	Институт марксизма-ленинизма	СССР, Москва
Леонид Е. Шепелев	ЛОИИ	СССР, Ленинград
Ютта Шеррер	Высшая школа исследований по общественным наукам	Франция, Париж
Теренс Эммонс	Стэнфордский университет	США, Стэнфорд
Лаура Энгельштейн	Принстонский университет	США, Принстон
Наталья В. Юхнева	Ленинградское отделение Института этнографии АН СССР	СССР, Ленинград

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФОРМЫ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

Россия 1861—1917

Материалы Международного
коллоквиума историков

Утверждено к печати
Отделением истории
Российской академии наук
и Институтом российской истории
(С.-Петербургский филиал)

Художник *И. П. Кремлев*
Технический редактор *Н. В. Шергина*

Корректоры *Л. М. Бова, Л. Б. Наместникова, М. В. Орлова,*
С. И. Семиглазова и *Г. И. Тимошенко*

ИБ № 45074

Сдано в набор 6.11.92. Подписано к печати 5.01.93. Формат 60 x 90 1/16.
Усл. печ. л. 25. Усл. кр.-отт. 25. Уч.-изд. л. 27.11. Тираж 790. Тип. зак. № 3277.
С 316.

Санкт-Петербургская издательская фирма ВО „Наука"
199034, С.-Петербург, В-34, Менделеевскя лин., 1.

Санкт-Петербургская типография № 1 ВО „Наука"
1990346 С.-Петербург, В-34, 9 лин., 12.